



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

В. И. БЕЛОВ,
Ю. В. БОНДАРЕВ,
В. Г. БОНДАРЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,
Г. М. ГУСЕВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Д. А. ЖУКОВ,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
С. Н. СЕМАНОВ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УБОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Проза

- Вера ГАЛАКТИОНОВА
Спящие от печали
Повесть 8
- Анатолий БАЙБОРОДИН
Дворник
Рассказ 99
- Вячеслав ЩЕПОТКИН
Казнь С. Разина
Рассказ 120
- Дмитрий ИГУМНОВ
Ночной разговор
Рассказы 142

Поэзия

- Наталья ЕГОРОВА
О жизни той, что пела
и светила... 3
- Людмила ФИЛАТОВА
Две правды
уживаются на свете... 93
- Евгений КУРДАКОВ
Псы Актеона 113
- Михаил ТРОФИМОВ
По своей Руси хожу 139
- Валентина
ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ
Запах весенних костров 150

Память

- Сергей КУНЯЕВ
"Ты, жгучий отпрыск
Аввакума..." 152
- Галина СИДОРЕНКО
Мирные годы, военные годы... .. 251

Очерк и публицистика

- Татьяна ШИШОВА
Образ матери
в современной культуре 168
- Михаил ЛЕМЕШЕВ
"С родной земли —
умри, не сходи!" 183

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

В. Д. Попов —
зам. главного редактора —
(495) 625-02-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куныев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-41-03

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Н. С. Соколова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Роберт НИГМАТУЛИН,
Буллат НИГМАТУЛИН
Кризис и модернизация
России 190

Станислав КУНЯЕВ
Жрецы и жертвы Холокоста 202

Ольга СВЕРДЛОВА
А счастье было
так возможно! 229

Записки русского путешественника

Григорий ЦАРЬКОВ
Своя вершина 235

Среди русских художников

Марина ПЕТРОВА
“Ищите и обрящите...” 261

Критика

Александра БАЖЕНОВА
“...За пазухой
у отческого края” 274

Книжный развал

Вера ФИЛИППОВА
“Кудрявой строкой не греша!” .. 280

Нина ЯГОДИНЦЕВА
Сибирский сборник 282

Письмо в номер

Открытое письмо
директору
Государственного архива РФ
Мироненко С. В. 286

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Ю. Г. Бобкова, Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректор: С. А. Артамонова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Сдано в набор 04.02.10. Подписано в печать 25.02.10. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 23,8. Уч.-изд. л. 22,56. Заказ №651. Тираж 9000 экз.

Адрес редакции: Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес журнала в интернете: www.nash-sovremennik.ru

E-mail: n-sovrem@yandex.ru

(Рукописи по e-mail не принимаются)

Отпечатано в типографии ОАО “Издательский дом “Красная звезда”,
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. www.redstarph.ru

НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА



О ЖИЗНИ ТОЙ, ЧТО ПЕЛА И СВЕТИЛА...

* * *

Никто не косит чёрные бурьяны.
По всей округе — тленье и распад.
Глядят сквозь ночь в тягучие туманы
Глаза пустых, забытых Богом хат.

И собранный по чьей-то дивной воле
В честь жизни той, что пела и цвела,
Стоит музей в безлюдном диком поле
На улице умершего села.

О жизни той, что пела и светила,
Ржаной косой пленив пределы стран,
Горят горшицам сонные светила,
Рубахам красным пляшет сарафан.

А у светца, где в пестром полушалке
Крестьянка-мать детей учила жить,
Соломенное чучело на прялке
Сучит судьбы таинственную нить.

ЕГОРОВА Наталья Николаевна родилась в Смоленске, закончила Смоленский педагогический институт. Работала в библиотеке, в издательстве и газетах. Автор книг “Золотые шары”, “Птицы в городе” и подборок в периодической печати. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Растут в бурьяне племена другие.
И на могилах родины моей
У древних хат легко зовут Россией
От чужаков родившихся детей.

А ты всё ищешь правды и исхода,
Пока, дыша в затылок тяжело,
Других миров ненужная свобода
Летит с дождём в разбитое стекло.

И не смирившись с пагубой и тленом,
Музейный зритель родины своей,
В умершей хате споришь со вселенной,
Но лучшей жизни — не находишь в ней.

ЛАМПА ГАГАРИНА

Бродит смерть по военным дорогам.
Пахнет кровью в колодцах вода.
Догорает в землянке убогой
Керосиновой лампы звезда.

Над темнеющим Клушиным небо —
В чётких фарах немецких машин.
Над краюхою чёрствого хлеба
Плачет мальчик — Гагариных сын.

Он убогий фитиль керосинный
Выдвигает и стеклышко трёт,
И рассвет в его лампе старинной
Загорается, рдеет, растёт.

И великий огонь Алладина
В мир выводит из творческой тьмы
Звёздный космос, плывущий лавиной
Над фронтами военной зимы.

Спешно сходят на помощь солдатам
Силы Неба со звёздных орбит,
И Земля, как мерцающий атом,
За Победою к Солнцу летит.

В быстрой вспышке немецкой ракеты
Жерла танков ревут в никуда,
Что пределов для подвига нету:
“Я — Восток! Отзовись мне — Звезда!”

А в святых, чужедальных, венчальных
Снах — нельзя навсегда умереть.
И Сатурн над колодцем печальным
Всё горит и не может сгореть.

И вминают, буксуя, машины
Звёзды в грязь, вдоль воронок руля,
Чтобы стали однажды едины
Древний Космос и наша Земля.

* * *

...По ночам кажется, что развалины воют.

Федор Глинка

Когда отходил от соборов пылающих лях —
Развалины города выли на русских костях.
Вой гарей бездонных, детей обречённых глаза.
Всемирная сеча. Безбрежной войны голоса.

Снег в очи летел. Брёл к гибели Наполеон.
Немецкие танки сгорали в разрывах времён.
Летел над сугробами раненых воинов вой —
Вой ветра в трубе над отчизной, спалённой судьбой.

Я уши зажму в вековой роковой тишине.
Из каждого камешка жалоба слышится мне.
То воеет земля о великих и страшных судьбах.
То воют поля, порастая сосной, на гробах.

То облако воеет, и сходят солдаты с ума,
И в вое лесов партизанкою прячется тьма.
То баба о детях в разрушенной воеет избе.
То, сидя на угольях, воеет Господь о Себе.

А вещая песня — великою вестью красна.
Мы вновь побеждаем. И снова приходит весна.
Но Феникс горит, и сгорает в огне окоём,
И воют развалины в сердце бессонном моём.

* * *

Заревёт ли медведь, зазвенит ли рассвет, —
Тронет душу неведомый сон, —
Здесь великие реки выходят на свет
Из берложьего зева времён.

Здесь медведицы-сосны на лапах рудых
Лижут мёды зари спозарань.
Не напейся из следа болотной воды
И медведицей лютой не стань.

От Днепровских ворот в молодом сосняке
Пеплы войн на долины летят.
Треплет русые волосы в березняке.
Узнавающе шуруется взгляд.

Нас сквозь дебри смертей и рождений вели
Знаки войн и горящих планет.
Это — глубже меня, это — долше земли,
Это знание безбрежно, как свет.

Мы пришли из России и канули в Русь,
След оставив и песнь на земле.
Всё пройдет и исчезнет — но я не боюсь
Раствориться в светающей мгле.

Не рыдай о прошедшем, а тропку приметь
Через гари — в страну старину.

Заиграет ли лось, заревёт ли медведь,
Взроет дикий кабан целину.

Там, на просеке, чёрные тени лежат.
Гривы сосен от ветра дрожат.
И медведица-мать ревёт на закат
И выводит к Днепру медвежат.

ХОМА БРУТ

О, какие ужасные лица!
Ночь, как воск на огне, горяча.
На мгновенье посмеешь забыться —
Захлебнувшись, погаснет свеча.

Но читает Хома по псалтири,
Круг земной поджигая, как трут:
«Этот мир мы у тьмы отмолили
Лишь на несколько звездных минут».

Рассыпаются звёзды и царства,
Самолёты летят в никуда,
И в других временах и пространствах
Пропадают, свистя, поезда.

И двоясь между раем и адом
Средь kloкочущих бездн и времён,
Жизнь людская грехом и распадом
Пролетает, как атомный сон.

Вий раскрыл в телеполночи веки.
Сходит Гоголь от знания с ума.
Ты молись о земном человеке,
Ты держись до рассвета, Хома!

На рассвете у старой деревни
Выйдешь в поле из церковки ты.
Снова в мире отмоленном древнем
Над помойками всходят цветы.

Сыплет солнце излучины света
Над крестом в золотой высоте.
Промолись. Продержись до рассвета.
Миг — и крикнет петух на шесте.

* * *

Накопилась за годы усталость.
Подвела роковая стезя.
Глянeshь в зеркало — много ль осталось?
Вечно жить в этом мире нельзя.

Успокоит посулом не ветер —
Полыханье неведомых сфер:
Вечно жил на сгорающем свете
Лишь отвергший Христа Агасфер.

Но не солнце небесного дара,
Как свободному мнилось уму,
Жизнь земная — как вечная кара
Долгой мукою снилась ему.

Я несу свою ношу, не зная
Потаенного смысла пути.
Но, страдая, Христу помогаю
Крест Его — до Голгофы нести.

И рождается в сердце беспечном
Невозможный и ясный ответ:
Если жить, то, конечно же, вечно —
И сомнения в выборе нет.

Что мне смерть, если дышат приветом
Жизнь моя и судьбина моя,
И твердит о бессмертье из Света
Бог спасенья и Бог бытия.

Если в млечном глубоком потоке
Лодка слушает чутко весло,
Там, где жизнью в начальном истоке
Все от крон до корней поросло.



ВЕРА ГАЛАКТИОНОВА



СПЯЩИЕ ОТ ПЕЧАЛИ

ПОВЕСТЬ

* * *

Страшно тихо сделалось этой ночью в Столбцах. И в крошечной тьме вершилось таинство перемены: сей час и миг стремительно покидала поздняя осень спящий полуразрушенный городишко.

Бесшумно летит вдоль улиц позёмка с пылью. Весь ледяной ветер широко стелется понизу, наметает скудный сухой снег в канавы — и срывает его с кочек, с лысых бугров, с дорожных подъёмов. Падает вьюжный ветер в лощины, взбегаёт на всхолмья. Приходит из степи — и уходит в степь, волна за волной, без повиста, шороха, гула. Как свирепая собака мчится неслышно и уж потом кусает без лая, так бледная молодая эта зима несётся стремглав, звериным низким намётом, чтобы взвиться и напасть, спустя время, на всякое тепло, затаившееся в клетках тёмных жилищ.

Ещё не схватывает чёрные стёкла домов колючим узором злое её дыхание, а только вьётся оно и змеится у самых порогов. И не завывает ветер в выбитых окнах брошенных многоэтажек, торчащих на горе. Немо зевают они в ночи, без вдоха и выдоха. Низом, низом летит стремительный лютый холод. И уже оцепенела от него земля, сделавшись каменной. А от внезапного отключения электричества оцепенела, замерла всякая жизнь в Столбцах ещё с вечера.

ГАЛАКТИОНОВА Вера Григорьевна родилась в г. Сызрани. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор романов “Зелёное солнце”, “На острове Буйне”, “5/4 накануне тишины”, книг прозы “Шаги”, “По мосту — по мосточку”, “Слова на ветру опустевшего века”, “Крылатый дом” и других. Лауреат литературных премий им. А. Платонова, А. Дельвига. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

И небо оставило землю без пригляда — ни единой наблюдательной звезды нет в толще тьмы наверху. И весь неосвещённый городишко стал как неживой.

Загодя уснули безработные в щитовых домах, сгрудившихся возле тёмной громады давно простаивающего горно-обогатительного комбината. В подвальном тёмном цехе его приткнулись к бочкам со старым химическим раствором чьи-то дети, надыхавшиеся вдоволь испареньями. Забывшие свои имена, прозываются они все одинаково — чуханы. Нет у них больше возраста и пола. Играют их сонными душами бесьи голоса, морочат воображение рябые уродливые видения.

В поверхностной дурной дрёме, нахохлившись по-птичьи, давно не понимают оборванцы ночи и дня, тепла и холода, зла и добра. Умирают потихоньку в привычных грёзах, истаивают в темноте, меркнут их судьбы, задавленные нуждою взрослых. Спят по разным чуланам и каморкам нищие, не ходившие к вечернему поезду — так темна стала нынче дорога через овраг, что лучше поголодать, чем возвращаться по ней. Спят в уцелевших жилищах остриженные наголо допризывники, месяц назад получившие неожиданную отсрочку, и отвоевавшиеся в Чечне калеки. Спят чистые прилежные школьницы и хворые проститутки. Усталые продавщицы, отмывшие от плесени кольца испорченной колбасы и намазавшие их подсолнечным маслом для маловероятной завтрашней продажи — и толстые учительницы, которым снятся кольца маслянистой этой отмывтой колбасы, тоже спят.

С раннего вечера угомонились в микрорайоне бандиты, промышленяющие на далёкой трассе; кому хочется топтаться на обочине в этакий холод? Только шарашится на окраине тщедушный подросток-наркоман, пробирающийся к цыганскому посёлку, да вряд ли дойдёт, кутаясь в рваную летнюю куртку: замёрзнет небось по дороге, отмучается навеки. Что ж, за такую смерть не придётся ему наконец-то платить, а медленная стоит денег, денег, многих денег и слёз...

И замер во тьме, на отшибе, возле котельной, старый барак целинной стройки, в котором объединены низким душным коридором несколько обжитых крошечных квартир. Но вот в одной из них, самой чистой и прибранной, далеко за полночь проснулся ребёнок.

* * *

Саня ворочается в тесных пелёнках, укрытый стёганым одеяльцем. Не горит в прихожей ночник, не светит привычно из угла тарелка обогревателя. Ребёнок опять оказался в такой же тьме, как до рождения, только в огромной и не защищающей. Он дышит тьмой, опасно просторной, и вбирает её зреньем по чуть-чуть, чтобы не понять больше, чем нужно, от чего может зайти беспомощное, не вполне привыкшее жить сердце: в темноте, обступившей детскую коляску со всех сторон, затаилось будущее. Грядущее, будто вор — похититель счастья и самой человеческой жизни, — выжидает своего часа: но оно — уже здесь.

Со временем зренье младенца перевернётся. Взгляд его станет, как у взрослого человека, и память ничего не воспроизведёт из того, что витает рядом. А пока чуткая природа хранит беспомощное дитя, предостерегая: в огромной остывающей тьме маленькому телу нужно жить осторожно, и дышать осторожно, и смотреть из-под опущенных век — по чуть-чуть.

Ребёнку хочется плакать и отвернуться от черноты. Он же только терпеливо морщит личико. И молчит — чтобы не взбаламутить, не вспугнуть устоявшуюся тьму с великими и грозными её смыслами. Лишь бы не заходили они, беспощадные, ходуном, не обрушились бы на существо крошечное, недавно здесь появившееся и ещё чужое миру вещей и людей, привыкших жить на этом свете.

Слабо поскрипывает под младенцем хлипкая коляска на рессорах. Сбилось на сторону детское одеяло. Давно бы пора погладить ребёнка, и перепеленать потуже, и укрыть заново. Но никто не спешит к нему, не склоняется, не зовёт тихим голосом: “Саня?.. Что? Что ты, хороший?”

Юная его мать Нюрочка крепко спит под могильными венками.

* * *

Ей снится странный сон — про Землю, Небо и про души спящих. Во сне все они скованы множеством забот, не приносящих прока. И все, томясь, будто колодники, и жалуясь друг на друга, хотят пробиться сквозь тьму ввысь, где должен быть свет. Но плотное чёрное небо вынужденного греха нависло над всеми. И тьма эта — смерть душ.

Ещё Нюрочка видит, откуда-то сбоку и сверху, как сияет огнями Гнездо — там живут правители жизни спящих. Красные дворцы начальства выстроены в десяти километрах от Столбцов, при отдельной, всегда работающей электростанции. Огромные тарелки локаторов ловят для жителей Гнезда сигналы спутников-надзирателей, спутников-доносчиков. И видит Нюрочка нарядное, сытое веселье, и плоские телевизоры с холёными выпуклыми лицами новых земных господ, не стесняющихся своей холёности в мире, разрушенном ими. “Звери, — окликает их Нюрочка, горюя. — Звери, отчего вам дана такая власть над нами?”

Она смотрит сверху — и не знает, что эти души не умеют слышать того, в чём нет для них земной выгоды. Души новых земных господ немые и глухие. И они не тоскуют по свету небес — им вольготно внизу. Чем хуже народу, тем нарядней, тем роскошней их наглая жизнь. А чем хуже народу, тем он выше и выше новых господ — и тем дальше от них: лишь плотное небо вынужденного греха не пускает его к свету надземному. Нет этим людям жизни на земле, нет им и пути на самый светлый верх, а меж смертью и жизнью, как меж небом и землёю, голодно пребывать, зябко. Томятся, жалуется души спящих — и не видят спасенья ниоткуда.

Но гуляет и привычно веселится нарядное Гнездо, утопающее в сиянии искусственного обильного света. И высокие бокалы с гранатовым соком — тёмным, как живая кровь, и густым, как живая кровь, — сияют на их столах. И сияют пресыщенностью улыбки новых земных господ на плоских экранах, сбивающих свой наркотический коктейль из цветных точек — неустанно смешивающих в своём мерцании Запад с Востоком, Восток с Западом в одно дикое, рябое месиво, в котором становится всё больше красного, багрового, тёмного. Пиру пир! Пылают красные рты правителей, улыбающихся друг другу с разных континентов. Пиру пир!..

“Разве можно радоваться тому, что вы сделали с нами? — ужасается их торжеству над миром юная мать, спящая под колючими венками. — Разве можно так ликовать вам, посеявшим на огромных безмолвных просторах державы бедность, разруху, страданье? Разве так можно?”

* * *

Души новых земных господ, чуткие лишь к барышу, никогда не услышат того, о чём спрашивает их измученная Нюрочка. Она же зовёт их, и окликает сверху, и спрашивает без всякого толка, в бездонной своей печали: “Звери! Зачем питаетесь вы нашими живыми жизнями?.. Отчего носите вы человеческие обличья?.. Когда же проступит звериный ваш оскал въяве — и ужаснёт всех, и оттолкнёт? Когда?..” Она всё спрашивает и спрашивает их, не просыпаясь, и горюет, потому что видит всех сразу: безвременно, загодя, безнадежно, полуборморочно спящих во мраке — и празднующих праздных, пышно пирующих в обильном электрическом свете, и только не видит Сани. “Ты ведь уже родился, я помню, — ищет всюду она своего младенца. — Где ты?.. Как жалко, что ты родился”.

Она зовёт Санию и жалеет его — за то, что трудно он выбирался в мир людей; безуспешно и трудно. Из-за малокровья Нюрочкино тело оказалось способным только на слабую родовую деятельность. И Саня уже задыхался, когда ей сделали кесарево сечение. Значит, его прошлое только боль и страх

рождения. То есть страх смерти... У неё даже швы не зажили толком. А от малокровия нужно много гулять под счастливым, ярким солнцем. И пить гранатовый сок. Тёмный, как живая кровь, и густой, как живая кровь, он, чудодейственный и богоданный, восстанавливает самые большие человеческие кровопотери... Но это — дорогой сок. И потому его нет в Столбцах. Покупателей хорошего товара здесь найти трудно. А гулять без дела Нюрочке совсем, совсем было некогда, тем более что и солнца давно уж нет никакого: плотное небо вынужденного греха висит над Столбцами...

Бедный Саня, народившийся недавно, не озяб ли он? И как Нюрочке отыскать своё дитя в огромном стынущем пространстве ночи? Ночь бедных черна, холодна и необъятна, конца ей не видно.

“Ты не во мне, Саня... Ты исторгнут, вытолкнут, выброшен в страшный мир, одинокий мой. Теперь мне труднее сберечь тебя. Сберегу ли? Не знаю... Как жить нам порознь, Саня? Где мне взять сил, чтобы и теперь укутать тебя собою?.. Нами правят звери, не знающие жалости и сострадания. Они поглощают наши жизни. Из высоких своих бокалов они допьют наши жизни и души до конца, словно густой сок, самый дорогой и тёмный. Тёмный, как человеческая кровь. Кто остановит их, поглощающих жизни миллионов людей?.. Саня, крохотный мой, где ты?”

Давно пришедший в упадок, отрезанный небрежным делением границ от России, бесхозный тот городишко кажется Нюрочке лишь стадом разбредшихся и замерших корпусов, вразнобой прижавшихся к юго-восточным отрогам Уральских гор. Она ищет Саню повсюду, но только видит студёный ветер, метущий позёмку с пылью, волну за волной, видит души спящих от печали — и видит скучные остывшие века, которые стелятся понизу: они прах и жизнь — жизнь, и прах, и вечное равнодушное движение... В эпоху разлома империй не дай вам Бог жить на пограничных окраинах национальных материков.

* * *

...Из южных народов никто и никогда не стремился обосноваться тут для осёдлой жизни. Даже на летнее зелёное пастбище сюда не пригоняло скот ни одно из азиатских племён. Всё, всё здесь было слишком необычным для кочевников. Уже в месяце шилде — в самую макушку лета — травы в этих лощинах выгорали дочиства. И сквозь корявые сухие корневища проглядывала странная горячая земля — розовая, будто кожа заболевшего младенца.

Эта негодная местность считалась у тюрков Воротами ветра, а ветры зарождаются и вертятся духами опасными, непонятными. И лучше проскакать через вихревые Ворота половину суток без передышки, пришпоривая утомившегося коня, но не останавливаться здесь даже на краткий привал. Не стоило спешиваться для отдыха на воспалённую нежную землю, не следовало пить воду из мелких её озёр — то малиновых, то жёлтых, а то изумрудно-зелёных. Нельзя было любоваться ими и подолгу стоять на одном месте, будь то жаркое лето с ветром знобящим, окатывающим путника с неба, как ледяной водопад, — будь то зима, закручивающая снежные вихревые столбы до самого неба.

Высокие выюги, опасно раскачивающие звёздный ковш, опадали в Воротам ветра лишь весной и долго ещё потом бесшумно стлались понизу, пока не превращались в талую цветную воду — малиновую, жёлтую, изумрудную...

* * *

Но Столбцами именовалась только старая часть городишка — издавна так называлось небольшое поселенье русских степняков, живших здесь с незапамятных времён. Скот, который они разводили, был мелким и неказистым, а шаткие постройки для его содержания строились из вязанок камыша, обмазанных глиной с коровьим свежим помётом. Бывало, что осенней порой

степняки втыкали в глину тонкие саженцы тополей, неведомо откуда привезённые. Те хорошо приживались и даже вырастали необычайно сильными в два лета. Однако уже к третьей осени вместо молодых деревьев торчали в розовой степи, лаково блестящей от холодных дождей, только чёрные их остовы.

Человеческий век этих поселенцев был короче обычного. Но и за быстротечную свою жизнь уставали эти люди отражать, из поколения в поколение, набеги диких кипчакских всадников, бесприютных и жестоких, как здешние ветры.

Позже Столбцы грабили низкорослые киргизские орды, умевшие просачиваться сквозь Кокандскую линию крепостей, и рослые воинственные адаевцы, кочевавшие в Прикаспийской полупустынной низменности с древних времён. Забираясь так далеко на северо-восток, раскосые и плосколицые никогда не обретали тут большой наживы. Даже в средние века они понапрасну отвлекались от большого Шёлкового пути с его тяжёлыми караванами. И хоть уже совсем не часто двигались в ту пору по глубоким степным колеям скрипучие повозки с бухарскими шелками и пряностями, однако удачная многодневная засада могла ещё принести разбойникам вдоволь верблюжьего мяса, не считая тюков диковинного товара.

Понять, что влекло грабителей в холодные далёкие края — опрятные, но не богатые, — совершенно невозможно поныне. И удачно отбитый у русских степняков пяток низкорослых косматых коров, странно смахивающих на коз, не стоил таких трудных переходов: в обход казачьих кордонов, постреливающих с самарской стороны, или через пустынные пространственные степи нищих каракесеков — бесприютных бродяг, вылавливающих силками сусликов и барсуков, а зимою впадающих в спячку по глиняным норам, похожим на берлоги.

Военная добыча съедалась адаевцами на обратном стремительном пути, за пределами гиблых земель, в один присест, да и то если грабителей не настигала погоня. Но бездумное круженье во времени и шальная маета неусидчивых племён, норовящих схватить не важно что и раствориться в дали, снова гнала их пуще плети на русские рогатины, вилы, ножи и ружья. И не было уж ни сил, ни времени у жителей Столбцов, чтобы перебраться ближе к городам, а если кто и отравился от сородичей, то возвращался вскоре тусклый, с покорёженной душой, да и говорил прочим для науки навсегда обесцветенным голосом: “Нет, братцы, столицы не про нас — там ещё моде на немцев конца не видать... Иноземное всё прибывает, а русское изгоняется, — прячется оно по самым глухим местам, хоронится по лесам, болотам, лощинам и живо бывает одною нуждой да старым обычаем. А где вы найдёте место глуше нашего? Потому и будет оно для нас понадежней всего”.

И уж который век в Столбцах самые жестокие и справедливые дети наказывали провинившихся малышей “московью”. Кто-нибудь рослый поднимал шалуна за голову, прижав ладони к его ушам. А когда ноги виноватого отрывались от земли, то карательные жёсткие пальцы за одни только багровеющие уши держали проказника в воздухе, всё выше подтягивая и подтягивая их: “Видал Москву? Видал?” “Вида-а-ал!” — орал от несусветной боли провинившийся, давясь слезами. “Видал! Ой, видал...” Тогда прощали его, утирающего сопли ладошкой: “То-то! Будешь знать, как безобразить”. И ставили на место.

Правда, время от времени кое-кто из Столбцов пробирался всё же далеко на юг, через раскалённые мёртвые пески, к семиреченским казакам, в края барбарисовые, яблочные, солнечно-медовые. Другие уходили на Пресновскую казачью линию, к востоку, скрывающему тайну благословенного Беловодья за курящимися поднебесными вершинами гор. Третьи добирались до ящичких прибрежных станиц, ежевичных, икряных, осетровых...

Но пришлых людей не жаловали ни тут, ни там, хоть и принимали иногда в батраки, на тяжёлые поганые работы. И слишком, слишком долгими бывали такие переезды для семейных повозок. Так что отрывался от Столбцов лишь какой-нибудь порченный шалопутный парень, хлебнувший любовной отравы, угрюмый книжник, не нашедший истины меж строк, закапан-

ных свечным воском, да истосковавшийся по лучшей доле бездетный бо-быль... К тому ж пограничье, восточное, западное, южное, спокойной жизни не сулило никому, а дремучий лесной север был ничуть не лучше Столбцов. Здесь азиат налетит — но умчится он восояси от гиблого места подальше. Там же изведёт не урядник местный, так ростовщик-живодёр, городской судья — суконное рыло иль напудренный голштинский голощёкий купец.

* * *

Однако кровавая советская заря усмирила всех — и русских степняков, и отважных казаков, и стремительных адаевцев; она обагрила полукочевой этот край до самого Каспия солёной яркой влагой. Идея беспощадного равенства надвинулась с запада на народы, истребляя в них всё самое сильное, а значит, готовое к сопротивленью. Но если бы здесь царило неукоснительное равенство, то на народы надвинулась бы тогда идея беспощадного неравенства: дело было не в идее, а только в жгучем желании переворота того, что уже есть. Самое сильное — то есть готовое к сопротивленью — уничтожалось бы и тогда с тем же упорным коварством. Люди, больные этим желаньем, не терпят реальности — они загоняют себя и других в мир своих странных рябых грёз, которые не осуществляются до конца никогда, поскольку сменяются новыми, ещё более несбыточными.

Но бесчисленные человеческие жертвы Великой Красной Прелести были, наконец, принесены. И, равно обессилев, присмирив и оробев, уцелевшие отребья самостоятельных когда-то родов, русских и азиатских, принялись безропотно созидать то, что приказывали им уполномоченные — пришлые звинченные люди с наганами, дуреющие от страха перед попраным старым и перед призрачным новым. Выжившему отребью предстояло в панически короткие сроки овеществить для уполномоченных призрачное — здесь, в азиатской России, здесь — в русской Азии. Так при строительстве горно-обогачительного комбината вокруг Столбцов образовался городок — и даже разросся позже, когда поблизости, в сотне километров, рядом с бокситами обнаружился уран.

* * *

Молодая Санина мать, спящая под могильными венками, не слышит, как поскрипывает во тьме детская коляска, и уже не помнит о душах спящих — и о душах празднующих не помнит тоже. Нюрочка старается понять, даётся ли ребёнку выбор — когда ему родиться, где и у кого. И так важно, так необходимо ей это понять сейчас, что она старается произнести слова вслух — не может, и снова старается:

“Тшшш. Тихо, тихо, милый. Ты сам захотел родиться у нас?.. Пока не стал ты взрослым и не забыл, скажи мне: ты — знал, что для рожденья будет тебе тогда отведено только это убогое место на Земле? И ты согласился на него?.. Ответ же, Саня, был ли у тебя выбор?!”

Если был, то что же ты наделал, Саня, бедный мой. Что ты наделал!..”

Давно пришедший в упадок, бесхозный городишко кажется ей в ночи только стадом разбредшихся и замерших корпусов, вразнойбой прижавшихся к плоским отрогам гор. И она улыбается горестно во сне от щемящей жалости, не видя сына, но чувствуя его присутствие где-то рядом.

“...Конечно, тогда меня ты выбрал правильно, Саня. Потому что любить тебя, как я, никто на Земле не смог бы и не сумел бы во все другие времена... Может быть, ты поджидал долго, веками и тысячелетьями, когда появлюсь на свете я, и вырасту, и когда тебе можно будет наконец-то оказаться во мне, и развиться, и запроситься на свет?.. Может быть, ты так сильно захотел родиться именно у меня, что согласился и на время это, и на этот город?..”

Если это твой выбор, маленький мой, то как же сильно ты любил меня,

Саня, ещё до своего рожденья! Но... разве можно было решиться на рожденье в это время — и в этом краю?!

Смотри: наш город почти разрушен — он кажется только стадом разбредшихся и замерших корпусов. В нём запустенье, мрак и нужда, в нём — тревожная дрема и лихорадочный труд, не приносящий радости... Здесь даже стрелка компаса не знает своего спокойного положения и маяется. Она мечется, путая север с востоком, юг — с западом. Здесь всё неустойчиво, Саня, и люди предчувствуют, что не долго они протянут на этом свете. Поэтому им надо быстро жениться, быстро выйти замуж, быстро дать потомство. А теперь прибавилась новая напасть: здесь мы уже, впервые, люди без Родины, Саня! Она исторгла, выбросила, вытолкнула нас из себя странным делением границ...

Ты, верно, не захотел родиться у нарядных людей, правящих миром вещей. Ты родился у нас. У меня и Ивана. Но... что ты наделал, Саня?! Если у тебя был выбор, то что же ты, бедный, натворил?!”

И снова не понимает юная Нюрочка, отчего и как это происходит — что жизнь, дремлющая веками в небытии, вдруг начинает пробиваться к свету в столь неуточный миг. “Зачем — у нас, не имеющих возможности правильно, хорошо жить? Зачем — здесь?!”

Крошечный Саня. Ты не испугался того, что это будут Столбцы... Какой ты храбрый мальчик! Какой же ты храбрый...

Теперь ты здесь.

Прости меня, что я оказалась здесь...

Но другого места не нашлось для меня на земле”.

* * *

Молодой бандит с сизыми кулаками, литыми, словно пудовые гири, не расхаживает этой ночью по низкому барачному коридору. И лучше было бы всем, если б он не приезжал сюда вовсе со своими подарками, никогда, никогда. Но беспутный широкомордый внук почтенного Жореса появляется у деда в комнате то и дело. Подъезжает на иностранной чёрной машине, похожей на огромную резиновую блестящую калошу, выбирается с бархатного красного автомобильного сиденья. Он тащит к столу старика увесистую телячью ляжку и нарезает мясо своим странным ножом, выскакивающим из металлической рамки мгновенным, непонятным образом бесшумно.

Спит и не спит старый Жорес. И видит снова минувшее — как внук укладывает в холодильник “Саратов” тяжёлые куски, заботясь о старике. А старик не знает, что делать с этой молодой говядиной, пахнувшей кровью. Да, кровью, сухой вольной полынью и терпким потом неведомых степных людей, привыкших выращивать и выхаживать свой скот в бесконечных трудах и заботах — там, за дальними холмами, убегающими под кромку небес.

Долетают до старого Жореса слухи о том, что разбойничают молодые безобразники в степи, угоняя коров и лошадей, как в дикие времена. Ворованным кажется старому Жоресу это мясо, вот что! Но внук только смеётся и не отвечает прямо на вопросы старика.

— Где брал? — переспрашивает он, скаля острые зубы. — Везде брал!.. Ладно, ладно, пошутил я: купил тебе, ешь...

Крутит при этом бандит своей крупной и тёмной, как чугуна, башкой, прислушивается: тут ли муж хорошенькой белокожей соседки. И зря думает он, что дед плохо слышит, когда подхватывается этот старший его внук, складывает бесшумно свой нож-рамку и устремляется в коридор, на шум топчущих женских шагов.

* * *

Совсем не гасит время былого. Витают, кружат, будто мухи, в спящем тёмном бараке назойливые слова бандита, подбирающегося к белокожей мо-

лодце — к той, у которой лицо, и плечи, и колени словно намазаны сметаной: так сияют они бледностью и чистотой.

— Деньги надо? — задыхается, шепчет его старший внук в коридорном полумраке прошлого. — Бери, когда захочешь. У меня на кармане всегда они есть для тебя. Все бабы деньги любят. Сколько надо? Проси! Много проси. Не стесняйся...

Отбивается белокожая молодлица, и сердится, и ругается тяжёлыми мужскими словами через силу, будто ворочает в одиночку корявые каменные глыбы, воздвигая преграду перед собою. Кричит она бандиту про своего ребёнка, которого надо кормить грудью, про мужа, который вот-вот вернётся домой, и тем пуще злит безобразника.

— Почему такая грубая? — вкрадчиво шепчет внук-бандит в коридоре. — Ай, как не хорошо ругаться красивой женщине... Нервничаешь, да? Зачем столько стираешь? Семья твоя не стоит одного моего плевка. Зачем работаешь на них? На мужа, сына? Руки у тебя жёсткие сделались, как у старухи. Тыфу! Пальцы стали сухие, как прутья. Он что, твой ребёнок, божок, что ли, какой-то? Если это маленький бог, то ему надо на небо. Вон туда!.. Так ведь у вас положено, по вашему закону?

И ещё говорит, смеясь, внук почтенного:

— Ладно, не бойся меня, живи пока. И твой муж, белобрый заяц, пускай поживёт ещё немного. Фамилия у него Бирюков, но он никакой не волк — только заяц с дрожащим коротким хвостом! А когда старую урановую шахту возьмёт мой хозяин, пойдёшь туда со своим русаком зарабатывать деньги, если мои тебе не нужны. В долгах запутается твой заяц Бирюков до самых ушей, отвечаю! В тюрьме окажется! Наши люди везде! Напишут счета, по которым вам не расплатиться. Посадят они, кого надо и когда надо... Стой, не торопись! Все знают: твой белобрый зайчишка-русак с волчьей фамилией разводит спирт розовой марганцовочной водой в детском корыте. А когда коричневый осадок уляжется на дно, разливает свою палёную водку в бутылки, собранные на свалке. За такую торговлю по вашему многобожному закону положено ему в ад, в урановый ад! Правильный закон. Туда он и пойдёт, белобрый... Но твой маленький божок ещё не нагрешил. Пускай он летит в рай! Не задерживается здесь, на нашей земле. Она теперь наша, только наша, слыхала? Мой брат-наркоман скоро поможет ему взлететь туда... Опять ругаешься плохими словами? Никуда не денешься, сговорчивая станешь. Знаешь сама: между адом и раем твоё место. А здесь самый сильный — я. Сильней меня один только мой хозяин, Рыжий Рубин, слыхала?.. После себя, правда, я обещал передать тебя своему брату, но точного решения ещё не принял... Ну, хорошо, хорошо! Иди! Расти своего выродка, пока он не улетел. Пока не упорхнул с земли, от тебя... Грудь только зря портишь, кормишь напрасно его, волчонка... Ладно. Я добрый, разрешаю... Покладистая будешь, вежливая будешь, хорошая со мной, тогда, может, и усыновлю маленького твоего Бирюкова. А нет — сама знаешь..."

Все эти старые, назойливые слова бандита никак не выветриваются из барака — чёрные, как мухи, они роятся здесь, рядом с дремлющим стариком, копят день ото дня. Старые мухи-слова мечутся из угла в угол. И белая бабочка дрёмы боится их, пропадает куда-то...

* * *

Снежная позёмка змеится за стенами барака. Вьющиеся языки её лизжут в темноте постаревшую от стужи землю. Зачем старому Жоресу, прихрамывая, подходить к окну барака и всматриваться в черноту ночи, держась за поясницу? Он и без того знает, что поздняя облезлая осень бежит стремглав из Столбцов на юг, будто паршивая кошка. Да, будто паршивая бездомная кошка, которая пробралась в чужой двор и похозяйничала немного украдкой. А из России накатывает быстрые волны собачьей стужи молодая бледная зима. И сквозь старческую расслабленность чувствует почтенный: вершится сей час и миг в природе таинство перемены.

Хорошо, что не ночует нынче в бараке, на мягкой подстилке, его постылый внук, храпящий в темноте, будто взнузданный жеребец. Схватил, сорвал куртку с вешалки и пропал где-то в ночи после того, как огрел его старик своим сучковатым тяжёлым посохом и раз, и другой, и третий. Священная Сура велит побивать каждого прелюбодея сотней ударов, но где взять старому Жоресу столько сил, если от пяти ударов он изнемог совсем и зашатался, и сердце его подкатилось к горлу?

Чужая кровь течёт в жилах его внуков, и старшего, и младшего, — кровь снохи-продавщицы. О, дрянная порода торгашей, будь она неладна! И пусть Жореса расшибёт паралич, а только не нужны они оба здесь! Ни бандит котлоголовый с его тёмными кулаками, ни вялый наркоман, тощий, как оглобля. Пускай живут эти внуки со своей склочной матерью или где ещё...

Неужели не заслужил старик покоя на старости лет? Вот и ворочайся, и вздыхай теперь, и прислушивайся к шорохам во тьме, и слушай слова ублюдка, давно прозвучавшие, но витающие тут. Ничем не вытравить их из барака...

— Покорная станешь! Куда ты денешься? Научишься ноги мне целовать, сивая дрянь. Дрянь, потому что скоро ты будешь делать всё, что тебе прикажу, лишь бы я не тронул твоего слабого волчонка-сосунка... И муж твой ещё живой, пока ты не разозлила меня окончательно. Он живой сегодня, потому что я добрый — сегодня. А завтра другой буду. Какой? Сама увидишь. Завтра.

...Но чу! Дурное вкрадчивое бормотанье сливается с молчаливой тьмою, поглощается, съедается ею. И белая бабочка сна вновь появляется откуда-то. Она опять уводит за собой сознание старика, ничего не проясняя, только запутывая всё нитями белыми, лёгкими. Мельтешит мелкая бабочка перед внутренним взором, вьётся, уводит старика на самую вершину сна, прозрачного, зыбкого. Там, на высоте сна, перехватывает у старика дыханье. Сердце спящего дрожит, будто хвост ничтожной птицы трясогузки — или будто звон самой тонкой на домбре струны, которая никак, никак не лопнет от немислимого своего напряжения.

Давно надо бы старику свалиться с вершины сна вниз, в подземный покой. Безмолвная земля — колыбель стариков, скоро ли примет она Жореса?

* * *

Эта студёная ночь великой перемены, начавшаяся слишком рано — и слишком рано угомонившая всех, уже осыпала колочую крупу с небес. Подхватываемая чёрным ветром, снежная пороша закипала у самой земли, свивалась и вздымалась уже до окон первых этажей, хлётко постукивая в мёртвые стёкла. Однако, улёгшаяся на плоские крыши домов, она не срывалась ни малейшим дуновеньем. И поверху городишко потихоньку укрывался белыми пеленами. Но сверху он не виден был никому из людей, лежащих во тьме, по своим постелям, в клетках остывающих жилищ. И только видны были все квадраты крыш Нюрочке, ищущей своего младенца — и не находящей. Младенца же удалось наконец высвободить слабый локоть из тугих пелёнок. Посасывая большой палец, он прислушивался к тишине и ко снам, витающим в этом мире, притихшем и тёмном.

Сон материнский витал над ним, сообщая младенцу тревогу привычную, но спасительную — отгоняющую далеко в коридор всё самое страшное, кошмарное, огромное. Отцовского же сна не было в мире этой тёмной ночью. И потому в комнате двигались холодные пустые смелые тени, жавшиеся обычно по углам. Они, боящиеся только мужского широкого дыханья, маячили теперь совсем рядом с младенцем. Но материнская слепая тревога была такой сильной, что тени всё же не приближались вплотную к поскрипывающей коляске, только охладили младенца тоской. От перемещения осмелевших теней долетало дуновенье слабое, ускользящее...

Зато в соседней комнате барака стремительно расцветал сон радостный и странный. И хорошо, что он разворачивался там, за стеною, потому что всё слишком яркое и слишком резкое пугало Саню ещё больше, чем пугают детей холодные пустые безмолвные тени, которые смеются и приближаются к младенцам ночами, когда рядом нет отцов.

* * *

Самый счастливый сон в Столбцах снился в это время бывшей учительнице Сталине Тарасовне, или по-теперешнему — Тарасевне, морщинистой и шустрой. Даже под тяжёлым одеялом она спала в позе бегущей стремглав старухи — выбросив руки вперёд, к желанной цели, и широко улыбаясь во тьме беззубым ртом: Тарасевне снилось, что её убили.

Всего неделю назад ей удалось устроиться сторожем на автозаправку — дежурить через двое суток на третьи. И она тогда ещё сразу всё сообразила и прикинула: теперь хорошо бы ей помереть на новой этой службе, и лучше всего — от бандитского мгновенного выстрела. Тут тебе и смерть лёгкая, и похороны за счёт производства! А замужней дочери её Галине — пригожей фельдшернице, живущей на другом конце города, уж не придётся ухаживать за нею, хворающей какой-нибудь вонючей старушечьей бесконечной болезнью. И главное — искать деньги на Тарасевнины похороны не надо будет уж никому!

Сослуживцы дочери сами получали зарплаты крошечные, нищенские и не часто. А зять Тарасевны был всего-навсего безработный инженер Кореvко из давно прикрытого научно-исследовательского института. Сбегает Тарасевна к дочери в гости — и разругается из-за него со всеми. Прикрикнет на Кореvку, подтирающего пол или моющего посуду:

— Что же ты несподручный какой, что и в грузчики тебя не берут? Эх, инженер! В неурочный час ты, видно, заделанный!

Тот скажет ей сущую ерунду, не прерывая домашней своей работы:

— Нынче вокзальная бригада не подпустила чужих к своему заработку. Зато я шашлычнику гору лука начистил. Он майонезом расплатился, мама...

Нацепит Тарасевна тусклые очки в коричневой тонкой оправе, треснувшей на переносице от решения особо трудной задачи по физике. Не поленился — глянет: так и есть. Майонез просроченный. Как сама её жизнь.

— Прогорк! Ой, прогорк... И дочки у вас нарядов не видали! И чай вы без заварки пьёте. Угостили мать-старуху голым кипятком, уважили!

А пригожая Галя её сведёт рисованные брови к переносице и перестанет распускать на нитки старую кофту. Бросит клубок на пол, словно мячик в детстве своём. Гладкое лицо её потемнеет, набрякнет обидой, как туча, готовая пролиться:

— Девочки опрятные ходят. Ну, что нам теперь, в петлю лезть?

После таких слов Тарасевна очки надтреснутые решительно поправляет — и кричит уж надтреснутым тонким голосом, с напевным жалобным подвыванием:

— Разве же я для постной жизни тебя, сдобную, нежную, учила-растила? Чтобы ты на всю семью одна зарабатывала, как вдовая страхолудина, которая с детьми на руках осталась, ненужная никому? Я же для тебя работала в две смены и, кроме физики, ещё начальные классы прихватывала себе! Наживала варикоз, с утра до ночи на ногах, пока ты дома вышивала на пяльцах сирень, жасмин и чайную розу нитками мулине, шёлковыми, мной купленными... И когда анатомию ты учила, то белыми пальчиками только странички переворачивала страшные, со скелетами, да карамельки посасывала разные, на выбор. А кто тебе стирал и гладил? Кто готовил? Не я ли? Для твоего счастья, Галина... А как я учеников муштровала? Мой троечник за пятёрочника в институт принимался!.. И политинформации проводила я — стоя, тридцать лет кряду: авторитет свой укрепляла в школе, для надёжности, чтоб двух ставок, двух зарплат меня не лишили. Всё — ради дочери единственной... И где оно теперь, твоё счастье? Мой варикоз — он весь при мне. А счастье — где твоё? Где?!

Подбоченится бывало Тарасевна, поглядывая в сторону зятя, окаменевшего над раковиной, а услышит от дочери усталое, равнодушное:

— Живём, как можем. Зачем же нас корить нуждой всякий раз? Разве мы у тебя хоть раз что-нибудь попросили?

— Не попросили они! А для кого я живу?! — топнет от негодования Тарасевна раз и другой. — Для себя?! Я хочу, чтоб у детей ваших судьба была!.. Он почему семью в Россию до сих пор не вывез? Отвечай матери! Столько у него там знакомых профессоров, учёных академиков! И все его хвалили! “Золотая голова, золотая голова”! А что же он никому не нужен оказался? Что же выбраться отсюда никто ему, хорошему мужу твоему, не помог? Тебя спрашиваю: мы почему застряли здесь, где азиатское всё теперь стало? На веки вечные, не в своей уж стране, приживальцами сделались — так, что ли?

Но только связывает Галя нитки узелками, рвущуюся старую пряжу готовит для вязания:

— Те учёные, мама, в России сами без работы, на хлебе и воде сидят. Себе помочь не могут. За что мне его ругать?

— Мужа ей жалко! Ну, раз не хочешь ты его тормозить, орясину, давайте все впятером пропадать пропадом здесь, в Столбцах! Вторым сортом жить, к чёрной работе привыкать. Только пускай первым он к ней сначала привыкнет! Глава! Он!..

* * *

Нарушившись до звона в ушах, прибежала Тарасевна к себе, приговаривая суматошно: “Чужбина здесь стала! Чужбина!..” Скидывала пальто и шалёнку, надевала поскорее толстый свой чепец. Был он коричневый, в белый мелкий горох, — навроде чепчика детского, только большой и стёганный, на вате, чтоб голова не зябла. Туго завязывала Тарасевна байковые тесёмки под вислыми щеками, становясь похожей то ли на старого лётчика, то ли на морщинистого танкиста, и сразу бралась за дело. Из старых учительских юбок — серых, сизых, дымчатых — шила внучкам платища. Строчила с большою скоростью на старой ножной машинке, стучащей свирепо, как пулемёт. И горевала, притомившись, и шмыгала носом слезливо, и утиралась отрезанным лоскутком, прихваченным с пола: случись чего, належится она, не погребённая старушица, у себя в бараке! На гроб денег не собрать... Пока найдут Коревки, что продать, да пока найдут, кому продать — столько времени пройдёт, что иссохнет учительское бедное тело её до неузнаваемости.

Нет, разорила бы тогда Тарасевна всех близких естественной своей кончиной. И, дожидаясь положенного погребения, закаменела бы тут, в бараке, как распоследняя египетская мумия. А теперь выгода получалась преогромная, со всех сторон: и заработок её к дочкиным копейкам прибавлялся, и будущее открывалось замечательное: автозаправку грабили часто.

Похороны потом устраивали очень хорошие — без оркестра, но с поминками в полуподвальной столовой. Кормили вернувшихся с кладбища винегретом, лапшой на постном масле и жареным палтусом или хеком: всё — за счёт производства. И по стопочке даже наливали каждому, всё ещё живому, сослуживцу, не говоря уж о рюмке, накрытой хлебушком, поставленной ещё одной душе, выбившей только что благопристойно из трудового коллектива... Благопристойно, непостыдно...

Тарасевну как раз и взяли в сторожа вместо убитого старичка, тоже устроившегося туда недавно по большому благу.

* * *

Счастье пришло, откуда не ждали. Вспомнил про беспощадную Сталину Тарасовну самый бестолковый её ученик из начальных классов, сделавшийся вдруг самым важным местным депутатом! Похлопотал... И знай она про такое благодеяние наперёд, ни одной сердитой красной записи в дневник Та-

расевна ему бы в своё время не внесла. И не кричала бы на него, размахивая деревянной указкой:

— Если у вас в семье не говорят на русском, читай больше! Учи русский язык, лодырь! Как ты без него жить думаешь?! На обочине жизни остаться хочешь?! Предупреждаю: не возьмёшься за ум — закончишь ты свою жизнь в сторожах!..

Как же виновата она перед балбесом-то этим, перед благодетелем нынешним! А он, особенно часто ругаемый Тарасевной за полное неумение ставить знаки препинания, начал с того, что устранил имена Пушкина и Достоевского из названий всех школ и улиц в Столбцах и уже готов был сместить самого редактора местной газеты, требуя, чтобы называлась она отныне грозно и непримиримо: “Золотая орда”... Однако “чемодан, вокзал, Россия” никогда с трибуны старожилам Столбцов депутат не говорил: хорошее обучение сказывалось всё же. И ещё целый набор передников подарил Тарасевне — синих, цвета школьных тех тетрадей, в которые ставила она ему двойки, двойки, двойки. И на каждом переднике, посередине, красуется огромный полукруглый белый карман. А на кармане — большущий знак препинания. Красный, ворсистый — словно плюшевый, только пожиже...

Благодарная Тарасевна, кособочась от виноватости, уже появлялась в общем коридоре и с огромной запятой на животе, и с двоеочием выходила, и с подаренными кавычками прохаживалась. И всё местное высокое начальство расхвалила она перед озадаченными соседями трижды или даже четырёхжды:

— Вы подумайте: разве тут — как на Кавказе? — разводила руками Тарасевна. — Нет, в Столбцах русским животы не испаривают! Ценить надо, что ещё не трогают нас и жить нам дают. Сдерживают власти большую резню, который год сдерживают! В ноги мы им, властям, за это должны кланяться, вот что!..

А знак восклицательный Тарасевна бережёт для особого, праздничного случая. Но он пока не наступает.

* * *

...Во сне же, этой ночью, старая учительница рада-радехонька была, что грабитель заявился на автозаправку не с тяжёлой кувалдой и не с грязной монтировкой, а с благородным пистолетом, отливающим чистой нержавеющейкой. И застрелил её совсем не больно, как она того и хотела. И выстрел прозвучал такой тихий, такой задушевный — пу! И всё... Только вот мёртвой лежать Тарасевне немножко неудобно. А позу менять уже поздно. И она всё же постанывала во сне, хотя ей теперь, мёртвой, этого не полагалось.

— Бабуля, бабулечка, что ты?

— А?! Кто здесь?! — внезапно ожила Тарасевна — и растерялась. — Где я?.. Холод какой. Темень везде...

— Тебя крестным знаменем ограждать? Давай, бабуля, огражу. С четырёх сторон.

Вглядываясь в чёрное окно с оторопью, Тарасевна рывком ослабляет тесёмки байкового чепца и вспоминает, наконец, что у неё ночует внучка — отличница, былинка, помощница заботливая, старшенькая. Тарасевна сама же её из церковной воскресной школы забирала!

— Как ты меня оградишь, Полина, если я всю жизнь детей учила тому, что Бога...

Тарасевна собралась было заплакать — тоненько, отдохновенно, — но озаботилась прежде слёз:

— Не стой на полу! Вон как от окна холодом тянет и снегом пахнет. Стужа большая идёт! Ложись... Я что же, кричала? Или храпела?.. Вскрапнула, видно...

— Нет, — Полина вернулась на скрипучий диван, она возилась во тьме, укрываясь. — Нет. Ты только мычала сильно. Вот так: “м-м-ма, м-м-ма, ма-ма...”

— А-а. Ну и ладно. Матушку покойную звала... Это я чепец туто завязала, шею себе сдавила, поэтому. Спи, милая, — вздыхает Тарасевна, неубитая и разочарованная оттого. — Хоть бы к утру свет дали. А то и плитку не включить. Вот умные люди давно себе буржуйки в квартирах поставили, у кого в семье мужики есть! А у нас — всё не как у людей...

Укладываясь удобней, она меняет позу стремительно бегущей старухи, прорвавшейся наконец-то к своему главному в жизни, заветному счастью, на позу старухи скукоженной и покорной всем, всем жизненным обстоятельствам.

— Спи, — бормочет Тарасевна, печально ощущывая языком пеньки разрушенных зубов. — Ничего не поделаешь, пожить придётся. Хорошо бы — до полочки, а потом и к матушке можно. Износилась я вся. Пора... Мне бы только не сплеховать: главное, чтоб не дома!.. А если дома брякнушь, как дурочка, то и не оплатят ничего... Надо, чтоб — на производстве...

— Бабуль, ты про что?

— Да так это я, — позёвывает старуха. — Про чинный конец. Про благородный. Ты не поймёшь пока.

— Мне для этого до твоих лет надо дожить?

— Ох, надо, Полина! При советской власти ты бы дожила, а теперь — даже не знаю... Молись! У нас Бога не было, а у вас Он есть. Может, пожалеет.

— Я молось, — отвечала девочка смущённо. — За всех людей. За тебя тоже. За рабу Божию Сталину...

— А за меня зачем?! — пугается Тарасевна — и крестится неумело со страха. — Намолишь мне сто лет жизни, я их разве осилю?.. За мать молись, за сестру, за себя. А за меня — брось. Не смей! Слышишь?.. И за Коревку, за отца своего, не больно-то старайся. Разве что в последнюю очередь. В распоследнюю даже.

* * *

Старуха ещё долго ворчала, прислушиваясь к тихому, осторожному дыханию внучки, и всё не могла остановиться.

— В молитвах тоже, наверно, порядок должен быть, — рассуждала она, подтягивая ватное одеяло и подтыкая его под себя с разных сторон. — А без разбора поклоны класть — разве можно? Вот был бы твой отец... сантехник! Они всегда при деле, при заработке. За сантехника чего же не помолиться? За шофёра — тоже можно. А за тех, у кого одни открытия на уме... Да пёс с ними, с дармоедами! Перебьются. Они денег-то не заработали, учёные эти, а молитв дочерних — уж и подавно. Не заслужили!.. Пустобрёхи. Тьфу на них...

Собой же Тарасевна и сейчас очень довольна: живётся ей хлопотно, зябко, знобко, но выгодно чрезвычайно. Тело у неё усохшее, лёгкое, волосёнки на макушке, под чепцом, совсем редкие, мыльца при мытье на Тарасевну уходит самая малость. И чай она беречь умеет. Выплёскивает сшитую заварку в трёхлитровую банку на окне, одну щепотку сахара добавляет — для пропитания чайного гриба, разросшегося на дне, вот и квас дешёвый у неё под чёрной тряпкой вызревает... Гриб противный, конечно, осклизлый весь, а квас — приятный, ничего. Не затратный, главное...

И пищи Тарасевне требуется не больше, чем кошке. Однако ж и суетится она, и пользу всем, всем приносит... А как вспомнит она про рослого безработного своего зятя, да как представит всё его обширное нутро, требующее каждодневного питания! Стоит он, Коревко, пред мысленным её взором, будто картинка из учебника анатомии, в разрезе: это сколько же всего надо купить в продуктовом магазине, чтобы заполнить такой никчёмный агрегат! Сколько всего надо кинуть в эту топку для внутреннего сгорания, чтобы Коревко задвигал ручищами своими и ножищами! Страшно подумать...

И вот он двигает своими ручищами, которые не из того места растут, и ножищи переставляет, а тепло его человеческое расходуется впустую: на

никому не нужные формулы. Бестолковая утечка тепла в окружающее пространство происходит!..

И площадь тела у зятя преогромная. Таковую малой одеждой не прикроешь, а расход моющих средств какой?.. На одну только его гриву шампуня не напасёшься. Ну, хоть бы стригся наголо, что ли! Нет, никак не соглашается. “Мне нейдёт!”

Ворочается Тарасевна от досады: какие же есть на свете неэкономичные люди! Хоть плачь...

— Бабуль! Уснуть не можешь?.. Тебе, наверно, хорошее стихотворение послушать хочется?

— А? Ну да... Хочется, спасу нет, — разворачивается Тарасевна на бок, лицом к стенке. — Давай, Полина. Рассказывай. Ничего тут, видно, не поделаешь...

* * *

— “Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, — звенит в холодной тьме голосок трепетный, светлый. — Торопливо не свивает долговечного гнезда...”

— Ох!.. Не свивает, — бормочет в стенку Тарасевна, сокрушаясь. — Разве только мусорное ведро вынесет. После пятого напоминания.

Нет, в пору повсеместной разрухи зять, конечно, требуется другой: крошечный какой-нибудь, прыткий, ловкий как блоха. Пускай бы и кусачий: ничего. Пускай бы и жуликоватый, лишь бы добытчик он был неуёмный! Что делать, если время такое невозможное настало... А с этим, переученным, разве теперь проживёшь? Разве девчонок в дело выведешь? Нет! Не выведешь: и не на что — и некуда их везти; застряли.

— “...Солнце красное взойдёт, — старательно выговаривает в глухой ночи Полина, — птичка гласу Бога внемлет, встрепенётся и поёт...”

— Вот именно, поёт... Хорошо, хоть не пьёт.

— А ты, бабуля, хотела бы жить, как птичка Божия?

— Я?! — теряется Тарасевна, оборачиваясь. — Ох, Полина, я так и не сумею, наверно... Недостаток у меня есть! Один только он у меня, конечно. Но очень уж крупный! Здоровенный, как башкирская картошка... Противный это недостаток, Полина: мне людей до смерти жалко! Заступаюсь за всех невпопад... Нет, встряну я со своей помощью, где меня и не просит никто... Чтобы петь спокойно, отвернуться ото всех надо! Не получится у меня так, детонька. Сердце не вытерпит. Оно старое стало, как тряпочка ситцевая, изношенная. Разорвётся от жалости к кому-нибудь. Лопнет сразу, вот и будет вся моя птичья песня... Ну, ты читай, читай дальше. Я слушаю.

* * *

Медлительный зять уходит каждый день в просторных резиновых сапогах, в сером куцем плаще, искать работу. Но не находит он ровным счётом ничего, кроме усталости и раздражения — нервного и кожного: портянки из дырявых кухонных полотенец сползают у него от долгой ходьбы, и резина натирает пятку на одной ноге, а на другой набивает мозоль на мизинце. Лезет Коревко своей лапой в домашнюю картонную аптечку, выжимает из тюбика всю мазь, тратит нещадно хорошее лекарство на свои бесполезные конечности... Но даже холодные эти сапоги не доставляют ему неудобства, когда устремляется он к барачной котельной, будто пегух к просу. А вход в котельную — от окошка Тарасевны как раз наискосок. Шторку подними, банку с чайным грибом отодвинь — и видать: он! Бежит по степи, вытаращив учёные свои зенки, красные от недосыпания. Значит, расчёты бесполезные ночью делал, бездельник. Опять формул тетрадку полную навалал. А как дальше жить — на миг не призадумался.

Зять мчится сюда через весь город и через дикий пустырь, чтобы пожить барином возле огромной печи с истопником Василием Амнистиеви-

чем, пить, обжигаясь, лагерный чифирь из алюминиевых кружек и неторопливо рассуждать о древнегреческой какой-нибудь белиберде: вот, мол, Земля породила Уран плодovitый, то есть — Небо. А Небо, точно, будет убито Землёю, если только осуществит свою гнусную научную разработку некий фанатик, скрывающийся в Штатах: этот учёный подлец уже замыслил ядерную бомбардировку Солнца.

Василий Амнистиевич поглаживает седую бороду с важностью: да, картина апокалипсиса весьма на то похожа. Именно — на последствия ядерного взрыва, поражающего Солнце.

— Достаточно будет единичного заряда, — опускает он коричневый обломок от прессованной плитки вьетнамского чая в помятую кружку, — ибо цепная реакция... Цепная реакция на Солнце опередит все последующие удары.

Коревко же потирает от волнения безработные свои руки:

— Спрашивается: как этому противодействовать? Тут возможны любопытные варианты.

— Да. Наука без благородства — зло! — усаживается на табурет истопник. — Политика без благородства — зло! Богатство без благородства... Впрочем, богатство всегда без... Иначе оно не накапливается, а расточается неизбежно на нужды окружающих... М-да!

* * *

Суетясь, Коревко выкладывает на металлический стол кипу бумажек в клетку, исписанных формулами. Василий Амнистиевич достаёт из брезентовой сумки свои прокопчённые, захватанные пальцами, записные книжки. И они, склонив головы, оба тычут пальцами в знаки и синусоиды:

— Если на определённом этапе применить электромагнитное воздействие... Вот, Василий Анисимович: здесь спонтанное деление ядер урана...

— На два осколка... Погодите! А в прошлый раз мы на чём остановились?

— На том, что нет никаких неизменных атомов Демокрита — кирпичиков Вселенной! Все элементарные частицы превращаются одна в другую.

— Ну да, если Вселенная бесконечна, то бесконечна она во всех направлениях: нет пределов в сторону возрастания величин, значит, и пределов дробления мельчайших частиц так же нет. И тут мы немного замешкались, помнится, на нейтрино...

— Именно! На нейтрино, которые кажутся, лишь кажутся, бессмертными.

— Вот-вот, из-за слабого взаимодействия с другими частицами... Так, и что же у нас теперь получается? Понятно... Понятно... Но позвольте, любезный мой друг! Мюоны не могут рождаться дальше считанных миллиметров от оси пучка.

— Нет! Мюоны должны расплодиться! — торжественно провозглашает Коревко. — И даже в нескольких сантиметрах от оси вот что мы будем наблюдать!

— Увы. Будем наблюдать то, что не имеем возможности подтвердить опытным путём...

Однако беспокойная Тарасевна давно уже подглядывает в дверную щель, подслушивает всё это в дырявых сенцах, перетаптываясь в войлочных своих ботах на резиновом ходу и не решаясь войти сразу. Тянет из котельной слабым угарным теплом. И чувствует она, как зря, попусту свищет мимо неё время. Уходит оно без всякого толка, утекает сквозь прорехи меж сенных досок, исчезает в холодном пространстве. И больно ей оттого, что пользы оно слабеющей семье — не приносит: пустое время летит в безбрежную пустоту! В плюс-минус бесконечность...

* * *

— ...Василь Амнистиевич! Ты что же нашего-то привечаешь и не гонишь, дармоеда? У него семья концы с концами не сводит, — врывается она

в прокопчённую каморку с низким кривым окошком, выходящим на гору шлака и сизой золы во дворе. — Ты подумай! Собирался на вокзал, челнокам сумки таскать, а сам... Пускай домой идёт! Хоть ужин семье сварит!.. А ну, вставай! Совесть у тебя есть или нет?..

Коревко поднимается сразу же, сгребает бумаги со стола гигантской своей пятернёю и шапку, связанную Галей из чёрных чулочных ниток, натягивает до носа.

— Я сюда в напарники устроиться хочу, что вы преследуете нас, мама? Вдруг ещё одну ставку истопника выделяют, — хмуро оправдывается он, однако продвигается к выходу поспешно. — Мы как раз вместе усовершенствовали бы процесс выщелачивания урановой руды. Если его вести без продувки кислородом... Ладно, молчу!.. И тем не менее, сухой фтористый водород, мама... Ушёл! Всё! Ушёл!..

Но таких речей оставить без ответа Тарасевна никак не может, потому что в печёнках они у неё давно сидят.

— Какой теперь уран?! — стремглав мчитя она на улицу, следом за Коревкой, ускоряющим огромные свои шажищи. — Протри глаза! Там узкоколейку давно разобрали барыги! И рельсы сдали на металлолом! Какой уран?!

— Не толкайтесь вы, пожалуйста, люди видят, — вяло уворачивается он, неловкий, от мелких её тычков в спину. — Мы всё построим заново. Создадим новую космонавтику!.. Оставьте меня!.. Мы так усилим пробивную мощь боезарядов, что никакая броня агрессора... Как только воссоединимся... Идите к себе! Вы же в смешном головном уборе выскочили!.. Наше будущее потребует от нас большого вклада знаний!.. Учительница, а бегаете у всех на виду, как чумичка. Хоть бы шалью прикрылись, что ли...

— Это ты к себе топай, в плащике-то бродяжьем своём! Нету давно никакой общей страны и не будет уже никогда. Разорвали её номенклатурные выродки, поделили меж собой. И своей доли никто теперь в общий котёл не вернёт. Лучше бы думал, как с ними, с выродками, поладить! Как им угодить!.. — едва поспевая за Коревкой, тихо кричит разгневанная Тарасевна, и подпрыгивает, подпрыгивает на бегу, чтобы стукнуть его в спину как можно больнее острым, злым кулаком. — Эх ты. Ротозей ты, патриот! Патриот, сволочь, измучил! Всю семью нуждой извёл, заморил... Душит вас жизнь, патриотов, душит, никак не передушит...

* * *

Нарочно не выбирает Тарасевна слов, а говорит всю чистую правду. И обижает она Коревку с дальним педагогическим прицелом: в разум, глядишь, войдёт от обиды... Ан нет! Оборачивается, отбивается зять, машет рукавами выгоревшего плаща, как пустопорожняя мельница:

— Всё восстановим! И вот тогда вы, мама, по-другому заговорите... Погодите! Могущество нашей державы рано или поздно начнёт подниматься из руин, ибо у мировой цивилизации нет иного пути развития, как только идти за нами, по пути социализма! И планового ведения народного хозяйства... Да не гонитесь вы! У вас же астма...

— Где ты её видишь, державу?! Куда дальше годить?! Детей твоих кто кормить будет?! Амнистиевичу какая-никакая, а зарплата начисляется, хоть и на бумаге. И от разговоров ваших ущерба ему нет! А у тебя в делах вечный простой!..

— Я шторы с утра стирал!.. И понял, кстати: чтобы получать металлический уран из тетрафторида...

— Чихала я на твой водород! — рассвирепев, снова бьёт его Тарасевна маленьким своим кулаком в серый плащ, меж лопаток. — На тетрафторид — плевала! А на четвёртый фтор — в особенности: харкала, харкала, тьфу! И про космос ничего мне больше не говори! Никогда! Оккупировали твою науку... Высоко мы летали, да низко пали. Американцы в самом Курчатове нынче стоят! В “Надежде” засекреченной они — хозяйева! И Семипа-

латинский полигон весь — их... Мы думаем, он работу простую, для жизни сытой, ищет, а он опять около печки умничает, как не уволенный! Ошивается, где ни попадя...

В общем, надежды на зятя не осталось никакой... То он степень свою защищал, ездил и ездил от семьи, пока границ не было. Потом дома бумагу без толку марал. Школьные тетрадки у детей перетаскал, их шариковые ручки исписал без счёта, последнюю точилку для карандашей вчера сломал! А теперь наладился такие речи вести, будто не Тарасевна в школе проводила свои политинформации из года в год, а он, который и газет-то советских никогда не читал...

Ох. Пустой человек оказался. И не кормилец, и не поилец. Одно слово: Коровко!

— ...Ну, что же ты замолчала, Полина? Слова забыла?

— Нет. Я до конца давно дошла. “В тёплый край, за сине море улетаёт до весны”.

— Вот-вот. А нам и лететь некуда, — вздыхает Тарасевна под одеялом. — Спи... Никто из нас добром отсюда не выберется! Никто. Никогда. Спи... Застрелили мы. Ни дома, ни в гостях...

* * *

Душа Нюрочки теперь далеко от барака. Она мается — от вида степной бесконечной тьмы, темнее которой — только провалы шахт и покинутых карьеров. И мается от широкого, сильного дыхания прошлого — и слабых дуновений будущего. От равнодушия Азии — и от презренья Москвы к соплеменникам, оставленным на милость Азии. Горько, горько Нюрочке, спящей под могильными венками, понимать, что Родина отказалась от них, будто в чём-то они были виноваты перед нею. И вот своя земля стала для них чужбиной. И эта чужбина вынуждена терпеть их присутствие здесь...

“Ещё не рождённого Россия тебя отвергла, Саня. Какую такую опасность ты представлял для неё? И какую опасность представляли мы с Ивановом, если нас только в списки внесли там, на Красных воротах, и ничего не пообещали, даже комнаты в общежитии?.. Никому из нас, Саня, не забыть километровых тех очередей, в которых беженцами признавались все, кроме русских... Мы, Саня, русские, а значит, не нужные никому, нигде... Целые баррикады спешных законов были выдвинуты против нас с тобою, Саня, чтобы назвать нас чужими для России”.

В продуктовом прокуренном магазине, где собирается к вечеру никуда не спешащий народ, говорят, что так нужно было зачем-то пьющему человеку, который влез однажды в Москве на танк и взмахом руки расчленил единый народный организм на беспомощные, кровоточащие обрубки. В Столбцах его называют лишь по кличке — Беспалым, как избегают напрямую именовать нечистую силу или лютого зверя, имеющего мистическую злую власть над людьми. Предшественника его, сокрушившего Берлинскую далёкую стену, ругают в магазине Иудею Меченым. А этого, воздвигшего пятнадцать стен меж своими людьми, — Беспалым, а то и вовсе — никак.

— Хорошо в волейболе кручёные удары брал, — переговариваются в очереди за хлебом инженеры, давно потерявшие работу. — В команде нашей. Помнишь?

— В студенческой... Помню. Как мы ему хлопали. На стадионе. Ладони отбивали... Тогда ещё у нас было будущее. У всех...

И холодны их тусклые взгляды, как у живущих после смерти, и одежда их стара и невзрачна.

— Как же... Игрок! Был и остался. Знать бы тогда наперёд...

— И что? Застрелил бы?

— Мне две буханки... Нет, больше ничего... Всё, только хлеб...

На низком бетонном подоконнике сидят безучастные старики с детскими глазами и дети с глазами стариков. Двигается очередь вдоль старого прилавка ни шатко, ни валко: кончилось время спешки и дел. Пустота впереди, тоска, скука.

— Да... Добрый поп его крестил. Жалко, что не утопил... Утопил бы, звезду Героя Советского Союза заслужил. Никак не меньше.

— Не в нём дело. Подгнила система с верхушки, вот и вытащила снизу того, который гнили был надобен...

— Тоши их, не тоши, стреляй, не стреляй... Система породила бы ещё одного такого же игрока. — Тусклый идёт разговор, привычный. — Другие уже ей не нужны были... Хлеб! Мне тоже две... Больше ничего.

— ...И кинул Беспалый на игральный стол страну, Советский Союз. И выиграл...

— С большой дури. Мошенникам на радость...

И вот стали они людьми без Родины.

* * *

Подолгу не расходятся безработные с магазинного крыльца, хотя и говорить уже не о чем. Толпятся в глухих сумерках. Пропускают, посторонившись, женщин с кошёлками, купивших спичек, мыла, хлеба, соли. Но и те останавливаются здесь в рассеянности и печали. Зябнет на ветру обтрёпанный люд, глядит через тракт, в сторону автобусной мёртвой остановки, сооружённой из чугунной тюремной решётки: за нею — Россия...

За тою бесконечной придорожной решёткой — тёмная канава с голыми кустами перекасти-поля, и пустая неприветливая степь, а дальше, много дальше, невидимая отсюда граница, нелепая, ненавистная. Которую пересечь вовремя не удалось почти никому...

Замысел установивших мрачное это никчёмное сооружение не понятен жителям Столбцов. Здесь останавливается один лишь старый "ПАЗ" без пассажиров, ползущий к вокзалу и обратно по средам. А решётка, никого не спасавшая от ветра и дождя, разрослась, будто сама собою. Для пустого ли отчёта властей о благоустройстве города? Или для воплощения будущего неведомого проекта?

Так или иначе, а напротив решётчатой, вечно пустой остановки, на углу хлебного магазина, появился даже круглосуточный милицейский пост. И она с недавних пор стоит в степи под приглядом человека со свистком — нераспиленной, нерасхищенной, лишь удлиняющейся неприметно.

— Нам уже и ехать не на что, — скапливается народ под магазинным козырьком, прибывает, перетаптывается.

— Границ нет для богатых. Всё для них разомкнуто...

— Они везде, мы — нигде...

Треплет вольный ветер полы поношенной одежды, летит вольный ветер сквозь чугунную решётку в сторону России, и нет ему в том преграды. А людским взглядам — есть.

— Мы уже съездили, чуть живы остались... Последнего лишили. Назидались: хватит.

— Нечего было туда с рублишками соваться. Не наворовал миллионы — тут сиди. За рубежом.

— За рубежом...

* * *

Как и после чего наступает странное это затишье у магазина — не уловить, не постичь. Люди замирают внезапно — и становятся в сумерках недвижимыми, как тени. Темнеющее время размывает их очертания, стирает лица, позы, краски, возраст. И стоящие на ветру словно растворяются, сливаются с низким небом, с холодным дыханием безбрежной вечной степи, впадающей в ночь, как в обморок. И уже не различить, есть ли тут кто живой... Но трогается толпа — вдруг, без возгласа, без призыва. Молча движется, шурша сумками, пакетами, свёртками. Через разбитый широкий тракт. К остановке в степи.

Бежит толпа. И вот уже десятки рук, мужских, женских, детских, ухватившись за чугунные ребристые прутья, раскачивают решётку по всей длине — упрямо, неистово, молча... До тех пор, пока, заскрипев, заскрежетав, покачнулись, не опрокидывается она в канаву, с грохотом, вся как есть.

...Равнодушно смотрит издали милиционер во тьму, на бессмысленное это, бесполезное действие, угадываемое по чугунному скрипу, скрежету, грохоту. Лишь вздыхает:

— Опять своротили...

Решётчатая остановка завтра будет возвращена на прежнее место. А через неделю-другую так же замолчат угрюмые люди после негромкого разговора меж собою. Уставятся сквозь решётку на невидимую отсюда удалившуюся родину — на отсечённый материк. И потеряют своё обличье во тьме... Опять двинутся безмолвной гурьбой, и побегут вдруг, и вцепятся, и столкнут сообща, в который раз, громоздкое это сооруженье, изготовленное из тюремного ржавого запаса...

Провожает милиционер сочувственным взглядом невнятные тени безмолвных людей, бредущих от канавы порознь к тёмным своим жилищам. И гораздо лучше видит тех, кто проходит рядом с его освещённой будкой — на ходу вытирающих руки от ржавчины о полы невзрачных курток, старых подушало. Пожимает милиционер ватными казёнными плечами, стоя в кругу жёлтого электрического света:

— А толку?.. Далась им эта решётка.

* * *

Иван и Нюрочка на чугунную автостоянку вместе с другими не бросались. Не раскачивали её, не сталкивали. Лишь следили с крыльца в бездействии, когда и как она опрокинется в канаву. Их поступки расходуются теперь по строгой главной необходимости — им надо вырастить Саню...

Они берегут силы для преодоления бед; старых, новых, ведомых, неведомых. Потому проживать каждый новый день им следует в сосредоточенной готовности к худшему: у них — Саня...

Их движения скупы и выверенны; попусту молодые не сделают шага, без крайней нужды не обронят слова — по эту сторону бесконечной тюремной решётки им, людям без родины, надо сберечь Саню...

Только Нюрочке всё равно не разобраться — ищет она ответа и не находит: что же за преступление совершили они, не принятые Россией, отторгнутые, вернувшиеся назад, в Столбцы, ни с чем? Какое?! Должна быть для такого наказания какая-то особая их вина. Где она? В чём?.. В том, что...

Мы — не люди, горюет Нюрочка во сне, ужасаясь внезапному пониманию... Мы — человеческий хлам, живой сор, многомиллионные отбросы, плачущие по всем окраинам бывшего Союза, на бывшей своей земле. Мы — бывшие советские люди. Мы — бывшие люди... Но мы — хлам, который прорастёт...

Саня, тайно и прилежно мы вырастим тебя, мой милый, здесь, в бараке, среди могильных венков, торопится внушить спящая Нюрочка своему младенцу. Но получать образование теперь смогут лишь богатые, Саня. Богатые, а не мы... Тебе придётся заниматься только по старым книгам твоего ссыльного прадеда, учившего уже не студентов в столице, а только местных детей в совхозной саманной школе, из года в год... Много, много таких учёных людей, как он, закопано в здешней степи. Но привезённые ими книги живы. Они залегли на полках, в тумбочках, в шкафах, по степным городкам, посёлкам, огонным участкам. И они — здесь...

В этом бараке с прогнившими полами, Саня, тебе надо будет копить, копить — и никому не показывать прибывающего своего знания. Необходимые книги — вон в тех картонных коробках, перетянутых бельевыми верёвками. Они составлены вдоль стены, до самого потолка, они спрятаны до поры за сплошной ситцевой полинявшей шторой и чужим не видны...

Я прочла их слишком рано и слишком поспешно, оправдывается Нюрочка перед младенцем. Я торопилась прочесть их до твоего рожденья, чтобы

кровь моя влилась потом в твои маленькие вены и артерии, обогащённая важным знанием — да, наскоро обрётённым, да, лихорадочно усвоенным, да, непомерным для меня знанием. С двенадцати и до семнадцати лет, милый Саня, я спала по четыре часа в сутки, и всё равно: утро наступало слишком рано. Но моя кровь уже не была пустой. И ты уже есть на свете...

Пожелтевшие от времени страницы старых наших книг ждут тебя, Саня... Скоро, скоро я покажу тебе большую премудрость, спящую в толстых томах. В одном из них писатель с бороδοю говорил о человеке Неклюдове, в другом писатель без бороды рассказал о человеке Хлудове. Клюд, хлуд — это хлам, Саня. Хлюд, клюд — это сор. Хлам и человеческий сор, предназначенный на выброс... Человек Нехламов позднее был превращён тьмою в человека Хламова, выкинутого со своей земли. Хламовым стал белый генерал, сброшенный в небытие, за море. Он сопротивлялся этому иступлённо, но не правильно, не так, как надо: он сопротивлялся *беспобедно*...

Теперь хлам — это мы с тобой. Новый хлам-хлуд-клюд состоит из миллионов растоптанных судеб... Я много чего покажу и открою тебе, Саня, если только успею. Я должна буду сказать очень многое тебе — и как можно раньше... Но, окрепнув и возмужав, однажды ты потребуешь ответа от них — от всех, кто решает, и решает, и решает, что русские — хлам...

Расти, Саня, тихо, неприметно... Не обнаруживай себя, Саня, до поры. Пусть никто пока не знает, для чего ты пришёл в такой мир — в мир наглых людей без чести и совести. А позже не торопись верить, Саня, тем из них, которые станут называть себя русскими. Не верь им! Не верь никому... У них другой бог. Их бог — рогатый бог стяжателей. Твой Бог — всемогущий Бог изгоев. Расти, Саня...

Теперь их власть повсюду: она, словно алчный зверь, стоит на золоте, на огромных деньгах, на нашей с тобой беде и нужде... Такая власть питается нашей гибелью. Но... Расти, мой Саня... Расти...

* * *

Тарасевна ворочается и тоже отыскивает свою вину в перепутанном вихре минувшего, и смотрит с кровати в чёрную оконную полоску над шторкой — прищурившись, пошмыгивая, зябко потягивая носом:
— Из-за меня всё...

Была бы она начальническая дочь, а не дочь сезонной работницы лес-промхоза, разве попала бы Тарасевна по распределению, после института, в далёкие Столбцы? Нет, не попала бы. Блатных сюда судьба никогда не забрасывала! Никогда...

Или вовремя вышла бы Тарасевна замуж за своего одноклассника — рыжего, неприятно лопухого, пахнущего постными щами, но сунувшего ей в карман однажды, под цветущей черёмухой, оловянное колечко. И не было бы в её жизни никакого Коревки, дался ему этот уран... Ни щитоблочной школы бы не было, ни этого целинного барака, ни унылых долгих вёсен с рядами вечно молодых тополей, высаженных вместо погибших — сгорающих на корню без пожара, выбывающих из строя через пару-тройку лет. Но душа Тарасевны всё-то летела, всё спешила к счастью неведомому, необыкновенному. Умри, но не давай поцелуя без любви, твердила ей непреклонная душа, повторяя невесть кем сказанное.

От стойкого воздержания и упорного этого ожидания счастья ещё тогда, в девицах, суматошная Тарасевна стала худеть и быстро терять молодую привлекательность. С жалким пучком волос на затылке, в тёмной одежде без украшений, обретала она с годами всё больше и больше вид целомудренно-стервозный — как у тренерши по гимнастике или как у медсестры травмопункта.

Учительница высыхала, потихоньку превращаясь из добросовестной Сталины Тарасовны в дотошную Тарасевну, донимающую учеников своей проницательностью, бдительной и беспощадной. Двоечники и хулиганы отвечали ей тем, что в школьных коридорах высмеивали потёртый её ридикюль,

пластмассовый синеватый зуб, рано появившийся взамен утерянного верхнего резца, и колотили нещадно любимчиков Тарасевны — за ябедничество, за вызывающую их опрятность. А также за успехи в учёбе и за примерное поведение.

* * *

И всё же число её выпускников, поступавших в институты, было неизменно самым большим по школе! На прочее Тарасевна не обращала особого внимания. Она всё проводила бесконечные дополнительные занятия по физике, всё катала по наклонной плоскости лысье шары, всё лезла рукою в структурную решётку молекулы, укрепляя проволокой отломившийся от своей орбиты атом... И, кроша мел на чёрную юбку, писала с нажимом белые формулы на чёрной доске, и оставляла после уроков добрую половину проголодавшегося класса, покрикивая бодро и неутомимо:

— Повторенье — мать ученья!.. Кто не работает, тот не ест!..

— Тяжело в ученье — легко в бою... — откликались дети без радости. — Работа не волк, в лес не убежит...

А короткие письма рыжего тамбовского ухажёра, ставшего совхозным ветеринаром, оставались без ответа год за годом, хотя они давно уже не пахли постными щами, а только карболкой, хлоркой, позже — пенициллином...

Поток писем, конечно, иссяк со временем. И взглянуть на поджарую Тарасевну, приезжавшую изредка в тамбовскую деревню, чтобы навестить старую мать, ветеринар не пришёл ни разу. Даже на похоронах материнских Тарасевна в толпе провожающих не увидела его рыжей головы... Но колечко оловянное она берегла. Спустя годы, после краткого позднего замужества, вынимала его, ненужное, из потёртого спичечного коробка, когда бывало совсем пусто на душе.

* * *

По молодости водились у Тарасевны тут, в Столбцах, друзья — рижане и ленинградцы: штукатуры, бетонщики, маляры, прорабы. Не многие из них уехали после большой стройки — с судьбами, повреждёнными в лихих общезжитиях, где жили по соседству, через улицу, комсомольцы — и “химики”: условно освобождённые преступники то есть... Остались от ленинградцев и рижан в бескрайней степи могилы всеми забытых парней, замёрзших в буранах, погибших в поножовщине, выброшенных на асфальт с верхних этажей, и повесившихся или наглотававшихся укуса девушек, грубо обесчещенных, осмеянных, забеременевших некстати. Да ещё две длинные улицы неказистых крупнопанельных пятиэтажек. И огромный Дворец культуры, развалившийся сам собою с западного угла...

— Я, я во всём виновата, — вздыхает Тарасевна, покручивая на кривом мизинце, под одеялом, истёртое оловянное колечко, которое после развода с мужем она вдруг решительно надела — и уж не снимала больше. — Ох, не послушала я, глухая, умную сумасшедшую!..

Вот когда пробрал её страх от криков косматой юродливой красавицы, тогда и надо было развернуться с дерматиновым лёгким чемоданом — и бежать на вокзал со всех юных ног, в обратный путь, не оборачиваясь! А она, молодая учительница, бредущая по разбитому тракту к незнакомому городу в толпе приехавших, только остановилась, остолбенела — и долго глядела на странную худощавую женщину в лохмотьях, голосащую там, в степи, страшно, надрывно:

— Дураки-и-и!!! И куда же вы приехали?! На беду свою приехали!.. Дураки! Дураки! Возвращайтесь назад!.. Локти будете кусать потом, поздно будет! На вокзал бегите, на свой поезд, пока он ещё не отошёл!.. Ой, что вы наделали!..

Никто в Столбцах не знал имени этой дикой женщины, никто не видел её потом на улицах города. И как, откуда появлялась в пустынной степи косматая юродивая, не старая и не молодая, и куда пропадала потом, было неизвестно. Но неизменно встречала она всех, сошедших с этого единственного утреннего поезда, прибывавшего раз в неделю. И плакала безутешно над будущими их судьбами, и билась поодаль, в поляны, и кружила, и ругала спешащих к новой жизни по старому степному тракту — со своими сумками, тюками, чемоданами; с направлениями на комсомольскую ударную стройку:

— Дураки... Какие дураки-и-и... К беде своей приехали! Вернитесь!!! Не поздно ещё!..

Заламывала юродивая в бессилии тонкие руки, выла, запрокидывая голову к пустому, без единого облачка, безучастному небу, потом кричала вслед толпе всё тише, всё безнадежней:

— Наплачетесь... Как же вы наплачетесь!.. Бегите отсюда... На поезд. Он ещё стоит... Он ещё не ушёл... От беды своей бегите, домой...

Но никто не слушал смуглой юродивой. Все спешили в город вечно молодых тополей, до которого было рукой подать. И перепугавшаяся молодая Тарасевна поспешила в то утро вместе со всеми — туда, где тускло белела в крутящейся пыли кучка домов и высились длинные шеи подъёмных кранов и там, и сям...

Подозревали даже в Столбцах, что эта юродивая — не сама по себе, а, возможно, агент, ведущий близ вокзала подрывную агитационную работу. Говорили, что от тайных сыскных органов ускользает она каждый раз то ли чудом, то ли колдовством. Но вот, мол, её наконец изловили. И “закрыли”... А на следующей неделе утренний пыльный город принимал новых молодых людей, устремлённых к чудесному созидательному будущему. И юродивая металась в степи, словно пыталась спасти двигающихся на закланье, и оплакивала вновь прибывших, всех и каждого, совсем не боясь кары:

— Ой, горе, горе горькое... Что вы наделали! Зачем приехали — на беду свою? Назад бегите! На поезд!.. Дураки! Какие дураки...

Они, молодые, сменяли друг друга, волна за волной. В город Вечно Молодых Тополей, на место выбывающих строителей, приезжали новые, новые, новые комсомольцы. Год за годом. И мало кто из них успел состариться здесь...

Вон там, всего в сотне километров от Столбцов, стояло военное оцепление, а в шахте работали привозные рецидивисты, срок заключения которых значительно превышал срок их земной жизни. Однако в Столбцах про близкую урановую шахту упоминали редко даже в те времена, когда подневольная работа кипела в недрах земли вовсю: эти сведения не подлежали разглашению. А грузовые машины с зарешёченными кузовами всё двигались через городишко в сторону “почтового ящика”. Но жившие в Столбцах люди старались их не замечать, словно следовали мимо них грузовики-призраки. И молодая пугливая учительница, опаздывающая на урок, всё норовила поначалу нырнуть в проулок, на путь долгий, обходной, сбежать в котлован, выкарабкаться из него на четвереньках поскорее, чтобы влететь в учительскую хотя бы вместе со звонком... А потом привыкла; она стала, как все, отворачиваться от грузовиков, как от призраков, — и только.

Лишь раз в месяц, поутру, вцепившись в чугунные прутья, мчались по тракту в кузовах, сквозь городок, серые люди, ошалевшие от бессмысленности собственной, уже заранее обречённой на гибель, жизни. И оттого хохотали они, выкрикивая всем редким прохожим — заспанным комсомолкам, важным коммунисткам и нарядным беспартийным женщинам — непристойности мерзкие, отвратительные. И успевали посылать им сквозь решётку похабные знаки. Они хлёстко шлёпали пальцами по ладони — или рубящим жестом ударяли

по собственному локтевому сгибу. И жестоко визжали. И орали, орали... Для того, чтобы хоть одна посмотрела на них долгим взглядом. И запомнила! Пусть — содрогнувшись от отвращения, но глянула бы на каждого именно женщина! И запечатлела бы в своей памяти мимолётно серое это лицо, пусть — гнусное!.. Перед тем как уйти рецидивисту под землю: в ад при жизни, — в смертоносное излученье пород — навсегда, пусть обернётся женщина в его сторону...

Но женщины уводили свои взгляды от их диких жестов, от искривлённых чёрных ртов и тоскующих глаз — уводили, не запоминая никого из заключённых. И не давали им запомнить себя, отворачиваясь тотчас. Что уж тут хорошего, если память об их живом образе унесёт кто-то с собою, в урановое каменистое подземелье? Плохо будет лику женскому там всплывать перед кем-то и пребывать в заключении. Пусть в мыслях чьих-то — всё равно: плохо...

Бесстрастный молодой конвой в отдельном решётчатом отсеке восседал всегда отрешённо, держа автоматы дулами вверх. Но обратно, в сторону противоположную, лихой люд уже не перевозился никогда: зарешёченные грузовики следовали из “почтового ящика” пустыми неизменно. Дорога в урановый “почтовый ящик”, пролегавшая через Столбцы, для серого провинившегося люда была дорогой в один конец.

* * *

Этой ночью не различить разбитого тракта под летящей, бесшумной ползёмкой... И людей прошлого не воскресить. Все они проходили чередой сквозь степные ветра, все пронесли свои судьбы под одним и тем же равнодушным колочим солнцем — заключённые, офицеры охраны, молодые автоматчики — и стинули хоть и в разные времена, но равно бесследно.

Никто не высаживает больше по весне саженцы тополей вдоль тротуаров. И давно уж не встречает приехавших в Столбцы косматая сумасшедшая — там, где рыдала она в степи недалеко от тракта, стоит длинная автобусная остановка из тюремной решётки, оставшейся от лагерных времён, а за нею — пустота: пустота и граница...

Затих ближний вскрывший комплекс, напоминавший ранее шумное строительство Вавилонской башни, только перевёрнутой и состоящей из пустоты, всё углубляющейся конусообразно в глубь земли. Растаяли во времени окрики бригадиров, перебранки нормировщиков и учётиков добычи бокситовой руды. Гвалт разных наречий и языков со всего Советского Союза распался, иссяк, растворился, как и не было его вовсе. Со дна огромного котлована не поднимались больше по пыльным дорожным спиральям тяжёло гудящие гружёные “БелАЗы”.

Весь горно-обогатительный комбинат с его конторами, вагончиками, рабочими корпусами, конвейерами и трансформаторами давно простаивал и разрушался. Слабые последние работы ещё велись в северной части комплекса, да и те уже затухали — там время от времени резали сияющей сваркой на металлолом мощный роторный экскаватор и всё не могли дорезать до конца; с отправкой металла китайцам что-то у кого-то не получалось. А металлическая машина была такой огромной, что никак не кончалась и словно не замечала, как теряет она часть за частью, часть за частью.

Да и сами вездливые сварщики, со своими щитками и электродами, напоминали теперь только оводов, жалящих без толку огромное и мощное индустриальное совершенство. Разрушительная работа продвигалась медленно и почти неосязимо для постороннего глаза...

* * *

Городишко тем временем тоже сокращался потихоньку до размеров прежнего старого поселения. Две центральные улицы существовали как прежде — иногда там журчала в кранах вода, и батареи нагревались до тем-

пературы человеческого тела. А одряхлевшие многоэтажки для рабочего когда-то люда зевали на горе выбитыми окнами. В них сквозил, гулял и свистел ветер разрухи — перед тем, как пасть наземь в ночь перелома с осени в зиму и полететь бесшумно, леденя души бродяг, спящих в подвалах. Ступени, ведущие в темень, уже занесло плотной снежной крупой...

Кипит снежная замять у стен домов, и всё выше вздымается она. Не видящие этого, но чувствующие тревожное наступление злого времени года, все в Столбцах видели сей час необыкновенные сны, цепenea от печали, потому что не всем в городишке предстояло выжить в новую лютую зиму. Особенно тоскливо под горами тряпья, одеял и драных матрацев спалось тем, в чьих домах отключили отопление в минувшую зиму, ещё в феврале. Однако в частном секторе с печным отоплением и в целинных бараках вокруг маленькой котельной теплилась жизнь: старинные Столбцы потихоньку существовали бедно, но особо, как и в незапамятные времена... Только городишко с вечера оказался погружённым в такую кромешную тьму, что ни огонька в нём, ни всполоха.

И не было даже единой звезды на небе, словно и там отключили свет всему миру за неуплату.

* * *

В постылом этом бараке настольные премиальные часы, выданные когда-то почтенному Жоресу за досрочно вырытый котлован, стучат особенно громко — они не отсчитывают время, а куют его, раскалённое на невидимой железной наковальне — бум, бум... Но летучая дрёма, будто призрачная белая бабочка, увлекает старика за собою, уводит от мягкого пламени, алеющего меж молотом и наковальной. Порхает, беспокойно вьётся мелкая летняя бабочка на самой вершине сна и не даёт почтенному скатиться вниз, в тёмное бесчувствие глубоких ущелий того, что давно отболело, окаменело, застыло и погасло. Зачем, куда она манит его, эта беспокойная бледная моль? Забыться совсем, отяжелеть до беспомыслия, ослепнуть, оглохнуть хоть на малое время не удаётся никак. И старший брат, геройски погибший под Сталинградом, корит его издалёка. “Эх, Жорес, разве не знаешь ты, что в доме несчастья нельзя брать даже иголку? А ты забрал не иголку — ты забрал себе горестные стены, и пол, и потолок. Жорес, ты влез на старости лет в чужую беду, которая легла теперь на весь наш род — она будет передаваться от внуков к правнукам”.

Старый Жорес хочет объяснить погибшему брату с бинтом, землисто-коричневым на правом виске: русские покинули эту комнату уже четыре года назад. Они, должно быть, сгнули где-то в холодной России, как и большинство русских, потому что нет от них никаких вестей; там время, жестокое время, стучит, бьёт, плющит судьбы приезжих и гасит в бадье с тёмной водой равнодушия — там свой не узнаёт своего, оставляя гибнуть под забором. А здесь, в Столбцах, слишком мало осталось таких домов, в которых можно жить человеку. За эту комнату надо было вносить плату вовремя. Теперь, когда набежал огромный долг, в комнату русских поселили старого Жореса и сделали его квартиросъёмщиком чужого жилья. А прежние хозяева лишились тем самым последнего своего пристанища, и оставшиеся их вещи съел огонь на мусорной свалке...

Только горестные стены, и пол, и потолок помнят уехавших русских. И потому копится темнота в душе у поселившегося здесь старика. И темнота души давно уже стала такой же непроницаемой и холодной, как эта ночь большого перелома. Скоро она задавит, застудит Жореса навечно. Скорей бы.

Ревматизм, подхваченный почтенным Жоресом в молодости, на вдохновенных студёных стройках социализма, этой ночью особенно не даёт старику покоя. Боль накачивается волнами, колко бежит по сосудам, лижет суставы змеиными жалающими языками и повергает изношенное тело в истому сладковатую, расслабляющую, жаркую. Но белая летняя бабочка всё мельтешит перед глазами, беспокойная, лёгкая, навязчивая. И в темноту души

смотрит зачем-то этой ночью светлый погибший брат с грязным бинтом, обвившим его молодую голову, смотрит — и корит...

* * *

Знает Жорес про иголку, и знает, что нельзя селиться в доме чужого несчастья. Только два его внука и овдовевшая сноха с горбатым острым носом, похожим на клюв чёрной курицы, отправили сюда старика, не спрашивая его согласия. Этой ночью мёртвый брат пришёл в барак от самого Сталинграда, беспокоясь о роде...

О каком роде?! Он зря пришёл.

— Слышишь, Марат? Зря...

Если в роду нет больше почтения к старшим, то и рода больше нет. Есть только кривая табличка в память об их отце: улица его имени. Её повесили тогда, когда стало модно воскрешать память погибших в сталинских лагерях... Их коммунистический отец попал в сети Великой Красной Прелести совсем молодым, но постарался выбраться из неё, как только сеть принялась душиить степные народы от Алтая до Каспия. И вот отца сделали героем, сразу же забыв о нём после этого. Ржавая жестянка на углу кривой полуразрушенной улицы, кому нужна она здесь, где остановилась жизнь? Слышит сквозь дрему почтенный Жорес, как скрипит на ледяном ветру та одинокая покорёженная вывеска. Она бряцает и скрежещет особенно уныло в каждую ночь великого перелома, когда на городишко налетает злая зима...

Там, южнее, в крупных городах, разбогатевших от продажи каких-то ценных бумаг, молодые люди их жуза — жуза древних воинов-адаевцев, сели в хорошие кресла. Они разговаривают на английском языке по своим карманным телефонам и едят в нарядных ресторанах обильную пищу заморских стран. Но своею страной они торгуют, словно матерью, вот как понимает это старик с революционным именем Жорес. А тут, севернее, не Туретчина и не Сибирь, не Азия и не Россия — тут поглощает вечное Ничто никчёмные человеческие судьбы.

Да, развитие мира повернулось вспять. И спираль, о которой толковали Жоресу на партсобраниях, теперь раскручивается обратно, очень быстро — от социализма к капитализму, к феодализму, к рабовладельческому строю, к первобытнообщинному... словно полная бадья воды вдруг сорвалась обратно в колодец и летит в чёрное земное дно, разматывая дребезжащую цепь. Неужто скоро все, все превратятся в таких же ублюдков, как два его внука, и будут ничем неотличимы от похотливых злобных горилл... Страшно вертится сама собою блестящая рукоятка колодца, вытертая до сияющей белизны миллионами мозолистых рук, вздымавших полную, тяжёлую бадью прогресса многими веками.

Теперь надо держаться от мелькающей рукоятки подальше — она зашибёт всякого, кто попытается остановить паденье бадьи, стремительно падающей в глупое, слепое, бесцветное Ничто...

* * *

— Куда мне было деваться, Марат? От тебя детей не осталось. А у меня их было только двое: старший — Максим, и младший — Горький. Нет теперь сыновей и у меня. Максим, связавшийся с целинниками, утопил свою молодость в прозрачной водке. Он въехал на своём тракторе в степной пожар, спасая выращенный хлеб. Если был бы он трезвым, то вспомнил бы: против огня, воды и вихря нельзя воссоставить человеку, а надо спасаться бегством, только бегством. Ведь пропахивать борозды следует там, где земля ещё не горит!.. Но его, нетрезвого, тоже сделали героем на какое-то время и забыли потом, когда совхоз сошёл на нет...

А второй сын, Горький, со временем сменил своё умное, пролетарское и писательское, имя на глупое американское — Гарик. Новое имя его оказалось

короче, чем заморские штаны-шорты, которые ещё не брюки, но уже и не трусы... С этим новым своим подростковым куцым именем второй сын тихо работал на комбинате механиком, пока вконец не заела его сварливая продавщица-жена, приносившая в дом больше денег, чем он — куда больше... Она насканивала на него, эта чёрная боевая курица, задиристая, как петух, и важная, как индюк. И она не заметила, как однажды задолбила мужа насмерть.

Жорес видел это изо дня в день: от брани боевой курицы-продавщицы воспалялись нервы его сына, и он покрывался неизлечимой коростой, но что старик мог сделать — в той квартире, где хозяйкой была она? Хорошо, что тихая его Жамиля уже не застала медленной гибели младшего сына, запаршившего на глазах, как бездомное отощавшее животное.

Да, против огня, воды, вихря и женской злобы нельзя восставать человеку, а надо спасаться бегством, только бегством. Спасаться, пока есть ещё силы на это... Судьбу младшего сына растрепала в клочья, сожгла, развеяла по ветру огненная, клокочущая, неумная женская злоба...

* * *

Бросает старика Жореса то в нестерпимый жар, то в холод проклятая ревматическая лихорадка. Гуляет в теле болезнь, змеится, будто позёмка, лижет ледяными тонкими языками его суставы — и жжёт.

Порхает дрёма белой летней бабочкой на самой вершине тёмного сна — и не даёт старику забыться так, чтобы не чувствовать боли. Он хочет спросить умершего брата получше — старятся ли молодые кости в земле и ноют ли, как у него? Или ранняя геройская гибель избавляет от болезней человека так же счастливо, как от дальнейших испытаний судьбы? Но молодой брат со своей неразорвавшейся гранатой в руке может уйти из барака в любой миг. И потому почтенный Жорес торопится сказать ему про главное:

— ...После смерти Горького боевая курица сразу отселила меня в этот барак и обещала присматривать. Но сюда приходят лишь её дети — два моих внука, один из которых — широкоплечий бандит с чугунной головой, а другой — узкогрудый курильщик маньчжурской дурной травы. И оба ждут моей смерти... Марат, не отворачивайся от меня! Куда ты спешишь? Пусть твой Мамаев курган подождёт немного. Выслушай, прошу! Внуки приходят не только потому, что им не терпится присвоить себе эту комнату. Они ещё хотят занять здесь и другие — те, в которых ютятся живые люди... Как это страшно, когда жильём людей можно торговать! Нынче достаточно выкинуть человека из своего угла, чтобы получить за это много денег. А деньги мои внуки ценят превыше всего, потому что новый строй поставил превыше всего остального — деньги...

Слышишь, Марат? Взял бы ты меня с собой в свой безденежный курган, в надёжный непробудный сон и неизбывный покой, — пытается встать на своей постели старик. — Они, мутноглазые внуки, мечтают о гаремах с белыми невольницами и о таких скверных удовольствиях, про которые мы не знали! Новое время заразило их развратным бездельем, они не хотят ничего иного. И они уже почувствовали вкус присвоения чужого — скота, жилья, женщины. Теперь их не остановить вовеки, хватающих чужое горе как лакомство.

Но брат почтенного словно истаивает во тьме.

— Куда же ты спешишь? Или ты не хочешь даже слышать о них, опозоривших наш род навсегда? Почему ты, Марат, уходишь со своей неразорвавшейся гранатой, один?.. И кому же я расскажу теперь про то, что здесь творится?!

От ломоты в коленях, пояснице и локтях слишком медленно поворачивается старый Жорес, но тянет руку и пытается вскочить с кровати во что бы то ни стало.

— Слышишь? — кричит он брату. — Не уходи! Или прежде оставь гранату мне! Не случайно же ты крепко держал её долгие десятилетия в мёртвой своей руке...

Ничего уже не видно старику в кромешной темноте, кроме белой бабочки, мельтешащей, порхающей, вьющейся. Но мёртвый брат его, кажется, ещё здесь...

— Сколько можно лежать ей без всякого толка в сталинградской военной земле? — кричит старик про гранату. — Она не взорвалась в той защите Отечества? Разожми свою мёртвую руку, Марат! Пускай она взорвётся — в этой, сейчас! Взорвётся — и разнесёт в клочья, и сожжёт наш позор догла...

* * *

Слово “позор” в эту ночь очнулось в Столбцах. Оно стало таким подвижным, что перелетало из одного сна в другой, мучая спящих. И лежащая под колючими венками Нюрочка старается не слышать привычных упрёков справедливого своего свёкра, долетающих из минувших дней:

— Позор!.. Эх, вы! Спекулянты вы, а не дети.

Его крик врзался в память её подобьем злой татуировки, которую невозможно вывести из сознания без шрама ни при жизни, ни после смерти:

— Ра-бо-тать на-до!!! Тут деды, прадеды наши — все ра-бо-та-ли. Труди-лись! А вы?..

Но Нюрочкина душа привыкла сгибаться под тяжестью этой правды и сносить её без обиды: что толку от разоблачений, если следовать нравочениям невозможно? Небо вынужденного греха нависло над всеми в равной мере... И Нюрочка рассуждает дальше, о своём — о самом главном для неё. “...Я могла бы подумать, Саня, что ты захотел родиться здесь потому, что здесь оказался Иван. Все, все Бирюковы здесь жили всегда, и тебе важно было продлить своим рождением их вечное пребывание на этой земле. А я была только сосудом, только вместилищем для твоего временного пребывания... Но это не верно. Потому что всё живое на Земле зарождается и движется надземной любовью. Любовь же приходит в мир через боль... А Иван, он очень любит тебя, но с отцами дети не связаны таким количеством боли: ты родился тут из-за меня...”

— Ребёнка завели! — лютует свёкор в своей хмельной правоте. — А сами кто? Рабочий класс? Интеллигенция? Нет: шантрапа вы! Барыги...

Это Нюрочка и Иван — барыги. Но она думает сквозь вьевшиеся крики, словно с трудом плывёт поперёк течения — она упрямо думает, думает во сне: “Да, да... Мужчина не сопряжён с ребёнком нужным количеством боли, и крови, и мук. Любовь это боль, много боли... Да, всё верно: ребёнок ещё до рожденья выбирает своей любовью единственную для себя мать — и одаривает болью, кого любит. А мать одаривает болью ребёнка, переживающего ужас рожденья, когда кольца мышц, готовые порваться, того и гляди задушат его. Сильную боль приносит очень сильная любовь. Но она надмирная и не вполне понимая нами...”

— Молодёжь, называется. Разве мы тут, в Столбцах, когда-нибудь так жили?! Позорники...

Пусть кричит кто угодно и что угодно. Правых много, всех не переслушаешь. Нюрочка, давно притерпевшись к позору, слушает во сне только свои мысли — и во всём соглашается с ними: “...Нет, Иван тоже любит тебя, Саня. И ты любишь его. Но вы любите друг друга отдельно — у вас не было общего тела и общей боли”.

— Говорил же вам сколько раз?! Бестолочи! Ра-бо-тать надо!!!

“...И вот, мой Саня, ты родился здесь, в Столбцах, в пору невиданной разрухи. Саженьцы тополей приживаются в этой розовой земле очень хорошо и даже вырастают необычайно высокими в два лета. Но к третьей осени, когда смелые, сильные их корни углубляются настолько, что начинают пить урановые воды, молодые тополя с весёлой листвой превращаются в собственные обугленные тени. И век здешних людей тоже короче обычного. Но когда-то мы были Россией. А теперь стали людьми без Родины.

Смелый мой Саня... Мой маленький, что же ты натворил?! — горюет и

горит Нюрочкина душа в ночи. — Зачем, зачем ты родился — у нас, ничейных людей?.. Зачем, мой единственный, ты родился — здесь?!”

В эпоху разлома империй нельзя рождаться детям на пограничных окраинах национальных материков.

* * *

Вдруг Нюрочкина душа стихает от робости, потому что в эту ночь перелома ей открывается понемногу что-то ещё — совсем иное, потаённое, не осознаваемое прежде... Может быть, России тоже больно — оттого, что они, трое, и все остальные, подобные им, вытолкнуты, как часть её тела, и отторгнуты ею? Исторгнуты, вытолкнуты, выброшены в чужой огромный внешний мир беззащитными и не умеющими дышать чужбиной... Может быть, они — Саня, Иван, Нюрочка — любимы оттого молчаливой тайной настоящей Родины особенно сильно? И презренье правителей России к ним — к Нюрочке, Сане и Ивану — это только презренье новых правителей к сокровенной самой России?

Россия, родительница! Россия-роженица, насильно вспоротая и наспех зашитая, обескровленная и обедневшая, видны ли тебе в холодной тьме наши страдания?.. В такой холодной, огромной — и не защищающей тьме?

Здесь, в азиатской России, русской Азии, мы дышим тьмой, опасно проторной, и вбираем её зрением по чуть-чуть — чтобы не понять больше, чем нужно, от чего может зайти беспомощное, не вполне привыкшее жить без Родины сердце: в темноте, обступившей нас со всех сторон, затаилось будущее. Грядущее, будто вор — похититель счастья и самой человеческой жизни — выжидает своего часа: но оно — уже здесь.

А пока в огромной остывающей тьме родины-чужбины нужно жить осторожно, и дышать осторожно, и смотреть из-под опущенных век — по чуть-чуть. И молчать — чтобы не взбаламутить, не вспугнуть надвинувшуюся тьму с великими и грозными её смыслами. Лишь бы не заходили они, беспощадные, ходуном, не обрушились бы на тех, кто оказался чужим миру вещей — миру, ушедшему из-под ног...

Никто не поспешит к таким на помощь, никто не склонится над спящими, не позовёт материнским тихим голосом: “Что? Что с вами?” Никто, никогда... И Нюрочка ещё не знает, что чужие миру вещей — теперь чужие повсюду: вне Родины — и на Родине они вне жизни...

Она не знает этого — она крепко спит под могильными венками.

* * *

Комната всеми забытого и вонец одряхлевшего поэта Бухмина в барачке была самой крошечной, но имела отдельный вход, с торца. Размещалась в ней когда-то диспетчерская, в которой сидела кукушкой в тесных часах одна-единственная приятная девушка-латышка с крупными лопатками, похожими на небольшие крепкие крылья. Склонившись, она выписывала путевые листы шофёрам-целинникам, не обращая внимания на шутки ухаждёров, на раскрытое своё зеркальце на столе и на солнечные зайчики, бегающие по её заранее разлинованным бумагам своевольно. А корреспондент Бухмин сочинил однажды в газету звонкие стихи о трудовой её старательности, от которой гуще и радостней колосились степные нивы, поскольку на посевную горячее доставлялось без промедленья: зерно снова легло в землю в благодатный срок. Да и сама послевоенная огромная страна оживала стремительно, и каждая отдельная добросовестная судьба, переплетаясь с другими такими же, питала собою единое древо — народный крепнущий организм.

Чёрные тарелки репродукторов на столбах передавали утренние сообщения о новых снижениях цен. Они пели на всю улицу задушевные песни о всеобщем счастье, о верной любви, о нерушимой дружбе между народами,

а иногда читали дикторским голосом стихи поэтов-фронтовиков, в том числе и Бухмина: “Восходит солнце из-за горизонта, собою украшая небеса, глядит — и не насмотрится на наши родные горы, степи и леса...”

Гораздо тише сообщал, пел, читал всё это и белый репродуктор-коробок над головою девушки-латышки. Но тесную диспетчерскую со временем перевели в жилищный фонд, и в неё попал через много-много лет, словно в клетку, сам забытый всеми поэт, имя которого, однако, давно уже принадлежало прошлому — потому, что отпечаталось в нём навечно.

Стесняясь теперешнего своего положения, жил он в бараке наособицу, ни с кем не знакомясь. Ему хотелось оставаться в памяти людей полным сил, подтянутым и бравым, несмотря ни на что. Бухмин затворился; он словно умер для всех, скрывая свою драхлую немощ от любого внимательного взора.

* * *

Тут, в бараке, старый поэт разговаривал только с покойной женою. И собирался спать так, как собираются на охоту: влезал в валенки, хотя и в них ноги его ночью не согревались, надевал тужурку, подпоясывал её полотенцем, чтобы она не задиралась во сне и чтобы вечно зябнувший живот не оголился невзначай.

Даже во сне Бухмин лежал, вытянувшись во весь рост. Он будто принимал парад: минувшее повторяло себя ночами в точном соответствии с давней его жизнью. Оно было похожим на чёрно-белый блестящий мрамор с нежнейшими дымчатыми прожилками. Давние события сделались его новыми, барачными, снами — тёмно-светлыми, как документальный фильм без конца и начала. А цветные вкрапления в его прошлом уже почти не встречались; многое выгорело, обветшало, многое полиняло за долгую жизнь, хотя и оставалось ещё в памяти кое-что особенное, не боящееся тления ни сколько...

Этой ночью Бухмин снова был курсантом, безнадёжно влюблённым в женский полк. Маленькие девушки-связистки проходили перед ним, бойко топя просторными солдатскими сапогами по белой мостовой. Утренний волжский городок тоже глазел на мелкорослый полк белёсыми запялёнными окошками. Улицы сбегали к реке, но замирали, споткнувшись о меловые карьеры с белыми довоенными отвалами, прибитыми дождями. А девушки, похожие на шестиклассниц, шагали дальше, к пристани, по белой наезженной дороге, размахивая руками, как взрослые солдаты. За малый рост, на подбор, они прозывались малокалиберными, а ещё — *карандашами*, и внушали Бухмину умильное желание опекать каждую из них — равно.

Бухмин, однако, изменил полку довольно скоро — когда увидел возле вокзала одну, высокую, стеснявшуюся своей худобы. В белом ситцевом платке, в тесной тёмной кофте, вязанной пупырышками, она оглянулась на бегу. Пасмурный, торопливый взор коснулся издали губ поэта. В тот миг женский задорный полк померк в его восторженном сознании, а там и забылся всем боевым составом...

Но эта, самая лучшая, незабываемая, с тревожной сумеречной тенью в глазах, едва не убежала от него тогда в грохочущее железом депо, размахивая полупустой авоськой с завтраком для отца. Зато потом она смотрела на него с перрона, припудренного меловой пылью, и шла вдоль состава, и бежала за ним. И в пасмурных глазах её плыли дождевые тучи. А он, в новой шинели, с лёгким вещмешком на плече, кричал сквозь белый пыльный ветер с подножки поезда, идущего на юго-запад:

— Слышишь? Никуда не уезжай отсюда! После войны я найду тебя. О-бя-за-тель-но!!! Только не уезжай!..

Совсем юная, всё в том же белом платке, она согласно кивала ему, стараясь улыбнуться безмятежно:

— Не уеду... Никогда... Никуда... — и прижимала руки к горлу по-вдоль.

* * *

Перебрался он в барак совсем недавно, после смерти своей фронтовой подружки и жены Лизы, из квартиры приличной, большой, полученной когда-то от редакции. А как произошло его несуразное переселение в диспетчерскую комнатёнку, древний Бухмин толком не понял до сих пор. Какая-то молодая толстощёкая женщина с плоскою обширной спиной вдруг решительно взяла его под руку ещё на кладбище и уж потом не отпускала больше до самого дома. Она осталась с ним, овдовевшим ветреной весною, в осиротевшем его жилище.

Бухмин не замечал её поначалу, потому что думал: каково-то сейчас его старенькой жене одной, под землёю. Его удручало, что там всегда темно: страшная снайперша Лиза не боялась на свете ничего, кроме сырой темноты и холода...

Толстощёкая молодая женщина с плоской спиной тем временем ладонью стирала пыль с его дубового письменного стола, и тою же ладонью гладила Бухмина по голове, и лежала какое-то время рядом с ним, в спальне, не сняв широких лакированных туфель с кожаными чёрными бантами у щиколоток. Помнится, он даже расплакался вдруг. Да, он повернулся к ней, чтобы произнести только что придуманные строки — о женщине-воине, ушедшей из белорусских сумрачных болот в окончательную степную тьму. В тех болотах его молодой Лизе приходилось лежать ночи напролёт в ржавой холодной воде... Но толстощёкая женщина широко зевнула, дрогнув красным языком, и встала.

Он поплёлся за нею следом, на кухню, выговаривая сокровенные слова поэмы с долгими паузами и тщательным раздумьем: угодил он Лизе или нет... Женщина тем временем жарила картошку, ела её, золотистую, горячей, нарочно громко стуча вилкою по сковородке. То, что Бухмин пытается разговаривать с нею, женщине решительно не нравилось.

Потом женщина утёрлась Лизиным передником и сказала, бросив его в угол, что дома ждёт её муж-сварщик, который режет роторный экскаватор на металлолом.

* * *

Исчезнув на пару месяцев, молодая женщина появилась снова. Она прошагала в своих лакированных плоских туфлях вокруг поэта, обойдя его, словно безмолвное высохшее дерево, затем остановилась и сказала, приблизив лицо к лицу, что у неё и Бухмина будет крошка.

— Но почему не от сварщика? — испугался дряхлый Бухмин, голова его затряслась от волнения.

— Ах! Подлец! — прокричала тогда женщина, отстранившись. — Это ты не хочешь нам помогать!

— Кому — вам?

— Мне и крошке.

— А тебя как зовут? — пытался пробиться к её душе растерявшийся Бухмин. — Как?

— Никак!

После этого женщина пронзительно зарыдала, нашла какие-то деньги в комодке и удалилась, причитая:

— Куда мне деваться с его дитём? Куда-а-а?! Кому я нужна теперь?! Обманул, обманул, прохвост...

Её слова, колкие, отрывистые, катились вниз по лестнице, словно ежи, пока женщина не вышла из подъезда.

— Дитё куда я дену?! — прокричала она с новою силой уже под окнами, задрвав голову вверх.

Потом, утёршись решительно, взяла под руку какого-то косматого парня с палочкой мороженого во рту и потащила его за собой, переваливаясь, будто утка.

* * *

Самым ужасным стало то, что теперь женщина в широких лакированных туфлях появлялась перед старым поэтом внезапно, в любое время дня и ночи, — у неё почему-то были уже свои ключи от их с Лизою квартиры. К тому же кричала она слишком, слишком громко, растворив дверь на лестничную площадку во всю ширь:

— Ты не платишь нам алименты! Я расстраиваюсь! Бедная крошка!

— А кто она? — не всегда понимал рассеянный Бухмин, принимая иногда, по старческой забывчивости, это навязчивое слово за чью-то, может быть, фамилию. — Крошко — она кто?

— Не смей притворяться, развратник! ...Ты меня растлил.

— Но при чём тут я? — пятился от неё Бухмин. — Нет! Это, верно, сварщик! Ты перепутала! И... не было у тебя никакого живота. Неоткуда взяться крошке, решительно неоткуда... Сварщик подтвердит.

— Врёшь! Растлил!.. И забыл. У тебя склероз. Не отпирайся!

От крика женщины, повторяющегося изо дня в день, у поэта ослабевали ноги. Он туже запахивался в мягкий плед и бежал от неё, теряя шлёпанцы, — ужасно медленно, неловко бежал, чтобы запереться в своём кабинете, забиться в угол дивана, зажмуриться, — но не успевал.

— Негодай! — настигала его стремительная чужая женщина без имени. — Из-за тебя у меня пропало молоко!

— Как — пропало? — тревожно вертел он седой косматой головою. — Украли что ли? Оно где у тебя стояло? В бидоне?.. Сейчас многие из сеней воруют. Ты где живёшь? В частном доме? Пускай сварщик вставит хороший замок... А я не брал твоё молоко. Нет. Ты сюда его не приносила...

— Мерзавец! Он решил издеваться надо мной! И ребёнком! Старая рухлядь! Если ты стал отцом на старости лет, изволь обеспечить!

Бухмин едва не плакал.

— Я не просил молока... — твердил он, прикрывая лицо руками. — Я ничего у тебя не просил! Иди к себе! Карауль молоко там. Иди! Зачем ты здесь?..

* * *

Ему в самом деле трудно было понять, про что она каждый раз толкует, женщина с кожаными бантами у щиколоток. Его Лиза-снайперша застудилась в тех самых непролазных тёмных болотах и была бездетной всю их долгую жизнь. А тут ещё рядом с кричащей женщиной стал появляться какой-то вертящийся во все стороны обалдуй с блестящей серьгой в ухе. Он похлопывал Бухмина по плечам, сбивая с пиджака то ли пыль, то ли перхоть, и утешал:

— Ничего. Я как-нибудь всё улажу. Есть у меня на примете один ход. Юрист подсказал. А иначе ты с этой халдой не развяжешься. Уж я-то её знаю!.. Ишь, алименты она захотела! Не вытрясет она из тебя ничего. Отвечаю!

— Но... какие алименты могут быть, если у неё муж есть? — спохватывался Бухмин. — И... что скажет сварщик на это? ...Не понимаю я!

Он даже топал и кричал в отчаянии, зажимая уши ладонями:

— Логика где?!

— Важно как раз, чтобы сварщик об этом не узнал, — стоял на своём невозмутимый парень. — Иначе ты можешь попасть под его электрод. И тогда даже я не смогу тебе помочь. Сварщик — здоровый. И свирепый... Он, ривнивец, металл кромсает, как бумагу... Такого он тебе не простит.

— Чего — не простит?!

— Ничего не простит, — оттирал, отколупывал, отряхивал что-то с его пиджака странный парень с серьгой. — Слушай меня, родной! Тебе лучше вести себя тихо. Понял, нет? Тогда улажу — всё! Замётано.

От частого этого похлопыванья в сердце поэта разрасталась тоска. И так, тоскуя, Бухмин продал поскорее своё жильё всего лишь за крошечный задаток, как раз этому самому обалдую, подсунувшему вместо обещанной и осмотренной двухкомнатной квартиры комнатуху-диспетчерскую. Парень, правда, помог с перевозкой вещей, хотя расплатиться не пожелал.

— Она потребовала свою долю! Для вашей крошки! — развёл он руками. — Я отдал этой халде всё до копейки. Но и того ей было мало!.. Грозилась сварщику рассказать. О вашем романе. И о том, что я тебе помогаю! Едва отделался от неё. Связался я с вами на свою голову... Пришлось, конечно, сэкономить немного на твоей площади! Так что я с тобой в расчёте. Живи теперь спокойно, ветеран. Сочиняй куплеты.

И снова Бухмин ничего не понимал. Он лишь глядел, как зачарованный, на маленькие женские руки парня и на блестящую нестерпимо серьгу в его ухе, да пытался унять дрожь небритого своего подбородка.

— А что за кольцо ввинчено здесь? Над окошком? — обеспокоился вдруг Бухмин; оно встревожило его видом своей никчёмности — крепкое одинокое кольцо из нержавеющей стали.

— Тебе не всё равно? ...Может, клетка с канарейкой висела.

— С певчей? — обомлел поэт от своей догадки. — Где же она теперь?

— Всё певчее теперь сдохло! — грубо оборвал его обалдуй с серьгой.

— Разве? — ужаснулся Бухмин.

Парень рассмеялся девичьим тонким смехом и повторил громче:

— Сдохло всё, всё певчее, отец! А ты не слышал?

— Почему? — расстроился Бухмин. — Сдохло?

— А чтоб не чирикало! Время наше такое... И я учился в детдоме играть на валторне! Ну, бывай, счастливчик. Судьбу благодари: живой остался. И не на улице, а под своей крышей. Нарвался бы ты на другого... Только я вот с тобой возжусь, как дурак. Тёплое жильё тебе, между прочим, надьбал. Здесь отопление работает! А мог бы ты, родной, в разрушенной многоэтажке оказаться, на горке, возле комбината. Цени!

— Да! Да! — с готовностью откликнулся Бухмин, не в силах оторвать взгляда от блеска круглой серьги в ухе парня. — Премного благодарен. За хлопоты. Вы ведь потратили на меня столько сил. А я вам никто, чужой человек... Не особенно удачно всё получилось, конечно, тем не менее — благодарен, особенно за то, что полки вы мне повесили. Растроган, да.

— То-то.

— Кольцо бы ещё убрать, если можно, — сконфуженно указывал поэт на окно, боясь ухода парня и незнакомой тишины, которая вот-вот подступит к горлу в одиночестве, как ржавая болотная вода. — Блестит оно очень.

— Да ты что, отец? Погляди, на какой шуруп оно посажено! Его пальцами не вывернешь... Всё, я пошёл. А кольцо... Ничего, на что-нибудь согдится. Оно есть не просит, правильно?

Блеснув круглой металлической серьгой, парень хлопнул в ладоши и пропал навсегда.

Бухмин долго стоял среди узлов и чемоданов, разглядывая паутину в углах каморки и вдыхая нежилой запах помещенья с низким потолком, с давно небелёными бугристыми стенами. Они внушали ему, однако, чувство защищённости. Но в блеске висящего под потолком кольца чудилась ему невнятная, таинственная насмешка.

Он с трудом отводил взгляд, который своевольно возвращался всё к тому же стальному блеску, многозначительному и непонятному. От этого блеска хотелось избавиться немедленно — закрасить чем-то кольцо или обмотать его тряпкой...

Надо ли говорить, что уместилась в барачной комнате жалкая часть библиотеки Бухмина — всего четыре навесных полки, а ещё кухонный стол,

старый диван из прихожей и стул. Но куда подевалось всё остальное, старый поэт не знал. И как петлю свил из старой простыни, разорвав её на части, не приметил, и как через блестящее кольцо протянул, запамятовал тоже. Так и висела она белым полукругом, не мешая особенно Бухмину, потому что сразу же болтающийся конец её он отодвинул в сторону, в самый угол окна, накинув там на какой-то кривой гвоздок, торчащий из рамы.

После этого поэту стало гораздо спокойней; кольцо поблёскивало слабее. И он вдруг осознал, что петля, нечаянно заготовленная впрок, для будущего, ещё большего осложнения жизни, уже есть, и что получилась она вполне сносной. А впопыхах, при безысходной крайней немощи, ему потом такую, пожалуй, не свить...

* * *

Перестав думать про петлю и про кольцо, Бухмин какое-то время ещё приходил к знакомой покинутой двери, обитой толстым вишнёвым дерматином с тусклою позолотой гвоздей. Он жал на кнопку своего звонка, прислушивался и жал снова, желая получить что-нибудь необходимое — из своей одежды, из книг, из милых сердцу вещей. Иногда ему срочно требовались зубочистки, стоящие в китайском низком бокальчике, на кухонном столе, и седьмой том Лескова, потому что Бухмину никак не удавалось вспомнить доподлинно что-то очень важное “О слабости чувств и о напряжённости оных”, а именно — про *трогательное покаяние*... В другой раз он спохватывался, что в шкафу остались все байковые пижамы и широкий пояс из собачьей шерсти. А то вдруг хотелось ему непременно послушать, пускай — напоследок, пластинку “Прощание славянки”!..

Потом он вспоминал, что в бараке нет семейного кожаного альбома с фотографиями. И телевизора. И телефона. И никак не отыскивалась среди вещей шкатулка с медалями.

— Лиза... Лиза... — топтался поэт на лестничной площадке. — Что я скажу Лизе?.. Она там спросит...

Звонил Бухмин и в другие двери, но никого, видно, не заставал дома — стеклянные глазки из тьмы смотрели ему в лоб равнодушно, как циклопы. Только знакомая соседка с головою, обмотанной лохматым тёмным полотенцем, показалась на одно лишь мгновение, словно горец в папахе, и уставилась на Бухмина диким оком, красным от шампуня, в упор. Она тут же исчезла, громыхнув блеснувшей цепочкой и клацнув замком. Но Бухмин всё равно обрадовался тому. Полагая, что соседка его не узнала, он звонил ещё и ещё. И поглядывал вверх. Потолок тоже смотрел на него — тусклым бельмом плоского одинокого плафона. И всё вокруг не узнавало его, по какой-то недостаточности зрения.

Тогда Бухмин поплёлся в свою редакцию, чтобы сказать новым сотрудникам: “Я жил под красной звездой. Я служил ей верно даже до смерти. Мы не изменили ей ни в чём, но она покинула нас. И всё же, когда умру, я должен лежать под нею, железной, потому что звезда у нас — была. Она светила нам ярко, хоть и очень кроваво... Пусть под серыми деревянными крестами лежат не дождавшиеся счастья. А у нас оно было... Позвоните в военкомат, когда умру: я уйду с железной звездой. Запомните это и налейте мне сто грамм фронтowych, собратья, как живому пока”.

Постояв без толку на пустынном перекрёстке, Бухмин понял, что перейти дорогу не сможет. В тот день дул сильный ветер, от которого кружилась голова и путались мысли.

* * *

Вскоре поэт изнемог окончательно. И в этой комнате-склепе он залёг, словно старый барсук, ожидающий смерти: она сама должна была дать о себе знать каким-нибудь образом — ну вот, мол, и пора. А вместо смерти сю-

да повадилось приходить его давнее прошлое, и Бухмин то смеялся на своём диване, то плакал, бормоча собственные старые стихи. Иногда он бодро проговаривал вновь сочинённые — про седую, беспомощную, но высокую оттого любовь. А то вдруг запульсировало у него в висках: “Бог не выдал. Но съела свинья наши судьбы, деревни, державу. Наши песни, и доблесть, и славу Бог не выдал, но съела — свинья...” Только записывать стихи уже не было сил. Они улетали куда-то с большой скоростью. И Бухмин понял, что он лишь наполняет пространство своими строчками, которые вернутся уже к совсем другим поэтам, и те будут думать, что придумали их сами, а никакой не Бухмин. И сочинительство угомонилось в его душе, и даже зарубцевалось, как заросшая рана.

Рубец, однако, ощущался; всё-то Бухмина озадачивали, тревожили, настораживали сочетания звуков, хотя уже безрезультатно. Даже в шорохе, в посвисте степного ветра музыки было мало; он шумел теперь совсем по-иному — налетал дурными порывами, опадал невпопад и часто грохотал ржавой жостью, срываемой с прохудившихся крыш. Наверно, это было звучание хаоса, потому что гармония в мире искажалась и рушилась... Искажалась, рушилась, грохотала... Куда подевалась русская сила, недоумевал Бухмин. Держаться миру было теперь не на чем. И нечего стало воспевать сочинителям, кроме всеобщего позора.

* * *

Давно уже не весёлый и не красивый, поэт перестал смотреться в навесное зеркало — из стекла глядела на него после умывания только тёмная и старая чья-то рожа с жёсткими волосами, торчащими из ноздрей, из жёлтых огромных ушей. А таким бывший красавец Бухмин видеть себя не желал. За хлебом он выходил в сумерках, брёл кривой захолустной дорогой, где не было встречных людей, в магазине же прятал лицо в воротник.

Несколько раз возле отдельного его крылечка в две доски появлялись люди из военкомата. Бухмин настороженно разглядывал их из-за пожелтевшей газеты, прилепленной к оконной раме хлебным мякишем, и дверь не открывал, чтобы не помереть от позора грязной и бедной своей теперешней жизни. Но расслабленная улыбка застывала на лице его, когда мимо окна пробегала молоденькая бледнолицая соседка с тревожными пасмурными глазами. В комнатных тапках на босу ногу, она стояла иногда на ветру, ожидая кого-то, кто должен был подойти со стороны холодной степи... И в том, как она прижимает к горлу белый платок, было что-то родное, давнее, знакомое.

Бухмин замирал у окна, приподняв газету. Он впадал в тоску щемящую, сладостную, хотя и довольно размытую. И поэту хорошо было думать потом, что пасмурная белокожая соседка дышит, ходит, размышляет где-то совсем рядом, за перегородками барака. Он даже вспоминал время от времени её имя и удивлялся этому: надо же, значит, он сохранил ясность ума, несмотря на все передраги. Хотя откуда ему было знать, как её зовут...

Пожалуй, она была бы куда краше, если бы не выглядела такой озабоченной, жалел бледную соседку поэт. И горевал — оттого, что эта юная женщина рано состарится, очень рано. Такой озабоченности женская красота долго сопротивляться не может. Уходит, смывается, стирается она, редкостная, изумительная, когда окружающие люди не понимают её и не берегут — по невежеству, по наглости или по трудоёмкости жизни...

Позже он придумал для себя, что эта бледная девочка-женщина с предвоенными серыми глазами появилась тут из его очень давней, молодой жизни. Подглядывая из-под газеты, он уже знал: однажды перед мысленным его взором, в чёрно-белых документальных снах, её образ совпадёт с другим, почти таким же, и что-то случится в тот миг — радостное, страшное и непоправимое: тогда развяжется сам собою, быть может, главный узел его судьбы.

От непомерной усталости Нюрочка никак не может проснуться, как ни старается. Ей надо к маленькому Сане. Ей давно надо к Сане. А она спит под могильными венками и изнемогает от отчаянья — она погибает в полной безвестности, оставленности, немоте — и спит. И робко мечтает, как бы закричать посильней — так, чтобы тёмный покров там, наверху, треснул бы, словно от молнии. И она, измученная повседневной работой, — мытьём бутылок, стиркой, готовкой, верчением бумажных цветов, — стала бы видна оттуда, из разрыва небес, вся насквозь — с синеватым разрезом пониже пупка, перечёркнутым трижды розовыми следами от швов, и с ладонями, исколотыми хвоей. Тогда бы сошла на неё сверху кроткая всепрощающая радость, и жалость, и сострадательная ласка, исцеляющая Нюрочку — а значит, всех в городишке... Но она зябнет под могильными венками. Мучается от онемелости поджатого своего тела. И спит, укрытая тьмою, как смертью.

Вдруг неожиданный тончайший лёгкий луч изшёл ввысь. Он легко пронзил несусветную толщу тьмы: серебряная крошечная пробойна неуверенно заиграла в небе — яркая, будто искра, единственная на небосклоне. То закричал, заплакал её Саня!

Нюрочка встрепенулась, взмахнула руками. Колочее, тяжёлое, пахнущее древесной смолою и акриловой краской, рухнуло на неё с шорохом, шумом, шелестом... Нет больше весёлой звёздочки над городком, но нет и смерти. Саня где-то рядом. Он всхлипывает, чихает — и задумывается, робко посапывая. И можно ещё поспать, чуть-чуть, мгновений несколько. Только вот венки навалились, колочий, тяжёлый, с проволочным перекрученным скелетом, а сверху сорвался, рухнул ещё один. И сдвинуть их с себя, могильные, колоchie, и сбросить нет сил. Пусть... Ещё немного...

Где-то в мире, кажется, заплакал ребёнок, отчего поэт Бухмин очнулся раньше времени. Да, сначала прозвучал над ним дикторский голос — кажется, из того самого белого репродуктора, висевшего на стене диспетчерской когда-то, много лет назад: “Сильных поднимет слабый. Он разбудит спящих от печали”.

Какой слабый? Откуда — поднимет? Из земли, что ли, хотел было выяснить удивлённый Бухмин, вспоминая торопливо однополчан, павших смертью храбрых, — и героев труда, о которых писал когда-то; нет их давно на свете, сильных духом!.. Однако продолженье последовало прежде его вопроса: “Он победит грабящих. Он уже здесь”. А потом раздался младенческий плач...

Хорошо бы, думал Бухмин, не веря голосу из давно пропавшего послевоенного репродуктора, хорошо бы. Если каждый двадцатый русский стал нынче изгоем, значит, большая допущена измена в верхах, и разорены русские не другом — врагом. Из поражения надо выбираться всем, сообща, надо... Но разве достаточно для этого детского писка в ночи, услышав который, поднимется разве что усталая мать?

И поэт лежал неподвижно — оттого, что был укутан основательно, да и диван шатался под ним при малейшем движении, поскрипывая, постанывая, шевелясь и шатаясь.

Но всё же поэт был рад крошечной тьме: проснувшись от голоса и слабого плача, он на какое-то время освободился от прошлого...

Здесь, в бараке, засыпал Бухмин рано, и уже к полуночи уставал невероятно — смотреть на то, что было, было. А своевольно остановить череду мелькающих во сне кадров не было никакой возможности... Только что в его каморке утомительно пахло шпалами и паровозной гарью. И он видел длинные товарные составы, и разверстые, без окон, вагоны, в которые забирались чеченские семьи...

У Бухмина тогда ещё ныло плечо, простреленное под Мелитополем, залеченное в госпитале наспех. Но война уже стёрла его молодые замашки — рисковать собою напрапалую. Вблизи отважные смерти бывали не менее безобразны, чем прочие. А изувеченные подвигом тела, расстающиеся с душою, становились равно жалкими в последнем своём земном мгновении.

Да он ли то был? Он ли стоял с винтовкой в оцеплении, в горах, под белым предвесенним снегом, падающим с небес? Какой-то озябший солдатик из стрелковой роты, брошенной на помощь войскам НКВД, ловил на себе обжигающие взгляды широкоплечих молодых горцев. Одетые в шапки-ушанки и ватники, они несли мешки на плечах, волокли баулы и плевали иногда под ноги солдатам:

— Дети собаки!..

Старики в высоких каракулевых папахах шествовали уверенно, как военачальники, среди суетящихся военных в синих фуражках, словно видели перед собой цель, известную им одним. Но шквал чужого горя следовал за ними. И Бухмину хотелось заслониться от непонимания в глазах темнолицых диковатых подростков, забирающихся в чёрные чрева вагонов, заткнуть уши от криков смуглых прямых женщин, ведущих с собою целые выводки детей, и отвернуться от гортанных проклятий старух, похожих на орлиц:

— Дети собаки... Тьфу!..

Голова Бухмина ещё покруживалась, а воздух будто был пропитан запахом лекарств. Но мешки и чемоданы всё плыли перед его глазами, старухи всё плевали, а горцы в папахах военачальников всё шествовали к составам, один за другим. И ротный, пробегая, кричал на солдат во всё горло:

— Сомкнуть ряды! Подтянуться!.. Что раскис, боец? Выше голову! Тебе на фронт, а им не воевать. В тыл покатят, дезертиры. Бандповстанцы. Их в горах ещё тысяча тринадцать засело... Кустанович, Ульманис, Краснопольский! Прикрыть оцепление с тыла! Не терять бдительность! А то будет нам праздник, 23-е февраля... Хандусенко! Найди коменданта эшелона. Нет у меня людей. Пошёл он... со своим кровельным железом, и с ведрами, и с фонарями! Так и скажи. Конвойные войска погрузят! Умный нашёлся. Там груза этого — кот наплакал... Шустрей давай!

А потом и сам Бухмин орал окрепшим вдруг, надсадным голосом:

— Назад! Не приближаться... Назад! Стоять, сказал...

Редкие выстрелы раздавались вблизи привокзальных домов, доносились со стороны городского базара, но горы молчали. И белый выпавший снег быстро пропечатывался чёрными следами всё новых и новых конвоируемых и конвойных. Операция “Чечевица”, начавшаяся под утро, шла своим чередом.

Гвалт, ругань, плач метались в крошечной комнате поэта, под низким барачным потолком. Предвесенье 1944-го года ныло в левом плече Бухмина, кричало паровозными высокими гудками, предупредительно грохотало сцепкой тяжёлых вагонов, трогающихся в путь, подальше от войны. И новый длинный эшелон из слепых шестидесяти пяти вагонов тут же занимал место убитого. Пару раз Бухмин пересчитал их тогда зачем-то...

— Поторопись!..

Его тошнило, помнится, от крутого курева натошак, заедаемого снегом. И силы покидали Бухмина в конце того суматошного голодного дня, внезапно перешедшего в глухую ночь. Но вдруг прозвучали беспрекословные слова — из белого ли давнего репродуктора, или, может быть, из послевоенной чёрной тарелки с уличного столба? Нет, всё же — из репродуктора, висевшего когда-то над прилежной девушкой-латышкой с лопатками, торчащими, как недоразвитые крылья: “Сильных поднимет слабый”.

Не осталось их давно на свете, сильных, не верил Бухмин советскому голосу. Никто не поднимет ислевших в земле. Все герои ушли — туда, в тёмные, сырые недра, насовсем.

“Он разбудит спящих от печали — он победит грабящих...”

И что-то прошло беспокойную тьму серебряной иглой: то заплакал за стеною младенец. И сон-явь — всё это оборвалось. Тогда сердце Бухмина замерло опасно, повернулось — и заработало как следует, и ногам вскоре стало тепло: он ещё жил...

Старый поэт мог теперь лежать, ощущая чудесное движение кровяных покалывающих токов под кожей, и смотреть, бездельничая, во тьму над собой, в которой не было ровным счётом ничего.

* * *

Пониженный слух его не улавливал тревожного, знобкого трепета газетного листа на оконном стекле, морозного крепкого потрескивания в углу старого целинного жилища. Земля там, за окном, уже наполнялась ледяным гулом под стремительным воем окрепшей вьюги. Ветер задувал в оконные щели, сквозил, гулял по лицу поэта. Но оно, плохо и наспех умытое, словно задубело без привычного горячего купанья, оставшегося в невозвратном былом, и слабо воспринимало изменения, происходящие во тьме.

— Не так уж это страшно, Лиза, когда нет света, — медленно говорил он покойной своей жене, стараясь улыбаться; ему было важно, чтобы она не сильно переживала за него, опять вернувшегося с войны, повторяющейся в бараке ночами.

— Так даже лучше, если выключено — всё, — не слышал своего бормотанья поэт. — У тебя нет света, в земле... И здесь его тоже нет... Конец света, Лиза, наступает у нас тоже — каждый раз, когда отключает электричество кто-то, завладевший светом. Всем светом... Завладевший концом света... Теперь мне не видать, где мы были и зачем.

Старые глупые люди, они всё писали зачем-то жалостливые письма — одинаковые, в два адреса:

“Ребятаки, дорогие! Помните ли Вы, как вдвоём проходили практику в нашей газете, в Столбцах, и жили в нашей квартире? Мы с Лизой любили вас, как сыновей. Такие вы были спортивные комсомольцы! Это редакция наша давала вам рекомендации в партию, помните? Но вы давно уже большие руководители российской перестройки, и даже христиане. Наш голубой экран отразил вас однажды в пасхальном храме, со свечами, в ряду первых лиц государства. Помогите же нам, русским, выбраться как-нибудь отсюда, потому что теперь оказались мы, кажется, в туретчине, и что с нами дальше будет, совсем непонятно. Вот наши белорусы и один знакомый вам литовец из отдела писем, которого вы, наверно, не помните, уже уехали к себе, а мы сидим, нам — некуда...”

Пока тут политика терпимая, но при смене здешней верховной власти она может качнуться в сторону больших притеснений. Тогда нас никто не спасёт...

Ребятаки! Если очень сложно оказать нам помощь, так и быть: на нас наплюйте, а вот молодых жалко, они оказались не у дел. Вытащили бы вы их, присоединили бы к центральной вашей жизни!.. Всё-то вы говорите там про утечку мозгов за рубеж. А что же наши, здесь, без мозгов, что ли, все, если вам не нужны оказались решительно? Образованное ближее зарубежье вы, там, ребятаки милые, перечеркнули зачем-то, как неполноценное, и высокие умы здешние забраковали, и в таланте всем талантливым братьям, братьям вашим — отказали одним махом. Нехорошо! Грех вам там за это будет не прощаемый, грех и кара...

Не обижайтесь только на нас! Ладно? Молитесь на экранах, как молились. Но ещё подекажите хотя бы, ребятаки, что нам делать, как быть...”

— Вместо того, чтобы проклясть обоих, мы просили их о помощи... Эти письма заставляла меня писать ты, Лиза, а я не хотел, — выговаривал покойной жене Бухмин, часто моргая. — А они... Они предали наши с тобой победы... Пустили на ветер земли, политые нашей кровью... Но мы, Лиза, всё равно ждали с тобой ответа: а вдруг? Вдвоём, держась друг за друга, спу-

скались вниз по ступеням, проверяли почтовый ящик утром, вечером... Отчего мне так стыдно за эти наши письма? Ай, как стыдно... В слепом белом ящике была одна чёрная пустота... Как же долго мы ждали!..

* * *

Под щеками и за ушами поэта давно уже было сыро, мокро. Но слёз Бухмин не вытирал, чтобы движений, опасных для дивана, не делать и чтобы тяжёлой руки из-под одеял не вынимать.

— ...Нет, Лиза, так лучше гораздо: ничего не ждать, ничего не видеть, не быть. Ты зря боялась темноты: это — лучшее из того, что осталось на свете от всех наших войн, — говорил он без голоса, едва шевеля губами. — А худшее — это обман. Они обманули державу. Партийные мошенники. Мошенники во власти... А мы, глупые, старые... Мы с тобою писали врагам, Лиза... Мне померещилось, кто-то сказал: “Он победит грабящих. Он уже здесь”. Что-то в этом роде, в общем, прозвучало недавно надо мною, если я ничего не путаю... Но кругом обман, как верить словам? Тем более словам из репродуктора, которого уже нет...

Однако тут мысли Бухмина застопорились и, сделав неожиданный зигзаг, устремились по другому уже руслу.

— Я ведь тоже обманщик, Лиза, — шептал он. — Когда ты узнала, что мы в редакции пьём ночами белую веселящую водку с обесцвеченными, белоголовыми, веселящими нас женщинами из магазина, то сказала: “Пусть... Спать со мной — всё равно что спать с войной. Ты устал спать с войной. Ничего”. И стала стелить мне в кабинете, жалея и прощая. Ты всегда делала меня не виноватым! И всегда это тебе удавалось, Лиза... Но есть в жизни то, что я сам, кажется, не смогу себе простить. Я обманул юную девушку с пасмурными глазами. Она напрасно ждала меня после войны...

Лиза, ты, наверно, не поверишь, но она — здесь! Время, прошедшее с войны, мало изменило её. Она даже стала краше, гораздо краше! Уже не такая угловатая, напротив: теперь она очень ладная, даже чересчур. Есть такие точёные женщины, которыми можно лишь любоваться издали — так они совершенны. И тронуть их — всё равно что осквернить. Потому приближаются к ним лишь полные идиоты — ублюдки, которые не понимают святого. Так она выглядит теперь... Только всё равно я узнал её: у неё те самые глаза!.. Выбегает в тапочках на босу ногу и ждёт на ветру, под моим окном, какого-то коренастого мужичка, совсем не похожего на ценителя женской красоты...

Он неказистый, Лизонька; должно быть — из степняков. Они, ты знаешь, кривоногие, жилистые. И молчаливы обычно, но свирепы бывают, как осы, если их разозлить... Многое в нём — от нелюдимои местной степной породы, многое. Совсем он ей не пара...

Мужичок этот, Лиза, никогда не обнимает её, ждущую тут, под окном. И не улыбается он никому. Исподлобья глянет — и всё. Потом они идут в барак, склонив головы, как два старых человека...

Мы не были такими. И в голод, и в войну — мы не были такими утрюмыми... Но у него, у степняка, твёрдая косолапая поступь. Надёжная поступь. А я... Я... Я, Лиза, обманул девушку с серыми глазами...

Мысли старого Бухмина, однако, уже перепутались совсем, и шёпот его прерывался временами надолго.

— ...Тот, который возвращается откуда-то со стороны пустыря, Лиза, состарится очень рано, как и она, красивая, не нарядная, — беззвучно выговаривал Бухмин. — Я обманул её, потому что поехал не к ней...

* * *

Из-под колючего тяжёлого венка Нюрочка кое-как высвобождает руку и дотягивается до края коляски.

— Саня, сейчас, — покачивает она коляску во тьме, не просыпаясь. — Тш-ш-ш...

И не слышит, что ребёнок уже притих.

— Сейчас, — виновато шепчет она, качая. — Встану к тебе...

Нюрочка намучилась, как всегда, от работы, от заботы — и оттого, что опять приходили свёкор со свекровью. Они ели, и пили, и громко пели до вечера. А Нюрочка — вставшая ни свет ни заря и перемывшая гору бутылок, и перестирывавшая гору пелёнок, и навертевшая гору ярких бумажных цветов, и прикрутившая проволокой множество еловых лап на металлические остовы венков, — Нюрочка готовила, сновала из крошечной кухни в комнату и обратно, и подавала, подавала на стол... А Иван, сбегавший с двумя канистрами на далёкую станцию, потом — разведивший в корыте спирт с водою, розовой от марганцовки, и выгнувший из проволоки, и скрепивший столько веночных каркасов, наливал и наливал родителям самодельную водку одною рукой, на другой же держал Саню с осторожностью. Он следил за тем, чтобы крошечному сыну свет не падал в глаза, и всё поправлял край лёгкого покрывала над красноватым, сморщенным личиком, едва бутылка возвращалась на стол.

Родители мужа приходили теперь к ним на обед раза два в неделю, да куда же старшим Бирюковым было ещё деваться и на что жить, если комбинат закрыт, и свёкор больше не учётчик, а свекровь — не нормировщица... И пускай бы гостили! Нюрочке и Ивану ничего для них не жалко. Лишь бы свёкор ближе к вечеру не принимался грозить им пальцем и орать раздутым дурным голосом, багровея от негодованья:

— Ра-бо-тать на-до!!! Эх, вы. Барыги... Позорники. Спекулянты вы!..

Саня пугался на руках у Ивана и плакал так слабо, будто где-то вдали пищал малый котёнок, попавший в беду. Тогда Нюрочка переставала носить из кухни тарелки с едой. Но как возразишь справедливому свёкру, как утихомиришь его, если он прав? Она брала маленького к себе на руки и выходила в коридор, покачивая.

— А где нам зарабатывать, Саня? — тихо спрашивала Нюрочка младенца. — Не помирать же нам... Нет, нам с тобой надо жить... Тебе надо жить, Саня!

* * *

— ...Иди, иди, — успокаивала она вчера Ивана, уже одевающегося, уже поднимающего тяжёлую сумку с бутылками самодельной водки. — А то Пана Ионовна закроется и не примет, чего доброго. Я тут сама всех провожу, всё перемою. Может, ещё пару венков закончу до твоего прихода.

Иван спрашивал её глазами — и корил глазами: какие два венка, когда ты бледная и от усталости спотыкаешься? А она отвечала ему так же — глазами: за колючие венки в бюро ритуальных услуг платят копейки. Нет, надо сделать ещё хотя бы два. Сане к весне уже нужны будут башмачки и сапожки. А на водку надежда плохая. Спиртом на станции торгуют редко. Жди потом, когда придёт цистерна, и когда охранником при ней будет дежурить дядя Лёша...

Взглядом уговаривал её Иван: он сам, с раннего утра, сядет за венки. Посуду ночью перемоем... А она не соглашалась: лучше Ивану выспаться, отправиться спозаранок в похоронку — договориться насчёт еловых лап. Узнать надо, когда будет привоз, и записаться в очередь. Они там старые списки теряют, составляют новые, а потом кричат: "Не записывались вы на лапы!" И ничего не докажешь...

— У тебя завтра дел полно, — прижимая к себе Саню, говорила Нюрочка. — А я дома сижу. Ничего-ничего... Куртку сними, надень полушубок. Холодно... Спиши. Темнеет.

— Ляжешь пораньше, пальцы отдохнут, — всё топтался Иван у порога.

— Они после стирки хорошо заживают, — покачивала Нюрочка плачущего Саню, пятясь от порога — от холода. — Ничего. Иди.

И с опаской она смотрела на двери соседней, а свёкор кричал всё громче:

— Барыги! Дети наши! И нечего их защищать!..

— Тихо, Саня, — шептала Нюрочка над ребёнком, направляясь в комнату, чтобы на младенца не пахнуло стужей. — Не бойся. Ты со мной... Терпеть надо. Они — твои бабушка и дедушка. Давай их уважать... Проводим всех — и отдохнём. Уж как хорошо мы с тобой, Саня, отдохнём! Будем спать, спать! Правда? Спать без просыпа...

* * *

— Разве так живут? — продолжал негодовать за столом и буянить свёкор, и жилы на его багровой шее напрягались, как тугие верёвки.

— Это что, труд?! — показывал он на венки. — Срам. От людей стыдно. Вот, надо не спекулировать! Ра-бо-тать на-до!!!

— Куда — идти работать? — покачивала Нюрочка плачущего Саню. — Тш-ш-ш... Куда?

— А я говорю! Ра-бо-тать на-до! Хоть где!

Свёкор стоял на своём, ярился пуще. Он принимался колотить вилкой по столу, пока не получал от своей жены крепкий — и всегда неожиданный — подзатыльник.

— Перевоспитал детей? — грозно спрашивала бывшая нормировщица из-под седой своей пышной чёлки. — Наелся, харя? Айда домой, к пустому столу. Там я тебе добавлю пустым половником по твоей пустой балде. Ты сам — что не работаешь?

— Я сокращённый! — бил себя в грудь свёкор. — Сколько положено отмантулил! Я — так, как они, не жил. А грамоты получал, между прочим. Трудился на благо своей страны!

— Чьей — страны? — от насмешливости свёкровь закидывала ногу на ногу, и вышивала ещё, и отворачивалась, фыркая сильно. — Чьей?!

— Своей! Мать-перемать.

— Тебя какая страна сейчас накормила? — била его кулаком по сутулой спине свекровь. — Ты чью водку только что хлестал?! Передовик хренов.

— Чем такую водку пить!.. Лучше застрелиться, — расстраивался свёкор. И грозил со слезою в голосе: — Вот пойду и застрелюсь. Без промедленья.

— Опять обманешь, пустобол. А ну, двигай ногами! — кричала раскрасневшаяся свекровь. — Шагай, пока я тебе их тут не повыдергала!.. Пока ходить есть на чём — вперёд! Раз, два.левой!

— Всё равно застрелюсь, — упрямился свёкор. — И сюда больше не приду. Не упрасивай. У меня тоже гордость есть, понимаешь. Я — рабочий человек! И мне за таким столом сидеть... большое западло!

Саня уже прижимался ртом к халату Нюрочки и губы вытягивал, постанывая. Молоко прибывало в ответ: грудь покалывало, распирало, ломило. Только хочет Нюрочка, чтобы крохотный её Саня сосал бы в тишине и покое, а она глядела бы на него, улыбаясь мирно, поглаживая тонкие волоски на синеватых нежных висках его.

— Потерпи, мальчик мой, немножко... Сейчас...

* * *

Родители мужа, однако, не уходили подолгу, препираясь и что-то объясняя всему свету.

— Гляди-ко, застрелится он, — дразнила мужа свекровь, поигрывая седыми бровями. — Ой! Не дождусь я того часа заветного, когда бы мои глаза твою честную рожу не видали бы.

— Нет, кто?.. Кто так зарабатывает?! — снова гневался свёкор, показывая на венки, развешанные по стенам. — Они — не дети! Они — пятно на мою рабочую биографию! Я их жизни такой — не одобряю!

— Марш! На выход! — кричала свекровь ещё громче, чем он, и толкала его в спину. — Не ори!

Свёкор спотыкался, но не падал, умея вовремя ухватиться за дверной косяк.

— А я говорю: ра-бо-тать надо!!! — багровел он пуще прежнего. — Руки прочь. Застрелю...

И всё было вчера, как всегда. И Нюрочка смотрела на них из угла спокойно, только прижимала Саню к себе — так, чтобы брань не касалась его; не вбиралась бы младенческим сознанием, не укоренялась бы в тельце — не превращалась бы в дурной, скверный навик.

— Ты не бойся! — приказывала ей свекровь. — Кого он застрелит? Разве что из-за угла. Видала наше ружьё? Он же его продавать понёс! А на него эти налетели, с микрорайона. Уж так они отнимали, и так уж он его не отдавал, что об угол дома ствол погнули, дураки... Кривая одностволка стала! Как кочерга. Его и бандиты не взяли, такое ружьё. Только тумачков нашему продавцу навешали...

Саню надо кормить, и давно подступившее молоко не находило выхода из Нюрочкиного тела. Оттого окаменела грудь, а на лбу её выступила мелкая испарина.

— Сейчас, сейчас, Саня, — пришёптывала Нюрочка над младенцем. — Недолго уже.

— Комедия, в общем, не жизнь! — хлопала свекровь Нюрочку по плечу. — Слышишь, чего говорю? Не бойся!

— Слышу, — кивала Нюрочка торопливо. — Сумку с продуктами не забудьте. Там рыба для вас. Иван у частного покупал. Её в холодильник надо сразу. Приходите ещё.

— Нет! До среды не ждите, — обещала свекровь великодушно и позёвывала широко, со вкусом, накидывая пальто и нашаривая рукава невпопад. — Наелись на три дня вперёд. А от этого, бесстыжего, слова доброго ты, Нюра, не дождёшься, как и я за всю жизнь не дождалась. Ладно, отдыхай! Потопали мы...

Она забирала тяжёлую сумку, верхнюю одежду мужа, выходила первой, отодвинув его плечом, и запевала в коридоре высоким дребезжащим голосом:

— Ой, цветёт калина — в поле у ручья. А парыня маладова... Ты, старый! Давай вторым: а парыня маладова!..

— Какая Молдова? — мотал тяжёлой головой свёкор. — Она теперь не наша.

И долго ещё изумлялся за дверью:

— Вот дура баба! Какая Молдова? Молдавия!.. Была, цвела, жила богато! Когда-то.

* * *

— Продали, сволочи, республики все. Тут ружьё никак не сбagriшь, а они... — шумел свёкор там, в коридоре, удаляясь. — Ещё бы жену кому-нибудь всучить, хоть забесплатно, так нет. Мы не умеем! Не приучены. А дети, вон они! Спекулируют, барыги! Научились дурную деньги зашибать... Но я их предупредил! Так не жи-вут! Рабо-тать на-до!!!

...Он ещё кричал что-то на выходе из барака. А Нюрочка в своей комнате уже кормила Саню — присев на табурет и скорчившись, чтобы не тянуло швы.

— Видишь, всё утихло, — гладила она младенческий нахмуренный лобик. — Саня мой. Саня...

Но из коридора уже доносился другой нехороший разговор. Там рослый внук старика-азиата опять перечил учительнице — тот, с сизыми кулаками, с лицом плоским и тёмным, будто сальная сковорода:

— ...Ну, вышел. Хочу — и сижу. Напротив её двери. Ну, на корточках, а что? У меня тут дед живёт. А эта... Всё равно моя будет. Не будет — ей же хуже: в чуханы волчонок её пойдёт, в оборванцы.

Это он — про Нюрочку и про грудного Саню, мясной тяжёлый парень с чутунной головой и масляной поволокой во взоре.

— Ничего, мой маленький, ничего, — одну руку Нюрочка опускает в карман халата, не переставая кормить; пальцы её крепко охватывают гладкий тяжёлый металлический шар, который всегда при ней, когда дома нет Ивана. — Ничего, мой хороший.

— ...В подземном цехе из бочки с раствором дышать будет волчонок, балдеть, — не унимается котлоголовый парень. — Там беспризорных много. К друзьям пойдёт. Скоро.

Если сейчас Нюрочка выйдет и ударит стальным шаром, зажатым в кулак, по широкому темени бандита, то проломит его ненавистную башку наверх. А после этого ей останется только сесть в тюрьму. И что тогда будет с Саней? Нет, надо терпеть, терпеть, терпеть — и ничего не говорить Ивану... Только стальной шар, оттягивающий карман тёплого халата, у неё всегда наготове. Он, тяжёлый, теплеет от её пальцев, перенимая температуру тела. Да, у металла, и тела, и молока — общая теперь температура, будто сталь и Нюрочка — одно целое.

— Тише, Саня, крохотный мой, — кормит она ребёнка, прижимая одной рукою. — Скоро папа твой вернётся. Скоро... С ним станет спокойно... Без него совсем покоя нам нет, а с ним... Раста...

Молоко уходит, перетекает, поглощается, соединяя мать и дитя, словно у них снова общее тело. Сталь, согретая материнской рукою, сама Нюрочка и младенец сейчас — одно целое... Младенец, Нюрочка, сталь...

— Раста, Саня. Придёт наше время. Когда-нибудь. Слышишь?.. Оно так долго не приходило! Так долго, что... Придёт.

* * *

Храбрая учительница Тарасевна толковала меж тем в коридоре дрожащим, напряженным голосом:

— Надо всем по-доброму жить, по-соседски! А ты придумал — ерунду! Женщин кругом полно. Тебе что, других мало? Ребёнок у них... Мужу куда деваться? Оставь людей в покое, если ты умный человек!

— Я говорил ему, чтоб уезжал по-хорошему? Говорил. В Россию пускай пилит белобрысый. Белоглазый.

— Ври кому другому, — ворчала Тарасевна и похаживала там, за стеной, громыхая алюминиевым ведёрком. — Ничего вы напрямую не скажете, исподтишка вы храбрые. И гурьбой на одного. Знаю я вас... Мне — не ври! Говорил он...

— Много раз говорил! — обижается бандит. — А эта... Эта мне ребёнка родит, я и русского волчонка тогда не трону. Пускай живёт. Мне не жалко... Если наши законы плохие, тут никого не держим. В другой закон пусть бегут — мы не против.

— Да уж ездили они в Россию. Кому они там нужны... Не к кому ехать! Никто нам не поможет, нигде...

Прислушивается Нюрочка к словам за стеною, кивает, склонившись над младенцем: все помогающие — сами давно обобраны в России разорённой. И сердобольные — выкинуты из своих домов... А богатый бедному нигде не помощник... Всё то же там, что и здесь! Беспризорники, и нужда, и бандиты. Бандиты вверху, бандиты внизу. Нет милостивым в России приюта — ни местным, ни приезжим...

— Так-то, Саня. Раста.

* * *

Табачный дым вползает в комнату — змеясь, извиваясь. Ниже склоняется над младенцем Нюрочка, прикрывая его собою.

— Эй! — негромко окликает её бандит, но не входит: он думает, что дверь заперта. — Упрямая, да? Чухан будет — ребёнок твой. Игла, игла... Лучше открывай.

Сальный бандит совсем рядом — он шумно сопит в коридоре. А Тара-

севна побежала на улицу со своим ведром. И тихо в комнате старика-азиата; ухромал, должно быть, под вечер в степь, к далёким могильным мазарам. Один из них стал домом двух его сыновей, рождённых когда-то для строительства коммунизма... Но сыновья старика мертвы. А внук его, пахнущий парным мясом, жарко дышит в коридоре, переступая с половицы на половицу. И табачный дым вползает оттуда волнами. Они, длинные, сизые, шевелятся возле младенца, поднимая змеиные головы.

— Старуха велела по-хорошему жить! Эй? По-соседски... Почему не отпираешь?.. На иглу сядет волчонок. Этого хочешь?.. Мой брат сам подсел, твоему волчонку — поможем. Со временем. Кайфовать будет, балдеть... Решай давай!

Крепче сжимает Нюрочкина рука в кармане тяжёлый металлический шар, перенимающий тепло её — и тревогу, сдавленную до немыслимой плотности. Ещё немного, и плотность металлического ядра станет так велика, что улетит в обидчика сама собою.

— Открой, сказал! — стучит по двери бандит, теряя терпенье. — Совсем уважать не хочешь, да?

Если слабая женская рука не сумеет удержать при себе шар, то, перегревшись, металл выйдет из-под управления — он улетит в висок притеснителя... Уплотнившаяся материнская стальная тревога поразит притеснителя насмерть... Любого, кем бы он ни был...

— Откроешь? Нет?..

Нюрочке надо быть сильнее своей тревоги — чтобы удержать блестящий шар. Нюрочке надо быть спокойней себя — чтобы шар не перегрелся в руке... Нюрочке надо быть...

Дёрнулась ручка двери и уже провернулась. Но... металл не должен стать сильнее Нюрочки, стиснувшей тревогу в руке.

* * *

— Вот! Куришь ты здесь, в тесноте! Зачем? — раздаётся в коридоре крик Тарасевны, вдруг вернувшейся с улицы. — Там — ребёнок, у меня — внучка в комнате. А ты что делаешь? Крутом щели...

— Я везде хозяин! — ворчит бандит. — Курю, где хочу. Где не хочу — не курю.

— А венки если загорятся? Подожжёшь барак, её муж тебя убьёт. Он ведь придёт с минуты на минуту! — храбро врёт учительница в коридоре, уже постукивая шваброй по полу. — В прошлый раз без него ты набезобразничал, венки посшибал, истоптал. А ну, если он узнает? И что начнётся? Поножовщина, а там — суд.

— Я руки не мараю. Другие справятся. Скоро.

— Почему соседке прохода не даёшь? Я же милицию никогда не вызываю, по-доброму с тобой говорю, как умному человеку: прекращай.

— Сегодня вызовешь, завтра я в твоей квартире жить буду. В милиции наши люди есть! Везде есть!.. Вернётся скоро Бирюк её, говоришь? — лениво посмеивается бандит. — Посмотрим! Успеет или нет... Ночь тёмная будет... Сам на нож наткнётся в овраге. Тогда не выскочит, наверно.

Но тут парень взвыл так, что Нюрочка вздрогнула. То охаживал его в коридоре хромой старик-азиат. Лушил внука посохом по хребту, выкрикивал высоким голосом, похожим на клёкот, ужасные нерусские ругательства, искажая от гнева слова:

— Не приходи! Нога твоя тут зачем? Бандит, понимаешь... У-у, дрянная порода. Сволочь...

Наконец опять хлопнула общая дверь — на улицу. Шум отъезжающей чёрной калоши удалился вскоре от барака, стих совсем. И Нюрочка перестала сжимать тяжёлый шар. Она вытерла пот со лба.

Опять спас её старик. Прогнал наглого, постылого. Пахнущего сырым мясом — выставил, поколотил...

— Видишь? Хорошо всё, Саня, — гладила вчера вечером Нюрочка при-

тихшего младенца, замершего от опасности, и застёгивала халат на груди. — Тебе спать надо... А я со стола уберу потихоньку. За венки сяду... Дедушка бы только этот подольше пожил! Чужой, старенький совсем, а видишь — защита нам. Помрёт если, как бы не заплакаться нам с тобой досыта... На кого надеяться нам, Саня, когда одни мы дома остаёмся? На дедушку твоего с ружьём? Очень правильный дедушка у тебя. Только вот ружьё у него — кривое... И всё-то у нас кривое, Саня. Всё...

* * *

Но кривое было не всё. Раздался лёгкий стук в дверь.

— Можно ли нам? — ввела Тарасевна за руку внучку девяти лет. — Вот, Полина, посмотри, какой маленький тут у нас, в бараке, народился.

Полина была девочка приветливая — в коричневом платье вельветовом, длинном, причёсанная гладко, на пробор, — и стеснялась проходить. Однако на красное личико Сани посмотрела всё же издали, привстав на цыпочки.

— Хорошенький... — неуверенно сказала она, теребя косицу.

Нюрочка обрадовалась Полине и тоже полюбовалась своим Саней.

— Ты сама-то хоть поела? — Тарасевна окинула неприбранный стол многоопытным педагогическим взором. — Тебе за двоих есть полагается, ты — мать кормящая... Полина! Неси-ка посуду на кухню, помоги!

— Я — потом, — слабо улыбалась Нюрочка. — Отдохну только минут пять. Не надо...

Но Полина уже старательно и с большою охотой собирала тарелки.

— По две носи! — командовала Тарасевна. — Уронишь...

— Да вы садитесь, — предложила Нюрочка из пустой вежливости, зная, что соседка так и будет стоять около двери, будто около классной доски.

Тарасевна только махнула рукой:

— Ничего... Ну, что? Немая не появлялась? Давно в милиции заявление моё лежит, а толку нет... В овраге, где карьер осыхает, опять китайца задушенного под глиной нашли. Без денег, без документов. Кто такой, откуда — никто не знает, — перетаптывалась учительница. — Ну, китайцы — они мелкие сюда проникают. А наша немая — здоровущая! Семеро не укошат... Может, в рабстве её держат? Говорят, с юга опять большую бригаду рабов пригнали, дворец в Гнезде строить и солярий какой-то. Молодые, вроде не цепях. Ты не слыхала?

Нюрочка молчала, прикрыв глаза: ей надо вырастить Саню. Внешний мир, опасно просторный, хочет, чтобы она воспринимала его, растрчивая себя на чувства, не укрепляющие Саню. А этого Нюрочке не положено...

— На цепь нашу немую посадили! Не иначе, — беспокоилась Тарасевна. — Верёвку она бы перегрызла... Я так думаю. А ты?

И снова не отвечала Нюрочка; она должна сохранять себя — для Сани, дремлющего на коленях, совсем ещё не окрепшего. Её жизни должно хватить на то, чтобы...

— Уж не там ли она? — расстраивалась Тарасевна в одиночку. — А не подойдёшь, не проверишь. Автоматчики стоят... И как нам быть?

Но нельзя Нюрочке вовлекаться в напрасную трату сил, расходовать их на лишние слова — нельзя. И она только пожимает плечами в ответ.

— Полина! Ещё вилки прихвати! Одна под столом валяется, — распоряжалась учительница. — Подбери... Вот какой дикий режим к нам заявился! Зачем он? Рабовладельческий?... Он хуже того, который был!.. Скажи, Нюра: кому это надо было? К нам его завозить? Режим этот отсталый? А?

— Не знаю, — Нюрочкиных усилий должно хватить на то, чтобы вырастить Саню, сохранить, выучить, и тогда он сам решит, что нужно делать с этим миром. — ...Опять новый передник у вас?

Довольная своим видом, Тарасевна погладила себя по животу.

— С вопросительным знаком, — сказала она. — Благодетель, депутат, мне этих передников надарил — видимо-невидимо! Нет, всё-таки не режут нас тут, как овец! Не то что на Кавказе. И не в цепях мы, русские, здесь живём, в Столбцах наших!.. Немая только куда-то запропастилась. И всё...

А зачем я зашла? Сказать зашла: завтра мне в день сторожить. Зато послезавтра дома буду. Если тебе в магазин сбежать надо, я за маленьким тогда опять пригляжу. Защищит — качну коляску, будь спокойна. Только вот завтра — не смогу: работаю.

* * *

Тарасевна дождалась, когда девочка снова уйдёт с тарелками на кухню, и зашептала от порога:

— Как спать ложимся, она на молитву встаёт. И утром тоже. А я без единой молитвы всю жизнь прожила... В монашки бы не ушла Полина, этого боюсь. И ведь книги какие серьёзные приносит! Читаю без неё — и не разберусь. Вот антихрист — он человек? Или кто?

— ...Когда хорошее считается плохим, а плохое хорошим — это царство его, — ответила Нюрочка неохотно.

— Оно уже не только его: наше! — с чувством произнесла Тарасевна. — Всё земное царство — такое... Шиворот-навыворот и мы теперь живём: всё! Вписались!

— Так мой дедушка про это говорил. А про остальное...

— И я про остальное не знаю! С одной стороны глядишь, религия нужна — чтобы народ в узде держать. С другой стороны глядишь — она вся на наше угнетение. Ты-то как считаешь? — ожидала ответа старая Тарасевна, переступая с ноги на ногу в нетерпении.

Но с осторожностью отирала Нюрочка подбородок младенца проглаженной белой тряпицей и улыбалась, не сводя с него глаз.

— ...Вот! Без немой и поговорить в бараке не с кем! — хлопнула себя по тощим бокам Тарасевна. — У твоего-то мужа я про это не спрошу! Не за начитанного ты, Нюра, вышла. Не обижайся. А только грубая порода его, простая. У тебя одной спрашиваю: для угнетенья нашего молиться нам разрешили?

Нюрочка пожала плечами, не поднимая склонённой головы.

— Мы водкой торгуем, — покраснела она. — Нам про высокое думать нельзя. А если по книгам... На наше угнетенье то, что делается не по религии. Так, наверно.

* * *

Разговора не получалось. И оттого немного томилась Тарасевна, поглядывая с порога в две стороны. Но в коридоре ничего особенного не происходило, а ответы Нюрочки казались ей куцыми, вялыми: на троечку с натяжкой.

— ...Из-за водки вам виноватиться перед нами — нечего! — рассердилась тогда учительница. — Кому не надо, тот не напьётся. Вот Иван твой — и при водке, и трезвый всегда. А кому выпить надо — вы тут при чём? Зато голодом не сидите! Не как другие бестолочи. Зятя бы моего научили — так зарабатывать, чтоб самим обутыми, одетыми быть и ещё родителей подкармливать... Нечего краснеть, если время такое пришло! Наоборотное. А всем, всем — присосабливаться надо... Полина! Стаканы поставь назад! Блюдо носи одно, с крышкой вон той.

Тарасевна снова дождалась ухода Полины.

— Это свёкор вас затюкал. Застыдил. А сам — никакой не рабочий класс!.. Он, когда партийный был, горнякам часы урезал, из принципа! А они ведь таких фуфайками душили... И этого, вашего, тоже — прижали разок возле конвейера. Не до конца, правда, а рёбра-то ему намяли. Если бы парторг не подошёл — уехал бы он по ленте, вместе с отработанной породой, в отвал, свёкор ваш распрекрасный... Потом кровью долго харкал, законни! Но я скажу тебе прямо: во всём твоя свекровь виновата, квашня: не пресекает... Распустила его. Да ещё сама рюмочку любит: по всей пьёт! В нормировницах разбаловалась. А ты их, Нюра, привлекаешь!

— Они эту комнату сохранили для нас, — покачала головой Нюрочка. — Не продали её. И для свадьбы все деньги с книжки сняли. Вот, сами теперь ходят без гроша... Нет. Они для нас всегда хорошие будут.

— От глупости они хорошие, не от ума, — опять не согласилась Тарасевна с Нюрочкой. — Эти их глупости я у себя, за стенкой, слушать устала! Орут у вас, как резаные. Повадились...

И так — сердиться, командовать, поучать — Тарасевне нравилось. Она будто опять стояла перед классом и распоряжалась всем и всеми. Неудобство же было одно: едва она разводила руки пошире, повывразительней, как тут же венки, висящие на стенах, напоминали о неизбежном её кладбищенском будущем, совсем близком. Уколовшись, Тарасевна поглядывала на жёсткую хвою неодобрительно, но речи не прерывала, как не прерывала она никогда своего объяснения, усевшись на подложенную учениками кнопку.

— ...Из-за тебя только, Нюра, гостей ваших терплю. Гляди, если надо, я ведь их так рассобачу! Они — не титульная нация, чтобы с ними чикаться. Разгону вмиг!

* * *

Нюрочка положила Саню в коляску и тоже принялась убирать со стола, вместе с вернувшейся Полиной.

— Тебе, девонька, дышать надо больше, — толковала Нюрочке Тарасевна. — Что это? Под глазами круги тёмные... Так дело не пойдёт. Притворяться учись! Голова, мол, болит. Без этого нам, женщинам, нельзя. А то до смерти укатают и не заметят. Я вот глупая была — не притворялась. И семью потеряла из-за этого, и дочь не хитрую вырастила, не активную, а рохлю. Она ещё в комсомольской жизни плохо участвовала и вот — стала порабощённая своей семьёй... Что, совсем замучилась?

— Ничего, — не принимала её сочувствия Нюрочка, ставя солонку, сахарницу, перечницу на поднос. — Всё-всё, теперь я сама.

Девочка остановилась в нерешительности. И Тарасевна спросила её с внезапным острым любопытством:

— Полина! Как жить надо?

— ...Чтобы никому не повредить, — немного растерялась девочка. — Чтобы ничего не повредить.

— А если муж тебе глупый пьяница попадётся, и будет он водку пить да кричать? Чего ты, внученька, тогда делать будешь? С безобразником с пьяным таким?

Девочка смутилась и опустила голову низко, теребя коричневый бант.

— Ну, до свиданья, — распрошталась было Тарасевна. — Нюра, поешь! Сейчас рухнешь — голодная заснёшь!.. Своё молоко ребёнок из тебя потом всё равно вытянет, а сама — с чем останешься? Пустая? Без силы?

Девочка, наконец, продумала всё как следует, откинула косу на спину и ответила с большим опозданием:

— Терпеть буду!

Нюрочка и Тарасевна долго смотрели на Полину. Обе молчали. И свет погас внезапно.

— Тогда терпеть буду! — звонко повторила девочка во тьме. — Если пьяница... Если безобразник — тоже.

* * *

Две нечищенные картофелины, залитые водой, остались в ковше недова- ренными, на электрической холодной плите, и теперь спящему Бухмину хочется есть. Слышится ему во сне какой-то шум, который то истончается до звона в ушах, а то спадает до шипенья, монотонного, заунывного. И вот уж кажется ему, что бужуется, посвистывает на просторном кухонном столе, в прежней его квартире, электрический сияющий самовар, и старенькая Лиза

топчется возле плиты, перед кастрюлей, в которой клокочет картофельный густой суп с укропом, а на раскалённой сковороде шипят, потрескивают, плавятся куски свиного нежного сала.

Вдыхает спящий Бухмин сытные эти запахи с наслаждением, от которых кружится его голова. Но, поперхнувшись слюною, закашлявшись, просыпается некстати. Такой сон лучше было бы досмотреть — мирный, домашний, — и понежиться в нём ещё хоть немного...

Теперь спасительная равнодушная тьма, в которой не было ровным счётом ничего, сменилась тьмою, дразнящей поэта виденьями былых застолий, привычных когда-то. И большие тарелки с мясными пухлыми пирогами, испечёнными Лизой, плывут вдоль дивана чередой, благоухая в чёрном воздухе нищеты. А там уж на открытой террасе, за которой шумит отпускное море, готовят ему красную рыбу. На полученный за новую книгу гонорар отчего же не погулять?

И подают неспешно Бухмину бокал сливового китайского ледяного вина. И ставят на скатерть, рядом с корытцем белых маринованных грибов, фарфоровый лоток с горкой солёных жгучих перцев. И золотой сладковатый соус ткемали поблёскивает в хрустале, под круглую серебряной ложницей.

И вот несут, несут уж на обширном блюде целую отварную севрюжку голову, горячую, осыпанную легкомысленной волнистой зеленью. А другое блюдо — с розово-серыми севрюжьими ломтями, уважительно трогает вилоккою волоокая женщина — мимолётная, перегревшаяся на южном солнце, с волною серых волос на розовом обнажённом плече...

Она сидела перед бокалом шампанского, без имени, без судьбы, но с круглыми пылающими коленями, шершавыми, как персики, и, кушая персики, вздыхала осторожно: “О, как же тяжело писать стихи!..”

Сейчас Бухмин улыбался ей — из далёкого, пустого, ограбленного времени: рядом с музой — нет, не тяжело. Рядом с сытою музой... Только теперь и музы, видно, так оголодали, что нет от них никакого проку. Смолкли стихи, пропали песни. И носятся по свету одни обрывки грохота, лязга, похабины... Обрывки, ошмётки, осколки...

Бедные тощие постсоветские музы! Во времена правителей, умеющих только богатеть без оглядки, не излечиться вам от бесплодия. И скоро лишь вой, сплошной вой пошлости будет метаться над кладбищем муз, скончавшихся от дистрофии...

Музы теперь тоже — блокадницы, как блокадники — все честные люди...

* * *

Старому Бухмину захотелось вдруг до слёз пожаловаться на всё — матери. Без всяких слов, а только одним прикосновеньем! Уронить бы голову в её колени, обнять бы юбку её и так лежать в оборках безмолвно, поджавшись, притихнув. А она, всё понимая, заговорила бы, от сердечного точного сопереживания, совсем о постороннем — совсем о другом. Как лисица уводит охотника от малых лисят в норе, так матушка уводила бы от него боль.

— Иволгу не уследишь, — мирно гладила бы она его по макушке. — Иволга — как лимон. Туда-сюда подлётывает — и поёт! Я люблю, как она поёт... Фиу-лиу! Фиу-лиу!..

И тихой радостью веяло бы от её простой речи. И слушал бы он дальше милый голос. А матушка бы всё говорила над ним, старым, — про далёкое, необязательное, просто так...

— Она, Федя, яблоки клюёт — только с красного бока. Иволга... Красненькое увидит и тут же подлетит — сейчас же клюнет... А сизоворонка — голубая, красивая, ну — такая неряха! Из гнезда у неё пахнет, и вокруг понакидано...

— Что понакидано?

— Да так. Ничего. Ты про иволгу лучше думай! Как поёт! Подлётывает... Чистая она! Про опрятное думаешь — и жизнь опрятным бочком к тебе сразу поворачивается, красненьким. Вот про неё надо, про иволгу...

Ну, мне, Феденька, пышки сажать пора. И дрова прогорели, и тесто подошло. Ты далеко от дома не убегай! Пышек дождись. Они — бледные в жар нырнут, а из печки вынырнут — красивые, румяные, пышные! Хорошие... Вот жизнь какая переменчивая, Феденька: моргнёшь, а всё уже — другое... Только не убегай, Федя, далёко! Слышишь?.. От дома — не убегай!..

* * *

А ещё, помнится, съел Бухмин как-то дома, подростком, в один присест, круглый огромный курник, только что вынутый из печи! Сел перед ним в сильнейшем любовном расстройстве, снял под взглядом улыбающейся матушки сплошную румяную сдобную крышку — и задохнулся от запахов, которым исходила, послойно, сочная начинка!

Куриное мясо млело на самом дне пресного пирога. Тонкие бруски картофеля, заложённого сырым, укрывали его сплошным нежным пластом. Затем на длинных полосках притомившейся жирной свинины разместились кубики наперчённого лука, а выше — полоски телятины, опять — картофеля. И поверху — снова белело куриное мясо...

Как же хорошо было, глотая слёзы отчаянья, черпать всё это деревянной ложкой и заедать душистой снятой тестяною коркой, подпаренной изнутри, а там уж отламывать боковые стенки курника — похрустывающие, румяные, добираясь постепенно до нижней, донной, влажной от жира, после которой вешаться от несчастной любви уже становилось тяжело, а топиться — и вовсе сложно...

О, благодатная сытость совсем не располагала к тому, чтобы срываться из-за стола, решительно вышагивать по жаре и, отмахиваясь от звонких комаров, продираться к Иртышу сквозь душный краснотал, с мрачною думой на юном челе...

Но что курник — первейшее матушкино бессловесное утешенье после нелепых драк и хвостатой, красноголовой двойки-пиявки? Горячий котелок с перловой увесистой кашей, приготовленной фронтовою кухней, опорожнил бы сейчас Бухмин за милую душу, даже если бы не было в ней американской бледной тушёнки, полупрозрачной от приторного казеина и пустого крахмала...

Натошак лежать в бездействии скучно. Ночь голодных длиннее самой их жизни. Пустая ночь неизбывна, бесконечна. И не пошарить сейчас на близком столе, нащупывая буханку, не отломить от неё шершавый краешек, потому что вчера Бухмин не сумел купить хлеба, а корки вдруг съел все — в смятении и тревоге...

* * *

Накануне перелома погоды с осени на зиму с ним творилось непонятное — впервые за всю барачную жизнь Бухмин не стал дожидаться глубоких сумерек, а расхрабрившись необычайно и отправился в магазин среди бела дня, чего раньше за ним не водилось.

Да, осмелевший поэт сошёл с крыльца, радуясь горько, что удаётся ему оставаться здесь никем неузнанным — и печалась от того: как же он изменился! Но когда пробирался Бухмин потихоньку вдоль барачной стены, преодолевая слабость в коленях, пожилой мужик с кривым ружьём вырос вдруг перед ним и толкнул в плечо с большою силой.

— Вон! Они! — разгневанный человек указывал в запредельную даль. — За трактом! Стоят!

— Кто? — перепугался Бухмин, едва не упав на спину.

— Про-сти-тутки! — сказал человек напряжённо, играя желваками.

Бухмин, прикрыв лицо дрожащей рукою, попытался обойти его:

— Мне... Тороплюсь... Я...

Однако мужик не дал ему хода:

— Нет! Слушай, товарищ! В прошлом году жена моя в район уезжала. Проводил — иду мимо них: стоят! — От огорчения человек с кривым ружьём сдвинул шапку на затылок. — Прост-ти-тут-ки.

Бухмин сделал ещё одну слабую попытку обойти мужика и, перебирая руками по стене барака, даже успел сделать несколько мелких шажков, как вдруг устал от волнения и сник.

— Хотел я сказать им пару слов, — ухватил его мужик за рукав драпового старого пальто, притягивая к себе рывком. — Но вижу: стоит среди них одна. Ангелоподобная! Юная. Ангел, ангел. Совсем дитя! Создание небесное... “В первый раз? Как зовут?” — спрашиваю сурово. Стесняется, невинная: “Алина”. “Пойдёшь со мной?” Кивнула, пошла. А те, прожжённые, крашенные, орут ей! Про-сти-тутки... “Дура! Не видишь? Он козёл! Без денег!”... Замешкалась, непорочная, замялась. Тут я её — за плечи! И повёл. Через тракт, через улицу, через пустырь. К себе. Идёт, идёт со мной, по холodu, на край света. Безропотно... Юбчонка — со школьную тетрадку. А сама — ангельчик! Чистый ангельчик!

Бухмин уклонился всё же от решительного взгляда человека и от напористого его дыхания — отвернулся к стене, съёжился, обер. Так притворяется дохлым испуганным таракан в минуту опасности — так серый паучок сжимается и не бежит уже никуда под тенью занесённого над ним веника домашней рьяной хозяйки. Мужик, однако, не думал замолчать.

— Привёл её в квартиру, жду! — настойчиво дёрнул он Бухмина, пытаюсь развернуть лицом к себе. — Будет она раздеваться передо мной или нет? “Почему у порога стоишь? — спрашиваю. — Начинай!”... И тут отчитал её по полной программе: “Что же ты, Алина, творишь? Личико у тебя чистое, глаза ясные. А сама? Готова за деньги подарить свою комсомольскую невинность любому несознательному беспартийному псу? А если бы не я тебя привёл, а другой, что бы он с тобой вытворял сейчас?” ...Денег у меня, как назло... Обшарил углы, нашёл я мелочишку. На пиво хватило бы, между прочим... “На! — сказал. — Вот! Бери всё, что у меня есть! ...Иди! И больше — не греши-и-и!” Взял за воротник, да и вытолкал пинком. Чтобы знала, как блудить. Алина, калина...

* * *

Мужик всё грозил и грозил перед лицом Бухмина коричневым толстым пальцем. Поэт не выдерживал неотвязного взгляда и зажмуривался снова.

— “Я не воспользуюсь тобой!” — сказал. “Я не из таких!”... Ушла, ангельчик, со всеми деньгами моими! Мальми, но — честными!.. Оружие купить не желаете? Его только в мастерской подправить. И пали — не хочу!..

— Не хочу... — словно эхо, отозвался поэт, кособочась опасливо, неприязненно.

— А возместить бутылку пива?

— Какого пива?

— Того! Потраченного мною на сохранение невинности чистого существа!..

С этими словами мужик пропал вдруг со своим кривым ружьём, словно провалился сквозь землю, уловив нечто неблагоприятное.

Бухмин открыл глаза не сразу. Прямо перед собою он увидел чужое окно. В этом окне злобная старуха с отвислыми щеками, в шапке, похожей на тугой шлем, оставила на него сквозь стекло узкие зрачки, острые, как два булабочных острия. Но руки её двигались каким-то круговым образом; она медленно снимала чёрную тряпку с трёхлитровой банки, наполненной пузырящейся коричневой жидкостью. В банке же лежало на дне чудовищное осклизлое живое существо...

И понял тогда опарашенный Бухмин, что это возвращается старухой на подоконнике, скрываемое тряпкой от всех, не какая-нибудь таинственная домашняя мерзкая медуза, а всё разрастающееся желеобразное всеобщее *терпение*... Но в нём, прямо перед напряжёнными глазами Бухмина, уже зарождалось совсем слабое, мутное, малое пятно, которое было чуть светлее осклизлой массы. Оно росло едва приметно и принимало багровый тревожный оттенок.

Коричневая тьма вокруг пятна высветилась вдруг свинцово-серым ободом, словно в желеобразном существе образовалась жадная, сосущая воронка...

И ужас объял поэта. Не помня себя, он засеменил к своему крыльечку, за угол, и, запершись, не стал раздеваться, только прислушивался к шорохам, стукам, скрипам за стеною и вздрагивал.

Отыскав на столе сухую хлебную корку, он посасывал её какое-то время взволнованно, беспокойно. Потом понял, что ему надо бежать из барака немедленно — в прошлую жизнь, в жизнь. Из времени бесплодных муз — в свой кабинет: с пишущей машинкой “Украина”, с пледом, с низким плюшевым креслом. Или в тёплую спальню с ночною тусклой лампой в виде бездумно улыбающегося жёлтого полумесяца...

Не заперев своей комнаты и не дососав корки, причмокивая на ходу и отираясь, Бухмин кинулся вон из барака. Он снова бежал к своему старому дому, как бежит выброшенное за много вёрст от прежнего жилища животное — собака или кошка — безотчётно, неуклонно, неостановимо; в тот дом, где ничего не изменилось.

Он бежал в прошлое, не желая ничего понимать и помнить. Он бежал...

* * *

Лишь в прежнем своём подъезде Бухмин перевёл дух, когда попал наконец в мир привычных запахов, в милый полумрак... Успокаиваясь понемногу от вида знакомых запылённых стен, поэт стал медленно взбираться со ступени на ступень, поглаживая с нежностью деревянные нечистые балясины на изгибе перил. И усталая, мечтательная улыбка блуждала теперь на его расслабленных губах.

Поджарый молодой юрист с пятого этажа поравнялся с ним на лестнице. Бухмин, приостановившись, уставился на письма, сияющие на его куртке: они, сплошь иностранные, переливались, блистали нестерпимо, но оторвать взгляда от них поэт почему-то не мог.

— А ты — ого-го! — проговорил юрист одобрительно, перескочив с пустым ведром на верхнюю ступень. — Не то, что нынешнее племя! С кралей ребёнка, значит, прижил, ветеран? Вот это — ого-го-го!

— Я не приживал никого, — покачал головою Бухмин, доверчиво глядя вслед юристу. — Это был обман.

— Слыхали! Сладострастник, — погрозив пальцем сверху и гогоча, юрист легко взлетел по ступеням следующего этажа; тугая законодательная пружина, уверенно сидевшая в нём, сообщала всем движениям его удивительную ловкость, весёлость, прыгучесть. — Ого-го!..

Бухмину стало стыдно отчего-то. Расстроившись, он замешкался, держась за подоконник, около которого отдыхал когда-то с тяжёлыми сумками, возвращаясь по выходным дням с базара.

— ...Вероятно, он говнюк, — нерешительно утешил себя старый поэт. — А может быть, просто задорный человек.

Тогда за его спиною появился неслышно бывший шофёр горкомовского гаража — сосед из квартиры напротив, с которым Бухмин ездил на встречи ветеранов, и на конференции, и в степь, на майские вольные гулянья. Правда, горкомовская “Волга” давно уж исчезла со двора...

* * *

Новое начальство — то, что возглавил директор городского рынка, — уволило старых шофёров из гаража в одночасье. И важный, осанистый Винниченко сначала торговал на углу китайской жвачкой, продавая её детям поштучно из большой картонной коробки, а позже, когда его избили ларёчки, сидел дома без дела.

— Не появлялся бы ты здесь, у нас, Фёдор, — сказал Винниченко Бухмину, поглядывая по сторонам. — Понимаешь, с кем связался?... Нынче кто

не вор, тот жертва. Либо — либо. Других нет... Маячишь тут, глаза мозолишь всем. А результат получится плохой. Могут ведь подумать, что ты квартиру свою вернуть замыслил.

— Коля! — обрадовался соседу Бухмин, собираясь поведать о многом. — Я думал, друзей у меня не осталось! Понимаешь, стоит лишь оказаться в беде, и вокруг тебя образуется пустое пространство. Сразу же! Пустое, безлюдное. Отпадают друзья. Отпадают знакомые! Почему так, дорогой мой Коля? Никогда я этого не понимал, а ты — мужик осведомлённый, сколько лет начальство возил. Вы же с органами связаны были, водители партийные, за номенклатурой — того... наблюдали, по второй своей службе. Плохо, Коля! Выходит, очень плохо вы наблюдали, Коля: предательства — не уследили! Эх, вы... Но... Объяснил бы ты мне, старому дураку, что всё это значит?..

— Убавь звук, — подтягивал ворот свитера Винниченко до самых усов, отчего говорил неразборчиво. — Убавь. И так ты в подъезде уже засветился. В очередной раз.

— Хорошо, хоть ты один вышел ко мне! — не замечал его встревоженности Бухмин. — Признателен тебе до слёз! Что ж, давай посидим, как раньше, если здесь нельзя шуметь. С чайком, с сахарком, пусть — без коньячка, давай. Мне бы ещё помыться в ванне разок... И отчего я прежде с тобой не поговорил, не посоветовался? Столько всего расскажу! Ушам своим ты не поверишь, Коля, милый Коля. Идём к тебе, идём в тепло, так и быть. Я — с радостью... Посидим...

— Сиди — у себя, — тихо перебил его Винниченко, поддёргивая трикотажные тёплые штаны. — Где живёшь, там сиди. Исключительно. И не разговаривай ты ни с кем! Целее будешь. Это я тебе — по старой дружбе только... Ну, всё, ты меня — не видал... И в двери не трезвонь, Фёдор, больше. Не открывают.

— Почему?.. — без надежды спросил растерявшийся Бухмин.

— Связываться с тобой опасно, — уже поднимался к своей двери шофёр. — Заподозрят, что правду вместе ищем! Тогда хлопот не оберёмся. Иди. И не высовывайся, слышишь? А то прихлопнут, как... моль, хоть ты и ветеран войны! Тебе бы притвориться мёртвым лучше... Ну, всё. Я тебя — не видал.

* * *

Сосед уже отвернулся от Бухмина; отторгся, словно отказался — от всякого знакомства, соседства, приятельства. Нащупывая в полумраке замочную скважину, шофёр замурлыкал на своей площадке независимым, отчуждённым голосом:

— Едут, едут по Берлину... наши... казаки...

Но ключ его никак не попадал в нужное отверстие.

— Это ты... для конспирации? — робким шёпотом спросил его Бухмин снизу. — А может, ночью мне к тебе придти? А? Когда они — они! — все не видят? Воры?

Но Винниченко махнул рукою напоследок: мол, уходи! Пропади же в конце концов, недотёпа ты, простофиля! И запел гораздо суровой.

— Едут, едут по Берли... — исчез он за порогом.

— ...Ну наши... — подхватил Бухмин едва слышно, втянув голову в плечи, уже понимая, что дверь горкомовского шофёра тоже захлопнулась для него навсегда; она поблёскивала теперь одиноким искусственным внимательным глазом.

— Ну... Наши... — топтался Бухмин растерянно. — По Берли...

А как поют дальше — забыл.

— Что же, прощай, — не стал он подниматься на свою лестничную площадку и приближаться к родной квартире — только вытянул шею, хотя и так виден был ему вишнёвый привычный дерматин с тусклою позолотой гвоздей, два из которых давно отпали понизу. — Прощай тогда... Лиза? Лиза!.. Прощай.

К маленькому сейчас придётся вставать Нюрочке в полной тьме. Толстая змея с разинутым ртом, в котором держится обычно шарик слабого синего сиянья, не светит из коридора — теперь невидимая змея держит в зубах шарик тьмы во тьме. И в углу комнаты не видна тарелка обогревателя с пылающей спиралью. А китайский фонарик на батарейках сейчас далеко, должно быть — в камере предварительного заключения; его унёс с собою вечером Иван. И если он не вернулся к ночи, значит, попался снова на пути к столовой.

Милиция задерживает Ивана только с бутылками самодельной водки. Это и ничего, не совсем плохо это — лучше, чем на бандитов нарваться, идти к дому с деньгами, от Панны Ионовны. В милиции Ивана не бьют... Он говорил, что в камере лавки широкие. К тому же на Иване толстый синтетический полушубок; есть чем укрыться. Мохнатый, бьющий изредка жёлтыми искрами, он полон скрытого колючего тока — износить его невозможно, как невозможно износить нужду... В Столбцах многие ходят в таких, безобразно свалывшихся, накаляющихся от холода, но прикрывающих живые души от чужого взора...

Если Иван в капзэ, то спит он под чёрным этим полушубком в полной безопасности. Утреннее милицейское начальство водку оставляет себе, а спирного Ивана Бирюкова отпускает без протокола домой. Так уже бывало, бывало. Ничего... Только убыток придётся покрывать им без устали, с завтрашнего дня, Ивану и Нюрочке. Ему надо трижды сходить на станцию с пластмассовыми канистрами — за техническим спиртом, лишь бы подогнули новую цистерну, и ещё больше потом заготовить проволочных каркасов. А ей — свить из колючих веток гораздо больше венков, и намного больше вырезать цветов из тонкой крашеной бумаги, от которой неприятно сохнут пальцы. Налипшую смолу Нюрочка смывает с рук скипидаром, пора купить ещё пару флаконов, про запас...

Всё это понимает не только ум её спящий, не только душа, желающая бездумного покоя, как лекарства, а каждая клетка торопливо отдыхающего молодого тела. Понимает, знает... и спит. Каждая.

Хорошо, что словых веток продали им в ритуальной конторе много, есть запас в углу. И основные где-то ещё спрятаны, не вспомнить... Они, ветки, тоже не часто в контору завозятся. Раздачу лап караулить надо, как и раздачу спирта.

Иван то и дело ходит попусту. И попусту в очередях дрогнет. То на станции, то в похоронке. За всё платит он две цены: боится, что в другой раз не дадут. И от всех трудов и беготни остаётся им не много. Только ведь иначе совсем пропадёшь. Иначе — побираться ей с ребёнком на вокзале, а Ивану — стоять на карауле, чтобы у Нюрочки милостыню не отняли. Вот какого грядущего дня они боятся, оба, ничего о том не говоря...

Но пока молодые Бирюковы справляются, худо ли, бедно! В субботу Иван наденет два венка себе на шею, подобием хомутов, колючих, тяжёлых. Ещё четыре возьмёт он в руки, по два на каждый локтевой сгиб, и так побредёт через пустырь, через кладбище — сдавать. А Нюрочка будет смотреть на Ивана из окошка до тех самых пор, пока не завернёт он за огромный камень-валун, торчащий из земли тёмной глыбой, и жалеть мужа бесслёзно. Шея у него от ношения венков так затекает, что уж не сгибается потом, и поворачивается Иван неловко, медленно, всем туловищем... Но он вернётся из похоронки — и снова, не присев, накинёт два венка на шею, по два — на каждую руку...

От этих венков, развешенных по стенам комнаты и общего коридора, мысль о близкой смерти витает в бараке постоянно. Она наталкивается на людей, обвивает каждого, словно одна, общая на всех, невидимая змея, и держит живое сознание людей в странном плену потусторонних пугающих знаков — от нужды сознание барачных стало совсем тусклым, оно светит едва-едва и гаснет временами, словно лампочка без электричества. Только Иван говорит, что ему наплевать на всё: лишь бы заработать...

Думать ему некогда в этой крутоверти. И говорить — времени нет. Единой рюмки ему не выпить, самой короткой песни не спеть — незачем, ни к чему, не до того. Один у Ивана отдых желанный, сладостный — сон. Сон — беспробудный, долгий — роскошь бедных... Но Нюрочка знает: и во сне гнёт похоронных венков на его шею. Знает, не просыпаясь.

* * *

Теперь Тарасевна спит, полагая, что находится она не дома, а пребывает на ночном дежурстве, в ледяной стеклянной будке. Оттого сон её прозрачен, как гранёный стакан, и чуток, будто у сторожевой собаки. Он разбивается вдребезги, едва только скрипнула в общем их коридоре дверь чьей-то комнаты. Вздрогнула Тарасевна, разинула рот и подалась было на звук, предвещающий выгодную её кончину, но сообразила внезапно: сосед...

Мужчины часто отлучаются по малой нужде, поэтому сторожа из них неважные. Тогда как Тарасевна покидает пост совсем, совсем редко. Теперь, пока старик не прокрипит ещё раз дверь, возвращаясь к себе, ей не заснуть ни за что. А он едва плетётся в своих валяных чувяках, подшитых кожей: шарк-шарк...

Ну вот, ручку туалетной двери не отыщет. Пальцами тычет попусту, неловкий какой, скребётся. Тук да тук по дереву. Эх, мужики, мужики!..

И вспомнила она тут своего мужа — молодым: вёрткого, тощего кладовщика в фетровой шляпе, с его новой жёлтой гитарой, чёрная дыра на которой была обведена тонким траурным ободком.

— ...На что позарилась? — проворчала Тарасевна, поражаясь давнему своему душевному затмению. — Он и играть-то не умел, трень-брень этот.

Зря, выходит, глядел на неё украдкой хмурый бригадир-тугодум... Слишком, слишком долго думал он, опоздавший на ту вечеринку по причине дежурства в народной дружине, следившей за порядком на улицах в праздничные дни особенно бдительно, до полуночи.

Да и у Тарасевны всё-то вертелось в голове странное одно подозрение: что же он, бригадир, себе кого получше не облюбовал? Воспитательницу детского сада, например. Та — и моложе, и упитанней; что уродилась — то уродилась. И юбки у неё — цыганские, в крупных завлекательных цветках: не учительские — серые, тёмные. И глаза — по чайному блюду... Нет, определённо, есть в бригадире тайный какой-то изъян! Телесный, наверно... А иначе — на что ему Тарасевна, чопорная девица-перестарок? Хорошо зарабатывающему, обстоительному, в институт на заочное обучение поступившему? Да ни на что!..

Это её подозрение крепло месяц от месяца. И бригадир поглядывал на неё всё настороженней, всё отчуждённее, что почему-то сердило Тарасевну, и беспокоило, и доводило до крайней нервичности. А тут влетел в чужую комнату — этот; никем не званный, к столу не приглашённый — мизерный: трень-брень...

* * *

Будущий муж обидел её сноровисто и сразу: сказал в строительном общезжитии, вихляясь, помахивая гитарой, схваченной за горло:

— С кислой мордочкой гуляете, мадам? Вижу, камешки для вас — мелкий народишко?.. Ну, понятно: вам больших начальников подавай!.. Даже за такого, как я, небось, не выйдешь, училка? Удельный вес не подходящий? Не тот калибр?.. Ладно! Толкуй детям про бескорыстную любовь. И высматривай себе директора с портфелем!.. А мы не заплачем, не боимся: не выйдешь — не надо, не больно-то и хотелось.

— А почему же не выйду? — возмутилась вдруг Тарасевна на давней той вечеринке, засмотревшись в чёрную гитарную дыру, раскачивающуюся перед нею.

Она, помнится, подняла глаза кверху — от чёрной дыры к белому свежему потолку, ощущала языком вставной пластмассовый зуб... Подумав с минуту всего, Тарасевна выкрикнула затем решительно и уже бесповоротно:

— Возьму — и выйду!

Он ударил по струнам всеми пятью пальцами, — аккорд получился дребезжащий, — и ухмыльнувшись с лихим прищуром:

— Беру! Уговорила...

— Ты сквородку взять пришёл, а не училку! — окоротил его было пожилой скучный каменщик, сидящий на своей койке с бутылкою молока в татуированной руке. — Забыл?.. В танцы втёрся. Вьётся тут ужом... Пошёл вон! Выкидывай...

Испуганная воспитательница детского сада перестала щупать пластинки возле проигрывателя и сказала пожилому назидательно:

— Пожалуйста без драк! А то будет, как вчера. Давайте лучше споём! Все вместе! И!.. — взмахнула она подолом цветной своей юбки. — “Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз, мой адрес — не дом...”

Но молодые ребята песню про “не дом” не подхватили. Они оживились за столом — широкоплечие, обветренные и уже выпившие немного без бригадира за свой День строителя:

— А что? Муж намечается — хоть куда! И муку развешивает, и гонор соблождает... Давай, Сталинка! Вперёд!

Нарядные и весёлые, строители нарочно подзадоривали неприступную учительницу, потому что не поверили её словам.

— Не проворонь жениха... Ты погляди, чуб у него какой! Наотлёт, в кольцо... За такого любая побежит.

— Глаз он туманит — с прицелом. Танцует — с притопом. Не то что наш бугор... А играет как?! Жахнул по струнам — и девка его.

— В общем, парень неплохой! — смеялись они, перемигиваясь. — ...Только сытятся и глухой.

* * *

Тогда-то, осердившись на всех, решила Тарасевна окончательно: выйдет она замуж за кладовщика этого осмеянного, и семья у неё образуется такая, что всем на зависть: правильная очень... И вот совсем пустой оказался человек её тщедушный муж с мучнистым личиком — хвостун и выпивоха.

Расходились они плохо: он стоял на своём! Соглашался только, чтобы учительскую двухкомнатную квартиру её они разменяли бы так: ей с ребёнком — комнату в бараке, а ему — отдельную квартиру однокомнатную, но большую — и не иначе. Думал, что Тарасевна струсит. А она не струсил! Ушла с маленькой Галей в барак, да и всё. Пускай живёт бесстыдник на просторе! Один! Если совесть ему позволяет...

— Ага! Ты меня алиментами задумишь! — кричал он ей вслед, размахивая гитарой, не зазвучавшей правильно ни разу. — Козни строить будешь! Зуб костяной. Баба-яга с дипломом... Знаю вас, образованных! Все вы — гидры социализма! Ну, строй, строй свои каверзы: души меня, по судам таскай! Сквальга...

А она нарочно — на алименты не подала и ничего у него в жизни не попросила ни разу:

— Катись.

И только жалела разведённая Тарасевна бедную расстроенную гитарупленицу: хоть и была создана она, чтобы звучать, а вместо этого остаётся ей лишь немо зевать чёрным ртом — немо, беззвучно, в безлюбом углу, — потому что власть над нею, звонкой, получил недостойный власти.

* * *

Три дня назад видала Тарасевна своего бывшего, давно уж с работы выгнанного. Шёл от вокзала, грязный, как дворový веник. Но передёргивал он плечами фасонно, и кособочился, и подскакивал от высокомерия:

— Может, сойдёмся? У меня машинка работает!.. Каморка твоя барачная да моя квартира с большой кухней... Съедемся, что ль? Ты, кикимора учёная, всё равно никому не нужна. Да и мне — не очень-то... Ну, как? Соглашайся, пока я добрый!

Остановилась Тарасевна перед ним, сощурилась до рези в глазах.

— Знаю я твою машинку! — сказала пренебрежительно. — Я теперь на автозаправке работаю, там директор наголо обритый, он с ошейником золотым. Вот у него машинка так машинка.

— А-а-а! — заорал он, запрыгал, щуплый, затоптал. — Видала? Видала, значит? Я полюбовнику твоему все механизмы завтра же переломаяю.

— Видала! — гордо выпрямилась морщинистая Тарасевна, сбивая шалёнку к затылку. — Из окна! Как он малую нужду у стенки справлял. А механизмы ты ему не переломашь. Ему тридцать лет, а ты — старый шибздик. В одиночку из экономии жил? Много ты выгадал, что одну только свою пользу везде устраивал?.. Вот в одиночку теперь и подыхай!

И вроде опять одолела своего негодника Тарасевна, в очередной раз, а так плохо, так муторно ей всё это вспоминать! Даже то не радовало, что в крупнопанельном доме его теперь — холод собачий, а бараки-то — при старенькой котельной; какое-никакое, тепло идёт всё же...

И до сих пор поражается она: вот как может испоганить всю женскую судьбу один никчёмный, задиристый мужичишка с мелкой, птичьей, пустой головой...

* * *

Только оказавшись в бараке, поняла разведённая Тарасевна, что такое счастье: куда ни помотришь — нет нигде никакого, ни единого-разъединеного, мало-мальского мужа! Даже из отхожего места не высунется теперь в сумерках гнусная физиономия его. И супружеское ночное осквернение тела Тарасевны с той поры прекратилось навсегда.

Теперь один почёт ей шёл отовсюду — почёт, привет, уважение. За то, что не брезгует учительница мыть пол в общем коридоре. За то, что, усталости не зная, трудную задачу любому барачному школьнику объяснит в ту же минуту. И на противоположный женатый пол взглядывает она без всякой похотливой поволоки, а только внимательно — как товарищ на товарища. И за кого на выборах голосовать — подскажет верно и быстро...

А простоватые соседи наперебой заботились о её маленькой, толстой Галя. С тяжёлою девочкой на коленях ждали, когда Тарасевна, охришшая от двух смен и одной политинформации, появится на пороге, слегка пошатываясь от чувства замечательно выполненного учительского долга. На общей кухне ей сразу наливали горячего свежего чая с магазинной морщинистой курагою и советовали беречь себя и жалеть. А толстая Галя свистела непрерывно, дуя в подаренную кем-то игрушку, или пищала резиновой жабой неустанно. Самые разные пищалки, свистульки, дуделки появлялись у неё — и терялись, и множество общих облезлых игрушек передавалось из комнаты в комнату поочередно, наполняя барак грохотом жестяных автомобилей, дробью крошечного барабана и стуком ксилофона, одного на всех детей. Прибавлялся ещё к этому скрип детской деревянной кровати, которую доставали из подсобки, едва появлялся в бараке очередной новорождённый.

* * *

Да, совсем ещё недавно были все барачные и дружны, и веселы. В сарае, что стоит напротив, разводили они кур и гусей — тогда целинная пшеница стоила дешёво, а люди не умели ругаться из-за делёжки — цыплят, яиц и всего на свете. И птичья коммуна под рубероидной крышей шумела тоже — кукарекала, кудахтала, квохтала. Малые дети проверяли гнёзда по утрам, женщины шили наволочки, набивали пухом подушки, перины, выдавая

дочерей замуж с пышным постельным приданым, за хороших работающих парней — своих, барачных.

С приезжими, жившими по общежитиям, здешние девушки не знакомились — по скромности и по боязни, потому что много было среди чужих дерзкого и лихого люда, от которого веяло неблагополучием и бездомьем. Шпана со всего Советского Союза гуляла на тех многоэтажных улицах в дни полудки шумно и страшно, распевая до первой драки непотребное.

“Эй, кого пощекотать? — поигрывали заточками блатные, пугая прохожих. — Ты, дешёвый фраер, подь сюда. Поговорим по душам! Любишь ли ты театр, как люблю его я? Давай разберёмся, пацла, по-честному...”

И совсем уж стороною, вдалеке от бараков, проходили по тракту зарешёченные грузовики в сторону “почтового ящика” — точно так, как стороною проходили партийные конференции в центре Столбцов или партийные съезды в столице Москве. То был лишь общий фон внешней жизни, куда порядочный барачный человек, при правильном своём поведении, никогда не попадал. А правильным считалось у местных степняков жить так, чтобы не попасть под чьё-либо внимание — не падать низко, не лезть высоко, и если служить в армии, то не в Афганистане.

Тучный военком по происхождению сам был из барачных и потому “своих” жалел: определял всё больше на атомные подводные лодки и в ракетные войска, откуда в цинковом гробу не привезли никого. Повышенной радиации в Столбцах не боялись — тут все лысели одинаково рано. Только местная молодёжь всё равно полюбила вдруг мрачные песни — про коней судьбы, привередливых, мчащих к неотвратимой пропасти своих седоков. И советское время ослабло и просело.

Сарай под рубероидной крышей опустел вскоре, а барачный народ затомился — все ожидали чего-то непоправимого. Но в общем коридоре висели тогда на верёвках только пелёнки — знамёна жизни. И до появления знамён смерти — сатиновых чёрных и красных полос без надписи, свисающих с колючих тёмно-зелёных венков, — было ещё далеко.

* * *

Прежде всех помрачнела вторая квартира. Пожилые муж и жена, работавшие в конторе при колонии заключённых, перестали выходить к общему вечернему чаю. Могучий техник-смотритель и низкорослая секретарь-машинистка передвигали что-то у себя и переговаривались негромко. Но через две недели они поставили на общий кухонный стол бутылку “московской” водки — для всех, и выложили из авоськи огромный арбуз, тёмно-зелёный, полосатый, на боку которого нацарапано было “86 г.”.

— Ты амперметр мой положила? — спрашивал техник жену, откупоривая бутылку.

— Давно... — отвечала она безучастно. — Вольтметр, говоришь?.. Да, положила.

— Прощаться будем. Пора нам, — сказал техник соседям и занёс над арбузом широкий нож с деревянной ручкой.

— Всем пора, вообще-то, — примеривался он, покручивая зелёный шар, будто обезноженный глобус, потерявший подставку. — Всем русским.

С этими словами техник вонзил лезвие меж двумя меридианами, и тяжёлый плод не пришлось резать надвое — он треснул под ножом и развалился сам на несколько сахаристых кусков, брызнув соком и чёрными семечками.

— Переспел, — огорчился конторский истопник. — Очень переспел... Два офицера у нас уже уволились. Тоже.

— Зато стал он самый сладкий! — приободрила его Тарасевна, севшая к столу первой. — Ишь, вызрел! Всем арбузам арбуз...

И так, выпив по рюмке, держа по красному куску в руках, барачные сплёвывали семечки в бумажные кульки и слушали изумлённо конторских: страшная пришла амнистия, никому не понятная, негласная. Выпускаются на волю преступники с самыми тяжёлыми статьями: убийцы, маньяки, ре-

цидивисты — повсеместно. Раскрасневшаяся жена техника озиралась, шептала, вытирая липкие руки тряпкой, подтверждала слова мужа:

— Закрытые это распоряжения, которые в бумагах не оставляют следов. Только требуют сверху, звонят каждый день... Рекомендации идут: срочно готовить документы к сокращению больших сроков наказания, тш-ш-ш... Срочно!..

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... — переглядывались барачные.

Про измену в верхах все пока молчали, но чувствовали: слом жизни на движется оттуда, грозовою тучей. И снова текучая горечь белой водки заедалась красной переспелой сладостью тяжелейшего плода с беспомощным стеблем, который торчал оборванной иссохшей пуповиной из малого куска, и его не брал никто.

— Уезжать надо, к своим поближе, — всё повторял озадаченный хозяин второй квартиры. — Выхода не остаётся другого... Лопнет весь интернационал. С треском, с кровью большой. Очень большой... Ничего не понимают наши офицеры: даже амнистия пятьдесят третьего года такой не была... Кассиры-растратчики, матери-продавщицы, шофёры — остаются за решёткой, а голворезы освобождаются подчистую... Так-то!..

— И для чего? — рассуждали барачные. — Кому это надо?.. Всех уголовников выпустить враз на вольные улицы?

— Офицеры толкуют: для участия в будущих уличных беспорядках, — вышивал торопливо техник, забыв налить рюмки остальным. — На национальной почве, не иначе... Больше не для чего: политика!

— Ой, плохое затеяно дело, — сокрушалась его жена. — Старые конторские сказали: ну, теперь будет кому разбивать витрины и машины жечь... И так — по всему Советскому Союзу, по всему... Вы только молчите. Тш-ш-ш: никому...

— ...Нет! Мы — никому...

— А вольтметр где, не помнишь?

— Не помню!.. В коробке он, твой амперметр...

Переодевшись в гражданскую одежду, с двумя тяжёлыми чемоданами и одним рюкзаком, вскоре двинулись конторские муж с женою в путь, отдав свои ключи Тарасевне: “Если нигде не устроимся — вернёмся”. А та в свою очередь оставила их у немой...

Но барачные встревожились, пошептались, притихли. Думали: “Ничего. Как-нибудь обойдётся...” И Тарасевна прошла по всем комнатам, убеждая оставшихся:

— Вредительство! Разоблачено оно будет. И за властями есть кому досматривать. Я даже не сомневаюсь!

Следом за нею ходила по соседям нарядная немая, одобрительно мычала: ничего, придут генералы — с большими эполетами, с красивыми усами, — наведут хороший порядок, поднимала она большой палец. Обязательно!..

Так жестикулировала тогда немая.

И в коридорном пространстве не было ещё знамён смерти.

* * *

Сарай напротив барака всё стоял пустым. Лишь доски со стен и дверца исчезли со временем в топке котельной. А рубероидная крыша на кривых стропилах сохранялась, и врытые хлипкие столбы кое-как держались, приваленные осевшим саманом, когда вдруг прилетел перед зимою в заброшенное то строенье одинокий сизарь со стороны самарской, дальней. Сначала его даже приняли за мелкую курицу, расхаживающую меж разбитых старых копыт и тазов...

Барачные тогда ещё сильно дивились — не жили голуби в Столбцах раньше, и радовались они птице. Один старый Жорес, которого вселили только что во вторую квартиру, всё покачивал головою:

— Это русская птица, которая сбилась с пути.

Он смотрел на новых своих соседей сочувственно и, вернувшись от сарая, предостерег всё же Тарасевну, как старшую среди прочих жильцов:

— “Голубь” называется у нас “русская птица”... Да, да, ваша радость — плохая радость: русская птица потеряла свой путь.

Он мог бы ей сказать больше: “Так бывает перед тем, как толпы вашего народа лишатся обжитых своих мест и станут ютиться, где придётся. А следом начнут сбиваться с пути другие народы. Нас тоже настигнут лихие времена... Сейчас встревожились и двинулись на север лишь некоторые русские семьи. Но скоро караваны бездомных скитальцев умоются слезами, без приюта и хлеба. Да, ваша радость — плохая радость”. Однако слова его были не важны для жильцов. Новые соседи на него смотрели косо. А упрямая учительница фыркнула, не желая ничего слушать; она принялась выдёргивать из-под ног его половики, для стирки.

Тогда прихрамывающий Жорес поплёлся к себе, в тесную комнату, которая никак не становилась его комнатой, а всё была чужою. Но там никто не мешал ему, виноватому перед всеми, думать про заблудившуюся птицу, печалась в одиночку.

* * *

Южнее степей всегда водились голуби, только были они иными и назывались у тамошних русских не голубями, а горлинками. Этот же, прилетевший с самарской стороны в край безлесный и чуждый ему, был крупнее, темней...

Горыят, перед революцией залетела вдруг эта птица в степи. А следом появились и растерянные бродяги с Севера, скрывающие свои судьбы от властей. Они старались сойти за необразованных, чернорабочих и затеряться среди обычных артельных людей. Только каждый всё равно был виден в толпе, словно в одиночку он стоял на высокой горе. Так было... Их арестовывали потом приезжие люди в кожаных куртках, после чего пришельцы пропадали уже бесследно...

И перед самой коллективизацией так же появлялась в этих степях заблудившаяся русская птица. В те поры её видели даже южнее Столбцов, у самых Чёрных песков и Красных. По этому знали старые азиаты, что вот-вот налетит ветер перемен, сорвёт русские семьи со своих насиженных мест, разметёт во все стороны света, и что ждёт их всех великое горе, и плач, и бездомье.

Вскоре толпы ссыльных были пригнаны под конвоем в самые гиблые степные места. Многие из них умирали на открытом пространстве, без тепла и пищи. Точно так же, как умирали потом от голода местные кочевники, отдавшие свои стада новой власти — в колхозы, где не выживали в тесных стойлах, без привычных вольных пастбищ, ни овцы, ни кони. Тогда степь покрылась трупами измождённых кочевых людей, не сумевших доползти до железной дороги, чтобы выбраться отсюда. Мёртвые лежали открыто, там и сям... А трупы пригнанных с Севера людей всегда собирали баграми в кучу и прибрассывали землёй ещё не умершие ссыльные, потому что наблюдали за всем этим командующие люди в погонах...

Да, так было в этой степи, равно принимавшей в свою землю и пришлых, и кочевников, — сразу после прилёта русской птицы, потерявшей вдруг способность ощущать свой путь.

Уцелевали здесь, правда, лучше других, во все тревожные времена, скромные русские степняки, ведущие хозяйство неприметно, — коренные жители гиблых этих мест; жилистые, как чертополох, живучие, как полынное горькое семя, и молчаливые, как бирюки... Уцелевали, поскольку всегда были достаточно бедны, обособленны и неприхотливы. Их скудная жизнь ни у кого не вызывала зависти, а значит, и не вызывала желания как-то её переустроить...

И вот русская птица снова сбилась со своего пути. И этот знак был дурной, страшный... Так в одиночку горевал старик-новосёл, видя из окна радостных барачных людей, которые спешили к сараю — подкормить голубя остатками каши. Меж тем для их народа наступала пора скитаний...

Но тогда ещё не было ясно почтенному Жоресу, что вот-вот начнут пропадать при жизни оба его внука, которых носит теперь степь, будто живых мертвецов, — старшего, бандита, и младшего, наркомана.

Ближе к весне матёрый сизарь исчез, но вскоре вернулся в дырявый сарай не один — с белой, как снег, и чистой, как снег, дивной голубкой. А к осени в сарае жила уже целая голубиная семья. Но вот пришла новая зима — с морозами лютыми, ветренными, когда привычный труд перестал кормить людей, поскольку сделался никому не нужным, а власть в далёкой Москве перевернулась вверх дном окончательно. И однажды немая из третьей комнаты, размахивая руками и страшно мыча, вывела барачных на улицу, к сараю. Тарасевна тоже выскочила, в комнатных тапках, без шали, и тоже, простоволосая, смотрела на окровавленные пёстрые перья и жалкие косточки молодых голубят — в страшной тишине, под взглядами ошенивших людей, матёрый сизарь расклёвывал последнего из своих детёнышей. А голубки не было видно нигде.

Старый Жорес, подошедший позже всех, опять начал было объяснять людям про голубя, потерявшего путь. Русская птица, сбита с толку, на пороге своего исчезновения теряет прежний, природный, нрав, заботливый и кроткий. Она истребляет свою семью, которой — не уцелеть. Ведь то, чему всё равно не жить, уничтожается природой заранее... Голубю-самцу в такие времена очень бывает нужна тёплая кровь близких. Кочевые народы знают это...

И опять на старика обиделись все. Несколько дней барачные не разговаривали с ним, возводящим напраслину на голубей. Сизаря, правда, за растерзанных птенцов ругали сильно — оборотнем, гадом, выродком и людоедом. Только остальные голуби тут при чём?

А спустя время опять замычала страшно всё та же немая, грозя кулаком в своё окно и стучаясь лбом в раму. Белые перья голубки были почти не различимы на белом снегу, и, если бы не капли её крови, их можно было даже не заметить. А сизарь уже сидел на крыше сарая, он чистил от белоснежного пуха свой окровавленный клюв.

Больше никто из барачных не пожалел сизаря ни разу — ни единой корки не было подброшено ему в сарай в ту зиму. Когда и куда он улетел, никто не знает. Вспоминать голубя-убийцу перестали сразу же, зато старику слов его так никто и не простил: до того они показались обидными всем: обидными, несправедливыми, скверными... И так считали все, пока из России не начали возвращаться семьи, уехавшие из Столбцов в годы развала державы, — обнищавшие, растерявшие скарб, хлебнувшие лиха на своей родине, как на чужбине.

Сюда, в Столбцы, доходили и до этого невесёлые слухи об их мытарствах по съёмным углам и о преждевременных подзаборных смертях там, где своих не ждал никто. Вернувшиеся ни с чем в Столбцы ругались бессильно и говорили: дети погибших остались на улицах России без пропитанья. Русоголовые сироты-оборванцы скитаются по вокзалам, подвалам, помойкам державы, потому что в век развала империи получили власть недостойные власти.

Так безмозглые правители с птичьими головами расклеивают умный народ, хмелея от живой крови. В будущем эта кровь проступит сквозь все их портреты, сама собою, говорили русские, которых не приняла Россия. Красные глаза правящих упырей станут знаком их на все времена: в век двойного развала империи они расклёвывали великий терпеливый народ...

Но последним пристанищем уцелевших оставались всё же их квартиры, оставленные здесь, в азиатской степи, потому что продать их в своё время было невозможно даже за бесценок... Однако в подъездах домов встречали измученных хозяев какие-то новые люди — со справками, что накопленный перед властями долг по квартплате огромен, и получалось, что теперь ждёт возвращенцев только суд и тюрьма. Так становились вернувшиеся должни-

ками-преступниками... И предъявляли старым хозяевам те же люди — тут же, в подъезде, — другую сомнительную справку, по которой оказывалось, что старый огромный долг их уже выплачен жильцом новым, вселившимся. А там уж совали в карман обескураженному хозяину три бумажки зелёных зарубежных денег, да и требовали расписку: продана квартира! Продана, продана...

И вот живут теперь мошенники под чужими потолками, в чужих стенах, как в своих. А прежние хозяева ютятся по подвалам, в развалинах и лачугах... И дети их побираются на вокзале и ночуют в подвалах заброшенных цехов — те, что прозываются теперь в Столбцах чуханами...

* * *

Рано или поздно маленькие оборванцы перестают выходить на волю. Они лишь посылают одного, ещё не совсем ослабевшего, — притащить из колонки воду и бухнуть её в бочку со старым химическим раствором. Откинув ведро в сторону, торопливо мешают он содержимое грязным, клейким обломком арматуры.

Поднимаются снизу ядовитые невидимые испарения. Припадают к ним чуханы, повиснув на металлических краях и опустив косматые головы как можно ниже... Так припадают к струе свежего воздуха только задыхающиеся от удушья люди. Но дети-оборванцы задыхаются от другого: от униженья своих отцов с пропадающими судьбами, от голода матерей, от холода, от мелких побоев и свар, вырастающих из никчёмности человеческого существования...

Да, как вырастают, лезут из брошенных заплесневелых углов кривоногие, ядовитые поганки, как выползают из тела у затосковавших перед последним боем солдат предсмертные подкожные вши — точно так вылезают, вырастают, выползают на свет скандалы, и склоки, и драки, невысказанные в добропорядочных этих семьях доселе...

И тогда детский мозг начинает жить странной жизнью, в которой нет места постылой действительности. Разрушаясь, он, отравленный, утешается виденьями чудовищными, враждебными мироустройству. Отмирая, беспомощный мозг выбрасывает рябые виденья дикого, нелепого, смешного хаоса. Не справившись со злом, детский ум уходит в окончательное зло — в ещё больший кошмар, но кошмар, который отключает от необходимости жить ужасом действительности — неразрешимым, нескончаемым...

* * *

Знает про всё это старик Жорес, живущий в чужих стенах. Он знает всё — чего не изменить и от чего беспомощное человеческое сердце начинает мелко, опасно дрожать, пытаясь отказаться от судьбы досрочно. Но, видно, не вздрагивает оно при виде чужого горя у тех, красномордых, — у хозяев новой жизни, пирующих в новых своих дворцах. Эти дворцы выросли теперь во всех республиках, отгороженные от народов, будто крепости — от врагов. Нет, это уже не жилища: их красные дворцы — это мавзолеи; роскошные мазары, в которых покоятся омертвевшие души пирующих...

Если сказать тем людям — с холёными телами, но с мёртвыми душами, если сказать им, разбогатевшим на беде остальных: “не распространяйте нечестие на земле”, то они ответят: “нет, мы только поддерживаем благочестие”...

После смерти холёных сытых тел за великий этот обман хозяевам новой жизни и новых дворцов предстоит скитаться на том свете, как иступлённым. Но сейчас они не чувствуют сострадания, потому что их сердца и слух запечатаны, и на их очах — покрывало: их души омертвели от роскоши.

Вздыхает старый Жорес — из богатых этих людей никто уже не сделает людей... Они питаются чужой бедой и пьют чью-то беду из своих высо-

ких бокалов. Они одеты в чужую беду — она дорогая, очень дорогая, эта одежда: цена её — чьи-то изломанные жизни и прерванные судьбы. Самые изысканные, благоуханные, красивейшие одежды — это одежды, сшитые из чьей-то чёрной, грязной, больной и голодной беды.

Той власти разрушителей судеб, власти разрушителей государства не видно конца, потому что вовремя раскололи они сильную прежнюю армию, думает Жорес. Да, извели её, заморили, а из оставшихся военных делают теперь своих янычаров — только янычаров, охраняющих богатство грабителей от ограбленных; от голодных, нищих и злых.

“Кайтесь! — говорят они ограбленным. — Кайтесь и терпите!” Такая теперь придумана идеология для людей труда, у которых отобрали труд...

Пока пируют воры, обворованные должны каяться и терпеть...

* * *

Конечно, старику, втиснутому насильно в чужую комнату, не стоило бы размышлять этой ночью о бедствующих. Ведь вещи прежних хозяев, сожжённые на мусорной свалке, продолжают жить в этой комнате своею прозрачной жизнью: почтенный то и дело спотыкался на ходу, а обо что — не видел. И тут часто останавливались громкие премиальные часы старого Жореса — хорошие часы, они не в силах были перековывать без конца старую чью-то реальность в новые минуты, свободные от чужого прошлого... Сын его и он подчинились когда-то чёрной курице, отказавшись от своей воли, а значит, и от своего разума. Они не сбежали от алчной продавщицы, когда были для этого силы. А потом старик попал в эту тюрьму — в эту камеру чужого несчастья. Чёрная курица перевезла старика сюда, сказав: твоё жилище — здесь, потому что оно свободно от людей...

Подчинившемуся чужой воле не обязательно понимать, кто прав в этой жизни, а кто — нет. И разве не подчинились чужой воле доверчивые девушки и парни его народа — те, что вышли на площади крупных городов, требуя ухода с постов самых разжиревших, самых наглых коммунистов, забывших про коммунизм для простых людей? Но всё было обставлено так, будто они требовали отсоединения от России...

По степи слухи разносились тогда быстрее ветра: в крупных городах снуют по студенческим общежитиям какие-то новые люди, одетые подозрительно дорого, они зовут молодёжь на демонстрации против красной власти, богатеющей бесстыдно, в ущерб остальным людям. И степные старики не могли докричаться до внуков: “Дети! Вас вовлекают в великий обман! Кучка лихих людей идёт к целям, которые вам не открыты! Остановитесь, дети! Иначе потом пострадают все, кроме лихих!”

Но молодые правдолюбцы уже не слышали стариков: начались повсюду те самые волнения — с арестами обманутых студентов, с поджогами, с грабежами магазинов, с отъездом русских семей. И самые жирные, самые наглые коммунисты бросили партийные билеты, отрекаясь от коммунизма для всех: они стали владельцами народных богатств уже окончательно, отринув народ в нищету — навсегда... Так пришла в степи великая ложь, назвавшая себя демократией. Так пришла она в горы и леса. И смерть прокладывала ей дорогу — повсюду...

Но если прежние хозяйева этой второй квартиры выжили там, на пространных, где гуляет смерть — приспешница новой власти, если, измучившись, вернутся они в Столбцы, старик уступит им эту их комнату, без слов, сразу: уйдёт из барака к глиняным мазарам — умирать заживо.

В каждую ночь, когда, раз в неделю, прицепной пассажирский вагон приходит из России, старик ждёт стука в дверь, после которого он унесёт, утащит своё износившееся тело в мазары. И хорошо, что наступает лютое время года: старые люди в мороз умирают на земле легче, чем в жару.

...О, если бы эта квартира была оформлена на его имя! Но нет: сюда сразу зайвится чёрная курица, размышляет Жорес. Она, как настоящая хозяйка, и её сыновья выкинут прежних, вернувшихся, хозяев на улицу, без

промедленья. Только это уже не его дело: старик Жорес поплетётся умирать — к мазарам. Так он решил.

* * *

Следующий прицепной вагон из России придёт лишь через двое суток. Этой длинной тёмной ночью не придет никто. Не стучит теперь даже сердитый проржавевший “Саратов”, который обычно трясётся на месте с дробным топотом, словно бьёт в пол железными копытами, пытаясь убежать из чужой комнаты прочь, и ревёт от беспомощности, и гудит. Потом, содрогнувшись от внутреннего холода, изношенный “Саратов” затихает — только мурлычет давнюю электрическую песню, впадая в советское своё машинное детство...

Внук-бандит с шальными парнями привозил новый огромный холодильный агрегат, но старый Жорес, ругаясь, замахал клюкою — прогнал их вместе с голубой машиной, сославшись на барачную тесноту. Зачем старику привыкать к блестящим предметам из чужой жизни, враждебной всем остальным? Зачем брать то, что внук его покупает без всяких денег?

“Саратов”, сделанный когда-то на Волжском заводе, молчит, не напившись электричества из розетки. Старые хозяева не постучат этой ночью в свою дверь... И старому Жоресу остаётся лишь прислушиваться, как за стенами барака высокие вьюги опять раскачивают звёздный ковш...

Вьюги опадут в Воротах ветра весной и долго ещё потом будут бесшумно стлаться понизу, пока не превратятся в талую цветную воду — малиновую, жёлтую, изумрудную... Вспомнят ли эти воды тех, кто смотрел на них когда-то, думая о великом народном братстве? Помнят ли цветные воды прежние надежды людей?..

Древние старцы, знавшие арабскую вязь, говорили, что для праведных тружеников приготовлены на том свете дивные сады со светлыми реками, не заражёнными радиацией. Трудно ли праведным на тех райских речных берегах, жалко ли им забывать степные несладкие, опасные воды? Спокойно ли им, отработавшим для всего Союза, понимать, что творится внизу?

А в Воротах ветра звёздный ковш всё ещё пытается укрыться от стужи там, на небе, одеялом из плотных туч. Только в ночь перелома восставшие ветры должны разматывать, разнести все эти тучи в клочья, развеять их без остатка. И хорошо, если не сорвут они путеводные потускневшие звёзды с небес, будто осенние мелкие никчёмные листья. Когда не останется честных, когда всеми, всеми людьми будут потеряны и перепутаны их пути, случится такое: путеводные увядшие звёзды слетят наземь, как засохшие листья...

Но, чу! Со стороны мазаров идёт, шумит, всё уверенней надвигается на жалкий целинный барак время беспощадных, мертвящих холодов. И старые люди в мороз умирают легче, чем в жару.

* * *

Души спящих не понимают того, как резко меняется атмосферное давление в природе. Только и во сне отзываются они на резкие скачки и перепады — их раскачивает невидимое противоборство тяжёлых и лёгких воздушных потоков. Небесное предзимнее кипенье сообщает в Столбцах беспокойство всему живому. И Нюрочка просыпается внезапно.

От детского плача она подскакивает на постели так резко, что швы, кажется, треснули. И натывается во тьме на колючие иглы. Да, пара венков рухнула на неё, спящую, с гвоздей. Она отталкивает их, корявые, громоздкие, руками, скидывает с себя, цепляющиеся за одеяло и царапающие, один за другим. И они падают на пол с тяжёлым глухим шумом, обдавая слабым запахом выцветшей хвои.

— Саня, что ты? Здесь я!

Босой ногою отодвигает Нюрочка колкое, неуклюжее, кладбищенское, шуршащее — подальше от постели, подальше от детской коляски.

— Здесь я...

Шуршат под голой стопою, мнутся бумажные цветы, прикрученные к веткам тонкой проволокой, снятой с катушки старого красного трансформатора. Не пришлось бы переделывать их заново. Завтра, завтра...

— Тише, — бормочет Нюрочка в непроглядной тьме, покачивая коляску. — Тише. Сухие пелёнки у тебя? Вот так... Пить ты хочешь, маленький.

Руки её шарят по подоконнику, отыскивая приготовленный пузырёк с кипячёной водою, потом — чистую тряпицу, и оттирают во тьме мягкую соску.

— Немножко можно... Хватит, Саня. Не надо больше... А я измучилась что-то. Слабая мама досталась тебе, крохотный мой. Ничего... Спи... И я... Тоже...

* * *

Нюрочка и права не имела такого — уставать, потому что была не городская, а сельская, да ещё бесприданница. Всем, всем она обязана Бирюковым, начиная с крепких чулок и пушистых китайских тапок. И тем, что у неё городская крыша над головой, и семья, и ребёнок... Не на тракт пошла зарабатывать после школы, как две её сельские смиренные подружки, и не бродяжничала Нюрочка в одиночестве по чужим далёким проспектам и площадям в поисках лучшей доли. Выхватил её Иван из разорённого степного совхоза, откуда по-хорошему не выбираются. Чудом — выхватил... Только ждала она, что увезёт её от мачехи совсем другой человек.

Её любовь должна была состояться однажды весной, когда свежая степь за совхозным посёлком станет светлой до горизонта до расцветших белых и жёлтых тюльпанов. На молочной ферме выдадут наконец заработанную за четыре года и десять месяцев плату мачехе Маринке, и Нюрочка потратит всю свою долю на одно лишь, но очень дорогое синее платье с лёгким летящим подолом. И косы её будут уложены вокруг головы подобьем пшеничной короны... Тогда необыкновенный человек издалёка, оказавшийся в совхозе “Победа коммунизма” случайно, проездом, вдруг увидит её, строгую, прибранную, стоящую перед калиткой в своей готовности к встрече, самой важной в жизни.

Он узнает Нюрочку. И подойдет. Уверенный, скажет спокойно: “Вот, всё. Твоя одинокая судьба кончилась. И моя — тоже. Мне без тебя жить уже невозможно”.

* * *

Наверно, сначала она обрадуется — тому, какой он ладный и понимающий всё верно, сразу. Потом Нюрочка пожалуется поверх калитки одними только глазами: “Я слишком рано стала ждать тебя! Со школьных лет, с начальных самых классов! Из-за одиночества я натерпела такое большое количество ожидания, что оно слежалось в душе глыбами, похожими на старые осевшие сугробы. Они могут не растаять никогда. Во мне образовалась, кажется, вечная мерзлота”.

Переживая, он сотрёт со щеки её пыльцу от мелкого степного тюльпана и скажет — взглядом: “Сон мой! Я полюбил давно твою холодную душу. И я спешил к тебе, потому что знал: она не оттает без меня. Но где ты находишься, мне было непонятно. И вот я увидел тебя, сон мой и явь. Я пришёл за тобой”.

“Но во мне мало радости жизни! — предостережёт его Нюрочка. — Моя радость убита почти вся, ещё до появления на свет! Она сильно подорвалась и даже, наверно, истлела — в тех сосланных, кто жил до меня. Нам отучили радоваться задолго до рождения”.

Он ничего не ответит на это. Лишь догадается, что всякий пропадающий род одаривает последних своих дочерей большой скорбью исчезновения. Но всё же улыбнётся ей: “Знаю! Безрадостно жить, милая Анна, в чужой среде

и опасно, потому что однажды, затосковав сверх сил, человек может шагнуть из неё — всё равно, куда... Я очень боялся опоздать!.. Но ты уцелела. И я отыскал тебя. А радость — вернётся!..”

“Разве? — побойтся она поверить этому сразу. — Разве?”

“Теперь всё тяжёлое кончилось! — возьмёт он её за руку. — Идём!”

И Нюрочка кивнёт боязливо. Но шагнёт за калитку — смело...

* * *

Да, однажды, солнечным весенним утром долгожданной молодой человек уведёт её в своё далёкое существование — неведомое ей, пугающее немногое. Но там будет так тепло от всепонимающей вечной ласки, что думать про всё дальнейшее у Нюрочки не находилось сердечных сил, а наступала сразу одна только сердечная долгая ломота.

...Однако была не весна — июльская жара уже пошла на убыль, она давно выжгла весенние травы, цветущие мелко, недолго. Прячущие под собою, в темноте, крошечные сладковатые клубни, эти цветы угасали слишком быстро... И уже обнажилась вокруг фермы розовая земля, сцепленная сухими корнями, будто перепутанной бурой проволокой. Сквозь них пробивался только бледный кудрявый полынок, от которого горчило коровье молоко и горчиал воздух... И белые волны поседевшего ковыля колыхались вдоль тропы, ведущей от скотного двора к совхозному посёлку...

И было не утро, а летний ветреный конец дня, с обильными бешеными облаками, мчащимися над воздушной густой синевой, будто клочковатая пена над рябой водою... От высоких раскачивающихся облаков то и дело становилось на земле пасмурно, как на дне. И Нюрочка смотрела вверх, из совхоза “Победа коммунизма”, словно утопленница; из тени — в мятежную небесную высоту, перемежающуюся быстрыми тенями. И снова двигалась потихоньку к дому, шагок за шагом.

Нет, она не стояла под ласковым солнцем, в синем платье с летящим шёлковым подолом — она брела с фермы по сумрачной земле, в резиновых синих сапогах и в махешинном байковом халате, пахнущем хлёсткими коровьими хвостами. В июле животным не было иного спасения от жалищих слепней, как только отмахиваться от них. И доярке, подсевшей к тяжёлому вымени с алюминиевым гулким ведром, доставалось тоже — и от злых укусов, и от беспокойной коровы, вздрагивающей, бьющей копытом так, что мудрено было уклониться вовремя — и не пролить надоенное молоко наземь. Белое, как радость, живоносное, как радость, сияющее, как радость, оно истаявало, уходя в тлен, в прах, в навоз без всякого толка, и пропадало там, никого не питая.

Но серые кровососущие, налетающие бесшумно, боялись ветра, а это был очень ветреный день.

* * *

Нюрочка уже свернула на свою улицу, когда её чуть было не сбил с ног незнакомый парнишка, вылетевший из-за угла.

— Дурак! — отпрянула Нюрочка в испуге, потирая задетый локоть, словно прошитый мгновенным электричеством.

Коренастый, в длинной куртке, в широченных штанах с пятнами мазута, он пытался отодрать доску от забора и вооружиться, всё равно чем. Доска никак не поддавалась, хотя пнул он её понизу и раз, и другой; она только обламывалась в труху и бесполезные щепки.

— Куда мне? — обернулся он к Нюрочке с жалким обломком в руках. — Убьют.

По переулку катился дробный топот, и торопливые ругательства приближались.

— Туда! — велела она. — Дурак...

Он показался ей косоротым, оттого, что губы его были разбиты в кровь, и невменяемым: ошалелые глаза его не вбирали света и человеческого образа, словно алюминиевые.

И это было оно, её неказистое счастье, потому что удивительные мечты сельских полусирот не сбываются никогда.

* * *

Тем летом совхозный машинный двор обезлюдел окончательно. Над ним, просторным, пустынным, кружила вечерами стая воронья и опускалась к ночи. Заброшенная мастерская — с цементными глубокими ямами, с бетонными постаментами для движков, с полуразбитыми верстаками, — давно стояла без широких своих ворот, с тёмными провалами в стенах. Она стала пристанищем серых птиц и местом их ночлега. Однако начальству потребовалось вдруг отремонтировать механизмы, необходимые для обработки и полива собственных земельных участков, располагавшихся за чахлой лесопосадкой, а заодно и выкопать их под осень, заросшие бурьяном.

Мальчишек-калымщиков из автодорожного техникума бывший совхоз, а теперь акционерное общество “Победа”, нанял за хорошую цену без аванса. Они прикатили гурьбой, на рейсовом автобусе из Столбцов, и поселились в конторе, где подрались до поножовщины уже в конце второго рабочего дня. А Нюрочка вместо мачехи подоила коров на ферме и шла, уклоняясь от ветра... Она распахнула перед парнишкой калитку, потом — дверь, которую сразу заперла на засов.

Подростки горланили под окнами недолго и стёкла выбивать не стали, побросав на дорогу заготовленные было камни и комья земли:

— Ну, пада! Выйдешь... Эй, Бирюков? Не жилец ты! Понял, нет?.. По башке настучим — почки вылетят! Готовься, паскуда...

Они потопали обратно, по улице, заваленной кучами печной золы и мусора. И всё стихло. Бледный парнишка в куртке с полуоторванным воротом стоял перед девчонкой. И перепуганная девчонка в просторном, не по росту, байковом халате стояла перед парнишкой.

Они молчали, почти не видя друг друга.

* * *

— ...Дома нет никого, — проговорила наконец Нюрочка. — Прячься, сколько надо. За мачехой заехал знакомый. Он увозит её по выходным. Привезёт завтра к вечеру.

— А-а-а, — улыбнулся он криво и приложил к разбитым губам рукав, промокая сукровицу. — Понятно.

— Что понятно? — строго спросила его Нюрочка.

— Ну... если взрослый мужик с тёткой свинтили, там — трах-тибидох.

— Она не одна ездит с ним на базар, — нахмурилась Нюрочка. — Вместе с другими доярками. Потом расплачиваются все. Тем, что не продалось... Он четверых берёт. Мачеху Маринку, мачеху Натюльку и двух сестёр Алгасовых. Банные мочалки сам продаёт. Вяжет их крючком, из капрона. А другим не разрешает. Чтобы торговлю ему не перебивали... И где капрон покупает, не говорит никому... Предприниматель! У частников так положено.

Подумав, она достала две варёные картофелины в тёмной кожуре, два жёлтых помидора и поделила всё поровну...

— Я спрашивала про капрон, тоже хотела вязать. Но он другим не разрешает, — повторила она.

...Тогда на клеёнке перед каждым лежала отдельная картофелина, как отдельная Земля, и свой помидор — как отдельная Луна. И двое людей, не научившихся жить, глядели в сумерках, каждый на своё, отдельно друг от друга.

Точно посередине круглого стола стояла пустая круглая солонка, потому что соль кончилась в доме. Иван и Нюрочка сидели вокруг небольшой пустоты, заключённой в тусклое стекло...

Всё ещё бледный, парнишка решил:

— Мне в контору нельзя, — и добавил рассеянно: — А на утренний автобус у меня денег нет. Может, ты... Это...

Он смутился, уставившись на рваные её сапоги. Нюрочка торопливо сняла их и стала ходить босиком, отыскивая какой-нибудь кусок хлеба. Но на полке нашарила она только старый пряник, от неловкости уронив его на пол. Они оба кинулись под стол.

Иван первым подобрал пряник и понюхал.

— Он мышами пахнет? — спросил он, стоя на четвереньках. — Тут нам перловку дают, утром и вечером. А пряников...

Нюрочка молчала под столом. Потом быстро кивнула:

— Мышами. Наверно.

— Ну, ничего. Быстро поднятое не считается упавшим!.. Я бы завтра на автобусе в город уехал, если бы деньги нашлись, — опять сказал он, выбираясь из-под стола. — Я бы вернул потом.

Нюрочка вылезла тоже, ничего не сказав. Они принялись чистить картофелины — сосредоточенно, каждый свою. И пальцы их стали одинаково липкими.

Столкнувшись потом плечами перед умывальником, кое-как ополоснули руки. И торопливо пили холодный чай. Оба то и дело поглядывали в потолок — словно в навигационную карту, на которой не уцелело знаков, или в бледное небо, с которого исчезли отчего-то путеводительные звёзды.

Стесняясь запущенности жилища, Нюрочка объяснила:

— Мы не белим давно. Это не от лени. Просто извёстку не на что покупать... На ферме деньги не платят. Мы работаем, они не платят.

— А как же... — прикладывал он рукав к губам и морщился, но алюминиевая бесчувственность уже ушла из его глаз; они стали обыкновенными, хотя и без блеска. — А как же вы живёте?

— Как все — живём, — пожалала Нюрочка плечами. — Молоко на ферме воруют, по пол-литра. Его мачеха в райцентре продаёт. И творог, если скопился... А молоко мы не пьём сами. Для денег воруют немножко, когда бригадир недосмотрит. Надо за свет платить, за квартиру. Соль, муку и спички только покупаем. И хлеб. На обувь не хватает... У нас уже половину доярок в тюрьму посадили. За воровство. Облава на нас в степи была.

— А начальство чего не заступилось? — парнишка солидно приглаживал сивую макушку. — Ну, типа — бартер: взяли они молоко вместо зарплаты. Доярки... Свои же все.

— Оно само милицию вызвало, начальство. И облаву устроило — оно, — покачивала Нюрочка босой ногою. — Старые доярки и слабые, больные чем-нибудь, до буераков не добежали. На землю попадали. Вот их подобрали. И под суд. Они в тюрьме теперь... У нас уже четыре дома пустые стоят, из них дети разбрелись. В город ушли.

— В чуханы, — кивнул парнишка. — Больше им некуда...

— Вот скоро опять ловить нас будут. В степи, с поличным. А когда — неизвестно... Начальство предупредило: облаву устроят неожиданно.

— Весёлый коленикор, — заметил парнишка. — А зачем же вы работаете? За бесплатно?

— Затем... Без работы все пропадём. Окончательно. Держаться нам не за что будет. А так — надежда есть: вдруг всё наладится... Нет, лучше кое-как, чем никак.

— Не наладится!.. Если сволочи они. Начальники ваши.

— Везде теперь такие, — ответила Нюрочка со вздохом, как взрослая. — Капитализм на нас накинудся! Поэтому начальникам деньги прямо в

карман идут. А из своего кармана кому хочется отдавать? Вот и не платят нигде.

— Выходит, они не воры, а воры... Воры вы, значит? — усмехнулся парнишка.

— Да, конечно! — кивнула Нюрочка. — Пол-литровую банку с крышкой в карман халата ставим, под фартук... У меня не получается пока. Я неловкая. С пустой банкой в основном прихожу. Но я приспособлюсь. А то мачехиным, ворованным, обедаю, а сама... Неловкая... По-честному — надо есть, конечно... Совсем... Я пробовала так. Мне удаётся! Только недолго. Не очень долго.

* * *

Парнишка всё оглядывался на стену, вдоль которой, от пола и до потолка, стояли тяжёлые книги на полках, сооружённых из грубых досок и шершавых брусьев. Старые тома с золотым полуоблезлым тиснением привлекали его больше, но они же внушали какое-то недоумение.

— Ешь свой пряник сама, у меня зуб шатается, — озирался парнишка, цвиркая слюною. — Кажись, выбили, парашники... Книг — до фигища. За чем они вам?.. Пережиток прошлого? Да?

— В той комнате их ещё больше, — оживилась Нюрочка. — Мачеха Маринка выкинуть хочет. Но она добрая. Как увидит слёзы, так соглашается: пускай плятятся... И полки — ещё дедушкины. Он сам их делал.

— Не плотник. Сразу видно, — заметил парнишка снисходительно. — Крепление плохое. Тут пазы нужны. Или уголки. И шурупы! А доски — не такие, покороче. Видишь, прогнулись?

— Он профессор был. Пока не послали... Один ученик архив его сохранил. Он даже часть библиотеки выкупил. У бабушкиной родни. За дорого. Чужой совсем человек... Багажом сюда отправил, когда разрешение вышло. А бабушку я не знаю. Она здесь недолго жила после лагеря. Только молчала, говорят, и папиросы всё время курила... Там, в книгах, работы дедушкины есть. Статьи старые. Против огульной мелиорации земель в засушливых районах... Он писал, что от земли нельзя требовать того, чего она не хочет. Что тогда она станет умирать под солончаками.

— А от людей зато можно, — кивнул парнишка.

— Он и тут писал всё время, я помню... Хотел, чтобы подсеивали травы, не вспахивая землю. Под снег... Особые травы, которые на радиоактивных землях должны сеяться. У них такой обмен, что верхний слой почвы постепенно делается не опасным для человека...

Парнишка уже думал о своём, облокотившись на стол: видимо, размышлял, как ему теперь быть. И Нюрочка говорила не для него, а просто так, в пустоту:

— ...Эти травы, при подборе и чередовании, помогают друг другу. И сами становятся пригодными для корма скоту. У него вычислений много было... Он говорил, что землю можно лечить травами, как человека.

— Что? Травник? — очнулся парнишка. — Дед?

— Не знаю... Биологию здесь, в школе, преподавал. Но его району не любило, потому что он двоек не ставил. Школьников опрашивать забывал. Только рассказывал, что знал, и гербарии особенные составлять учил. А порочных планов не писал. И календарных тоже. Ему времени на это не хватало... Его потом реабилитировали, а он — всё равно, так и работал без планов, до самой смерти. В школе, дома...

* * *

Сонная муха тем временем ожила за тюлевой занавеской и стала биться в стекло, как припадочная. Нюрочка вскочила. Она взяла в руки самодельную мухобойку, — это была кожаная сморщенная рукавица, кое-как приби-

тая к сучковатой палке ржавым гвоздём, — но, постояв с поднятой рукой и поглядев на зудящую муху пристально, села снова. И муха стихла.

— Пускай поживёт, — сказала Нюрочка, бросив мухобойку на подоконник. — Они счастливые! Им на работу устраиваться не надо. Мухам.

— Ну! — согласился парнишка. — А милиционеров у них вообще нет! Муха мухе друг... Ты видала, чтобы муха муху судила? Лапы выкручивала?

— У них всё ещё равенство, наверно, — нерешительно сказала Нюрочка. — А мы его уже никогда не увидим.

Она загнулась: парнишка опять её не слушал. Вытянув шею, он старался уловить в настенном зеркале своё отраженье, однако оно ускользало, а вставать парнишке не хотелось. Наконец он откинулся к спинке стула, как следует.

— Да! От книжек ваших теперь толка нет никакого, — заглядевшись на себя, осторожно стирал он рукавом засохшую кровь с подбородка. — А эти... труды его толкнуть можно? Кому-нибудь продать? Те, которые дед здесь написал?

— Как это?

— Ну, вот у богатого деньги есть, и охота ему учёным стать. Не будет же он сам голову ломать, правильно? Книг читать — хрену тучу, над бумагой горбиться, когда у него миллионы? Он лучше чужие труды купит. Подсунет, как свои. Да и всё, — прикидывал парнишка. — Сейчас — так! Не иначе.

— То, что он делал, никому не нужно, — покачала головой Нюрочка. — Дедушка для Нового Человека писал. Который появится когда-нибудь. Для Человека разумного будущего.

— ...А он точно — появится? — засомневался парнишка.

— Да. Если мир его не уничтожит... Миру в лучшую сторону меняться не хочется, он к плохому идёт, а помехи — сметает. Заранее. Как только почувет.

— Значит, ещё в зыбке придушит! — поглядывал на себя парнишка, подставляя зеркалу распухшую щёку. — Нечего ждать, короче. Нового Человека...

— Почему? — не поняла Нюрочка. — Его родить можно. Воспитать. Только сберечь трудно будет. А родить — можно.

— ...И что? — парнишка посмотрел на неё внимательно. — Родишь — ему отдашь? Работы все? Да?

Нюрочка покачала головой:

— Нет!.. Их Маринка сожгла. Думала, магулатура... У дедушки почерк торопливый был. Там — то исправлено, то перечёркнуто. Маринка говорит: ни одного чисто написанного листа не было... Его бумаги вон в том большом сундуке лежали, до верха. Мама помнила, что их надо отвезти туда, где он лекции раньше читал. Не успела... А Маринке сундук нужен был. Под старые тряпки... Она жаловалась, что листы лежалые, плохо горели. И совхозная библиотека тоже плохо горела, в которой мама работала... Книги очень плохо горят! Я помню... Их бензином обливали за клубом, на заднем дворе, в темноте. Ночью... Мы с мамой бегали смотреть. Она, дедушкина дочка, в клубе книги выдавала... Потом демократы пришли. Они библиотеки жгли. И клубы разоряли.

— А зачем? — не понимал парнишка. — Почему?

— Потому что варвары... Дедушка давно предсказывал, что так будет.

— ...Гороскопы составлял?

— Нет. Просто объяснял, что завершающий этап революции — ещё впереди... Он про революционеров знал всё: “Их внуки сядут на место расстрелянных, как подменные баре. Спалют советскую власть — и сядут барствовать, вместо настоящих”. Так говорил...

— Ничего себе... У тебя что — память хорошая? — подозрительно сощурился парнишка.

Нюрочка помолчала. Потом пожала плечами:

— Раньше у многих такая была. Даже лучше. Но у кого лучше — тех уничтожили быстрее. Не так медленно...

— Ерунда! — не поверил он ей. — Умные остались, я встречал... Вот физрук наш Пантофель! Молчит, молчит, краснеет. Набрякнет весь — потом как крикнет что-нибудь умное! И все балдеют... На пятёрки в школе училась? Да?

Нюрочка смутилась:

— Я по канату лазить не умела. И по тригонометрии... тройка вышла. Дедушка бы меня презирал. А мама бы сильно расстроилась... Мне без неё стараться не хотелось! Пускай. Тройка — и тройка...

— А куда она подевалась, родная?

Нюрочка стала протирать клеёнку тряпицей, склоняясь над столом всё ниже, потому что за окном уже темнело.

— Спилась, нет? — сочувствуя, спросил парнишка. — ...Ну, спилась, скурилась, это мне без разницы. Не хочешь, не говори. А бумаги... Жалко, что сгорели. Тут сочиненье на одну страницу никак не вытянешь, а он...

Парнишка призадумался.

— Накрылась, короче, вся его работа! — вздохнул он. — Знал бы, не писал, наверно.

— Всё равно писал бы. Дедушка по-другому не мог.

— Значит, знания голову распирали!.. Бывает. С каждым бывает... Я бы кости куда-нибудь кинул! — зевнул он. — Если не возражаешь... Наломались мы с убитой техникой этой. Одни напильники у вас! И отвёртки гнутые... Свёрла — обломанные все. А станков не осталось! Весёлый колленкор, в общем...

* * *

Потом, сбросив грубые ботинки, парнишка лежал тут же, возле стола, на жёстком деревянном диване, отказавшись и от постельного белья, и от одеяла.

— Испачкаю... У меня штаны в мазуте.

— Можешь тогда с вешалки фуфайку взять, — сказала Нюрочка, колебавшись. — Она изношенная давно. Её мачеха выкинуть хотела, но испугалась. Когда ещё хуже будем жить, пригодится. Рады будем и такой.

— Нормально! — потягивался он, заложив руки за голову. — Без всякой фуфайки — ништяк... Ты как думаешь, за два дня работы мне заплатят? Завтра?

— Здесь никому ничего не дают. Пообещают! Но скажут, что пока денег нет. Они так делают.

— Нас вообще-то на месяц нанимали, до учебного года. Но сваливать придётся срочно. Я одному в рожу харкнул... Он моё полотенце нарочно ископировал, а я харкнул. И про магнитофон сказал: "Если вы не загасите свой музон, я вас всех распиною!" ...Эх, был бы кастет!

— Синий час, — сказала Нюрочка, засмотревшись в окно. — Ветер стих... Синий час наступил.

— Чего-о-о? — озадаченно протянул он.

— Глубокие сумерки, — объяснила Нюрочка. — Час взаимопроникновения миров... Он быстро проходит... Это когда растворяется граница между миром живых и миром мёртвых: миром теней... Сейчас живые и мёртвые находятся рядом.

Парнишка помолчал, соображая.

— ...А триперными я их обозвал — за дело, — всё же уточнил он, мрачней. — Не просто так. С малолетками дорожными они ходят. Потом чешутся, как блохастые.

— Вы все из техникума? — спросила она без любопытства.

— Ну. Сначала это фазанка была — ФЗУ. Фабрично-заводское, значит. Потом — ПТО: производственно-техническое... А сейчас — техникум. Говорят, в колледж переименуют с осени! А может, и нет... Когда мы поступили, нам даже старую форму выдали, со склада. Ватные куртки, толстые, а на пуговицах буквы были: "ПТО"... Но мы пуговицы бритвой срезали.

Сразу! Чтоб никто не дразнил. А так — дразнят: “Пидерас-Тепло-Одетый”... У нас один баклан не знал. Вырядился — и в новом домой попёрся! С буквами. Через все Столбцы... Вот угар был... У нас таких весёлых шуток много! Рассказать?

— Нет.

— А то бы я рассказал, — вздохнул парнишка с сожалением.

И озоботился:

— Слушай, мне на двор надо. Уже давно. Вспотел терпеть... Схожу? Не возражаешь?

Нюрочка кивнула, щёлкнула выключателем и ушла в боковую свою комнату. Она легла на койку, не снимая халата, и сразу прикрыла глаза ладонями — сквозь щели перегородки пробивался электрический свет, отчего под веками возникала, подрагивала, рябила неприятная радуга. Потом Нюрочка вытерла влагу в углах глаз. И радуга пропала.

Этой весной за нею опять не пришёл тот — понимающий всё без слов... Не пришёл в последний раз. Он уступил её — этому: приземистому, с разбитыми губами... В мешковатых штанах с пятнами мазута.

* * *

Вскоре звякнула щеколда — там вернулся парнишка. Покашливая, он запер дверь. Через минуту на кухне щёлкнул выключатель. Во всём доме стало темно и тихо, и ночная скука — в углах, под койкой, за шкафом — скапливалась ощутимо. Люди иногда уходили из этого дома насовсем — поочерёдно, а скука оставалась, притворяясь днями, что её нет, и старилась — вместе с неприметно оседающими стенами, с рассыхающимися половицами и дверьми. Но перед окончательным уходом каждого домочадца скука уплотнялась ощутимо. Скапливаясь по тёмным углам, она готовилась занять пространство уходящего. А расплзлась — перед самым чьим-то уходом... И Нюрочке уже было ясно, что с парнишкой придётся ей жить всю долгую жизнь — где-то, не здесь. И она будет верна ему одному, всхлипывала Нюрочка едва слышно, спрятав голову под подушку. А тому, чуткому — лучше потом не появляться на её пути...

Того — она ненавидела теперь за всё: за пустое своё ожиданье, за благополучную его нерасторопность, давно уж смертельную для неё. За то, что он предпочёл оставаться бесконечно долго — без неё, в своём умном мире, где тепло от всепонимающей вечной ласки... За то, что даже сегодня пришёл — не он...

За эти свои слёзы обречённости она будет мстить — бессмысленно, безжалостно, безостановочно — тому, промедлившему преступно, если только он объявится когда-нибудь, потом, со своей неземной любовью. Нюрочка будет только мстить, и ничего не сможет с собою поделать... За то, что на дедушкин диван лёг — не он. Лёг другой...

Чтобы Нюрочка себя не погубила, этот избитый парнишка обязан жить долго. С нею одной. Верной ему одному, тихонько всхлипывала она.

...Нет, парнишка не должен помирать рано. Он должен жить всегда. При ней — только дольше неё.

* * *

— Сигарет нету? — спросил парнишка через время, ворочаясь за перегородкой. — Отец твой что, не курит?

— В Россию он уехал. Три года назад, место искать, — ответила Нюрочка с неохотой, сдвинув подушку в сторону. — Мачеха Маринка говорит: сгинул... Сейчас многие люди там погибают. Без всяких вестей.

— Это — смотря какая у него специальность, — рассудительно заметил парнишка. — Вот с нашей — не пропадёшь.

— Он в быткомбинате работал, обивщиком мебели. Пружинные матра-

цы обтягивал. Кресла, диваны. У него много свободного времени было. Потом производство закрыли. Безработный стал.

— ...Что же у тебя мать не за инженера вышла? — спросил парнишка недоумённо. — А за быткомбинатского, простого?

— Он скромный. Мама за скромность всех людей очень уважала, — отвечала Нюорочка в темноту. — Непьющий. И любил её... Она считала, что он очень, очень сильно её любил! Боялась, что так любить её уже никто не сможет... Поэтому только вышла.

— А на самом деле? Не так? — догадался парнишка.

Нюорочка не ответила.

— Здесь луна, между прочим, уже в окошко глядит, — бодро проговорил парнишка. — Здоровая! Лунит, как прожектор с вышки. В зоне лежишь — или где: не поймёшь... А тебе там не видно.

— Здесь у меня тоже светлее стало... Спокойной ночи.

— Спокойной...

— А у меня мать — нормировщица! — громко сказал он тут же. — Отец шепутной, под сокращение попал, но мать обещала: как только женюсь, бабкину комнату в бараке мне отдадут... Они у меня простые. Не жадные... А твоему деду отец-то твой не шибко нравился, да?

— Ему не нравилось, что он в самодеятельности участвовал. Положительных людей в клубе изображал... Дедушка говорил: “Учиться не хочет, а интересничать на сцене соглашается, нехорошо...” И маму упрекал: “За масовика-затейника вышла”.

— А она что? Мать?

— Ничего. Пока дедушка живой был, возражала. Потом, когда не стало его, тоже про папу сказала: “Гнилой посох...”

— А полки ваши так, значит, и не наладил? Обивщик?

— Нет... Он мечтал только стать в клубе художественным руководителем — и всё.

* * *

В Нюорочкином окне появился край луны, узкая комната стала видна вся — шкаф, стол, табурет, — и сучка затаилась, уступая место смутному непокою. Засеребрилась, замерцала никелированная коретка койки, и тускло поблёскивало теперь дверное стекло.

— Он добро любил делать! Отец, — сказала Нюорочка, отворачиваясь от холодного, тревожного света к перегородке.

Панцирная провисшая сетка проскрипела под тяжестью её тела и коротко громыхнула.

— Добро? — не понял парнишка за стеною. — Какое добро?

— Разное... Когда все без работы остались, и мама, и он, пришёл знакомый один. Стал просить деньги на ящик водки, для свадьбы. И папа маму спросил: “Как, Тата? Отдадим? У нас ведь есть? Ну, те, что для Нюорочки от деда остались? Они последние, правда”... Она говорит: “Поступай, как сочтёшь нужным”. А папа топтался: “К человеку гости приехали. Ему надо”. Тогда мама опять сказала: “Как хочешь”. И он отдал... Мы потом несколько дней ничего не ели... Это я виновата, потому что каши просила. Как ненормальная... Папа — ничего, а она не выдержала. Взяла кусачки и пошла в трансформаторную будку, провода срезать. Чтобы на металлолом их сдать. А кусачки не изолированные были, поэтому её убило... Я всё помню. Но меня на похороны не взяли, в доме заперли. Чтобы я меньше переживала...

Её слова угасали в полутьме сразу, безучастные, скучные:

— ...Я на диване сидела с куклой, а маму мою хоронили. И кукла холодная была. Тусклый день стоял, долгий... Я ни одно окно не смогла открыть, чтобы выпрыгнуть! Разбить стекло надо было, наверно... Там хоронили, без меня, а я — с куклой... Отперли, конечно, как с кладбища все вернулись... Тот сосед, который у нас деньги на водку забрал, отца по спине хлопал: “Не горюй! Бог бабу отнимет — девку даст!” И за стол они се-

ли... А я от них ушла во двор, стала свою куклу хоронить. Любимую... Всех кукол потом хоронила. Зарывала вон там, на заднем дворе, в куче золы... С ними уже не играла. Книги только читала... Маринка кукол в золе находила. Меня ругала, а я — всё равно... Даже не знаю, почему.

Парнишка спросил про отца:

— А что же он сам не пошёл? Провода срезать?

И Нюрочка ответила:

— Он к этому плохо относился. К воровству... Просить взаймы тоже не мог. Не выносил просто. Ему неудобно было... И только правду всегда говорил.

* * *

То ли от здешней скуки, то ли оттого, что ночь только началась, мальчишка принялся там, на кухне, ходить от окна к дивану, от дивана к окну.

— ...Козёл он! А не скромный. Отец твой, — сказал парнишка. — Ни хрена он её не любил. Притворялся, козлина.

— Просто он положительных людей долго на сцене изображал, — ответила Нюрочка за перегородкой.

На кухне звякнула кружка. Парнишка зачерпнул воду из ведра, не включая света.

— Забудь про него! — велел он и стал пить. — Отца у тебя тоже нет. Вот так считай... И про границы миров, про тени, про синий час — никому не говори. А то подумают, что ты того... с приветом.

Подумав, Нюрочка согласилась:

— Да. Надо молчать. Про это. И про остальное... Особенно про остальное.

— ...А женился потом небось сразу? Отец твой? — парнишка опять укладывался на диван.

— Да-а-а, — удивлённо протянула Нюрочка. — Ты откуда знаешь?

— Козлы всегда так делают.

— Маму похоронили, он на Маринке женился. Через неделю. Говорил, что на девять дней стряпать надо — поэтому, для поминок... Она доярка, зато молодая. Муки белой принесла. И молоком нас напоила сразу... А потом в больницу попала. На ферме бык взбесился и на рога Маринку поднял. Тогда отец Натуюлку привёл. Она ещё моложе Маринки; из десятого класса, второгодница... Сказал: потому что ребёнку нужна мать. И Натуюлка при нём добрая была, а без него озоровала. Ей нравилось тогда людей донимать, по молодости... Но Маринка из больницы вернулась и Натуюлку выгнала. Даже сковородкой стукнула по голове, хоть ещё слабая была... Вот теперь со мной, чужой, и мучается одна.

— А чего ей с тобой мучиться?

— Ну, как... — задумалась Нюрочка. — Я ем всё-таки не мало... Но одежду я никакую не прошу, мачехино всё донашиваю.

* * *

Парнишка, должно быть, заснул или задумался. И Нюрочке в узкой спальне её был слышен только скрип форточки и слабый шум свежего ветра, долетавшего порывами с близкого Жёлтого озера. От солончаков, проступивших на месте каналов, вырытых когда-то для орошения кукурузного поля, тянуло морским запахом бледной травы солянки, сорной, переспевшей, осыпающейся в июле сухими семенами. Когда ветер дул со стороны степи, бывал он другим — душным, горьким от польняка...

— Надо спать, — сказала себе Нюрочка, думая, что новую осень и новую зиму ей тут уже не перенести: то ночная скука вытесняла её из дома.

— ...Хорошо, что он провалился, козёл! — вдруг сердито проговорил за перегородкой парнишка. — От таких толку не бывает. Зато мороки полно... Ты бы с ним замучилась. Вкалывать бы устала на его доброту... Забудь! И про деда своего забудь. Он тебя с матерью в глуши оставил на этого козла...

— У дедушки сил для нас не осталось. И для себя — тоже... Ему учёное звание вернули, но он тут жить привык. Старенький уже, повторял: “Всё поздно”. И ещё: “Не всё ли равно, где человек превратится в прах? А здесь, в степи, мы превратимся в прах радиоактивный, всё больше пользы для будущих атомных станций будет”... Но мама говорила: “Ему больно. Туда, где много непосильного пережито, люди не возвращаются”.

— На это, короче, тоже наплой, — перебил её парнишка. — Не вспоминай! Одна — так одна.

Он помолчал озадаченно.

— Тебе, слушай, озвереть надо! — решил он. — А то... Сдохнешь ты с этой мурой. Забудь. Всех!.. Всё забудь, слышишь?! Выкинь из головы.

— У меня голова ничего не забывает, — призналась Нюрочка с печалью. — Я не сумею.

— Значит, очоуришься... Ворон тут у вас, в вашей “Победе” долбаной, как грязь! Выходил во двор — всё небо чёрное, колышется... — зевнул парнишка и затих.

* * *

Потом из кухни не доносилось уже ни шороха, ни скрипа. И Нюрочка задремала.

— Ты тоже меньше говори, — сказала она парнишке сквозь сон. — Про козлов. И про коленкор.

— Замётано, — пробормотал он. — ...Я вообще-то молчу обычно. Это я так: понты колотил. А вообще...

Но Нюрочка его не слышала. На голове её опять была обвислая полотняная шляпка цвета глины, с морщинистыми полями. И суровый, равнодушный дедушка снова вёл её, маленькую, за руку, из совхозного магазина. Ей хотелось плакать и топтать ногами от обиды — такой жгучей, словно её укусила в детское сердце невидимая взрослая оса. Но топтать и плакать ей не полагалось.

— Почему? — всхлипывала всё же Нюрочка. — Скажи! Почему ты не купил мне стеклянные бусы? Синие бусы... Я просила! Мне продавщица их отдала! А ты отобрал... А ты не купил!

— Потому, что твоя бабушка и прабабушка таких бус не носили. Ты можешь носить только то, что носили они.

— ...Они что носили?

— Я помню сапфиры... Синие, — медленно вышагивал он. — Запомни.

— Скажи! Где? — дёрнула Нюрочка его руку. — Они где?

— ...На дочерях и жёнах наших палачей, — размеренно и спокойно выговаривал он ей с высоты роста. — Свои сапфиры ты увидишь когда-нибудь на шеях внучек их, правнучек. Очень может быть, что увидишь. Кто-то их носит сейчас. Передаёт по наследству... Но ты об этом будешь молчать. А носить стеклянные тебе не положено... Запомни: нельзя.

— А какие бусы буду носить я? — растерялась маленькая Нюрочка.

— Ты? — равнодушно оглядывал дедушка блестящие от солнца небеса, потом — совхозные дома с облезшей штукатуркой и кучи золы вдоль дороги. — Ты — никакие.

— Мои бусы — никакие?! — выдернула Нюрочка свою руку из тяжёлой взрослой ладони и остановилась. — ...Нет! Я очень сильно хочу! Хоть какие-нибудь!..

— Ты — будешь жить без украшений.

Тогда она сорвала с себя полотняную морщинистую шляпку и бросила в дорожную пыль с размаха.

— Я не буду — совсем безо всего! Жить! — закричала маленькая Нюрочка. — Совсем не буду. Пусть они отдадут! Синие! Мои!..

— Ты будешь жить безо всего! — повысил голос дедушка. — Ты будешь жить!

— Не-е-ет... — редела Нюрочка и била дедушку по руке. — И шляпку тряпичную вашу носить больше не стану. Противную! Не надевай на меня!

Не смей! Я её утоплю... Почему мне нельзя — ничего? Почему — ничего мне нельзя, никогда?! Почему?!

— А? — переспросил парнишка за стеной. — Не расслышал.

— ...Мне на ферму в пять утра, — проговорила Нюрочка невпопад, проснувшись окончательно. — Рано вставать. Завтра.

* * *

Он, кажется, обрадовался тому, что она там, у себя, слышит его и разговаривает через стенку.

— А ты что, все их перечитала? — спросил он недоверчиво. — Пуды эти? Которые на полках стоят?

— Не все... Многие... Я на пустырь уходить стала, от отца с Маринкой. Там людей нет, один бурьян. Небо... У меня своя небольшая ямка в польни была. Удобная. Польша цветёт хорошо! Душисто... Дедушкины, научные, зимой читала, дома. А Чехова — всё время на пустыре.

— Зачем?

— Он врач был... Я на физиолога учиться хотела. На психолога. Стала бы, как Сеченов. А теперь... Только стихи учу. “Под насыпью, во рву нескошенном, лежит и смотрит как живая, в цветном платке, на косы брошенном, красивая и молодая...”

Парнишка крякнул и засопел. Потом спросил — от безделья, должно быть:

— А он про мужиков тоже писал? Этот?

— Писал. Про мужиков, — ответила Нюрочка. — “И взвился костёр высокий над распятым на кресте”... Я у Блока наизусть два тома стихов знаю, а у Брюсова — некоторые только. Про мемфисские глаза. Про цветы усталых георгин...

— Они что, тоже врачи, Брюсов и Блок? — зевал парнишка.

— Нет.

— А зачем тогда учила?

Нюрочка во тьме пожала плечами.

— ...Когда их читаешь, обида на людей вся из тебя выходит, — вздохнула она. — От обид сердце тяжёлое делается, будто на нём полное ведро висит... Обиды жилы вытягивают. Даже валерьянка не помогает. А от стихов сердце горькое становится, зато лёгкое. Свободное от людей...

Она встала, прошла на кухню и включила свет. От неожиданности он зажал глаза ладонями.

— Чего ты? — спросил парнишка.

— Я приёмник взять к себе хотела, музыку тихонько послушать. Передумала уже... Прости пожалуйста.

Нюрочка отпила воды из ковша, выключила свет и вернулась к себе за перегородку.

— ...Приёмник, тот? На окне который? — спросил парнишка через время. — Он что, твой?

— Мачехин, — сонно проговорила она. — Ей этот подарил... С которым они вместе уехали...

— Свинтили, короче, — понял парнишка.

* * *

Ближе к утру он вдруг спросил:

— А у тебя кто-то был?..

Она проснулась не сразу, и он повторил из-за перегородки внятно и настойчиво:

— Сколько у тебя их было?

— ...Как это?

— Добрые все гулящие, — сказал он отчуждённо.

— Думай, как хочешь, — голосом, севшим от обиды, проговорила Ню-рочка в подушку. — Мне всё равно.

Парнишка повздыхал немного и пояснил:

— Добрые “нет” говорить не умеют... А порядочные — одни злые только.

Она не ответила ему. Но спросила вскоре:

— ...Ты как считаешь, Бог есть?

— Есть, — ответил парнишка сквозь дрёму.

— А я считаю, что Его убили.

От жалости к Богу у Нюрочки заболело в боку. Она простонала даже, но, спохватившись, затихла.

— ...Кто? Убил? — неожиданно очнулся парнишка.

— Злые силы, — не сразу сказала она. — Давно уже. Очень давно.

— С чего ты это взяла?

— Он бы нам помогал, если бы живой был. Всем бы помогал. А так... Раз не помогает, значит, погиб.

— Спи, — сказал парнишка. — Он — есть. Я тебе потом докажу.

Когда утром Нюрочка пришла с фермы, парнишки дома уже не было. Приёмника — тоже.

Она попробовала съесть коврижку. Но уронила.

— Быстро поднятое не считается упавшим, — проговорила Нюрочка рассеянно.

Потом она сидела, упершись лбом в прохладную стену и закрыв глаза. Ближе к вечеру приехала мачеха.

* * *

Маринка расторговалась плохо, ничего почти не выручив. Задумчивая и усталая, она сказала, чтобы без приёмника Нюрочка не возвращалась.

И Нюрочка кивнула ей с готовностью:

— Я не вернусь, — но обеспокоилась: — А кто тебе на ферме поможет?

— На какой ферме? — махнула рукой Маринка и стала умываться. — Режут коров, там рёв стоит...

— Кто? — встревожилась Нюрочка. — Режет?

Маринка её не услышала.

— Хотели с той недели всех пустить на мясо, — вытирала она полотенцем обветренное, красное лицо. — А чего ждать? Сенокоса не было, люцерну не сеяли. А камыш для коров грубый... Скотник не хочет их к Жёлтому озеру гонять. И далеко, и без толку... Поезжай! От тебя и так пользы мало было. У тебя пальцы слабые... Чего с тобой теперь делать? Не годная ты ни на что... Тебя даже на тракт не поставишь! Ты и одного раза не выдержишь; удавишься или с ума сойдёшь.

— А ты как без работы жить будешь, Маринка?

Мачеха не ответила. Приметив муху, сонно ползающую по стеклу, она вздохнула и шлёпнула её мухобойкой, но не попала, думая о своём. Оглушённая, муха свалилась на подоконник и замерла. А Маринка уселась за стол, огладив юбку.

— ...Что? Накрылся твой Паганини? — она посмеялась над Нюрочкой — пренебрежительно, но не обидно: как над опостылевшей подружкой, которая загостилась, прижилась и забыла, что пора бы ей отправляться за порог.

— Его всё равно редко передавали, — ответила Нюрочка. — Тот концерт.

— Это не музыка была, а пилорама! — заметила мачеха, потянувшись. — Тоже мне, концерт...

— А ты мне денег на дорогу найдёшь? Сколько-нибудь?.. Автобусом дорого, конечно. Мне только на попутку. На еду не надо. Я притерпелось.

Мачеха откинула лёгкие свои кудряшки со лба. Она быстро соорудила из них на темени витиеватый хохолок и защёлкнула пластмассовой жёлтой за-колкой, ничем почти не отличимой от бельевой прищепки.

— С этой продажи — не дам, — сказала Маринка, уронив тяжёлые руки на колени. — Милиция нас гоняла. С места на место. Второпях продавали. За бесценку... А больше продажи не будет!

Мачеха вздохнула печально — и чему-то улыbnулась мимолётно.

— Весёленькая. Заколочка... Тебе такую же хотела купить, а хватило на одну, — добавила она, уже не помня досады. — Дать поносить? “Краб” называется.

— Не надо.

— А хочешь, подарю? На память?.. Форсить будешь в городе, вспоминать.

— Я не сейчас поеду за приёмником, — подумав, решила Нюрочка. — В сентябре. Если, конечно, он не привезёт его раньше.

— Так он и привез! — грустно посмеялась Маринка с весёлой своей прищепкою на голове. — Дурак он, что ли? Не привезёт! Не жди... Давай чай пить. Воды-то хоть натаскала? Разява...

И он не привёз.

* * *

Ровно через месяц Нюрочка на попутке добралась до техникума в Столбцах. Морщинистый шофёр только посмотрел на её деньги и отмахнулся, закуривая:

— Оставь себе. На ситро... Булку, может, купишь. А то ведь нынче... никто никому не рад, нигде. Ну, спрыгивай, сказал! С копейками своими. Деловая...

Ивана Нюрочка отыскала в конце длинного сумрачного коридора, в толпе, которая переминалась и гадала. Трещал оглушительно электрический звонок, истошно кричал какой-то учитель, размахивая над головой журналом: “Сесть! По местам! Немедленно!” Но на двери было написано мелом: “Кто первый войдёт в класс, тот пидера!” И толпа гоготала, толкалась и гудела, пока в дверь не шагнул сам учитель — зажмурившись, выдвинув журнал вперёд подобием щита.

Из этой толпы Иван увидел приехавшую Нюрочку позже, чем она его. Он сначала обрадовался, а потом насупился, пробираясь к подоконнику.

— Идём во двор, — сказал он деловито, застёгивая джинсовую новую куртку до горла, и штаны на нём были чистые. — Я приёмником с шофёром расплатился. Уже в магазине был. Два раза. Такого же не нашёл. Говорят, марка древняя. Правда... Только на барахолке сломанный продавали, я не взял.

Потом добавил, оборачиваясь на ходу:

— Деньги за него привезти собирался! А тут... некогда всё время. Я в мастерской кастет выгачивал. Классный кастет! Вчера закончил...

Во дворе чернел остов полуразобранной грузовой машины без колёс. Вокруг неё розовела тусклая пустота — без травы, без единого куста. И в сентябрьском небе не было ни облака, ни тучки. Но ветер гулял широко, от забора к забору, вздымая, кружа клочки старой бумаги.

— Тогда по-другому нельзя было, — говорил он хмуро, оглядываясь на окна. — Не свалил бы из вашей “Победы” — изувечили бы. Извини...

И там, на сорном ветру, Нюрочка, постояв немного, отвернулась от Ивана и пошла прочь.

— Эй! — крикнул Иван, не зная, как её зовут. — Ты, наверно, есть хочешь? Айда к моим родителям. Придумаем по дороге что-нибудь.

— Что? — сквозь слёзы спросила Нюрочка, обернувшись.

Он смотрел издали на её рваные синие сапоги, на широкое платье из тусклого сатина и колебался, соображая.

— Ну, давай, наплету им, что я на тебе женюсь! — насупившись, решил он. — Только Облома попрошу ранец мой забрать. И пойдём.

— Ты родителей тоже обманываешь? — спросила она.

— Почему? Я скажу: “У нас будет ребёнок”, — Иван почесал затылок. — Он же у нас будет!

* * *

...И вот у них есть Саня.

Младенец спит. И дышит тихо, тихо...

Наощупь, в темноте, Нюрочка проверяет, не сбилось ли его одеяло... Жаль, что Саня ещё не научился улыбаться ей: при свете он только жмурится и морщит лоб, как маленький старичок, и взгляд его пока неустойчив, потому что видит он два мира одновременно, об одном из которых ему придётся забыть совсем скоро... Но Саня спит, а Нюрочке сейчас не видно ни одного из миров. Даже в окне — черным-черно. Небо вынужденного греха висит над Столбцами — тяжёлое, непроглядное. Под ним растёт её сын. Скоро он научится улыбаться. Под небом вынужденного греха.

— Тихе, тихе... — в темноте шепчет Нюрочка над младенцем, покачивая коляску. — Ничего, ничего... Расти... Неправда, что нас больше нет... Скоро придёт твой папа. Он принесёт выручку... За нехороший товар... За очень, очень нехороший... И тогда мы будем дальше жить. Жить... Мы на свете есть, мы есть на свете... Только света вот нет. Никакого...

Уже забравшись под одеяло, Нюрочка то ли жалуется ребёнку, то ли утешает его со своей постели, в полудрёме.

— Мой дедушка, Саня, говорил, что в чужой жизни не живут, доживают, — шепчет она с закрытыми глазами. — А я ему верила... Что мы — живые мертвецы. Что нам ничего не положено. И ничего уже не надо... Но ты не думай так. Никогда. Нет... Расти!.. Когда, Саня, за тобой пойдут такие, как мы, ты скажешь: им — надо всё наше!.. И тебе поверят... Всегда верят люди тем, кто ищет добра своему народу и кто говорит во благо всего племени своего... Это благо не должно быть меньшим, чем благо других племён... Оно никогда уже не должно быть меньшим... Живи!.. Слышишь, как старик чиркает спичкой в коридоре и кашляет? Это сосед наш ходит, у него астма разыгралась на снег... Он тоже — живёт. Ему плохо, а он живёт... Скоро большой снег пойдёт, Саня. Большой снег... Всё чёрное станет белым. Только очень, очень холодным... Чистое — оно такое холодное, Саня! Просто невыносимо...

* * *

Тарасевна тоже слышит, как покашливает старик. Плохо соображая со сна, она пытается вскочить немедленно: отнести надо эфедрина ему, срочно, где-то у неё оставался початый флакон... Однако уже через мгновение она успокаивается и смотрит в темноту, как смотрят в ночное небо без звёзд. Нет у неё эфедрина давным-давно. Дочь-фельдшерица, красавица Галя, выкинула всё из аптечки в мусорное ведро, накрыла газетой и сказала:

— Пока эти внуки к старику ходят, чтобы никаких таких препаратов у тебя близко не было! Ни кофеиновых, ни кодеиновых. Ни снотворных... Поняла? А то будут эти стариковы ублюдки трясти тебя за грудки. Вверх дном они всё тут перевернут, наркоманы... Терпи! Без эфедрина... Заболеешь, у нас лечиться будешь, не здесь... Слышишь? Лучше терпи!..

Дочь оставила ей только от удушья какую-то пластмассовую пшикалку с горбатым хлипким носиком — и всё. Может, дать старику пшикалку?

Вроде затих... Всех кашлем перебудил, а сам вернулся к себе — и ведь уснёт в единый миг!

Недовольная всем белым светом, которого не разглядеть во тьме, укрылась от него Тарасевна одеялом с головой, подтянула острые колени к дряблему животу, изумилась: да что же у неё в ушах так гудит? Давление у Тарасевны, значит, поднялось. От лишнего беспокойства. И снаружи — тоже... Гул, гул... Надвигается издалёка...

Будто по всей холодной земле гул и стон идёт, и близится, и нарастает. И Полинин голосок всё звенит, не смолкая: “Терпеть буду... Терпеть...”

* * *

Но за стенами домов в тот миг неожиданно стихло всё. Опала злая позёмка. И тьма сдавила ветры.

Никто в Столбцах не видел происходящего. Сон, тёмный, как обморок, накрыл всех, от мала до велика. Он был теперь так глубок, что людям не снилось ничего. А наступившая тишина всё сгущалась. И она стала уже такой плотной, словно мир ещё не был сотворён, и не происходило ничего. Только вверху, над Столбцами, зарождалось совсем слабое, мутное, малое пятно, которое было чуть светлее тьмы. Оно заметно росло, ширилось и принимало багровый тревожный оттенок. Небесная же тьма вокруг пятна высветилась новым кругом, свинцово-серым, словно в вышине образовалась жадная воронка. Ночной город с невидимыми улицами и домами обмер в сплошной черноте, под сосущей небесной бездной...

И вот багровое пятно над городишком стало быстро сужаться, вбирая в себя свинцово-серый обод. Тихонько задрезбуждали уцелевшие стёкла в окнах. Как вдруг вся уличная крошечная тьма, закружившись, с воем и гулом устремилась ввысь. Сдавленные ветры, вырвавшись наружу, помчали по кругу колючий мелкий снег, пыль, щепки, сор, завинчивая всё в тугую спираль, устремившуюся в небесный багровый зрак. Ледяным ветром срывало с крыши листы шифера, грохочущей жести, хлопало их оземь, тащило, разбивая, переворачивая, вместе с обломками вывесок по разбитым дорогам.

Задрожали металлические остовы бывших цехов, загудели провалы брошенных многоэтажек. И полуразрушенные крупнопанельные корпуса, словно гигантские воздухопроводные трубы органа — с клапанами потолочных перекрытий, обвалившихся местами, с дырявыми крышами и сквозными колодцами лестничных пустых пролётов, — зазвучали басовито и широко. Звучание разрасталось в ночи. Городишко ревел в небо, свистал и выл, содрогааясь.

Зима овладевала городом. Она норовила снести махины тяжёлых голосящих домов и завертеть их по кругу, как спичечные коробки. И не было больше багрового зрака в вышине, лишь свинцовая серость тихо плавала над бурей, теряя свои очертания, пока и её не поглотила воющая, ревущая тьма. Только сухое электричество посверкивало мелкими холодными зимними молниями, коротко вспыхивающими в недостижимой высоте...

Их видел с порога котельной один лишь старый истопник Василий Анисимович, разбуженный только что шелестом золы и дробным стуком мелко-го шлака о стекло низкого кривого оконца. Придерживая ушанку на голове, укрываясь за дверцей, норовящей вырваться из рук, он поёживался от свистящего ледяного ветра:

— Стихия...

* * *

С трудом задвинул истопник щеколду в пазы. Он вернулся к себе в прокопчённую каморку, размышляя о том, что пора припрятывать понемногу съестное и спиртное для будущего; для главного лагерного беспрекословного праздника — для двадцать второго декабря.

Там, на давних, прошлых лесоповалах, вместе с тёмной свирепой зимою, изгоняющей позднюю осень в ночь великого перелома, наступало время повальных смертей — время самоубийств, травм и отчаяния; оно длилось, опаснейшее, до самого зимнего солнцеворота. И всё это время жизнь заключённых болталась на немислимо тонком волоске, раскачиваемом лютыми ветрами. Чёрная воронка ранней зимы втягивала в себя слабые человеческие жизни почти беспрепятственно.

— Стихия... Перелом в тёмную зиму... — поёживался Василий Анисимович. — Пора уходить в режим экономии сил...

А в самую длинную ночь, дождавшись двенадцати часов, они поднимают по рюмке спиртного и скажут по старой привычке: “Баста! Двадцать второе... Тёмная зима перешла в зиму светлую: конец хандре. День пошёл на прибыль, выжили! И, значит, год ещё протянем как-нибудь. А там видно будет...” И нальют они потихоньку ещё — из тайных своих запасов: “За то, что выжили!” Пожуют что-нибудь сухое, корябающее голые дёсна. И долго будут сидеть неподвижно — постигая, осмысливая, ощущая переход солнца на свет, на весну и жизнь... Вслушиваясь в происходящее в вышине, замирает бывший лагерный люд — перед тем, как помянуть всех новых погибших. А там — снова: “За то, что тьму одолели. И эту тьму, да...”

Охрана будет гулять в день рождения товарища Сталина, а изгои — арестанты, лагерная пыль — двадцать второго...

Здесь, на воле, это скрытный праздник одиночек — угрюмый, сокровенный, пожизненный. Они готовятся к нему так же задолго, как прежде: припрятывая всё необходимое потихоньку, постепенно, заранее, в тайне от близких, в тайне от прочих — не битых, не калеченных; от всех, кто не хаживал под конвоем, не спал на цементном голом полу карцеров и чья одежда никогда не впитывала запахов параши. В квартирах, бараках, домах и домишках, в лесах, в степях, в городах, в деревнях, по всему бывшему Союзу, от края и до края, без учёта новых границ — готовятся сейчас уцелевшие к тому, что будет происходить в декабре... С первых же дней тёмной зимы, съедающей световой день — съедающей свет в душе, съедающей надежду на жизнь.

— Пора, — бормочет истопник, прибирая со стола одинокую корку и бережно её укладывая в рундук под топчаном. — Вот так. Выживать начинём — тихо, прилежно... В самое опасное время вошли... Холода!

* * *

Но вовсе не буран гудит в ночи и сотрясает стёкла окон. То летит, раскатывается, разрывая солдатские глотки, многоголосое “ура” в бывшей немецкой казарме, похожей на ангар. И Бухмин кричит как будто вместе со всеми, однако не слышит себя нисколько... Таинственное существо — человек, думает он, орущий во всю мощь молодых лёгких: всё, что досталось ценной непомерных лишений и потерь, самое заветное и желанное, исполнившись вдруг, оказывается уже не способным оживить натруженное солдатское сердце обычной радостью...

И позже он не ощущал победы — под грохот орудийных салютных залпов на чужой земле. Сильнейший надрывный восторг — был, и смертельная телесная тупая усталость — тоже; она навалилась после объятий и тостов за чёрным прусским столом из морёного дуба...

И спешка была, и суматошная, возбуждённая отправка: домой... Но вот полетел в лицо ему, вместе с запахом пыли, полынный утренний ветер, знакомый с рождения, и это уже была — она: победа, окончательная, свершившаяся...

Прииртышье кидало под колёса дребезжащей полторки степную дорогу, бегущую меж белёсых пропашин солончака и весёлых зелёных пригорков, за которыми прятались по низинам кусты цветущего тамариска. Победа, выстукивали пальцы заветное слово по крыше кабины, сидел в которой за рулём сосредоточенный мальчишка в промасленной фуражке-восьмиклинке с кривым, надломленным козырьком. В него, мальчишку, никто уже не будет стрелять: победа...

* * *

Теперь всё, всё складывалось у Бухмина как надо и само собою. Молодой своей тётке, самой младшей сестре матери, он сумел дать телеграмму

с какого-то захолустного вокзала — и не отстать от поезда. И полуторка подоспела на утренний полустанок, словно по заказу: мальчишка из артели доставил городского ревизора прямо к вагону, из которого выскочил Бухмин. Старичок с бороною Калинина и с его же круглыми очками так боялся опоздать в центр, что выронил папку с отчётом. Бухмин и мальчишка ловили разлетающиеся по перрону листы, совали их старичку в протянутую из тамбура жёлтую цепкую руку, махали ему: “Счастливо!” И вот в лицо Бухмину летело, мчалось знакомое свежее небо.

Победа, ликовала душа его, устремлённая к старому бревенчатому дому на кирпичном фундаменте, к жёстким мальвам под окошками, к резному буфету, где хранились твёрдые фотографии бородатого отца и дородной матушки, прочатанные понизу замысловатым тиснением: “Семипалатинская губерния Российской империи”...

После революции, правда, губерния становилась и киргизской, и казахской. И родителей Бухмина давно уж не было в живых. Но осевший дом — с запахами старого дерева и мелких сухих яблок, со скрипом широких крашенных прогибающихся половиц, с дряблым тюлем на окнах — ждал его, и звал, и притягивал всеми сумрачными своими чуланами, закутками, спальными углами, зашторенными цветастыми занавесками. Особенно же — чердачным санным лежбищем за каменной трубою, где много книг было перечитано им в беззаботной сладостной тишине. Там скрывался подраставший поэт от крестьянской скучной работы — надоевшей, бесконечной: натаскать в баню воды, вычистить сарай от навоза, наточить бабы затупившиеся серпы, прогнать наглых коз из капустных грядок, починить забор, сложить дрова под навес.

И с этого же лежбища когда-то хорошо было видно Бухмину сквозь щель в крыше, как юная тётка его стоит за углом дома с женихом своим Павлом, тоже — Родиным, потому что фамилию эту носило полсела. Если бы тихонько присвистнул Бухмин сверху, то перепугал бы тётку до смерти. Вот бы отпрянула она от жениха, вот бы кинулась в дом со всех ног! Мыслимое ли дело — стоять хорошей девице с парнем на виду? Но не свистит Бухмин, хоть и очень хочется. Только наблюдает, как торопливо шепчутся они, поглядывая по сторонам, договариваясь встретиться в синих сумерках, как на прощанье касается он с осторожностью молодых волос её — тяжёлых, сияющих под солнцем свежо и шенично. Всё-то она просила присмотреть ей крупный гребень, потому как обычные гребёнки не удерживали литых, длинных кос её на затылке. И Павел обещал достать хоть из-под земли — необыкновенный, черепаховый. В семипалатинских магазинах, заваленных товарами, бывают такие, он знает. И она улыбалась ему благодарно — заранее.

* * *

Тарахтит полуторка, взбираясь на пригорок, чихает сизой гарью, дёргается. Но зато под гору мчится резво, набирая скорость... Вот уж видна Бухмину, летящему в ветер, стайка серебристых тополей, под одним из которых ударила его по лицу угрюмая девочка Марья... Отвергнутый тот поцелуй больно вспоминался ему, плачущему на чердаке, за каменной шершавой трубою, и не забывался никак. Внезапная горячая оплеуха горела на мальчишеской щеке, не угасая, до тех самых пор, пока не приноровился он рифмовать самые горькие слова со словами красивыми в одной толстой общей тетради. Она и сейчас, наверно, лежит за трубою, в укромном месте, заложенная на последней исписанной странице простым карандашом, искусанным с конца изрядно...

Унылый, грохочущий, грязный ад войны был пройден Бухминым из края в край — безропотно, обречённо, терпеливо, — чтобы вернуться на тот чердак обязательно и чтобы жить в своём доме вечно. А когда завершится земная мирная вечность, лечь в рыхлую, сухую землю, рядом с могилами милых родителей и двух старших братьев, незнакомых, умерших ещё младенцами давным-давно. И вот уж он, последний дорожный поворот, от которого —

только ложбину перейти да лужок. И торопливо колотит Бухмин кулаком по кабине:

— Стой! Вон, тётка меня встречает... Стой!..

И кричит он мальчишке-шофёру, перемахнув через деревянный борт кузова со своим вещмешком:

— Счастливо тебе, браток. Победили!

И слышит из-под сломанного козырька солидное, казачье, надменное:

— А то!

* * *

Белёсая земля толкнулась в подошвы солдатских его сапог: победа! Но отчего-то высунулась на миг из великого, расцветшего на крови, завоёванного слова — змеиная голова другого: беда... Недвижно стоит на обочине тётка Родина в длинном мужском пиджаке с закатанными руками, и не кидается ему на шею, а только глядит, словно спит с открытыми глазами, сжимая что-то тяжёлое в правом кармане.

Бухмин прижимает её, безучастную, к себе, целует наскоро в тёплую козырьку, отстраняется от исхудавшего, потемневшего лица её:

— Ну, как вы тут? Говори!

Озабоченно сводит тонкие брови тётка Родина, припоминает, припоминает что-то важное — и молчит.

— ...А Шарик-то у нас ведь с ума сошёл! — расстроившись вдруг, всплещивает она руками, и уходит к селу торопливо, по узкой тропе — через ложбину, и сокрушается на ходу, и качает головой: — Такой хороший пёс был! Такой умный!.. Теперь ненормальный.

Бухмин, закинув вещмешок за спину, едва поспекает за нею, обходящей мелкую весёлую лужицу с плавающим солнцем. И всё умиляет его: тёткина быстрая поступь, брезентовые её тапочки, ситцевая юбочка в мелких выгоревших цветах, знакомая, довоенная. Но особенно — пшеничная тяжёлая коса, выбившаяся из-под косынки. Болтается она, неприбранная, свешивается ниже пояса. А вместо ленты иль узорной тесьмы влетена в тёткины волосы грубая бечёвка, отрезанная от катушки шпагата и завязанная понизу на суровый узел. Но у него, Бухмина, лежит в вещмешке полукруглый гребень из самой поверженной страны Германии. Крепкий гребень, высокий, с вишневыми прозрачными переливами, с тремя тёмными тусклыми камушками в резных узорах; что твоя корона... Ещё немного, совсем немного — и выкинет серую верёвку из косы его милая тётка Родина. Поднимет она пшеничные тяжёлые волосы, заколет их чужеземным, завоёванным гребнем — станет императрица императрицей над всеми странами, освобождёнными Советской армией!

Скоро, улыбается Бухмин. Осталось через четверть часа порог дома перешагнуть. Победа, победа, это — она...

* * *

— Помнишь ты Шарика нашего? — не оборачивается тётка Родина, а сгибается то и дело на быстром ходу, выдёргивает, тащит из бурьяна сухой корявый прут и ещё один подбирает; для печки. — Как только забор мы зимой сожгли, разгородились перед всем светом, он, Шарик, всякую границу потерял! Без забора не понимает, сколько земли нужно охранять. Стал думать, что теперь всё село — наш двор. Носится с утра до ночи по большому кругу, лает, лает, того и гляди ноги протянет... От усердия так умаялся, глупый, так отошал — роздыху не знает! Охрип совсем Шарик. С ума сошёл. Нет, разве так можно — себя не жалеть? Всех охранять, кого ни попадя?!. Дети на речку ушли. Вернутся скоро. Ты их не узнаешь, подросли... А Павел погиб.

— Ты писала, под Курском, — идёт за нею, след в след, Бухмин. — Там наших много сгорело в танках. Тыщи ребят пропольхали, как свечки. Я знаю.

— Как свечки, — повторяет она голосом покорным, угасшим. — Наверно... А нам написали, что — пал. Не сгорел, значит. Павел.

Спешит тётка Родина, торопится. Бежит на горку в мужском просторном пиджаке, прижав тяжёлый карман правой рукою. А левой, пригибаясь, всё подбирает что-то — палку, сухую ветку, прут.

— На, и ты носи...

И снова вскрикивает сокрушённо:

— Убьют его! Шарика... Грозилась... Вон он бежит! Извёлся, дурак ненормальный. Стал скелет... Гляди: шерсть клоками висит. В репьях весь, и бока ввалились... Страшный, как чума карагайская... Мешает всем Шарик наш! Убьют, сказали.

— Кто сказал?

— Кто... Чеченцы!

И вот уж она, околица села. Но ничего не узнаёт вокруг Бухмин, поглаживая на ходу скулящего запаршивевшего пса, жмущегося к ноге:

— Привет, трудяга...

— Видишь, сакли у нас теперь, — сухой палкой показывает тётка на глинобитные странные строения, сооружённые наспех. — Сроду таких тут не бывало.

И Бухмин, с хворостом под мышкой, видит на улицах всё тех же плечистых горцев в каракулевых папахах, и прямых молодых женщин, и неприветливых старух, похожих на орлиц, и смуглых детей, играющих в ножички.

— Ты вот зря в военной форме приехал, — опасливо косится на Бухмина тётка Родина. — Не любят они военных. А ты ещё и с медалью. Какая у тебя?

— “За боевые заслуги”.

— Ну вот. Уже заметили они. Надо было — в гражданской одежде...

* * *

Помчался Шарик дальше, вокруг села, под свой хриплый, глухой добросовестный лай, похожий на кашель. И дом, родительский, просторный, словно сжался в размерах и не узнаёт уже Бухмина, бросившего к печке сухие прутья. И те же запахи в нём, те же половики, те же занавески. А души дома не осталось, что ли? Истаяла будто душа.

Тётка Родина вытащила нож из кармана.

— Садись! — сказала. — На венский стул. Один старинный, дедушкин, уцелел у нас... На, режь хлеб, Феденька. Дай, поцелую тебя в макушку.

Ткнувшись лицом в вихры Бухмина, тётка проговорила задумчиво:

— Живой... Маковка поездом пахнет, пылью, — и села напротив, подперев щёку ладонью. — Живой... Режь, режь.

— погоди!

Привычным движением, не вставая, достаёт Бухмин с полки брусок. Плеснув на него водички из чайника, прилежно и мерно чиркает краешком лезвия по сырому.

— Вот, две хотушки в доме были, ты и тётка Бухмина, — улыбается он мальчишеской своей поре. — А встречаешь — одна.

— Писала, что, как состарится, то помирать сюда приедет! Хотушка, — рассеянно отвечает тётка Родина, постукивая створками буфета. — Не хочет, чтобы её в Сахалин зарыли... Письма тебе поискать? Если надо — поищу... Она и сыну своему наказала, давно уж: “В Сахалине лежать не буду!” А я ей отписала: “Поживёшь ещё! Не старая...” Там у них рыбы морской много, она для здоровья полезная... И для здоровья, и для долголетия.

— Та тётка мне чужее была, — сказал Бухмин. — Она меня за вихор драла, бабища.

— Один раз — ничего! — посмеялась немного тётка Родина. — Вот не надо было её почерком записки Тимоньке горбтому писать: “Я тебя люблю, давай поженимся”... Она, может, с этого расстройтва к солдату своему на Сахалин уехала поскорей, от стыда. И выйти не успела, как разошлась... Из-за тебя всё, Феденька!

Но снова будто тенью накрывает тёткино лицо, просветлевшее только что.

— А шкерят они рыбу — это солят, что ли, на заводе у себя? — спрашивает она озабоченно, ставя на стол миску с двумя рыжими оладьями. — Или это — потрошат?.. Сытно, наверно, при рыбной-то работе жить, при пищевой, а? Федь? Всё уж отходы какие-нибудь им достаются! Жабры на ушицу, небось, каждый день!.. У нас тут Митя пескарей майкой наловил, в ямах, когда половодье спадало. Вкусно тоже нам было...

Но Бухмин ушёл, не дослушав, к рукомоинику под яблоней и наскоро помылся. Хорошо, что своя вода — не меняется. Не убывает, не старится, думал он, обсыхая на ветру. И земля...

* * *

За тарелкой кислой капусты, за банкой тушёнки, привезённой Бухминым, и за вином заморским слушал он потом тётку, не спрашивая ни о чём.

— Дети скоро придут. Митя с Гришенькой хорошо за девчонками смотрят. В рост их гонит обоих! А на чём — расти? Не на чём... Федя-маленький покрепче. Ну, у него кость широкая, отцова... А Пашу моего под Курском убили! — Не ест, всё смотрит тётка Родина на Бухмина распахнутыми сонными глазами, как сомнамбула. — В боях он пал. Смертью храбрых погиб. Вот нас отстоял зато.

— Знаю... Помянем!

— Ты пей, мне не надо. А то я плакать начну. Себя потом не соберу, — отворачивается тётка к окну, поправляя косынку. — Дрожать во мне всё начнёт.

— За Павла же!.. Не водку я привёз, а для тебя: сладкого. Компот, считай. Не выпивка.

— Ну, если за Павла, — послушно кивает тётка, поднимая рюмку с осторожностью. — Комбайн его вон там стоит, на тракторном дворе, под небом. Отсюда, из окошка, видать... Без дела заржавел, негодный, наверно... Ладно. Царствие небесное Паше.

И утирается она ладонью долго, крепко:

— Нас отстоял зато... Не спьянеть бы... Как свечки, они, говоришь, горели?

— Как свечки.

— А наш — пал. В танковом бою. На поле, в сражении... Ну, всё равно, в раю они — вместе. Кто пал, кто сторел. Воины... А помнишь? Боялся он, что замуж без него выйду? Учиться из-за этого не поехал в город, медалист золотой! Вот бросил бы меня тогда, был бы юристом. Лучше для него было бы!.. Дела бы военные перелистывал. До самой победы... Видишь, как получилось?

* * *

Из горы привезённого развесного шоколада выбирает тётка Родина квадрат — прищурившись, ищет самый обломанный, не целый.

— Сладкий какой! — жмурится она. — Горький какой!.. Ты пей, мне хватит. За себя. За победу. Что нас отстояли... Ну, вот. А я одна, с пятерыми сиротами на руках осталась, Федя. С сиротами я на руках, милый ты мой... То кур держала и петуха, чтобы детям по яичку сварить, подкормить, раз хлеба на всех нету. И получалось у меня, худо ли, бедно. Так чеченцы всех кур у нас перетаскали! Сразу, как приехали!.. Перерезали, съели всех наших кур, — уронив руки на колени, заплакала тётка. — Детям ничего-

шеньки не оставили... Всё тащут. Бельё теперь дома сушим. Щёлоком стираю, мыльца нету. Золу запариваю... Забор мы ещё во вторую зиму сожгли. И без единого полена, Федя, мы эту зиму зимовали! Украли они у нас все наши дрова, перед самым снегом, пока Шарик, дурак, по кругу носился...

Утирается кухонным полотенцем тётка Родина, плачет навзрыд — и опять утирается докрасна:

— Ох, говорила: нельзя мне вина, ни капли. Нервы слабые стали... Зря только надрывалась, от Иртыша самого топляк с детьми волоком тащили, а он сырой, тяжеленный... Распиливали с детьми, всем гуртом. И вот... Чудом не перемерзли мы, Федя!.. Огород не сажали нынче: без толку. Сопрут. Семена вон в мешочке без дела пролежали... И какая только сволочь их к нам выслала, на погибель нашу? Вот в глаза бы я этой сволочи плюнула!

Бухмину молчать уже было не с руки.

— Мне в глаза плюнь, — сказал он. — Я их высылал.

* * *

Зажав рот, простонала тётка Родина совсем тихо. Потом раскачивалась на табурете из стороны в сторону, словно у неё болели зубы.

— Зарежут ведь они тебя, Федя, — сказала она, глядя на него сухими глазами. — Как только узнают... Что ты их выселял... И нас из-за тебя... Вырежут всех. Вот как кур наших, так же.

— Пускай попробуют.

— Они — попробуют... Ты ешь, ешь с дороги. Оладушки с лебедой, а хорошие. У меня горстка белой мучицы была! Ждала я... С работы меня Славик нынче отпустил. Привет наказывал передать. Горячий.

— Зайдёт?

— Нет, — зевнула вдруг тётка от какой-то внутренней невыносимой тоски. — Протезом ногу до струньев стёр. По полям набегался опять, на деревяшке наскочился, лежит, поправляется. А деревяшку его Марья за поленицу спрятала. В дрова... Устала Марья с этой его деревянной ногой по двору бегать. В бурьян приткнёт, за бочку засунет, а он — костыли под мышки, прыг-скок — и всё равно отыщет. Ну, поленицу-то перебирать он не станет: не догадается... Не придёт! Сказал только, чтоб ты...

Но, вскочив, изменилась тётка в лице. Кинулась к жестяным часам, висящим на белёной стене, опрокинув свою табуретку:

— Гляди-ка, остановились.

Перетягивает она торопливым паромным движением металлическую скрипучую цепочку, поднимает гирию часов повыше, повыше.

— Думала, приедешь — и заживём, а ты... Совсем одна, значит, я теперь осталась, — бормочет тётка Родина, подталкивая висящий маятник.

Ставит она табурет на место со стуком, будто желая вбить его в пол, срывает с себя косынку.

— ...А Шарик — дурак! Всех охраняет, без разбора! — кричит тётка Родина. — Своих, чужих!.. А у самого на один двор, на собственный, и то сил давно никаких нету: так он измучился весь... И вот, двор наш охранять некому! И двора уже давно нет никакого, Федя! А он всё носится день-деньской, всех, всех сторожит! И его же за это убьют. Чтобы лаять не смел... Без охраны, одна я, с детишками, Федя... А Шарик — дурак!!!

* * *

Рассердившись окончательно, садится тётка к столу и с расстройства из крошечной своей рюмки отпивает вино, как уксус.

— Крепкое какое, — вздрагивает, морщится, поёживается тётка, будто от мороза. — В горле даже горячо!

— Нет. Шарик — не дурак у нас, — качает головой Бухмин, глядит во тьму вина — красно оно, заморское, да уж больно черно — и не пьёт больше. — Он долг свой знает... Дурак — кто долга не понимает... И ты — не

одна. Вы под моей защитой теперь... Кто там у них главный? Веди, показывай. Разбираться будем.

Накидывает тётка Родина косынку на голову, суетливо завязывает концы под подбородком и словно обмирает, уцепившись за край стола накрепко.

— Веди! — торопит Бухмин её, перепуганную.

— ...Что ты! Никуда я не пойду, — приходит в себя тётка. — И тебе нельзя одному... Все тут у них главные. Один главней другого... А сколько их, ты видал? Полным-полно. И они, Федя, войной не увеченные, на фронте не калеченные. Нельзя тебе к ним. Одному!.. Не пушу.

— Дрова вернуть они тебе обещали?

— Какое там! — в сердцах машет на него рукою тётка. — Ничего они не вернут... Мы — русские, Федя! Значит, перед ними во всём виноватые. Перед всеми виноватые мы одни, всю жизнь... Судьба наша такая — терпеть. Молчком — и больше ни-че-го. Ничего нам не полагается, Федя! Кроме этого.

— Ну! Ладно, натерпелись. Довольно!.. С мужиками завтра соберёмся, посчитаемся, кто кому чего задолжал.

— С какими мужиками? Про что ты? — шарит тётка пальцами по столу, торопливо сгребает шоколадные мельчайшие крошки в горку, не глядя. — С кем?! С Панькой? С Витькой? С Петром Ивановичем, что ли? Полегли они все!.. наших-то война выкосила! Только Славик без ноги вернулся... Федя, родной мой! Уезжай ты из села куда-нибудь подальше. Уезжай от греха! И побыстрей. Пожалей нас, Федя.

— Погоди! А начальство что же?

— Районное само их до смерти боится. Не связывается оно с ними. А здесь кто — начальство? Славик одноногий... Правда, ещё русские тут появились, из Астраханской области высланные. Многодетные. Семей пять... Бедные! До невозможности... Истинно православными себя называют и овцами. В трёх больших землянках, на том конце, совсем они тихо живут! Мужики бородатые у них, бабы в юбках до пят, и голодают они страшно, Федя, не получают почти ничего. То из-под снега корни выкапывали, а теперь травой пареной питаются, а — не ропщут: нельзя им. Терпеливые... Ох! Работают, работают без устали, что старьей, что малый. Ломаются, себя не жалеют, от зари до зари. Со мной, в одной артели. А сами — бесшесные. Держатся наособицу. И знать ничего не хотят. Не разговаривают они ни с кем... Для них — что чеченцы, что мы — не чистые... А какие мы не чистые, если даже икон из угла никогда не снимали, а только шторкой их задёргивали?..

(Окончание следует)

ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА



ДВЕ ПРАВДЫ УЖИВАЮТСЯ НА СВЕТЕ...

ТРИ ВЗГЛЯДА

Когда сожмёт усталостью виски,
И долгий день мои надломит плечи,
Я отпущу всё лишнее с руки
И окунусь в семейный, добрый вечер.
Лишь он наступит, и, восславив дом,
Три пары глаз созвездием вечерним
Взойдут и засияют над столом,
Три взгляда — мужа, сына и дочерний...

СТАРЫЙ МОТИВ

Летние ночи, цветные, нескучные,
Ясные летние дни,
Скоро вас сменят дожди равнодушные,
Уж на пороге они.

ФИЛАТОВА Людмила Николаевна живёт и работает в Калуге. С 1994 г. — член Союза писателей России. Подборки её стихотворений публиковались в антологии русской женской поэзии “Вечерний альбом” издательства “Современник”, сборнике “Современная русская лирика” издательства “Советская Россия”, в “Антологии русского лиризма XX века”, в журналах “Истоки”, “Мир Паустовского” и др. Она автор десятка поэтических книг. Пишет пьесы и прозу.

Вот уж стучатся холодными пальцами
И до души достают,
Словно над лёгкими звонкими пяльцами
Серые иглы снуют.
Летние ночи короткие, пряные,
Знойные летние дни,
Будьте смелее дождей и упрямее!
Что вам они?
Пусть пострекочет ещё, поаукает,
Пошелестит, попоёт...
Август пред горькою зимнею скукою
Сладок, как сотовый мёд.

ЛЕНЬ

“Не позволяй душе лениться”?
А я позволю, так и быть.
Пускай плутовка отоспится,
Она ещё покажет прыть,
Ещё взовьётся голубицей
И грянет оземь в судный час!
“Не позволяй душе лениться!”
О, как суров сей трубный глас.
“Не позволяй”?! А я позволю!
Лень, что заслуженна, — сладка.
Легко скользит по белу полю
С пером бесплотная рука,
Легко дышать без принужденья,
Легко бежать без пут и риз!
И на крылах стихотворенья
Парить... И камнем падать вниз.

ГЕОРГИН

Мне было пять как будто в том году,
Когда со мной случилась эта шалость...
Влюбившись в георгин в чужом саду,
Его сорвать я долго не решалась...
Я на него глядела не дыша
Через проём некрашенных штакетин.
И открывалась для любви душа.
Для самой первой из её отметин.
Я, засыпая, думала о нём,
И он мне снился, стройный и прекрасный,
И полыхал отчаянным огнём
Его атласный венчик буро-красный!
Я обмирала в страхе — как он там? —
Когда в окно ломился ливень спорый.
И мчалась через клумбы по цветам
К заветному соседскому забору.
Но всякому терпенью есть свой срок...
И я меж планок руку протянула.
И вздрогнул тонкий влажный стебелёк!
А может, стылой заметью пахнуло?
Но он напрягся, в страхе замерев...
Я вижу, милый, вижу и доныне,
Как гордый, пышный венчик, отлетев,
Лежал ничком на жёлтой вязкой глине.

Пошёл мне впрок, как видно, тот урок.
Неправда, что с любовью нету сладу!
Ты для меня — желаннейший цветок,
Но за чужой, высокою оградой.

* * *

Хранятся и в беспечном красном лете
Осенние приметы про запас...
Две правды уживаются на свете:
Та, что за нас, и та, что против нас.
Но та, что против нас — зовём мы ложью,
Пока однажды просветленья час,
Вдруг шаткий мир перевернув к безбожью,
Не убедит в пути обратном нас.

* * *

Предел наступает — и капля срывается,
Своё грушевидное тело роняя.
Предел наступает, и сердце касается
Запретного бога, запретного рая.
Всему есть предел —
И отваге, и страху.
Предел отсекает с единого маху
Двуострое жало любовной тоске.
Лишь мысль,
что мгновенно вскипает в виске,
Ему не подвластна, когда б и хотела.
Она — упоенье... И нет ей предела.

* * *

Когда пронзают зеркало воды
Кувшинок маковки... И женщина нагая,
Свои одежды бережно слагая,
Сама своей боится наготы —
Гляжу и всюю кожей ощущаю:
Опасность бродит подле красоты.
Меж благом и грехом нет чёткой грани,
А если есть, то это — страсть сама.
Что нас стрелой добра и зла тиранит:
И свет, и жизнь — она!
Она же — смерть и тьма!

* * *

С берёз осыпались стрекозы золотые.
Увяли травы. Тёмная вода
Течёт лениво, словно в никуда,
К зиме закончив хлопоты простые,
И лишь осока гладь реки сечёт,
Бесцветные прочёсывая пряди...
Так мысль в мозгу у спящего течёт,
Сама не зная, чего ради.

* * *

Голубая деревня подлунная
Запечатана белым крестом.
Никого. Лишь позёмка безумная
Мчит по насту в разгуле пустом.
Стукнет в дверь —
 разве что-то послышится?
Да и кто здесь ночлег посулит?
Тишина. Только облако движется...
Тишина. Только сердце болит.
И всё видится, чудится, кажется,
Что и здесь, где лишь тлен да луна,
Всё ещё чья-то воля куражится,
И за гробом не ведая сна.

ГОЛУБКА

М. Цветаевой

Приходила белая голубка
Или чья-то близкая душа,
Опереньем, будто нижней юбкой,
По карнизу ржавому шурша.
Всё крутила шёлковой головкой,
Всё глядела маленьким глазком...
Было мне тревожно и неловко,
Словно позабыла я о ком.
О любимой, да несбережённой,
О чужой, да всех родных родней!
И следила я заворожённо
За голубкой белою моей,
Как ей перья ветром раздувает,
Как сечёт дождём её крыла...
А она всё ждёт, не улетает...
Будто за собой меня звала.

ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ

Поникли золотые балерины
Цветов моих под ливнем проливным.
Лишь вздрагивают зябко стебли-спины,
Когда вода, струясь, бежит по ним...
И высунувшись из-за двери, кошка,
Загривок вздыбив, пятится назад
И отрясает с белой ватной ножки
Одним движеньем весь осенний сад.

* * *

Устала лежать дорога.
И вот она поднялась
И стала дорогой к Богу.
А значит — она сбылась!

И я бы за ней восстала!
Да волосы в травы вплелись,
Да очи земные устало
В два озера разлились.

* * *

Не слушай, милый, что я говорю...
Подчас найдут, нахлынут злые силы!
Их немочью недоброй я горю,
Когда тебя я обижаю, милый.
А то накатит благодать такая,
Как будто я в раю иль во хмелю.
И этой благодати потакая,
Тебя я, виноватого, хвалю.
Как лёд после дождя,
Как ливень после вьюги
Пытают на разрыв беспечную траву,
Так я тебя в своём последнем круге
За то пытаю, что тобой живу.

СУМЕРКИ

Не всё ж порхать
 то в розовом, то в сурике.
У всех у нас порой бывают дни,
Когда душа сама назовет сумерки
И плачет, неприкаянная, в них.
И так легко,
 так праведно ей плачется,
Так всех пришедших и ушедших жаль,
Как будто радости
 повыметены начисто,
И всё и вся — единая Печаль.
Но только вдруг
 окликнут залпы дальние
Забот и дел — а их у нас — не счесть,
И поднимаем мы глаза печальные
К тому, что есть.

* * *

Что-то есть в небесах,
Что-то есть!
Что зовёт, да к себе не пускает.
То, что мной, как рабой, помыкает,
Но велит гордо голову несть.

РОЖДЕСТВО

Стеклянные леса...
 Стеклянные метели...
Стеклянный перезвон по всей Руси...
Как хочется, чтоб окна запотели,
Душа согрелась, Господи спаси.
Как хочется свечи,
 чтоб озаряла
Лишь круг друзей.
 А дальше — ничего.
Душа не хочет большего. Устала
От вечного исканья своего.

Ей млеть и плыть,
 прислушиваясь к тонам
Знакомых голосов, знакомого тепла.
Не трогайте ее. Душа сегодня дома,
Где, может быть, с рожденья не была.
Стеклянные леса...
 Стеклянные метели...
Стеклянный перезвон по всей Руси...
Ну, вот уже и окна запотели.
Согрелись души, Господи спаси.

ЧЕРНЫЙ БАНТ

Чёрный бант,
 ты по ком панихиду справляешь?
Студят ветры октябрьские сердце земли.
Не последних ли ты
 под крыло собираешь,
Тех, кому ещё совесть держаться велит?
Сколько ты проводил,
 нашептал о свободе,
Чёрный бант на петлицах и древках знамён?
Вот они, те, кто верили, тихо уходят,
Унося нашу славу, как сон.
Славу наших высот,
 славу наших бесславий,
Суесловье в холодном поту.
Чёрный бант.
 Да хрустящий под тяжестью гравий,
Да шаги,
 да шаги в пустоту...

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



ДВОРНИК

СКАЗ О ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ПИСАТЕЛЕ

Всплыло солнце над байкальским хребтом, над сумеречным чернолесьем, домовито, с хозяйским прищуром оглядело землю: серебристо играет чешуйчатая рябь на ангарской стремнине, тает густо-зелёная, лешачья тень под высоким становым берегом, теплеет рыжий суглинистый яр, издырявленный норами, откуда выпархивают, заполошно снуют по-над самой рекой стрижи и, ухватив мошку либо зоревое комара, ныряют в дуплица, кормят прожорливых чад; просыпается скошенный луг на яру с гладко очёсанным зародом сена, оживает прибрежная деревня-малодворка с вековечными седыми избами, матёрными амбарами, “чёрными” банями, ладными завознями, сеновалами, людскими и скотными дворами.

Взошло красно солнышко из таёжного хребта и обмерло, словно румяная со сна, щекастая молодуха, провожая в поле бурёнку, вдруг сомлела у поскотинных ворот, блаженно и бездумно отпахнув глаза, омытые ключевой водой до небесной синевы: Божушко ты мой милостивый, экое райское диво разлилось по утренней земле.

Вот и Краснобаев Иван, молодой заправский дворник, на пару со светилком ласково озирает чисто прометённую... вылизанную усадьбу в музейной деревне-малодворке Тальцы, потом прячет метлу под высокое крыльцо, чтоб

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич родился в забайкальском селе Сосново-Озёрск. После окончания Иркутского университета работал в областных газетах, преподавал русскую литературу в школах. С начала 90-х годов — преподаватель стилистики и русской этики на филологическом факультете Иркутского госуниверситета. Автор книг “Старый покос” (повесть), “Поздний сын” (повесть), “Боже мой...” (роман), “Яко богию землю нареки” (фольклорно-этнографические, историко-публицистические и художественные очерки), “Русский месяцеслов” (обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

не искушала проказников, — дальше положишь, ближе возьмёшь, и, чуя в душе лад, в мышцах отрадную усталость, смущённо улыбается — блазнится дворнику: жена богоданная, синеокая, с русской косой на млечном плече, выглядывает из зорво пылающих окошек, любуясь Иваном. Не шибко и красовитый, не франтишко завитый — пучеглазый и носатый, большеголовый и осадистый, вроде в корень ушёл, но работающий, домовитый, двужилый, не мужик, ярёмный бык, на коих бабы в войну целик драли, пашню пахали. Не присядет, сердечный, от темна до темна пашет в поте лица, чтобы ей доля да холя, чтоб и чадушки-оладушки зрели, спели, наливались силушкой, набирались ума-разума. Чуя спиной ласковый погляд, степенно, вразвалку шагает Иван к свежерубленным баракам, что желтеют на угоре, за картошечным клином, буйно истекающим белым, сиреневым цветом, за ручьём, что утробно журчит в лохматой кочкаре и густой осоке. В янтарно-смолистом бараке Иванова тенистая дворницкая камора, утаённая черёмушным и боярковым плетевом... отраднo жить в глухой и прохладной тени, когда на воле — белый зной, плавающий душу и память. В каморе той, сменив метлу на гусиное перо, куда впишал чёрный стержень, в горьких и сладостных муках денно и ночью плетёт Иван сказы и бывальщины, а то и на простушку-повестушку замахнётся, а как испишет мелким бисером светло-серые четвертушки, — отступит испанное на машинке.

Выйдя за деревенскую околицу, Иван замирает...вроде зов нежно колыхнул ухо... снова оглядывает музейные подворья, похожие на ряженных мужиков и баб, и снова плетёт им песнь, заздравную и заупокойную, словно взаправдашней деревушке-вековушке, которую Иван запечатлел на своей гремучей и скрипучей ветхозаветной машинке. И будет такой зачин...

“Не ветшая в насмешку над мертвотушным и душным, бетонно-стылым жильём, столетние избы мудро и покойно, с погостовой отрешённостью от жизни, красуются на ангарском яру, вросши в берег закаменевшими листовничными корнями, словно и не рубили их мужики русские, а избы взросли из земной тверди и заматерели, как взрастают и матереют кряжистые лиственники, солнеликие сосны, подпирающие небесный купол.

Подле русской сибирской избы явственно чуешь сухой, белёсый, протяжный и распевный лад крестьянских будней: вот заголотил бывалый петух, ревниво подхватился молодой, задорный, и разбуженный певнями зоревый свет с виноватой поспешностью стирает с морщинистых венцов ночную хмурь, увеселяет сруб золотистым теплом; вот в стайке глухо взмыкнула корова, ей подтянула соседская, потом вдоль улицы поплыла рассветная песнь пастушеского рожка; а вот щекастая, розовая со сна, дородная молодуха опустила по лесенке из сеновала и, смущённо оправляя сарафан и выбирая из волос приставшие сухие былки, счастливо улыбается, вспоминая чаровные сны, любитесь утренней синевой, потом, схватив вёдра и коромысло, раскачисто плывёт к реке, над которой стелется молочный туман; а вот, напоивши коня, вздымается с яра крутоплечий мужик, при виде молодухи замирает в седле, но не зарясь греховно на бабье обилие, но дивясь чадородной мощи, что сродни хлебородной матушке-земле. И, осенив себя крестным знаменем, воскликнет мужик: “Господи, Иисусе Христе, столь благолепны и обильны земля Твоя и людя Твоя... И жить бы нам в ладу и любви, и славить Тебя денно и ночью...”

— Не-е, паря, рассказ не выйдет, разве что очерк о малодворке... — говорит Иван писателю, что поселился в душе и разуме.

Давненько, с той поры как искутился сказительством, с головою утопая в воображённом мире, облекая мир в словеса, Иван беседует вслух сам с собой, да к тому же вдругорядь толкует сразу и за себя, и за героя либо уж за собрата по несчастному ремеслу, согласного и супротивного. Случается, забормочет, затокует на людях, сам того не замечая, потом спохватится, оглядится виновато, узрит, что люди удивлённо и сострадательно косятся на него, благо, не крутят пальцем у виска: дескать, не все дома у паренька, к соседям ушли и загостились. Вот и ныне поразмыслил вслух:

— Доведу очерк до ума... какой уж есть умишко, доведу до русского духа... какой уж есть, и запечатаю в слове... какое уж Бог дал, а там, глядишь, и — очерковая книжка, и можно в Иркутске счастье пытаться, а можно и в столице, чем леший не шутит...

Облачая словесами сказ, витающий в распалённом воображении, бредёт Иван мимо бревенчатой церквушки — привезли с Илимского села да неверно собрали — алтарём к солносяду, а перебрать руки не доходят. Вот про церковь из родового села Укыр, как её боголюбцы созидали, а хриstopродавцы сокрушали, и вызревает, наливаясь зерном словесным, то ли боль, то ли былль...

“В уездном селе Укыр, как поминала бабка Маланья и мать, потом, уже созрев, воображал Иван в редкие часы душевного предрассветья, — жаром горели в закатном солнышке купола и маковки белокаменной церкви во Имя Спаса, самой благолепной на сотни вёрст по старомосковскому тракту, пробитому сквозь тайгу и степи от Верхнеудинска до Читы. Церковь призрачно мерцала перед задумчиво-осветлёнными, обмершими глазами Ивана, ласково слепленная из синеватого вечернего марева, в изножье своём бережно укутанная миражным выдохом сморённой за день земли, отходящей к летнему сну; оживала церковь, в кружевном убранстве похожая на раскидистую берёзу в серебристо-синей изморози, с крестами, облитыми багрецовым зоревым светом. Зрел Иван сие и слышал, будто из поднебесья, как негасимо плыл над озером, над берёзовыми гривами, над приболоченными полями и таёжным хребтом протяжный, с переливами, влекущий, синеватый колокольный звон.

И виделось Ивану горделиво и завидливо, как мужики-мастеровые с постом и молитвой, с русским великотерпением, в Божием озарении лепили её по кирпичу, яко ласточки гнездовье; и вдруг стылой змеей вползло в душу сомнение в духе своём и праве возводить храм Божий, и обессиленно висли руки плетью; но, помолясь, перекрестясь, плюнув через левое плечо в харю ляда нечистого, зрели мужички омытым и ожившим оком церкву во всей её лебязьей белизне и тонкости, во всех её по-русски щедрых, теплых и певучих кружевах; зрели мужички в православном озарении грядущую лепоту и поспешали обратить видение в явь, чтобы из рода в род тешила церква и очищала зрак человеческий — око души, и чтобы грела Русь забайкальскую любовь к Отцу Небесному и брату земному, чтоб не выжглась палящими морозными ветрами надежда на спасение и покой, вечный и блаженный.

Строили церковь в уездном селе Укыр не один год, порушили в считанные дни, — ломать не строить; и негде было отвести душу от тоски и теми, на любовь изладить и земное терпение, потому что вместе с уездной разорили церкву и в волостном селе Погромна и в Сосново-Озерске; благо, что хоть иконы выжили по избам, и это оберегало от последней предсмертной кручины”.

— Роман бы напахать, — вздохнул Иван, припомнив описание церквей, уездной и волостной, — и туда про церковь... Хотя... — Иван болезненно сморщился, — хотя... как это описание в роман вставишь?! — шибко уж откровенно, в лоб, газетой припахивает... Да и веры мало... в Царствие Небесное — на земле жить охота... Может, переписать?.. Ну, посмотрим...

Говорит Иван тихо, сам с собою, вздымается от ручья тропой, едва пробитой среди колосящейся травяной кудели; поминает с улыбкой: давнишнее лето, когда гостила в Тальцах малая дочь Дарья, ещё не вставшая на ноги... Ивана вдруг выдернули на усадьбы, и пришлось Дарью с собой волочить; вначале нёс на горбушке, а потом решил пустить на вольный выпас. И вот ползла дева по тропе вслед за ним; и то ли Иван счастливо заплутал в озарённых думах, то ли заблудился сам с собой, то ли залюбовался летней благодатью, но вдруг обернулся назад и не высмотрел Дарью на тропе. Испуганно метнулся назад, — пусто, огляделся вокруг и лишь по раскачиванию луговой овсяницы смекнул, где Дарья пасётся и как далеко от тропы учесала,

хотя и ползком. Догнал, сволок на тропу и порадовался: слава Те Господи, мать не видала, а то бы вся изворчалась: “Вот и доверь ему дочь?! Ребёнок в крапиву залезет, а он и ухом не поведёт, глазом не сморгнёт. Писа-атель...”

Вспомнилось с умилённой улыбкой: на закате вдруг спохватился, что завтра день рождения у Дарьи, а подарка не припас, запоматовал, а теперь и некогда, да и не на что. И тогда присел Иван у горящего камелька, призадумался, пригорюнился, глядя, как синеватые, зеленоватые багровые листья огня колышутся над жаркими углями; и отроческим сном привиделась лесная сказка...

“Дивная вышла сказка: в тайгу наладился дед Савраска. Землянику собирать, кости древние размять. Глянул в окошко: у калитки лукошко. Может, ребячёшки подкинули кошку?.. Узнать охота, вот и выбежал дед за ворота. Дивится: чтой-то в лукошке том шевелится?.. Размотал дед пелёнки, а там — девчонки-дарёнки. Обрадел дед Савраска да бабке Малахайке сказал: дескать, Боженька детишков послал...”

Вставил Иван в машинку тонкие берестяные листы, отпечатал сказку и, добела прокаливая на печных углях шило, пустил по бересте травяные кружева, а потом, пробив гильзой дыры, сшил листы берестяной тесьмой. Когда посинели сумеречные окошки и в боярышнике заголосили зоревые птицы, красовалась на письменном столе лесная сказка. Припомнил Иван сказочную ночь, грустно улыбнулся: голь на выдумки хитра.

Ныне проходит мимо сухостойной сосны; пёстренький дятел со всей птичьей моченки долбит сушину — аж труха летит. Глядя на дятла, трудягу-работягу, Иван озаряется:

— Так вот на кого я похож, на дятла... Тоже долбно... денно и ночью стучу, стучу. Прокорм добываю. А прокорм... — Иван усмехнулся горько. — В год по копейке, станешь богатейкой... Как он, бедный, живёт? — пожалел Иван дятла. — Семейный ли, холостой, бобыль? Баба-то есть? А то, по-ди, некому и приласкать, трудягу...

Войдя в тенистую дворницкую камору, Иван блаженно оглядывает жили: матёрый двухтумбовый стол со столешней, обитой зелёным сукном в линялых чернильных пятнах; брусовые венцы с рыжими куделями мха, Боженька в красном углу, подле — Царица Небесная со святыми. Для красы... А по стенам — коренья... Лешачьи и русальи, сказочно сплетённые, добела выгоревшие на солнце, гладко вылизанные прибойной волной, коренья обратили жилище в таёжную зимовьюшку колдуна-судевера. Пёстро и сумрачно в древесном плетеве, словно ползучие гады затаились на венцах, готовые однажды оплести хозяина и удушить; надо бы содрать и спалить, но рука не подымается — вроде красиво.

Возжигает в печи берестяные кудри и, подкидывая мелких дровишек, зачарованно глядит в огонь, — покой в душе от одиночества. В бодрищем предчувствии свежего чая наливает в чайник ангарской водицы, звенящей и прозрачной, как слеза, и, лишь белые пузырьки оживают в закипающей воде, заваривает крепкий чай с мятой и смородинным листом. Прихлёбывая чай за ветхим письменным столом, глядит в заросли черёмухи и боярки ...в густой листве пёстро и залиvisto поют Божьи птицы... думает: Господи милостивый, так мало нужно простому человеку для счастья: испить душистого чая, и душа уже подрагивает в азартном нетерпении — сочинять охота. Поётся на ангарской пабереге, где и воля, и холя, и доля; дома, в каменной клетке, среди пёстрога грая, молчит омертвелая душа.

Снова привиделось сенокосное детство, Иван перекрестил печатную машинку и тронулся с Богом... Стучит Иван на разбитой машинке, долбит, словно неугомонный дятел сухостоину, из железной кружки дует чай, густой и вязкий, как смола, чадит крепким табаком, но взгляд нечаянно сблудил к распахнутому окошку, и писатель всмотрелся сквозь куст боярки ... “толком не видать, вечером прорежу куст”... и углядел ромашковый луг у соседнего, свежесрубленного барака и музейную деву Арину Родионову с грудным чадом на руках. Чадушко — в чём мать родила — сучит пухлыми ножонками,

машет ручонками, а молодуха, щедро созревшая, густо загоревшая, отчего белый купальник кажется снежным, тискает малого и плывёт по тропе к скошенной полянке, где раскинуто пикейное покрывало и согрелась шайка с водой. Молодуха с тарбарным говорком окунула малого в шайку — парнишонка радостно загулил, намылила — заревел телком, окатила тёплой водицей из кувшина, приговаривая “с гоголя вода, с Пети худоба” — и мальёк опять залепетал. Укутав парнишонку махровым полотенцем, молодая опустилась на цветастое покрывало, выпростала грудь, и мальёк жадно приник к сосцу, а как отвалился бутуз, тут и дрёма одолела. Раскачивает мать парнишонку на руках, словно в берестяной зыбке, подвешенной к потолочной матице, и напевает:

*Ой вы, котики-коты,
Наняситя дрямоты.
Спитя, мои деточки,
Мои малы веточки...*

Любовался Иван молодухой, завидовал белой завистью её мужику, подставить жёнке добротному, крутоплечему музейному плотнику Петру, и тоскиво косился на исписанные листы, на печатную машинку. “Э-эх, так и живая жизнь загинет в сочинённой, воображённой... Мне бы, деревенскому увальню, землю пахать, жито сеять, избы рубить да с деревенской бабонькой ребящёшек плодить — два на году, один на Покрову... Вот она взаправдашняя жизнь, вот она красота, вот он рай земной... Но не судьба. Видно, жить мне в добре да в красне лишь во сне...”

Пришла Аринина свекровка, дородная хохлуша, и унесла малого в барак, а молодая пристально огляделась вокруг ...Иван испуганно и стыдливо отпрянул в сумерки дворницкой каморы... подумала, подумала Арина, да и, скинув купальник, похожий на сбрую из белой сыроти, растелешилась на цветастом покрывале, в сладостной зевоте изогнулась смуглым телом, подставляя наготу усердно палящему солнцу. Ошалел Иван от эдакой красы, а когда очнулся, в диве качнул головой: “Вот баба, а!.. троих принесла, и никакого ущерба — дева девой, хоть завтра под венец...” Что греха таить, загляделся Иван на молодуху, на то и зарные мужичьи глаза... С крутым матерком, зубовным скрежетом плонув на себя, блудливого kota, резко задрнул шторы, вкрутил в машинку свежий лист, бездумно вперился в бумажную четвертушку, бисерно исписанную карандашом, а в голове жаркая пустота, в глазах дева маячит. Запел было громогласно: “Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, поми-илуй на-ас...”, потом “Царя Небесного” прочёл, но и молитва нынче не спасла; долго терпел, да не выдержал, устроил щель в шторах, вгляделся, но от молодухи осталось лишь томительное видение.

Послышался тревожный стук в дверь, явилась Екатерина Романовна, музейная начальница, белокурая, холеная ...у ней мужик — большая шишка... со вздохом покосилась на печь в причудливых облаках копоти, оглядела казённое жильё, сплошь увешанное черёмушными и тальниковыми корнями, которые ангарская течь вылизала до костяной белизны.

— Иван Петрович, Вы уж меня извините, но придётся Вам писать ответ на объяснительную записку Вашего соседа. Вы Карлу Моисеичу угрожали топором?..

Иван обомлел, оторопел с отпахнутым ртом и выпученными глазами.

— Я?! Топором?! Бред какой-то...

— Бред или не бред, но почитайте, здесь чёрным по белому написано: угрожал топором...

Екатерина Романовна выложила на стол четвертину серой писчей бумаги, испещрённую затейливым, кудреватым подчерком. Карл Моисеич, ветхий старичишко, похоже, из мелких служащих ... “крыса конторская”, обозвали его плотники, бриткие на язык... жил через стенку от Ивана и прирабатывал музейным смотрителем — всё приварок к пенсешке. Невзлюбил Карл Моисеич соседа-дворника, а уж за что, про что, Бог весть; хотя, может, по-

тому, что, бывало, нагрянет к Ивану шатия-братия — молодые, разгульные писатели и художники, — и до третьих петухов керосин жгут, водку жрут; спорят до хрипоты: куда Русь-тройка мчится, копь на облучке черноглазый хазар посиживает, бичом посвистывает... Выйдут, бывало, охладить пыл на ангарском ветру, и под звёздами рядятся. Карлу Моисеичу весь сон изломают, и без того худо привечающий на старости лет, а утром с красными, опухшими глазами надо плестись на усадьбу. И хотя божемные набеги на Иванову дворницкую камору случались годом да родом, Карл Моисеич поплакался соседу Марку: “Ладно, спать не дают, а чего мелют своими языками?! Да раньше бы за такие речи давно языки укоротили... Сами никто, вроде нашего Ваньки, — метлой махать, а гляди-ка ты, о чём болтают...”

Иван взял серую четвертинку и, подивившись каллиграфическим кудрям, стал читать жалобу Карла Моисеича...

“На Ваши обвинения в том, что я дважды не приехал из Иркутска на дежурства, вменённые мне по утверждённому графику, докладываю: не явился в первый раз по причине того, что дворник Иван Краснобаев накануне вечером угрожал мне топором. И я не поехал на дежурство, потому что боялся: Иван Краснобаев мог реализовать зловещий замысел, будучи махровым черносотенцем. Во второй раз не поехал на дежурство, потому что партийная совесть не позволяет мне работать смотрителем на усадьбе, где экспонируются орудия браконьерского лова, как-то: сети, невод, вентери, острога и прочее...”

— Вы угрожали топором Карлу Моисеичу? — Екатерина Романовна пытливо взгляделась в дворника, настороженно покосилась на стены, завешанные зловещими корнями...чем не разбойничья заимка... а среди плетев корней вроде таились хищно изогнутые басурманские сабли и зловеще взблескивали короткими стволами казачьи винтовки.

— Мне кажется, у старика крыша поехала...

Дворник вспомнил, о чём и поведал Екатерине Романовне: в тот злокозненный вечер из сухого берёзового полешка выстругал он топорище, бутылочным скольшком зачистил и насадил на топор. Топорище, хотя и впервые мастерил, родилось затейливое, лёгкое, ловкое, само просилось в руки, да и топор, полово выточенный, правленный оселком, бриткий, словно в масло, входил в древесную плоть. И когда Карл Моисеич по-старчески шаркал через ограду к своему крыльцу, дворник и похвастал топорищем.

Сочинять объяснительную записку Ивану не пришлось: Карла Моисеича с позором выгнали из музея — несмотря на ветхость, старичишко покусился на дебелую смотрительницу. Запирали усадьбу на ночь, и Карл Моисеич, воровато оглядевшись, вдруг наскочил на деву, чисто петух на куру, да и повалил в траву. Не вем, что бы и вышло, но дева, очнувшись, брезгливо смахнула старика, словно сухую репейную шишку, а потом ещё и пожаловалась Екатерине Романовне.

* * *

Всего лишь года три с гаком подфартило Ивану пожить взаправдашним писателем, который не ширкает утренней метлой и не мечется за газетным калымом, как жучка вывалив красный, парящий язык, днём строча об искусственном осеменении овец, а ночью под синеватой, призрачной луной сочиняя про нежную лирику Анны Ахматовой. Но были три года, были они, фартовые, счастливо и азартно добытые многолетними ночными писаниями и утренними подметаньями, когда жил Иван вольным писателем на литературных хлебах. Были да сплыли, булькнули в омут, крутящий сор и палый лист, и поминай как звали.

— А ведь мы, Ванюха-свиное ухо, хошь и не коммунисты — монархисты, а жили-то при коммунизме! — Толя Горбунов, тунгусоватый поэт из приленской северной тайги, озарённо и сокрушённо качал головой, — Провсвистели, задрав к небу блажные очеса, сломя голову мотались за таёжными кострами, проели, проворовали, проболтали, прохлопали ишачьими ушами.

Да, горестно соглашался Иван, всё о ту пору стоило дёшево, и, воображая себя именитым писателем с тугой мошной, любил Ваня Краснобаев иной раз прокатиться с ветерком на извозчике, крепко выпить, закусить в ресторане — отпыхаться от праведных трудов. Писатель... И про сё Иван сочинил сказ, вывел в герои своего зятя Колю, обозвав его Федей...

“Зять мой Федя ... воистину съел медведя — гора горой... изрядно выпив со мной на сумеречной кухонке, вьедливо пытал:

— От чего расслабляетесь, ежли в пень колотите — день проводите?! — Федя зло и нсмешливо косился на меня. — Ежли тяжелыше ложки да вороньего пера ничо не подымали?! Писа-ателя...

Федя, в близком прошлом байкальский рыбак, ныне водила матёрого грузовика, расшеперился на стуле в синих семейных трусах до колен, застиранной майке с вытянутыми лямками, под которой бугрилась могучая грудь, и, скандально прищурившись, пыхал в моё обиженное лицо папиросным дымом.

— Между прочим, Федя, пишут не вороньим, а гусиным пером.

— Да по мне хошь... Ты кем работаешь?

— Писателем.

— Нет, ты нарезчиком работаешь...

— Каким ещё нарезчиком?

— Дуру нарезаешь.

Спорить с Федей, что воду в ступе толочь, — живуча она, паразитка, сословная неприязнь, хотя и оба мы из мужичьего кореня, и я сколь ни бился, ни колотился, из народа выйти не смог, так в народе и прозябаю. Вышел было из народа, выпил — хрясь мордой в грязь; одыбал, блудня, да и обратно в народ убрёл — свычнее.

— Ладно, деверёк, не дуй губы, не сердись — на сердитых воду возят, а лучше пропиши-ка, писатель, шоферскую жись...

Крепко охмелев, Федя отрыл в пыльном тёщином кутке ветхую, охрипшую и осипшую гармонию, и под рыдающие переборы и насвист тянул родную шофёрскую старину про Чуйский тракт, заметённый снегом, насквозь продутый свирепым алтайским ветром, пел про нелёгкую жизнь шоферов, про Снегирёва Кольку, отчаянного чуйского водилу “Амо”, что на горе, на беду по уши влюбился в Раю — шофёрку “Форда”.

*В повороте сравнялись машины,
Колька Раю в лицо увидал,
Обернулся и крикнул ей: “Рая!..”
И забыл на минуту штурвал...*

После сего куплета зять уже не пел с подсвистом — выл и скулил, скрежеща зубами и катая по скулам желваки ... из маятно сомкнутых глаз слёзы текли по глубоким морщинам и рытвинам, словно полая вода по придорожным кюветам... и снова, омываясь слезами, тянул шофёрскую старину, будто калешный фронтоник — прошак базарный:

*Тут машина трёхтонная “Амо”
Вбок рванулась, пошла под обвал,
И в волнах серебристого Чуя
Он кабиной мелькнул и пропал...*

Выплакивая судьбу лихого чуйского парня, плакал наш зять над бутылкой “Столичной” и судьбой горемычной, словно уже высмотрел её близкий край, когда и на его могилку приладят штурвал и разбитые фары”.

Зятя Колю Иван прописал в память о родове, значит, не токмо дуру нарезал, кинувшись, словно в омут, в сочинительство, обрекая себя на житейскую скудость и мучительные раздумья о суете и томлении духа. Но до вольного писательства лет десять кормился Иван с метлы — дворничал. Утром —

дворник, днём и особенно в ночной тиши — писатель, сочиняющий романы, повести, рассказы про степную, таёжную, озёрную деревенскую жизнь. Как у тунгуса, почётного академика, который по чётным числам академик, а по нечётным — опять оленевод и поёт во всё закалённое на ледяных ветрах, лужёное хайло: “Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам...”. И уж, помнится, книгу выпустил, и в журналы прошибся с горем пополам, но метлой не попускался, метлу из рук не выпускал — без неё, родимой, жить скучно и нудно. Метла... Воспел Иван и дворницкий промысел...

“Скажу не лукавя, люблю я дворницкое ремесло, чту и по сивую бороду, как почитал своего тятю, который от дикого похмелья, душевного разора и мусора спасался тем, что прометал... вылизывал ограду и улицу вдоль палисада. Метлу же сам вязал, вешней порой наломав ирниковых прутьев. Дворницкое ремесло — самое благородное в мире: загаживать землю все мастера, а прибирают лишь дворники. Иначе бы грязью заросли по уши, яко свиньи у косорукого лодыря. Недаром поэт Воронов — нелепо погибший студент-журналист — красиво сочинил про нас, дворников:

... И трудно, и больно... // И белые дворники наши // Кружатся, кружатся // И улицу нашу метут. // Метите, метите, // Пока вам метёлки отпущены, // Не день и не два поднимать на заре, // Пока что люди, вами разбуженные, /// Не поймут, что рай наступил // На арбатском дворе”.

Насчёт рая да на суетном арбатском дворе парень загнул, а всё одно, елей на дворницкую душу... Иной раз прикинешь хвост к носу: может, в дворницком промысле моё призвание, не в сочинительстве?.. Греха и зазора нету, что кормишься с метлы, — не воруеть, как все нынче от бояр до холопей, не караулишь с кистенём, как тать придорожный скрадывает православную душу на росгани дорог. Дворник — тоже человек, подобие Божие, а в Священном Писании и вовсе чёрным по белому прописано: “Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится”; “Будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных”. Явно про дворников... Ляпнул не думавши, а душа... душа промолчала, не вместила, ибо мала, немощен духом — стеснялся дворницкого ремесла. Доходило иной раз до смешного...”

Добрые сокурсники после университета распределились в журналёры, а Ванюша-дурачок — в дворники, и лет пять дворничал в музее деревянного зодчества “Тальцы”, что на сорок седьмом километре Байкальского тракта...

Дивная там краса: лесные елани в густых ленивых травах и тихих цветах, тенистые перелески, где кружатся в синем поднебесье певучие девы-берёзы, где жарки догорают приманчивыми огоньками, где избы, амбары, повети, завозни и бревенчатые заплоты, вылинявшие на солнопёке, светятся вечным седым покоем.

Росными туманными зорями мёл Иван возле музейной кассы, стараясь успеть, пока стойбище не заполнят бесчисленные автобусы — всё было дешёво, и бродяги, нашенские и забугорные, валом валили в прибайкальские края, и уж “Тальцы” никто не миновал, все подворачивали по дороге к Байкалу. Грамотные ходоки так и молили: дескать, страсть охота поглазеть на иркутские деревянные улочки, на Байкал и писателя Распутина...

И вот, бывало, утром подметёт участок, потом дворы, мощённые тёсом, окинет последнюю ограду зорким хозяйским оком и, вернувшись в тенистую камору, пьёт чай в сенцах, гляючи на кусты боярышника, что пышно кудрявились под окном и метелисто цвели майским цветом. Потом садится за машинку и стучит, стучит, стучач, — вчерне и набело печатает роман, правит повестушки. После обеда, как путный русский мужик, любил соснуть вволюшку. А уж с ясной душой, светлой головой — опять стучит. Бывало, и ночи прихватывал; а коль свет в музей ещё не провели, то возле машинки мостил две керосиновых лампы и при тихом, уютном, таинственном свете, в наслаждающемся одиночестве воображал картины и, чтоб всё вышло правдашнее, играл, словно артист по жизни, своих героев — ребятишек, мужиков и баб, и всякую деревенскую живность, — и писал, умиляясь вооб-

раженным, забывая обо всём на свете. Если бы сосед Карл Моисеич заглянул в окошко посреди ночи и увидел, как Иван кривляется, машет руками, входя в образы мужиков и баб, старых и малых, играя картины, то в ужасе отпрянул бы от окна и, может, позвонил бы в “неотложку”: дескать, сосед умом ворохнулся. Бывало, Иван, заигравшись, записавшись, синеватый рассвет встречал и слушал, как боярышник вдруг наливался птичьим перезвоном-пересвистом. А птичек самих не видать, и чудится, будто с небес поют Божьи птахи... Кажется, после степного и таёжного, озёрного детства, не случилось более отрадной поры...

Дворнику Ивану вменили по лету ещё и косить траву в усадьбах, чтобы дворы домовито, опрятно гляделись и чтобы, упаси Бог, кто ненароком не запалил по весне ли, осени сухую ветошь. Траву косить Иван любил, с детства приважен, и запечатлел покосы в любовных сказах.

“Ранешние мужики разговееются после Петровского апостольского поста, прозванного петровки-голодовки, потому что лоняшню картошку-моркошку подмели, а нынешняя ещё не народилась, и как разговееются на Петрово говейно, отгуляют апостолов Петра и Павла, так и начинают снаряжаться на покос, укладывать в телеги отлаженный инвентарь: литовки, берёзовые грабли и вилы, а с ними и стожни — трёхрогие вилы стога метать. Помолясь Спасу и Царице Небесной, апостолам Петру и Павлу, мужики и домочадцы мостят в телегу котлы, берестяные туеса с маслом, сметаной, творожком и яйцами, что скопили бабы в постные дни петровок-голодовок, да и с Богом трогаются”.

Не велик покос в музейных дворах, а надо выкосить. Прошное лето поздно спохватились, в августе, — трава перестоялась, семенем осыпалась, загрубела, и не успеешь раз-другой махнуть литовкой, надо её отбивать на чугунной бабке, править оселком лезвие. Помнится, обвешанные с ног до головы причудливыми кинокамерами и фотоаппаратами, бойкие заморские туристы снимали косаря, словно живой экспонат сибирской деревни-малодворки, но, похоже, сожалели: дескать, вышел бы мужик деревенский, ежели бы в косоворотке с обережными крестами по вороту, рукавам и подолу, да ещё бы потно тискал в руке бутылку рашен водки, словно милашкину ладонь.

Когда Иван махал литовкой ...эх, раздудись плечо, размахнись рука... и валил перереросшую, пересохшую траву, о ту пору усадебный смотритель Марк, сосед по бараку, дремал на амбарном крыльчке, вытянув долгие ноги, обутые в войлочные чуни “прощай молодость”, надвинув на глаза кепку, похожую на пригорельый блин. Инистой ветошью топорщицалась из-под кепки взъерошенная борода.

Подчалаила серая и тощая британская парочка, смачно щёлкая фоторужьями, обсуждая косаря на заморском говоре. Рядом прохлаждались туристы фабрично-заводской облички, и когда иноземец и на них навёл фоторужьё, широкая в кости, мужиковатая баба, глядя на мощный объектив, торчащий из аппарата, громко подивилась: “Во дура, дак дура!.. — и, грозно махнув иноземцу рукой, выругалась: — Ну, ты, буржуй недорезанный, убери свою хреновину! Убери, убери!.. Знаю вас, фармазонов, нащёлкаете, а потом покажете дикарей...”

Парочка вновь обернулась к Ивану-косарю, и поведал иноземец своей иноземке:

— Honey, I’m telling you that my grandpa managed to be in Siberia when Russians were involved in the Civil War. Do you remember?

— I don’t remember, dear...

— So now, my grandpa was in Russia, he served in the Expedition Corps. Then he found himself in Irkutsk.

— Really?

— Yes, he did... Grandpa said that Siberians looked like bears — strapping, broad-shouldered. And now when I see Siberians — many are small and lean.

— I read in a London newspaper that Russians are degenerating.

— Why degenerating?

— Because Russians are drunkards.

— Yes, exactly. They drink a lot of heavy vodka*.

И тут смотритель Марк, лениво спихнув на затылок мятую кепку, поправил на переносе круглые очёчки и усмехнулся:

— Englishmen drink less, but they have degenerated much more**.

Британец обомлел, услышав родную речь из неяршиливо забородатевших уст мужика, похожего на христарадника с церковной паперти, обутого в чиненные-перечиненные стариковские чуни. Марк числился музейным смотрителем не ради грошовой зарплаты, но ради свежего речного духа, ради здешних лесных, полевых красот, ради дармовой казённой дачи на ангарском берегу; а на хлеб с маслом Марк, окончивший институт иностранных языков с красным дипломом, зарабатывал переводами с английского языка мудрёных книг. И несмотря на нищенскую одёву, про его туго набитую мощну бродили легенды по музею. Однажды Карл Моисеич прошептал Ивану на ухо, что своими глазами видел у Марка три сберкнижки, на коих лежало ...страшно подумать!.. на пять легковых машин и три квартиры с морским видом. А для конспирации рядится в скудное рубище... Может, некий капиталишко и прятал Марк в загашнике, ну, да Иван не считал деньги в чужих карманах. Скуповат был, да... Помнится, гостил у Марка приятель с подругой; и решила парочка ...баран да ярочка... у Ангары посидеть, а коль ночи у реки промозглые, то и попросил дружок для зазнобы хоть завалиющую телогрейку; сунул им Марк ветхое пальто — бабушкино наследство, и потом долго разорялся: дал им накинуться, а они под себя подстелили, всё пальто извозили в глине. Его ещё носить да носить, ежли починить...

Когда британская парочка, испуганно косясь на смотрителя, удалилась восвояси, Иван подошёл к Марку.

— О чём трепались басурмане?.. А ты им чего сказанул?.. Шарахнулись, как чёрт от ладана. Переведи. Нет, черкни на бумажку — согдится.

Марк тут же, нашарив в кармане осьмушку бумаги, огрызок карандаша, прописал по-русски и по-английски то, о чём толковала британская парочка.

* * *

О ту пору Иван уже и в толстых русских журналах мелькнул — десять раз, бывало, откажут: дескать, может, есть у Вас ещё какая другая, хоть завалиющая профишишка, намекают на дворника — а на одиннадцатый раз дивом дивным возьмут да и напечатают; и уж книжку издал, и другая зрела, но с метлой, подругой верной, пока не расставался. Писал, стучался в журналы и книжные издательства, а уж именитым писателям надоел своими опусами хуже горькой редьки.

Помнится, в Иркутске случился шумный литературный праздник — вроде “Байкальской осени”; и нагрянуло столь знаменитых писателей, что у Ивана аж голова кругом пошла при одном лишь поминании о них. Кроме земляка Распутина прикатили и Василий Белов и Виктор Астафьев. И, чего греха таить, Иван места себе не находил: так хотелось подле именитых повертеться, на светил поглазеть, себя показать, да, глядишь, и рукопись исподтишка сунуть — может, пристроят.

* — Милая, я тебе говорил, что дед мой побывал в Сибири, когда у русских шла гражданская война. Помнишь?

— Я не помню, милый...

— Так вот, дед мой был в России, служил в экспедиционном корпусе. Потом оказался в Иркутске...

— Да?

— Да... Дед говорил, что сибиряки похожи на медведей — рослые, плечистые. А сейчас я вижу сибиряков — много маленьких, худых...

— Я читала в лондонской газете, что русские вырождаются...

— Почему вырождаются?

— Потому что русские — пьяницы.

— Да, это верно. Они много пьют крепкой водки.

** — Англичане пьют меньше, но ещё больше выродились...

Надо голосовать на Байкальском тракте, ловить попутку и выбираться в город... Иван по лету наведывался в город лишь ради зарплаты, которую получал в доме-музее ссыльного декабриста Волконского, всякий раз восхищаясь двухэтажной хоромной: крепко при царе жили государственные преступники... В иные дни трудно вырваться из музея, весь бы испереживался, извёлся в труху — словно скотину бросил непоену-некормлену, — если бы кинул участок без призора, и по стойбищу и дворам, упаси Бог, белёсо-жёлтыми ворохами перекасти-поля мотались бы на ветру палые листья. Дворник из писателя вышел порядочный — порядок любил, и неряха смолоду презирал, хотя и терпел, не лез в чужой монастырь со своим уставом — у всякого своеобычный норов. К тому же боялся Иван нагоняя от начальства — дорожил местом дворничком, цеплялся за него обеими руками.

Не вырваться в город... Приуныл было, но тут писательский бригадир Ростислав Филиппов, — за гвардейский рост прозванный большим русским поэтом, — накануне литературного праздника прохладился в музее и шепнул на ухо: де, именитые писатели рванут на Байкал выпить стакашек под плеск волны, закусить копчёным омульком и, конечно, завернут в музей. А ты, мол, Ваня, встречай, к усадьбам провожай...

Иван от счастья кружил на седьмом небе и не мёл участок, а с метлой, как с милой сударкой, выплясывал “камаринского мужика” — таких писателей придётся принимать. А вдруг, чем леший не шутит, вдруг... дальше Иван робел загадывать, стеснялся.

Ростислав ещё и упрёдил, что писатели явятся утром на японском автобусе.

— Ну, паря, японский городской, — дворник яро чесал затылок, — во житуха пошла!..

В тревожный и радостный день тот не удалось Ивану поработать вволюшку... Вначале, стуча кривым черёмуховым батожком, приплёлся здешний старик с неожиданной для исконного ангарского рыбака и бакенщика дворянской фамилией Бестужев. Может, по немощи своей и пошалили дворяне-смутьяне... Дед Бестужев, давно уж перевалив восьмой десяток, впал не в детство, как положено, а — в юность, и всякий раз под хмельком жаловался на музейных плотников, которые подсмеивались над стариком: мол, ты, дед Бестужев, старуху-то, поди, уже не греешь?! Дед, принявший рюмку, психовал, хорохорился: “Да я!.. да я!.. я вас всех за пояс заткну...” “Свистишь, дед, старуха-то, поди, к соседу тропу торит...” — потешались плотники. “Тьфу на вас, блудодеи!.. боталы коровы!..” — плевался старик и, хлопнув дверью бытовки, рысил к своей избе, что кособочилась на высоком ангарском берегу. По дороге заворачивал к Ивану отвести душу.

Раскурив чадную трубку, укорив строителей-изгальников, дед Бестужев по старческому беспамятуству снова да ладом спрашивал Ивана:

— Ты, Ванюха, “Бабы тропы” читал?

Помянутую книгу, похоже, лишь одну дед Бестужев и прочитал на своём хмельном речном веку, Иван же о ней слыхом не слыхивал и всякий раз сознавался:

— Не читал я, дед, твои “Бабы тропы”.

— Не читал? Дак какой же ты писатель, Ваня, ежели “Бабы тропы” не читал?!

Дед уже притомил Ивана “Бабыми тропами”, как молодой музейный столяр — эстрадный фанат, который однажды пытал: “А ты, Ваня, видел концерт П.?.?”. Иван сморщился, как от зубной хвори, и помотал головой. “А концерт Л.?.?”. “Нет, не видел”, — отмахнулся Иван и хотел прибавить, что глядеть на ведьмака и ведьму с Лысой горы — одна холера, да плясать на русских жальниках с ночными бесами, но столяр опередил: глянул на Ивана с горестным вздохом: “Ничем ты, Ваня, не интересуешься, а ещё писатель...”

Вот и дед Бестужев победно озирал Ивана — он-то читал “Бабы тропы”, хотя и не писатель, а Иван — темь кромешная. Потом спросил о житье-бытье:

— Ты со своей бабой-то, Ваня, ладно живёшь?

Иван молча вздыхал: де, какая уж ладная жизнь у бабы, если мужик её ходит в писателях, а вкалывает дворником и приносит семье жалкие гроши.

Да ещё и в рюмку заглядывает, и на девок зарится. Писанину его жёнка не читает — недосуг, вертится, как белка в колесе, чтобы чад прокормить, но если Иван копейку зашибёт, не пропёт, — талантище, а когда от него, что от быка молока, тогда — бездарь.

— А я, Ваня, со своей старухой душа в душу жил. Да... Можешь где и прописать...

Когда старик поведал о том, как он прожил век со своей старухой, и когда откланялся, Иван тут же записал сказ в заветную амбарную книгу — стоит, запас карман не тянет.

“Я ить, Ванюха, свою баушку до замужества не видал. Да... Она уж в девках засиделась, и отец повёз её по ближним деревням. Завернёт к знакомцам и ревьёт: мол, поспела... Вот и к тятё моему подвернул, выдули они самовар чая, посудачили, да и ударили по рукам — рукобитье вроде. Ведут девку-то... Она шали разматывает, а я крещусь: дай-то, Боженька, чтоб не крива, не хрома, не горбата... Но гляжу, брава девка, куды с добром... И прожили мы с ей век душа в душу. Бывало, лишка выпью, зашумит, хлоп её в ухо, и опять бравенько живём... Не-е, я это смехом... Сроду рук не распускал, пальцем не тронул. А выпрягется из дуги, лишь бровью поведу, опять шёлкова... Убреду в тайгу орех добывать, на Байкал ли спущусь, рыбу ужу, а уж на другой день без её вроде сирота казанская. И она все окошки проглядит, поджидая. Да... А уж вернусь, дак не знат, чем напоить, накормить, чем уластить... Так от и жили, так и век прожили...”

Листая черновую рукопись, Иван вдруг вспомнил, что завтра нагрянут именитые писатели, и опять голова пошла кругом. Ночью путём не спал — горячо, запальчиво и вслух толковал с писателями, которые оживали в жёлтовато-сонном, вялом свете, наплывающем от лампы — керосин весь вышел, и дворник жёг солярку, а чтобы лампа не чадила, фитиль укрутил. Толковал с писателями и во сне, и там они, похлопывая по плечу, что-то лестное ему отвечали — вроде привечали.

Счастливый, очнулся ни свет ни заря, лишь птахи заголосили в боярышнике; умылся студёной ангарской водицей, начепурился, напялил белую рубаху и чуть было криливо-петушистую удавку не повязал на шею... Увидел себя с метлой да при галстуже и рассмеялся. Надо было мести стойбище для машин и караулить писательский автобус, чтобы вовремя спрятать метлу в березняке — я не я и метла не моя.

И вот метёт Иван площадь, усыпанную народным мусором и квёлым, забуревшим на дождях, скукоженным листом, и опять вслух беседует с писателями — говорит за себя и за них, а сам посматривает зорко: не заворачивает ли с тракта писательский автобус. Прибилась на машинешке влюблённая парочка, убрела к берёзам целоваться; и дворник подумал: ладно — любовь, а то прикатит иной ухарь на заморской легковушке с тенистыми окнами, прозванной в народе “блядовозкой”, торопливо приткнет её под раскидистой берёзой, и ты метёшь вокруг машины, а та раскачивается, словно пьяная... За парочкой степенно подвернула семья, за ними с пылу и жару влетели гомонливые и хмельные мужики и сломя голову кинулись в кусты, на ходу расстёгивая ширинки... И вот лишь пол-участка промёл, как заворачивает японский автобусишко. “Но, япона мать, привалили...” Кинул метлу в кусты, быстро отряхнулся, соорил умное лицо... Выходят, да не те, которых ждал. Выдул метлу и опять машет; другой автобус зарулил — не тот, третий — снова не тот... Метёт Иван, да так увлётся, что и забыл про писателей, но вдруг слышит знакомый голос: Ростислав Филиппов по имени зовёт. Обернулся Иван, да так и обомлел с метлой: красуется японский автобусишко, именитые писатели гуртятся подле Белова и Распутина, ноги разминают, щурятся на утреннее солнышко, любятцы не то березняком, не то дворником, что с перепугу обмер с метлой. Вокруг Астафьева молодняк сбился, обомлели, что Арина, рот разиня, — Астафьев, поди, байки травит.

И так Ивану стало горько и стыдно, что хоть сквозь землю провались. “Ну какой же я писатель, коль с метлой?! Взаправдашние писатели за сто-

лами сидят, карандаши вострят, бумагу в машинку заправляют, музу абрамовну поджидают, либо с высоких подмоетков глаголом жгут, а уж метлою машут графоманы, неудачники, каких по Руси хоть пруд пруди. Вот Распутина взять, либо Астафьева — там и порода, и степенность, и важность — пророки, а я — завистливый, болтливый, суетливый, да и порода мелкая...малый псичко до старости щенок... и перед всеми пресмыкаюсь, всем охота услужить, всех повеселить... Вот у нас в селе Груня была, про неё судили-рядили: Груня — ничо бабёнка, хошь и шибко болтовата, тёпленькая водичка у ей не держится. Про меня сказано... Нет, брат, не выйдет из меня большой писатель, рылом не вышел. Да и графоман, поди...”

Вышить с горя захотелось либо напиться. Помянулось: лет десять назад обитал Иван в родном селе, прирабатывал истопником в деревенской газете, а вольной порой кроил и шил неказистые сельские сказы-рассказы. И вдруг рассказ “Двое на озере” вышел аж в самой Москве, да ещё и с напутным словом самого Распутина. Счастье привалило ни в сказке сказать, ни пером описать. Мало того, за рассказ...да, поди, за распутинское словцо замолвленное... присудили Ивану ещё и премию. Дня два Иван, подкинув дровец в редакционную печь, снова да ладом перечитывал рассказ, волнуясь, дивясь: он ли, деревенский катанок, эдакое сочинил? Слова, ещё недавно написанные острым карандашом, вытянутые на серой осьмушке в бисерную нить, потом переписанные чёрными чернилами и коряво отпечатанные “слепым шрифтом”...с лентой было туго, и он смачивал старую соляркой... — строки эти, ныне пропечатанные в литературной газете, вдруг обрели некую отстранённость от него, беспроклого сочинителя, строгую важность, словно это и не рассказышко, а...страшно и подумать... государева грамота. Помянулось злорадно: деревенская литераторша пророчила ему, бестолочи: де, толку из тебя, Ваня, не выйдет, а тут на тебе, вся Россия внимает...

И вот зимой, злой, метельной, когда рассказышко вышел в Москве, когда и премию подкинули дегтишкам на молочишко, шуровал Иван дрова в редакционные печи, чтобы сельские газетчики грелись не одной сорокаградусной, но и живым печным теплом, и вдруг слышит — редактор к себе манит. Как работал в телогрейке, с кочергой, так и завалил к “тятя” — свои люди, кого стесняться. Вошёл в кабинет, огляделся: сидят у “тятя” нездешние — городские, нарядные, а посреди кабинета кинокамера на треногом козле. Понял Иван: городское телевиденье... Редактор похвеляется: дескать, вот наш молодой писатель, сочинил рассказ “Двое на озере”, премию отхватил российскую, можете снять. А те глянули на Ивана в телогрейке да с кочергой, так и скисли, да и раздумали снимать, истопника прославлять.

* * *

Писателей прихватили музейные девы, повели двory казать, а Иван, припрятав метлу, поплёлся в дворницкую камору, где поджидал ангарский чай, сорочье перо со стерженьком, линиялая, сухо потрескивающая бумага и дряхлая машинка. Пить с горя раздумал — смертная тоска с похмелья, хоть в петлю суйся или глаза завяжи да в омут бежи; нет, надо работёнкой спастись. И когда брёл мимо “деревенских” подворий, оглядывал амбары, избы, потихоньку улеглась недавняя досада, и в умилённое, печальное воображение явилось закатное видение, обряжаясь в словесные наряды и рубища, чтобы через долгие лета явиться в повести...

“...Однажды осенью Иван загадал с предснежной печалью, что не дожить ему до светлого утра, когда народится храм Божий в его притрактовом селе, давно уж обезбоженном, пьяном, злом и вороватом. Оно, конечно, вызреет благая пора для храма, но Иванова душа уже покинет юдоль грешную и, может быть, проплывая над синими озёрами и белёсыми степями, вдруг сладостно замрёт, покачиваясь на причальных волнах колокольного звона. Иван даже запечатлел его в стихе, что явился ему покаянной, хворой ночью, когда боль, спалив грешные помыслы, отлегла, и о смерти думалось легко и беспечно:

Я уйду, и с голубых небес // опустится на степь и лес // зелёной
мглою лето. // Исповедуюсь и причащусь, // услышу, как поёт младая
Русь, // увижу: сон или не сон? // в моём поселье – церковь, // коло-
кольный звон. // Я в белом рубище, босой, // иду с косой в заречные по-
косы.

Вышептал прощальный стих, теперь бы исповедаться да причаститься,
и... Но усмешка тронула спечённые жаром, потресканные губы: в моей де-
ревне церковь, колокольный звон? Блажь, прости Господи... Но, приехав
в Сосново-Озёрск под потёмки и заночевав у школьного приятеля, чуть свет
пошёл по селу и свернул с каменного тракта на родную улицу, шагнул к че-
рёмуховым палисадникам и замер в ошеломляющем диве: будто крашен-
ное луковым пером, пасхальное яйцо, выкатилось солнце из-за таёжного
хребта, стирая ночной мрак с деревенских изб и озера, и в утренней заре
засияла церковь сосновыми венцами, и привиделись Ивану пылающие зо-
лотом кресты, и послышался пасхальный звон, плывущий над селом, над
тихими озёрными водами”.

Вернувшись в дворницкую камору, почаявав, склонился Иван над руко-
писью, веером раскинутую на зелёной столешнице, — решил всё же дове-
сти до ума очерк о музее деревянного зодчества, но вдруг мучительно задумался
над своим писательством: не беса ли тешил, воспев страсти земные,
да порой и скабрёзно?.. не геенна ли огненная и скрежет зубовный поджи-
дают пустобая за безбожное праздное слово?.. Вопросал Иван небеса, но от-
вета не слышал.

*Нашему постоянному автору, самобытному, яркому проза-
ику-сибиряку Анатолию Григорьевичу БАЙБОРОДИНУ исполни-
лось 60 лет.*

Сердечно поздравляем с юбилеем!

*Желаем Анатолию Григорьевичу крепкого здоровья, дерзких
планов, писательского огня и неиссякаемого вдохновения!*

Коллектив “НС”

К 70-летию со дня рождения поэта

ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ



ПСЫ АКТЕОНА

МИФ

Миф этот, в общем-то, не прост, хоть и наивен с виду...
Отстав от собственных собак, охотник Актеон
В случайном гроте увидал нагую Артемиду,
И за оплошность ею был в оленя превращён.
Ещё не зная, кем он стал по прихоти богини,
Виденьем знойным ослеплён, беспечный Актеон,
Не чуя ног, помчался вдаль по солнечной долине, —
И миф на этом мог бы быть спокойно завершён.

Но миф коварно-кропотлив... Устав от напряженья,
От странной тяжести своей, несчастный Актеон
Остановился над ручьём, взгляделся в отраженье
И — ужаснулся он тому, что вдруг увидел он:
Ветвистый рог, пятнистый бок, огромный глаз в тумане...
И закричал он, но сумел издать лишь хриплый стон.
И даль ответила ему предсмертным криком лани, —
И снова миф на этом мог быть честно завершён...

КУРДАКОВ Евгений Васильевич родился в 1940 году в Оренбурге. Автор стихотворных сборников “Из первых рук”, “Мой берег вечный”, “Сад мой живой” и других. Окончил Высшие Литературные курсы. Жил в Казахстане. Последние годы провёл в Великом Новгороде, ушёл из жизни в 2002 году. Был постоянным автором “Нашего современника”.

Но нет... Уже катился вслед, заметно настигая,
Забытой своры звонкий лай и злобный рёв вдогон.
И понял бедный Актеон, кидаясь прочь от стаи,
Что жертва — он, лесной олень, что здесь он обречён.
И понеслась вдоль мирных рощ кровавая погоня,
Собаки выученно шли на срезку и в обгон.
Он знал их всех по именам, он их кормил с ладони, —
И вот — ни крикнуть, ни позвать не в состоянии он.

Здесь миф жестоко зашепшил в предчувствии развязки...
Олень споткнулся и тотчас был сворой окружён, —
И, взятый выжлецом под пах и стиснутый под связки,
На землю рухнул Актеон, и не поднялся он...
Над пёстрой тушею платан шумел листвою лениво,
Витал над миртами цикад неистребимый звон,
Собаки слизывали кровь и ждали терпеливо,
Когда хозяин их придет... Но что-то медлил он.

И миф иссяк уже вполне, без вывода, урока, —
И смысл загадочный его остался затемнён...
О чём ты, миф, ведь не о том, что не уйти от рока?
И не о том ведь, что никто не будет пощажён?
Строфа пустеет на ходу и дремлет утомлённо,
Глаза закроешь, и летит, летит кровавый гон...
Стихи мои, слепые псы, собаки Актеона,
Я вас с руки кормил, а вы всё мчитесь мне вдогон.

АПРЕЛЬ

На миг остановишься в споре и вздоре,
И вдруг сквозь рутину, сквозь гул неживой
Внезапно окликнут весенние взгорья
И дали мои, позабытые мной.

Они там давно раскричались грачами,
Там пойма от птичьего гвалта тесна,
Там, всё накопляясь сырыми ночами
По птице, по стеблю, — крепчает весна!

Там косо по плёсам разбросаны льдины,
Там в вётрах дрозды зарябили с утра,
Там тихо туманы стекают в низины.
Туда мне бежать безоглядно пора!

От гула, от бреда, от прошлых метелей
Скорей в отдаленье по серой стерне,
Куда журавли принесли коростелей,
И стало кому прокричать обо мне!

...Стрельнёт зимородок зелёным и красным,
И словно б навывлет простреленный им,
Паду и воскресну пред вербным, пред ясным,
Прощающим миром, забытым моим.

НАША СТАЯ

Моим дочерям

Наша стая с утра, поднимаясь, свистит и щебечет,
Сочиняет стихи, распевает, рисует, поёт,
И живёт, как играет в смешную игру чёт-и-нечет,
И пока только чёт, слава Богу, пока только чёт.

Целый день трескотня, шум и гам, карусель, клоунада,
Свистопляска, базар, представленье, спектакль, маскарад,
Все шумят и кричат всё, что надо, и всё, что не надо,
Но цветами верстак расцветает и просится в сад.

Всё навыверт, наружу, но, в общем, работы не видно,
Не горбом, а добром добываются хлеб и вино,
В толкотне, тесноте, суете — никому не обидно,
И собаки, и дети, и птицы — навек заодно.

О, слетайтесь к нам в стаю, шуты, чудачки и чудачки,
Все, кто в долгом полёте от собственной стаи отстал,
В наше шумное празднество, птичье-цветочье-ребячье,
В наш бедлам, тарарам, маскарад, балаган, карнавал!

В нашу стаю всяк будет и принят, и всяк будет понят,
Всякий мокрые крылья осушит и крышу найдёт,
Добрый сад наш укроет, и птицы из клювов накормят,
И собака споёт вам, о, как вам собака споёт!

...И — пока не исчезла навеки, в тумане истая,
И — пока не сомкнулась над нами бесцветная тишь, —
Ты кружись и свищи, распевай и взлетай, моя стая,
И лети, и не знай, для чего и куда ты летишь!

ЧУДЬ

Баллада

Чудь белоглазая в землю ушла...

Алтайское поверье

Предчувствие прошлого неощутимо,
Но вдруг как пронзит сквозняком ледяным
В туманных долинах Калбы и Нарыма
Озноб растворенья и времени дым.

Здесь каждая падь кропотливо изрыта,
Здесь древние штольни, петляя, бредут
По оловоносным прорывам гранита,
По медным следам зеленеющих руд.

Здесь некогда Чудь ворожила, кружила
Развалами копей, кругами камней,
Здесь каждая россыпь и рудная жила
Нашупана Чудью и ведома ей.

Нет взгорка, чтоб не был в почине, в заводе,
Нет имени, чтоб не озвучила Чудь:
Алтай, Светлояр, Златогор, Беловодье, —
Андроновской бронзы начало и путь.

Умолкли легенды, забылись преданья,
Последний свидетель, ты тоже молчишь,
Текущий от Яра по древней Яркани
Яр-теч белоярый, Великий Иртыш.

На этих берегах полудиких, на стыке
Страны оловянной и медной страны
Дымились плавильни, и грозные лики
Богов огневых были мрачно темны.

Здесь некогда время варило, месило
Ту дымную правду в огне и золе,
Что бронза — не боронь, но бранная сила,
Когда ее больше, чем надо земле. —

Когда под камланье кобзы и варгана,
Почувяв порыв окаянной орды,
Трёхсолнечный оттиск на бубне шамана
Послал её в бездны судьбы и беды. —

Когда из глухого чудского горнила
Сородичей вывел к заветной стране
Всё тот же Атей ли, Атис ли, Аттила, —
Извечный Отец на победном коне...

Погасли костры у родного порога,
Чтоб где-то иной темноте присягнуть,
И в прахе и тлене исчезла дорога,
Андроновской бронзы загадочный путь...

.....
Давно опустели чудские разносы,
Где в тысячелетних размывах дождей
Сочились лазури, текли купоросы,
И медь осаждалась на грудах камней.

И только порой из-под шахтных подпорок,
Обрушенных некогда тяжестью гор,
В кремнистой пыли подберёт археолог
Чудской боевой ладьевидный топор.

Он древен, тяжёл, он спокойно бесстрастен,
Но странно знакомо глядит из веков
Суровый орнамент меандров и свастик
Со стенок чудских погребальных горшков.

Исчезло без имени древнее племя,
В чьей нынче крови ты и в чьём языке?
Зачем то и дело смещается время
И мнится родное в твоём далеке?

Зачем, отчего отпечатки узоров
На этих корчагах в курганной пыли
Похожи на вышивки русских подзоров
Со знаками Солнца, Воды и Земли?

Зачем, отчего так тревожат названья
Курчума, Нарыма, Калбы и Сибин,
Как полупонятное напоминанье,
Завет и преданье далёких глубин?

Как будто мы сами по свету блуждали,
Плутали, кружили в кругу вековом,
И снова к себе возвратились из дали,
И дом свой забытый едва узнаём,

Где, как за беспамятство, эхом расплаты
Доносится в звуках Ульбы и Убы
Забывтое Альба — Алабырь — Алатырь,
Как сон Беловодья, как память судьбы, —

Где всё, как и прежде, сияют туманно
Алтай, Синегорье, Ярканы, Шамбала,
Где русая Чудь непонятно и странно
Своё отчудила и в землю ушла.

* * *

Растворимся в воде и озоне,
Оглянись осторожно назад:
Чьи-то тени в мерцающем звоне
Беспрерывно над нами парят.

Ощути же, — с терпеньем и мукой,
Пробиваясь в глухие сердца,
Дуновеньем, свечением, звуком
Нас тревожат они без конца.

Всё настойчивей трепет касаний,
Всё теснее взволнованный круг
Налетающих напоминаний
Обо всех, растворённых вокруг.

Птицей взмыть ли, легко и печально,
Иль волной приласкаться к ногам, —
Чем же мне через годы случайно,
Неназойливо вспомниться вам?

Чем, до самого сердца идущим,
Тронуть вас за пределом дорог?
Чем, лишь мне беспредельно присушим,
С вами снова побыть бы я смог?

...Над трепещущей зеленью мая
Чей пожар, чья заря там видна?
То горит, то горит, не сгорая,
Золотая моя купина.

РАВНОДЕНСТВИЕ

Бесшумно передвинулись светила
Высоких сфер и звёздных поясов,
И солнце невзошедшее ступило
Из знака Девы в зыбкий знак Весов.

В дрожащем предрассветном занебесье,
Ещё не в силах сумрак превозмочь,
Застыли два прозрачных равновесья,
Две равнополных чаши — день и ночь.

Ещё мгновенье — и, ударив косо,
Холодный луч одну из чаш качнёт,
И с этою зарёй начнётся осень,
Природе предъявляя вечный счёт.

И в тишине расторгнутого мрака
Поймёшь ли невозвышенной душой
Возвышенную точность Зодиака
Вон в той листве, почти ещё живой?

Поймёшь ли ты, как прочны сочетанья
Всего со всем, как неизбывна связь
Тебя и звёзд, души и мирозданья,
И той листвы, что падает, кружась?

МЕТЕЛЬ

То ли ветер свистал в иступленье,
То ли память металась тоской, —
Но кружились какие-то тени
В эту снежную ночь надо мной.

Они зыбко неслись в полусвете,
В полумгле, застилающей сад,
И ночная дорога и ветер
Истекали, как время, назад.

И казалось, в круженье метели
То не снег трепетал без конца,
Это матери тень повителью
Завивалась по тени отца.

И сплетались не струи глухие, —
Это там, в запредельной судьбе
Наконец-то сошлись, дорогие,
И чем дальше, тем ближе себе.

Рыхлым вихрем крутым, подорожным
Смертной вьюге свести удалось
Всё, казавшееся невозможным,
Даже жизни, прожитые врозь.

Разметённые прежде по свету,
Вот сошлись, и навек, и в одно, —
И судьбу запоздалую эту
Ни постичь, ни понять не дано.

Не постичь забытья отдалений,
Где в любой настагающий час
Мы живей и добрее, чем тени,
Если тени счастливее нас.

* * *

Душа хотела б быть звездой...

Ф. Тютчев

Когда мечи заменим на орала,
Очистим мир и дух переведём,
Увидим мы, что очередь настала
Неспешно поразмыслить об ином, —

О горестной душе о человеческой,
Ещё вчера в нелепой суете
Метавшейся пред вечностью безвечной,
Как бы в последнем полузабытьи, —

О разуме, бессильном перед волей
Почти самоубийственных идей,
О пагубе тотальных суесловий, —
И снова о душе, душе своей, —

Которая над бездной ледяною
Мечтала с обессиленной тоской
Звездой быть, звездой быть, звездой,
Звездой над измученной землёй.

ПРОЩАНИЕ С САДОМ

Вот и Сад опустел, весь запет и обсказан,
Разнесён по рукам, по ветрам, по годам,
По траве и цветам, по берёзам и вязам,
По стихающим снам и забытым стихам.

Прокричала желна в сосняке за рекою,
И — обрушился мост, и в кустах у пруда
Пень столетий истлел, истекая трухую,
И под ним зацвела голубая вода.

Этот ветренный праздник, он был или не был?
Отшумел, отмелькал в танцах тёмных корней
Деревянный театр, лесовщина и небыль,
Сказка летнего леса и поймы моей.

Над пустым верстаком и дремотно, и снуло
Ворох жёлтой листвы встрепенулся, горя,
Словно горним дымком от небес потянуло,
Сквозняком октября, ноября, декабря.

Может быть, ничего уже больше не надо,
Пусть вдали иногда прокричит, как во сне,
Эта вещая птица забытого Сада
В паутиной, осенней своей тишине.

Прокричит о глухом, погружённом в бесстрашие,
Странном Саде, чьё время уж мхом поросло,
Где его постаревший садовник и мастер
На пеньке позабыл золотое тесло.

* * *

Вновь багряной зарёй, словно флаг на рейхстаге,
День Победы встаёт над притихшей страной.
Поколение измены, сними свои флаги,
Эта пестрядь не к месту в сей Праздник святой.

Пусть солдаты единственно правой Победы
По родным площадям в свой последний Парад
Пронесут, как несли сквозь невзгоды и беды,
Тот прославленный стяг, освящённый стократ, —

Мимо нас, мимо нас, — в золотые преданья.
В седине своей вербной под звон орденов, —
Где сияет вдали Божий Свет воздаянья
Им — за подвиг земной — до скончанья веков.

Вот уходят, уходят... Всё глуше и строже
Шаг бессмертья звучит, как последний наказ...
Поколение моё, мы спасёмся, быть может,
Лишь прощеньем отцов, уходящих от нас.

День победы встаёт...

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН



КАЗНЬ С. РАЗИНА

РАССКАЗ

— Са-ань, а Сань... дай попишу.

— Нельзя. Иди, куда шёл.

Худой мальчишка одиннадцати лет сидел за кухонным столом — правым боком к окну — и что-то выводил печатными буквами на вырванном из тетради листке. На нём была до просветов истертая рубашка с заплатами на локтях; давно не стриженные выгоревшие волосы размётанной соломой падали на лоб и маленькие прозрачные уши, а голодная жизнь заострила, казалось, не только лицо, но и взгляд серьёзных карих глаз. Шестилетний двоюродный брат притопал со двора звать Саньку, но увидел листок, чернильницу и забыл, зачем пришёл.

— Поди баушке помоги, — с нетерпением добавил старший, не отрывая глаз от бумаги. — Она траву жгёт.

— Нужна-а она. Дай попишу.

— А ну вали отседа! Пока в ухо не дал!

Мальш прыснул в сени, и Санька снова стал выводить буквы. Время от времени он останавливался, читал написанное, возбуждённо ёрзал по табуретке, стучал ботинком в тумбу стола и при этом сердито хмурил выгоревшие брови. Видно было, что чувства его сильно обгоняют умение писать, а потому буквы в некоторых словах плясали “барыню”.

ЩЕПОТКИН Вячеслав Иванович — профессиональный журналист, работал в газетах Мурманской, Ярославской, Костромской, Смоленской, Волгоградской областей, 15 лет — в “Известиях”: корреспондентом по Казахстану, заместителем редактора отдела, обозревателем. В настоящее время работает в парламентском журнале “Российская Федерация сегодня”. Печатался в коллективных сборниках; автор публицистической книги “Пласты сдвигаются”. Живёт в Москве.

К тому ж и слова, способные передать всё, что он чувствовал, нащупывались с трудом. В уме прыгали привычные “гад”, “собака”, “в ухо дам”, а тут требовались совсем другие. Запнувшись в очередной раз, мальчишка в задумчивости погрыз ручку, затем сходил к ведру, которое стояло в углу кухни, попил воды, но ничего не придумав, снова вперился в листок. Там было написано:

Пацаны

Маркиз, Шурей, Сазан, Немец и другие все наши пацаны. Сколько мы будим тирпеть издвательство над нами. От больших пацанов. Малчана, Кольки Бурого, Кольки Москвы, Слесаря, Табака и других больших пацанов. Они что повелят мы это и давай им делать. Они как захочут так нас и душют. Помниш Сазан отдушили тебя у штаба? Чем ты был виноватый. Ни дал Малчану червей. А пускай сам накопает. А помниги Бурый и Москва за что душили Венку Казака? А ни за что. Они делают с нами как делали помещики или немцы. Фашисты. Бояри и дворяне.

Вдруг с улицы донеслось заполошное кудахтанье. Мальчишка моментально повернулся к окну. Из сарая выскочила курица и, причитая, помчалась в огород. Он жадно проводил её взглядом, но тут же отвернулся и сплотнул спину. В другое время Санька немедленно нырнул бы в сарай. Кудахтанье было для него сигналом: в сарае, на дне большой старой корзины из ивовых прутьев, на сене, которое бабка постоянно обновляла, лежало свежее яйцо. Оно было ещё тёплое и казалось тяжёлей двух-трёх других, снесённых раньше.

Какое-то время после того, как они завели четырёх кур, Санька только трогал свежие яйца. Разбить хоть одно и выпить — было невысказано. Считай, прямо сказать бабке: я украл яйцо. После этого Санька мог не сомневаться: от матери он получит не просто оплеуху, а порку ремнём. По-уличному: лупцовку.

Но голод — этот постоянно сосущий голод, надоумил Саньку, как действовать. Однажды, услышав сигнал, он тут же юркнул в сарай. Взял свежее яйцо, гвоздём проколол дырку. Прилип губами и стал сосать. К его недоумению, ничего из яйца не выходило. Тогда он проколол дырку и с противоположного конца, соломинкой поковырял внутри. Снова присосался губами и отнял яйцо, лишь когда оно стало лёгким. Тёплая жидкость умерила голод, но теперь надо было как-то уходить от наказания. И Саньку снова осенило. Он принёс в алюминиевой кружке воды, набрал в рот, стал с силой вдвухать воду в яйцо. Когда операцию закончил, замазал грязью с помётом обе дырки, положил яйцо в корзину.

Жили они бедно, яйца бабка копила, чтобы продать. Но тут приближалась Пасха — в тот год она была поздняя, в мае, и бабка стала копить к празднику.

Пасху Санька любил. За сытость. С утра на тарелке лежали крашенные в коричневый цвет (варились в луковой шелухе) яйца, и можно было сразу съесть два, а то и три. Приходили разные гости, угощали куличом, яйцами. Бабка давала пару, когда Санька шёл на улицу. Там тоже можно было разжиться: били яйцо об яйцо; тот, чьё оказывалось крепче, забирал разбитое. Правда, иногда Санька жалел, что их куры не несут железные яйца.

Но особенно он любил Пасху за куличи. Бабка пекла их в духовке, в разного размера баночках. А перед тем Саньке доверялось делать гоголь-моголь. В чашку разбивали несколько яиц, всыпали сахар, и всё это надо было долго взбивать, пока смесь не становилась молочного-белой. До сытого Пасхального утра было ещё далеко, голод, и без того не исчезающий, совсем стерженился — ведь в чашке плескалась такая “вкусь”, и Санька, едва бабка отворачивалась, молниеносно облизывал ложку.

Перед последней, майской Пасхой Санька снова ждал гоголь-моголя. А дождался лупцовки. Вечером бабка принесла из погреба кастрюльку с яйцами. Санька, который читал книжку в другой комнате избы — в горнице, хотел сразу перейти на кухню. Но тут в книге началась драка индейцев с белыми американцами, а этого Санька оставить не мог. Когда шло про любовь или о природе, он пропускал целыми страницами. Но в боях всегда переживал за “наших”, и пока они не побеждали “немцев”, не закрывал книгу.

Вдруг в кухне бабка ойкнула, с удивлением воскликнула “Эт штой-т такое?” и крикнула Санькиной матери — своей дочери:

— Зинк, а Зинк! Ты глян-ка, у нас куры стали водой нестись.

Санька оттолкнул книжку, пулей пролетел из кухни в кухню: он-то знал, что случилось с курами, но выскочить в сени не успел. Мать поймала его за воротник рубахи.

Теперь заполошное кудахтанье вызвало в нём неприязнь. Да и бабка, которая сейчас жгла на огороде собранную в кучу засохшую траву, наверняка бросила костёр и спешит в сарай забрать яйцо от греха подальше. Чтобы не видеть этого, Санька наклонился к листку и, распалённый новой обидой, шустрей, чем прежде, заскрипел пёрышком.

“Лушот они нас по одному как раньше манголы русских князей. Но хватит тирпеть. Тирпению пришёл капут. Мы им ни князья. Давайте об... — Мальчишка запнулся, не зная, что поставить в слове “объединимся” — твёрдый или мягкий знак, вспомнил другое слово, зачеркнул “об” и написал: — соединимся все вместе. И оглушим их по одному. Не бойсь Сазан. Я возьму рогатку”.*

Вдруг ноздри его зверьковато дрогнули, потянули воздух. В избе явно запахло дымом костра.

— Саньк, ты куда Вовку справил?

Мальчишка поднял глаза: в дверях стояла бабка. Ростом она была невысока. Просторная кофта и длинная юбка — всё выгоревшее и бесформенное, не позволяли определить её комплекцию и возраст. Коричневое от загара овальное лицо, охваченное белым платком, было гладким и полным, почти без морщин. Однако складки у губ да белые лучи-полоски возле глаз, заметные на загорелой коже, говорили о немалых прожитых годах.

— Только што вертелся окошь меня... Куда делся? — проговорила она, оглядывая кухню. — Не знаешь?

— Нужен он мне, как собаке пятая нога. На улицу либо пошёл.

Некоторые выражения у него были бабкины. Мать Санька видел мало. Она работала на железной дороге каким-то наливным диспетчером. Что она наливала, Санька не знал, но поскольку иногда слышал разговоры о нефти и мазуте, то догадывался, что мать, наверно, помогает наливать цистерны, которые длинными составами двигались по железнодорожным путям, и пачаны долго пропускали их, идя в школу или обратно.

Попив, как и Санька, воды из ведра, бабка присела на табуретку с другой стороны стола.

— Чево пишешь? Уроки? Так ведь школы ещё нет.

Её действительно заинтересовало Санькино занятие. Читать он любил — это бабка видела, но чтоб писать, да ещё до сентября — что-то не похоже было на внука.

— В лесу волк, видать, сдох. Сам взялся, без материного приказа. Куда ж эт Вовка делся?

— Говорю, на улицу пошёл. Ты всё пожгла?

— А тебе зачем?

— Есть охота. Кишка кишке протокол пишет, — сказал Санька чужими, взрослыми словами. Он услышал их в избе у Славки Сазана. Отчим, дядя Ваня, товаровед продуктовой базы, сказал так Славкиной матери, садясь вечером за стол.

— Есть не скоро будем. Жди, когда мать придёт.

— А хлебца малость дай.

Бабка нагнулась, открыла дверцу тумбы. Она любила этого внука. Даже больше, чем детей своей младшей дочери — Антонины. У Вовки и старшего, десятилетнего Сергея, был отец. Какой-никакой — убогий, по мнению бабки, и без царя в голове, но всё ж отец. А старшая дочь — Зинаида — жила одна, и Санька рос безотцовщиной.

— На, корочку пожуй.

— Чё тут, башк, жевать?

* Капут (нем.) — конец.

Он никогда не говорил “бабушка”. Само собой получалось укороченное “баушк”, однако в быстрой Санькиной речи и это слово обрезалось до краткого “башк”.

Откусив от маленькой корки кусочек, притворно схватился за щеку.

— Ты чево?

— зуб болит. Мякушки дай.

Бабка снова нагнулась к тумбе, повозилась там.

— На. Разжуй... поддержи на зубе.

— Мало.

Бабка с иронией глянула на внука.

— Разжуёшь — будет много.

Есть хотелось так, что бабкино выражение “живот прилип к спине” показалось Саньке реальностью. Но он откусил только самую малость от мякиша. Хлеб нужен был, чтоб прилепить листок к столбу электропередачи на улице.

Корку он спрятал в карман, мякиш держал в левом кулаке — оставалось дописать воззвание, однако бабка не уходила.

— Ктой-то у Михеевых опять виноград попортил. Не знаешь?

Санька нетерпеливо дёрнул плечами, отрицательно помотал головой. На этот раз он действительно не знал. Две недели назад вместе с Сазаном, братьями Казаками и Шуреем ночью пролез в сад к Михеевым. Виноград был чем-то необычным для их округа, никто, кроме полковника Михеева, на всех улицах частного сектора с сотнями домов и домишек не разводил эту ягоду. Ночь была по-южному тёмная — выколи глаз. На ощупь находили гроздья; они трудно отрывались; раздёрганные гроздья совали за пазуху, усыпая виноградинами землю.

По этим следам полковник с участковым дошли до Поляны — пустыря, раздвинувшего дома одной из улиц так, словно улица-удав что-то проглотила, и домишки, шедшие параллельно друг другу, внезапно отодвигались назад, делали с двух сторон полукольца, а потом снова выстраивались в параллельный ряд. На Поляне валялись скелеты гроздьев, там и тут виднелись выплунутые семечки.

Семечки и подсказали следопытам, как искать. Самых засветившихся в уличных происшествиях — двоих братьев Казаков, Сазана и Юрку Маркиза (хотя он в набеге не участвовал) по очереди сажали возле дворовых уборных и в присутствии матерей смотрели, что выходит из их тощих задниц. Казаки и Сазан попались: в хилых кучках было полно виноградных зёрен. Через допросы вышли на Шурея. Оставалось добраться до Саньки. Но он, представив, какой будет стыд — сидеть на корточках со спущенными штанами под взглядами чужих людей, распереживался, да так, что у него поднялась температура: высокая, до бреда, и когда следопыты постучали щеколдой калитки, к ним вышла суровая Санькина мать.

Что она им говорила, Санька не знал. Только когда температура спала, мать, уходя на работу, разбудила сына, взяла ремень, но, поглядев на сидящего в кровати Саньку — худого, прижимающего к груди одеяло, заплакала и бросила ремень.

У неё, как у многих, жизнь делилась на “до войны” и “после”. До войны был муж — Санькин отец: статный, чернобровый, компанейский мужик. Несмотря на молодость — ушёл на фронт, когда было двадцать семь лет, его уважали за рассудительность и здравую ушёртость. Если Николай, разнимая перепивших, упирался насчёт того, кому пора домой, мужики с шумом, скандалом, но подчинялись. Сам он пил, как все, однако головы не терял, что нравилось некоторым соседским женщинам.

С войны Санькин отец не пришёл, и мать, через годы, стала пробовать, как говорили уличные товарки, с кем-нибудь сойтись. Она была ещё красива. Овальное лицо со смугло-матовой кожей, чёрные заметные брови над тёмно-карими большими глазами, прямой нос с подрагивающими ноздрями и когда-то пухлые, а теперь всё чаще сжатые губы, похоже, привлекали мужиков.

Один поселился у них, когда Санька пошёл в первый класс. Взятся приводить в порядок дом: перекрыл крышу, наделал в чулане полок, пристроил

к дому веранду. К Саньке относился, как к помощнику: дай молоток, принеси гвозди, подержи доску. Был малоразговорчив, погружён в какие-то свои тяжёлые мысли. Что они тяжёлые, видно было по тому, как постоянно хмурился, когда его не замечали; при оклике матери вздрагивал, не сразу возвращался в реальный мир.

Однажды Санька стал свидетелем припадка. Мужик упал на пол, руки ноги затряслись, потом вдруг тело выгнулось дугою вверх.

Санька перепугался, испугалась бабка. Через некоторое время мужик с чемоданом и вещмешком ушёл.

Потом у матери была ещё попытка. В дом зачистил чернявый, с пышным, в завитках, чубом майор. Саньке он нравился: гладко бритое лицо со шрамом на левой щеке, скрипучие, зеркального блеска сапоги, пахнущая кожей новая португеза. Особенно тянуло потрогать поясной ремень — с аккуратными дырками и жёлтой латунной пряжкой. На ремне крепилась такая же новая кобура — её Санька побаивался.

Как-то вечером майор проходил мимо Саньки в горницу — там они с матерью подолгу были одни, занавесив дверной проём одеялом из шинельного сукна. Вдруг остановился, сделал указательный палец пистолетиком и приставил к виску пацана. “Бах!” — громко произнёс прямо в лицо Саньке и, усмехнувшись его испугу, скрылся за одеялом.

Через какое-то время мальчишка забыл эту странную выходку. Но её видела бабка. Однажды ночью, когда майор ушёл, Санька проснулся от голосов бабки и матери.

— Дело, конечно, Зинк, твоё...

— Моё, моё, мама. Тебе никто не понравится.

— Я об твоём сыне думаю. Он и так обделённый — отца нету...

— Вот и будет отец.

— Как у Славки Сазонова?

— А чем Иван плохой? Всё в доме есть, несёт в дом откуда только может... Славка смотри в какой рубашке.

— Ты не на это гляди, Зинка. Для Ивана Славка чужой... А это в рубашку не спрячешь... Бедокурит пацан почему? Никому не нужный... Матери не нужный... тем боле хахалю. Совсем стал шпана... и нашего тянет.

— Нашего, мама, не затынешь. Он сам кого хочешь свернёт. Упрётся, как бык.

— Вот-вот. Потом не своротишь... На кривую дорожку уйдёт — умоешь слезьми. Думаешь, счастья тебе не хочю?

— Не хочешь, мама.

— Тебя он будет устраивать, а сын твой ему не нужен. Кому нужен чужой ребёнок? Он к нему давеча палец приставил — вот так! и стрельнул.

— Да шутка это! Санька ему по душе. Когда мужчина в доме, с пацана есть кому спросить. Опять вон чего натворил. С вареньем-то...

На этих словах Санька стал снова засыпать, и даже история с вареньем не взволновала его. Засыпая, он понял, что майор бабке не нравится, а это в глубине чувств устраивало и его. Когда он видел, как мать меняется, стоит появиться майору — вся тает, смеётся, ходит, играя бедрами, внутри начинало копошиться что-то нехорошее.

После разлада с майором мать стала реже смеяться, от углов плотно сжатых губ опустились книзу складки неуходящей печали. Ей хотелось нравиться, обнимать самой и быть обнятой — в тридцать один год женщина, как высшей спелости абрикос: кажется, не ткни даже, а только дотронься пальцем — и брызнет сок. Но мать, при молчаливом согласии бабки, уверялась в мысли, что, получив счастье для себя, она, быть может, отнимет его у сына.

Надо сказать, не одна их семья жила без мужика. Как война покосила мужчин, можно было видеть даже по соседям: хоть ближним, хоть дальним. Редко у кого из мальчишек был отец. Целы остались, да и то раненые, братья Плутины: Гаврила и Яков. На радостях каждый после войны постарался “настрогать” к довоенным по несколько ребятишек. Сохранился отец у Славки Немца — был вроде санитаром. С отцами ходили в баню ещё несколько ребят. Большинство же росло в женской среде — с матерями и баб-

ками. Скорее даже с бабками — матери с утра до ночи пропадали на работах. А бабок только младшие побаивались. Кто постарше, держались снисходительно, полагая, что этих непонятливых, мало расторопных пожилых женщин можно без труда провести.

Саньке надоело, что бабка не уходит. Он решил подтолкнуть её. Повернувшись к окну, вдруг расширил глаза, словно увидел что-то невероятно захватывающее. В другой раз любопытная бабка непременно клонула бы: “Кто там?”. А тут с лукавой усмешкой продолжала глядеть на белобрысого худого внука, ожидая, что будет дальше.

— Явился. Не запыхался, — произнёс Санька обычные бабкины слова, какими она встречала его с улицы. Реакции снова не было никакой. Тогда внук выложил последнее оружие:

— Вовка чёй-то в сарай пошёл.

После этих слов бабка встала, понимающе глянула на него и вышла. Санька убрал с листка кулак с мякишем, стал перечитывать последние слова. Они ему не понравились. Зачем брать рогатку? Воробы, что ль, большие пацаны? По одному их можно кулаками отметелить. Он хотел зачеркнуть ненужное предложение, но вспомнил, что учительница запрещала делать это. Надо было ошибочно написанные слова взять в скобки.

Писать Саньке расхотелось. За окном млея август, самый конец месяца. В избе было душно, но прохладней, чем на дворе. Мальчишка разморённо смотрел на тетрадный листок: новые слова не приходили. Да и большие пацаны уже не казались такими врагами, как некоторое время назад. Витька Анисимов — Заика, Санькин сосед, три дня назад дал ему червей на Волге. Генка Слесарь позавчера отобрал “чеканку” — кусочек меховой шубки со свинцом, но поиграл и отдал. Правда, толкнул, гад, в спину и ни за что дал поджопник — ногой по заднице, когда Санька убежал. Нет, надо их по одному лупить.

Поняв, что слов для продолжения не найдётся, агитатор задумался: ставить или не ставить фамилию. Поставив её, он сразу выдавал себя, а что за этим будет, если не поддержат свои пацаны, Санька представлял. Но не ставить — все подумают: он трус. Откуда все узнают, почему подумают именно на него, Санька даже не раздумывал. Он это знал сам, и того было достаточно. Макнув перо в чернильницу, он опять задумался. Как написать? Александр Разин? — так учительница велела писать на тетрадках, но на улице его таким никто не знал. Санька Разя — звали малые и большие. Нет, клички не будет, подумал Санька и вывел подпись: С. Разин.

С листком и хлебным мякишем он вышел на улицу. Знойное марево стояло, не шелухнувшись. Сквозь него очертания дальних домов, чахлые деревья и даже забор из редких досок метрах в пятидесяти виделись дрожаще-расплывчатыми, будто через слой прозрачной воды. Санька экономно разжевал часть мякиша, прилепил воззвание к столбу и, быстро проглотив остатки хлеба, пошёл к своему лучшему другу Шурею договариваться, кто за кем зайдёт перед рассветом, чтоб отправиться рыбачить на Волгу.

* * *

Спать летней ночью на дворе — самое милое дело для жаркого степного Нижневолжья. Днём солнце палит — спрятаться некуда. Даже тень от редколистных акаций и клёнов не спасает. Зато вечером, после заката, всё начинает приходить в себя. Свежеет воздух, цветы душистого табака, высаженные бабкой вдоль дорожки к калитке, пахнут всё острее и волнительней. Поскольку месяцами держится сушь, комаров в городе ночью нет. Не только пацанва, многие взрослые хозяева частных домиков снят у себя во дворах, соорудив лежанку в укромном месте, чтоб и с улицы не было видно, и раннее солнце не будило.

Саньке ещё тот, припадочный мужик поставил в углу двора, под клёном старую железную кровать. Мальчишка ложился, когда совсем темнело; лежал сначала на спине; сквозь неподвижно висящие листья молодого клёна искал какую-нибудь звезду, не отрываясь смотрел на неё; если слабый вете-

рок сдвигал листья и закрывал звезду, он находил взглядом другую, с беспокойством думал об этих переливающихся огоньках: откуда они взялись? куда деваются днём? можно ли до них долететь на самолёте? И, сам не замечая как, засыпал.

Если за Шуреём или кем-то другим должен был заходить он, будила бабка. На этот раз была его очередь. Бабка с вечера сложила в тряпочную сумку немного хлеба, помидоры, огурцы, луковицу. В спичечный коробок насыпала соль.

В ту же сумку Санька сунул завёрнутую в тряпку банку с червями, взял две удочки и, бодрей от ночной прохлады, а главным образом — от предстоящих мгновений рыбацкой страсти, торопливо пошёл за Шуреём.

Волга была недалеко. Она в этом городе повсюду была близко. Растянувшийся по реке на десятки километров город, повторяя все её изгибы и повороты, представлял собой не сплошь застроенную территорию, а прерывистую цепь отдельных посёлков. Только в центральной части город был относительно широк, да и то неохотно отодвигался от реки. Все остальные районы-посёлки, словно боясь засохнуть в выжженной степи, узкими полосками улиц прижимались к Волге. В одних местах улицы обрывались огромными глубокими оврагами, которые начинались далеко в степи и доходили до Волги. В других — сама степь отделяла посёлки один от другого, двигиваясь полынными бурями языками до волжских обрывистых берегов.

Волга подкармливала некоторую часть городского люда. Главным образом тех, кто ещё или уже не попадал в трудоспособный возраст. Хотя и вполне работные мужики приходили с удочками на Волгу. К воде тащила страсть, другим непонятная и, на взгляд некоторых, недостойная взрослых людей. Иной лучше мешки будет таскать на горбу, чем пялить глаза на поплавок.

Но кроме страсти был улов, что по голодному времени имело немало важное значение. Кто поопытней, приносил крупных язей, сазанчиков, подлещиков. Мальцы ловили соответствующую рыбу: уклейку, верхоплавку, которую всю скопом называли “чеханда”. И хотя рыба была мелкая, клевала она так бешено, что ловили её сотнями и возвращались домой, увешанные серебристыми гирляндами. Бабки делали из “чеханды” котлеты или жарили целиком, не чистя и не потроша.

“Чеханду” ловили с берега. Крупную рыбу брали с плотов. Каждую весну, вскоре после ледохода, откуда-то с верховьев приземистые пузатые буксиры тащили огромные “кошели” из брёвен. Плоты причаливали к берегу, привязывали проволокой к вбитым в землю кольям. К причаленным подгоняли новые. Через некоторое время бревенчатая территория разрасталась вширь и в длину, вытягиваясь вдоль берега по воде на сотни метров. Брёвна не плавали каждое само по себе. Они были связаны да к тому же навалены в два-три слоя. Между плотами было много “окон”. В них рыбаки опускали удочки.

Когда Санька с Шуреём подошли к Волге, на плотях уже сидели вразброс люди. Некоторые, похоже, ночевали здесь — говорили: ночью берут сомы, крупный сазан. Другие, видать, пришли недавно: готовили удочки и пригнетивались. Шурей, такой же как Санька, тощий, но только смуглый, цыгановатого вида, с чёрными волнистыми волосами, показал на двух рыбаков. Санька глянул, дернул ноздрями: на их прикормленном месте сидели большие пацаны — Толян Бархотка и Гешка Табак.

— Говорил тебе: не надо червей кидать! — звонко сказал Санька вроде как Шурею, а на самом деле для захвативших место. — А ты: прикормим! Завтра опять сюда сядем.

И не давая опомниться удивлённому Шурею: тот ничего такого вчера не слышал, Санька, уже глядя на больших пацанов, продолжал:

— Сели... Гешка! Это наше место! Не знай скоко червей кинули.

— Вали, вали отцеда, Разя, — приподнял задницу Табак, показывая, что хочет встать.

— Пойдём, Сань. Пошли вон к Петровичу поближе.

— Уведи его, Шурей. “Наше место...” Твоё место на кладбище. Щас наркормим червями.

— Кончай галдеть! — негромко, но сурово одёрнул сидящий метрах в двадцати мужик в соломенной шляпе. Ребятишки молча подошли к нему.

— Здравсьте, Николай Петрович, — тихо сказал Санька. Расстроено добавил:

— Наше место заняли. Мы там кинули прикормку. Червей кинули — страсть.

— Не переживай. Вон в то “окно” бросайте. Я туда с вечера опустил в сетке жмых. Здесь тоже привадила.

— И как? — шёпотом спросил Шурей. Петрович поколебался, но всё же встал, прошёл по брёвнам к небольшому “оконцу”, поднял кукан. Ребятишки округлили глаза. На кукане кувыркались два больших сазана.

— А там язи, — показал на другой просвет в брёвнах Петрович. — Хорошие тоже. Хозяйке будет радость. Но эти — поросята.

Он был коротконог, головаст (соломенная шляпа — размером с рыбацкий котелок), крепок телом, хотя говорил ребятам, что уже на пенсии. Санька видел на своей улице пенсионеров. То были измождённые старики, с морщинистыми лицами, с руками цвета огородной тёмно-коричневой земли, по которым, как реки по карте, разбегались вздутости вен.

У Петровича лицо тоже было бурое, а главное — всё в чёрных точках. Когда Санька, стесняясь, спросил, отчего это? — Петрович коротко ответил: уголь. Он был шахтёром в Донбассе, рассказал, что завалило взрывом. После этого досрочно отправили на пенсию.

Они сели на прикормленное Петровичем место. Закинули удочки. Подражая взрослым, стали доставать из сумок еду — некоторые мужики уверяли, что голодного рыбака рыба не уважает. Но не успели съесты и по полному подра, как поплавок на удочке Шурея медленно пошёл в воду. Шурей подхватил удилице. Кончик согнулся, и через несколько мгновений над брёвнами затрепыхал крупный язь. Санька в зависти облизнул враз пересохшие губы.

— Везёт...

— Как утопленнику, — боясь сглазить, бесцветно пролопотал чернявый, хотя от радости сердчишко клокотало в груди.

Но тут и у Саньки поплавок дрогнул — раз, другой, мальчишка схватил удилице, оно напружинилось от чего-то тяжёлого в глубине, но через миг леска ослабла.

— Й-ех ты! — выдохнул Санька. — Сорвалась!..

— Котора не бралась, — насмешливо произнёс подошедший Петрович. — Ну, ладно, ладно: бралась. Эт я так: тебя поддеть. Похоже, сазан.

— Откуда видно?

— Хороший рыбак должен по клёву знать, что рыбу сазаном звать.

— Аж руки трусятя.

— Я вам оставлю гороху. Мне домой пора. Сыро ночью на плотях. Вот так насаживайте.

Шурей не стал менять насадку — рисковать он не любил. Однако Санька вытащил одну удочку и нанизал на крючок распаренный горох. Он вообще легко менял привязанности. То ему хотелось стать машинистом, и он ходил к маневровым путям, сажился на выжженный пригорок и во все глаза смотрел, как ездят туда-сюда паровозы, собирая одиночные вагоны в состав. То загорелось быть моряком. Увлекался он сильно, как бы даже не по-мальчишечьи, однако вскоре ему начинало нравиться другое, и он поворачивался туда. Может, от этого был неусидчив, не мог долго заниматься чем-то одним, и мать удивляло, как это такая непостоянная натура выдерживает долгое сидение над поплавком.

Но в Саньке одновременно уживалось и тупое упрямство. Шурей поймал ещё одного язя — меньше первого, а у его белобрысого друга поплавки стояли, как впаянные в воду. Наконец, на той удочке, где был распаренный горох, поплавок качнулся, плавно пошёл вбок и одновременно в глубину. Мальчишка коротко подсёк и чуть не упал в воду. Вслед за подсечкой удилице потянуло вниз, словно там, в глубине, за леску зацепилось бревно, плывущее по течению.

— Шурей, помоги, — просипел Санька. Но в этот момент рыба дёрнула, кончик удилица нырнул в воду, однако Санька сумел приподнять его. Так

они боролись несколько минут — мальчишка и рыба. Руки у Саньки стали уставать, а ему только раз удалось подтянуть рыбину к поверхности. Увидев, как сверкнул большой золотистый бок, он решил: будь что будет — и схватил леску рукой. Мгновенно потянул её и выбросил на плот огромного сазанищу. Упал на него животом, зажал между брёвнами. Шурей быстро, как они делали с крупными окунями, вдавил пальцы в сазаныи глаза; тот отчаянно забился, но цыганистый мальчишка не отпускал, а всё давил и давил.

Пока Санька прижимал рыбину животом, Шурей сбегал на берег, нашёл кусок проволоки.

— Бархот спрашивает, чево мы прыгаем. Я сказал. Они такого, Саньк, точно не видели.

Санька с раскрытым ртом, выпученными глазами только покивал. Он не мог даже говорить.

Солнце поднималось всё выше, становилось жарче. Часа через два ребятишкам надоело ловить, и они собрались домой. Большие ещё сидели. Когда малые проходили мимо, Гешка Табак остановил:

— Чёй-т у вас там за звери?

Выложил Шуреев улов на его тряпочную сумку: три язя, одного подлещика. Протянул руку к Санькиной сумке, но тот почувствовал неладное и отвёл руку с тяжёлой ношей назад.

— Давай, давай, Разя! Не учишь сопротивляться. О-о! Вот это сазан! Так... Толян, на тебе два Шуреевых язя, а я возьму одного... Разиного сазана.

— Возьми хоть одного, Геша, — заныл Шурей.

— Пусть идут, — подошёл Толян Бархотка. Он с интересом смотрел на большого сазана, которого на проволоке держал Табак. Видно было, что Толян завидует ребятишкам, но ему жалко было обижать их.

— Ты, если хочешь, отдавай своих Шурею, — недобро покосился на Бархотку большеротый, с треугольным лицом Табак. — Мне сазан нравится.

— Отдай рыбу! — подступил к нему Санька.

— Пошёл, пошёл отцеда, — толкнул его в грудь Табак. — А то всё за беру.

— Табак! Сlopал пять собак!

— Ах, ты гад!

Гешка быстро положил сазана на брёвна, чтоб иметь свободные руки. Но не успел он разогнуться, как Санька со всей силы толкнул его. Табак поскользнулся и задницей полетел в воду.

— Толян! Рыку! Толян! — заорал, хлебая воду, Гешка. Санька схватил за проволоку сазана и бросился бежать. Следом за ним со своей сумкой, в которую успел сгрести улов, летел Шурей.

Они перешли на быстрый шаг, лишь когда поняли, что за ними никто не гонится.

— Я... написал, — хватая ртом воздух, выговорил Санька. — Надо всем... нашим... надо собраться... по одному отлупить больших.

— Не всех... — также часто дыша, возразил Шурей. — Бархотка... ты видел, какой...

— Про него я не писал... Щас прочитаешь... вон на том столбе... прилепил вон там.

Но то, что Санька увидел, заставило его сжаться от тревоги. Листка на столбе не было.

* * *

К вечеру у Разиных готовился “праздник живота”. На печке в летней кухне (она представляла собой навес на четырёх столбах; сквозь него проходила труба печки; в стороне от печки — простой дощатый стол и две длинные скамьи) варилась уха; в сковороде едва умещались несколько кусков сазана. Бабка переворачивала их, качала головой, взглядывала на Саньку и в который раз спрашивала:

— Как же ет ты ево? Пряма боров...

Внук принимался рассказывать, но бабка то уходила за луком в огород, то просеменила в дом за мукой, и дальше слов: “А он ка-ак рванёт!” Санька продвигаться не смог. Из него пёрла гордость — ведь был и опасный момент, когда он прижимал скользкого сазана пузом к брёвнам... Рыбина запросто могла острым спинным плавником распороть ему живот. Однако Санька не побоялся (впрочем, если бы признался сам себе, то вспомнил, что ни о какой опасности подумать не успел). Была ещё история с Табаком, но тут мальчишка не знал, надо ли бабке говорить об этом?

Он колебался, а рассказали другие. Поздно вечером — уже солнце свалилось к горизонту, пришла с работы мать. Удивлялась, слушая торопливый, полный восклицаний рассказ сына, со скупой улыбкой похвалила: “Кормилец”. В это время калитка открылась, и во двор заглянул опрятно одетый мальчишка.

— Заходи, Юра, — позвала его мать.

— Да я, тётъ Зин, к Сане. Сань, ты как? Завтра на плоты. Пойдём?

За спиной Юрки Маркиза показалась ещё голова.

— Ты чего прячешься, Слава? — спросила мать стоящего за Юркой пацана в новой розовой рубахе.

— Не-е. Я тоже к Саньке.

Славка Сазан смело вошёл во двор.

— Нам с Маркизом Шурей всё рассказал.

— Что всё? — насторожилась мать и перестала расставлять алюминиевые чашки.

— Ну, как Санька сазана аграменного поймал.

— А-а, — успокоилась мать. — Вон он. На сковородке. Сейчас тоже попробуете.

— А Табак хотел отнять.

— Но Санька толкнул его в воду, а сазана отнял, — вставил Маркиз.

— У Гешки Табака? — нахмурилась мать. Связываться с этим четырнадцатилетним подростком на улице избегали. Отца не было, а мать — продавщица пивного ларька “Бабы слёзы”, никак не могла быть для сына авторитетом.

По документам Гешка был Геннадий Прибылов. Но это знали только взрослые, да и то не все. Для пацанов, а через них — для родителей существовала кличка: “Табак”.

Разные обстоятельства рожают уличные клички. Самые простые и безобидные идут от фамилий. Разя, Силка, Кутя, Молчан. Они понятны: Разин, Силкин, Кутьин, Молчанов. Не слишком далеко ушла от фамилии кличка Славки Сазонова — Сазан. Но многие клички к фамилиям не имели никакого отношения. Братья Плугины — Гаврила и Яков — называли старших сыновей — ровесников одинаково: Кольки. Чтобы их различать, Кольку, который от Якова, улица стала звать Лизкин. По матери. Она была Елизавета.

Это хоть как-то объяснялось. Но почему его двоюродного брата, Кольку — Гаврилиного сына, а затем и всех остальных в Гаврилиной семье стали звать “Москвой”, просто так объяснить было невозможно. Оказывается, мать постаралась. Один раз за всю жизнь Гаврила Плугин с женой Валентиной побывали в Москве. И были-то проездом: делади пересадку с поезда на поезд. Однако с той поры улица от Валентины только и слышала: “Москва”, “Москва”. Чуть что — Валентина сразу: а в Москве вот так-то. Как будто всю жизнь там прожила, а сюда на день заехала. Соседские бабы и мужики сначала слушали с интересом. Потом стали зло посмеиваться: тоже — “Москва” нашлась. Наконец, старшему сыну кто-то прилепил: Колька Москва. И намертво. А заодно всей семье. Теперь Гаврила не Плугин, а Москва. Валентина — эта без всяких яких Москва. Младшие дети — Верка и Вовка — тоже Москва.

Толян Бархотка заимел кличку от бабки. Мягкая, округлая, не крикнет, тихо улыбнётся. “Ты, Прасковья Иванна, душевная”, — хвалили её соседки. А одна без злой мысли добавила: “Прям бархотка”. То есть как полоска

бархата, которой наводят глянец на сапоги. С того и пошло. Прасковья Ивановна — Бархотка. Дочь её — Муся, спокойная, незлобивая женщина — Бархотка. Четырнадцатилетний внук Анатолий, невысокий, но сильный и тоже спокойный подросток — Бархотка.

А Юрка Маркиз получил кличку, можно сказать, персональную. Никаких намёков ни в роду, ни в фамилии не было. Фамилию имел Кадильников. Жил на соседней от Разиных улице в большом и богатом на вид деревянном доме под железной (что было редкостью) четырёхскатной крышей. Как дом уцелел во время неистовой сталинградской бойни — уму непостижимо. Мать Юркина работала архитектором. Многие в округе были людьми простыми и, не понимая, что означает это слово, безбожно коверкали его. Но женщину уважали. Даже ребятишки не могли её назвать тетя Шура. Обращались, старательно выговаривая слова, — Александра Фёдоровна.

Улица глухо поговаривала, что Юрку она родила без мужа — “прижила”. Видимо, чтобы не иметь никаких напоминаний об отце ребёнка, отчество сыну дала по имени деда: Фёдорович.

Потом вышла замуж — за человека своего круга. Жили закрыто, большой семьёй: молодые, дед с бабкой, дядя и тётки. Из внушительного многокомнатного дома, украшенного редкими для степного города резными наличниками, выходили в большой сад, обнесённый высоким плотным забором. Юрку на улицу выпускали строго “по времени”. Одевали его (насколько это было тогда возможно) со вкусом. Не забывали вовремя постричь. В поведении учили хорошим манерам. Улица это заметила и прилепила кличку: “Маркиз”.

Большинство ребят на клички не обижались. Разве что младшему иногда дадут по загривку, чтоб не позволял себе, что старшему разрешается, и знал, как правильно зовут. Однако Гешка Табак, услышав кличку, покрывался белыми пятнами. Его треугольное лицо — внизу шире, ко лбу уже — становилось застывшим, как маска. Только бледно-голубые глаза белели, будто изнутри их выжигал мгновенный жар.

Генкиного отца посадили за грабёж с убийством. Посадили давно, перед войной. Дали двадцать лет. Он долго не писал; думали — пропал. Потом вдруг пошли письма. Редкие — и всё больше о сыне: как растёт, на кого проявляется лицом. Мать Генкина — Екатерина, на несколько писем ответила, а затем перестала. Работала она в пивной. Домой приходила поздно — оставалась в пивной после закрытия. Время от времени приводила мужиков в дом — тогда Гешка с бабкой, высушенной старухой со скорбным от мук лицом, уходили ночевать в саманную кухню.

Екатерина стала пить, закурила, да так втянулась, что без папироски её уже и не видели. Что бы ни делала: наливала пиво в гранёные кружки, подметала пол в пивной, готовила еду дома — вокруг худого, желтоватого лица клубился дым. Санькина бабка однажды смотрела-смотрела на пыхающий изо рта соседки дым, плюнула и громко сказала: “Табатирка ты, Катька. Был бы живой отец — палкой бы в рот дым забил. Табачка ты просто...”

Санькину бабку одни называли ловкой на язык, другие — меткой. Свою малограмотность она компенсировала природным умом и широко известным в округе острословием. “Табатирка” — имелось в виду “табакерка” — некоторые мужики носили в них нюхательный табак. Но улица поняла суть слова. С той поры легла на Прибыловых кличка “Табак”.

С материнскими “хахалями” Гешка дерзил, вызывая ответную злость. Один даже замahнулся на подростка, но тот схватил кухонный нож и выбросил руку вперёд. Хорошо, мужик был не совсем пьяный. Увернулся. Однако руку ниже локтя порезал. Мать с визгом бросилась на Гешку, колотя его ручкой веника. Сын выскочил, сутки был на Волге, на плотях. Вернулся только ко второй ночи к бабке в кухню.

После того случая с Гешкой стали осторожничать даже его погодки. А тут малый чуть не утопил его. Санькина мать неодобрительно поглядела на сына: что-нибудь да отчебучит, куда-нибудь да вляпается. Хотя разве бы она сама стерпела? Глаза бы выцарапала.

— Ты пока побудь дома, — сказала она сыну. — Бабушке поможешь.

— Ой, дел-то, Зинк, скоко! — зацепилась бабка. — Одной лебеды набирается гора.

Саньке не понравилось такое будущее, но огрызаться он не стал. После ухи, жареного сазана (досталось мало, но могло и этого не быть) ребятишки осоловели. Над керосиновой лампой и вокруг неё мельтешили бабочки. Неяркий свет убаюкивал, и у них слипались глаза.

Вдруг Санька вспомнил про сорванный листок. Вздрогнул, толкнул локтем Сазана: “Пойдём выйдем”.

— Ты куда?

— Я, мам, недалеко. За калитку ребят доведу.

На улице присели на корточку. Санька рассказал, что было написано в его листовке. Товарищи согласились: большие пацаны — гады. Не все, конечно — тут у каждого нашёлся свой хороший, но в целом — что-то надо делать. Сумеречная пыльная теплота остывала, и выползающая из близкого глубокого оврага свежесть бодрила. Мышцы наливались силой, и уже хотелось вот так, втроём, отметить одного из больших пацанов. Сазану — Молчана. Саньке — Табака. А Маркизу — всё равно кого.

Только как это сделать, они не представляли.

* * *

Младшая бабкина дочь Антонина давно жила “отрезанным ломтём”. К матери и сестре тянулась, по-уличному говоря, роднилась, но из-за мужа, которого бабка недолюбливала, бывала в отчем доме нечасто. Дети — те постоянно пропадали у бабушки и тётки Зины. Но последние два дня и их не было, а бабка вдруг захотела дать в то семейство рыбы.

— Ты бы, Сань, слётал к тётке, — предложила она внуку. Тот аж просветлел худеньким лицом. Выдирать на жаре одеревеневшую траву было поперёк горла.

Тётка жила не близко. В нескольких километрах от центрального ядра города, в гольной степи, начал застраиваться новый посёлок. К нему вела извилистая, накатанная дорога, даже пустили недавно автобус, но многие ходили в центральную часть гораздо прямей через овраг.

Дома у тётки был муж — дядя Ваня. Носатый, с маленькими голубыми глазками, с редующими светлыми волосами, он, видать, недавно проснулся — отсыпался после ночной смены на заводе. Раньше работал в милиции, но чем-то прошттрафился, и его выгнали. Увидел кусок сазана, растянул в добродушной улыбке большие губы.

— Либо ты отличился?

— Я. Сперва поймал, потом отнял.

— У кого? У кошки, што ль?

Санька недовольно хэкнул.

— У Табака! Скажешь: у кошки. Они у нас чево увидят — могут отнять. Я его в воду столкнул.

— Надо было сазаном по морде.

— Тебе легко говорить. Ты вон какой. Они большие. Такие гады!

— Учись не гнуться, Санька. Напролом, конечно, не лезь. Башку в петлю не суй. Но сопротивляться надо до последнего.

Он помолчал, что-то вспоминая.

— А если припрёт, то дальше последнего. Короче: держи хвост пистолетом.

Это было его любимое выражение, которым он всегда напутствовал Саньку. “Тебе легко говорить”, — думал мальчишка, вприпрыжку удаляясь от крайних домиков посёлка. Дорога к оврагу шла под уклон, и любой пацан не признавал здесь обычного шага.

Овраги — зло беслесного степного Нижневолжья. Вроде бы только вчера на уклонистой складке степи дождь промыл небольшую канавку. Но не побывал человек в этом месте некоторое время — и вдруг видит: где змеилась канавка, через которую он запросто мог перешагнуть, земля прорезана

приличным овражком. Ещё через какое-то время появился — и в изумлении открывает рот. Перед ним глубокий — пару изб друг на друга можно поставить — овражина.

Да что про степь говорить! Город был весь изрезан на куски оврагами. Чем ближе к Волге, тем глубже они становились. Уходя в степь, мелели, но зато буйно разветвлялись. Те, кто видел степь в этих местах сверху, с самолёта, говорили, что разветвления похожи на плохо зажившие шрамы от рваных ран.

Овраг, через который ходили в “город” жители нового посёлка, по очертаням напоминал гигантскую рогатку. Возле Волги — огромная “ручка”, а примерно километра через два начиналось разветвление. Было оно правильное, симметричное, словно не природой, а человеком сделанное. На мысу, образованном двумя рукавами, подалее от взрослых глаз, в последнее время стали собираться большие парни. Играли в “очко”, в “буру”. На папиросы, на деньги. Поблизости, словно притягиваемые магнитом, вертелись, кто поменьше. Глядели, как режутся в карты, играли в “чеканку”, гонялись друг за другом по выжженной траве, ожидая своей очереди в игре.

Когда Разин шёл к тётке, на мысу никого не было. В глубине души он надеялся, что и на обратном пути будет то же. Но едва тропинка вывела его на “язык” между оврагами, который заканчивался мысом, как Санька увидел тех, кого меньше всего хотел бы встретить. Его заметили тоже. Двое поднялись.

— Топай, топай, Разя, сюда, — крикнул Колька Москва.

— Сейчас убежит, — предположил стоящий рядом Гешка Табак, приготовившись в случае чего броситься за врагом.

Но Санька понял, что убежать не удастся. Обречённо и в то же время весь напряженившись, он шагал к кучке ребят. Табак выбежал вперёд и схватил Саньку за ворот рубахи.

— Ну, Разя, сейчас мы тебе напишем. Ты, оказывается, писать умеешь!

На мысу играли и Санькины товарищи: Шурей, Маркиз и Сазан. Как только Саньку окружили большие пацаны, Шурей бросил “чеканку” и поспешно проговорил компаньонам: “Я пошёл домой. Мать велела”. “Какая там мать”, — кисло подумал Санька. Шурея никто не искал до самой ночи, а тут вдруг “мать велела”.

Прекратили играть и Маркиз с Сазаном. Но не отошли. Стояли поблизости.

— Значит, нас можно по одному метелить? — снисходительно спросил Москва.

— Он чё, гад, написал! — протиснулся в круг Генка Слесарь. — Фашисты... Ты кого фашистом обозвал?

Отец Генки Слесаренко погиб. Набитый людьми поезд, в котором мать с Генкой и его младшей сестрой уезжали в эвакуацию, бомбили немецкие самолёты. Осколок попал девочке в левую руку ниже плеча. С того момента рука у Юльки — красивой, чернобровой, как брат, девчухи — болталась почти без всякой пользы.

— Д-да н-н-надо ему в-в морду дать, — не сразу выговорил Витька Анисимов — Заика и ткнул Саньке кулаком в лицо.

— Вы чё, ребята! — крикнул Маркиз и бросился в кучу. — Санька не про то хотел сказать. Скажи, Славка!

Синие глаза Юрки Маркиза блеснули от возмущения, но голос испуганно задрожал. Стройненький, опрятно одетый, в новых сандалиях мальчишка готов был растолкать больших пацанов, чтобы освободить друга. Однако Сазан молчал и оставался в стороне. Зато часть круга тут же развернулась к Маркизу. Пока трое держали Саньку Разина, остальные стали лупить Юрку. Сазан мгновенно сообразил и бросился по тропинке в овраг. За ним, подгоняемый пинками и криками, побегал Маркиз.

— Та-ак, — опять снисходительно протянул Колька Москва, когда все снова повернулись к Разину. — Чё с ним будем делать?

Видно было, что никаких коварных намерений он не имел. Самое большее — хотел поугатать. Потом посмеяться над испугом новоявленного бун-

товщика. Его настроение поняли ещё несколько пацанов. Толик Бархотка улынулся и, подыгрывая Москве, сказал:

— Казнить надо. За призыв к восстанию.

— Казнить! Казнить! — загалдели все, хотя их худые неумытые физиономии ясно показывали, что большинство забавляет такая игра.

Вдруг весь этот разноголосый гомон перекрыл визгливый крик Гешки Табака:

— Повесить!

Никто не заметил, как он куда-то сначала исчез, а теперь снова пробирался в центр круга, к Саньке. В руке у Табака была верёвка.

— Повесить! Повесить! — обрадованно заорали Слесарь и Заика. Остальные не успели опомниться, как трое подтащили упирающегося Саньку к обрыву.

На голом мысу не было ничего, кроме выжженной травы. Витька Заика и Слесарь в недоумении остановились: на чём вешать-то? Но Табак понял их замешательство и, отпустив Санькин воротник, быстро-быстро заговорил:

— Щас петлю сделаю. Петлю на шею. Толкнём гада... конец у нас.

Саньку прошиб ужас. За всю короткую и пёструю жизнь у него никогда ещё не было такого страха. В кино видел, как вешали наших партизан и как их тела болтались потом на ветру. Когда был совсем маленьким, думал, что все эти действия происходят на самом деле с живыми людьми, там, **за экраном**; был убеждён, что процесс казни или убийства прожектором освещают с задней стороны экрана, и не мог понять, зачем люди соглашались умирать. Раза два, во время показа фильмов на летней киноплощадке, где экраном была большая белая простыня, тайком проползал за экран, чтоб посмотреть, что там делают люди. К удивлению, никого за простыней не видел — с обратной стороны по экрану ходили те же люди.

Потом приблизительно понял, что такое кино, и перестал бояться за погибающих людей. Но тут всё было иначе. Вот сейчас повесят, и он никогда не увидит бабу и мать, никого вообще не увидит.

От этих представлений Саньку кипятком прожгла злость. Гад Табак хочет повесить! Санька напрягнул тело, топнул разношенным ботинком по пальцам босой ноги Заики, локтем ударил Генку Слесаря под дых и, оставая в их руках ключья истлевшей рубахи, снарядом понёсся на Гешку Табака. Перед самым врагом нагнул голову и на большой скорости влетел головой ему в живот. Табак хрякнул, упал на землю, корчась, закрутился по ней, не переставая сучить ногами. А Санька в два прыжка подскочил к обрыву и прыгнул вниз.

* * *

Бабка поглядела на кровать, где лежал старший внук, и кончиком белого платка вытерла слезу. Мальчишка спал на животе — без трусов, без одеяла, уткнувшись носом в стенку. Когда прибежал домой, бабушка обомлела. Лохмотья рубашки прилипли к изодранной в кровь правой лопатке. Стянула с внука штаны, а там вся изодранная до крови задница, икры ног. Бабка долго промывала раны и царапины марганцовкой, потом смазывала их раствором календулы. Санька стонал, и бабушка, жалея мальчишку, гладила его, где не было царапин.

И всё же Саньке помогло, что обрыв в глубокий овраг был не отвесный, а выпуклый. Тормозя спиной и задницей по огромному глинистому пузу, пацан упал, как в подушку, в насыпавшуюся со временем сверху земляную пыль. Бежал, не чувствуя боли. Едва увидел бабушку, забился в рыданиях.

Это её потрясло не меньше, чем изодранная внукова спина. В последнее время ничто не могло заставить его плакать. Ни уличные драки, ни материна дупцовка. Уж как мать наказала за варенье, а всё равно слезы не пустил.

Бабка вспомнила ту Санькину отчебучину и снова вытерла глаза платком. Каждый год, когда попевала вишня, она делала варенье. Лакомства выходило немного, и потому его старались растянуть хотя бы до конца зимы.

Как-то бабка пошла на базар, а Саньку оставила посидеть с приболевшим Вовкой. Старший сначала читал книжку, потом слонялся без дела по двору, затем бесцельно зашёл в дом. Вовка с блестящими от жара глазами сидел за кухонным столом, рисовал на тетрадном листке каких-то уродцев. “Это ты... А эт я”, — показал он брату. Санька скривился: что возьмёшь с больного? И вдруг вспомнил: утром, когда бабка подняла в сенях крышку погреба, на полочке под крышкой тускло блеснула банка с вареньем. “Вовку надо полечить”, — подумал старший. Он притащил двухлитровую банку на стол.

— Пробуй.

— Ой, вкусно, Сань...

— Ну, ты не сразу глотай! Много не дам... Нельзя... На ещё ложку. А это мне...

Когда кормилец опомнился, варенья в банке убыло почти наполовину. Санька с тревогой посмотрел на банку, измазанного брата и понял, что надо заматать следы.

— Гляди баушке не скажи, — строго предупредил Вовку. — Мы эт дело поправим.

В сенях зачерпнул из ведра воды, долил до самого верха банки. Размешал ложкой, облизнул её. Было сладко, но не так, как раньше. Чтобы довести содержимое до прежнего уровня, немного отпил жидковатой сладости и поставил банку на место.

Подмена продукта могла бы обнаружиться не скоро — летом варенье не трогали. Но через несколько дней бабка увидела, что бумага, закрывающая банку, вздулась пузырьём. В недоумении сняла её и ахнула. Вишнёвая жидкость шипела, пузырилась, била в нос спиртом. От сырой воды, от облизанных ложек то, что было вареньем, становилось брагой.

Тогда бабка едва оттащила дочь от внука. У матери как прорвалось что. Отлупив Саньку ремнём, она толкнула его в чулан.

— Смотри не выпускай! — истерично крикнула бабке. — Знаю тебя!

В чулане было темно. Слабый свет сочился только через щели между разошедшимися досками. Сколько времени не выпускать, бабка не знала. Будь это рядовой день, Санькина мать ушла бы на работу, и бабка сама разобралась, что к чему. Но оказия случилась в воскресенье. Мать оставалась дома.

Часа через два бабке стало совсем жалко внука. Излупленный, в темноте. Прижав губы к щели, она тихо проговорила:

— Саня, ты ба попросил у матери прощенья. Она у нас отходчивая.

Из чулана не последовало никакого ответа.

— Саньк, ты чё молчишь? Слышишь меня?

— Слышу.

— А-а, знаю... ты у нас слухмённый. Проси прощенья... Я позову её...

— Не буду, — донеслось из чулана, и бабка сразу представила, как он стоит там в темноте, насупившись, глядя исподлобья на щель между досками.

— Ни буду, — язвительно передразнила она. — Ласковый телёнок двух маток сосёт. А ты родную мать не хочешь попросить.

— Я не телёнок.

— Ну да! Ты бык упрямый! Мать правильно говорит, — уже сердясь заявила бабка. — Не хочешь — сиди там, как сыч.

Теперь, когда внук лежал испаряпанный, бабке стало неловко за тогдашнее своё раздражение. А от этого ещё виноватей почувствовала себя в последнем происшествии. Не посылала б к Антонине, ничего бы не произошло. Ни с Санькой, ни с дочерью Зинаидой.

Увидев вечером сына — вокруг глаза синяк, спина изодрана — мать даже не стала его расспрашивать. Знала: ничего не добьёшься. Бросилась к Сазоновым. Славка Сазан рассказал. “Саньку сначала хотели казнить, а потом Табак притащил верёвку”. — “Зачем?” — “Повесить, тётъ Зин”.

Мать вне себя от гнева помчалась домой. Их двор и двор Катьки Табатирки сходились задами. Пробегая по огороду, споткнулась о лопату. Схватила её и, подбежав к забору, стала колотить по нему.

— Катерина! Катька!

Она не знала, дома ли Гешкина мать: может, опять осталась в пивной. Бабке — Лукерье Павловне — по-уличному тётё Луше говорить было бесполезно. Мог выскокить Гешка, и вот тут бы Санькина мать отыгралась. Но из дома выбежала Табатирка.

— Ты чево, Зина, с ума сошла? Забор лупишь?

— Ах, тебе забор жалко? Где твой выbledок? Счас его спрошу!

— Глянь-ка, цаца майорская! — взвизгнула Катька. — Она спрашивать будет!

— Ты Саньку моего видела? Иди, посмотри! Твой кобёл хотел его повесить. Зарублю-ю падлу! Вот этой лопатой изрублю!

Катерина осела набок, словно ей подрубили ногу. Она никогда не видела Зинаиду Разину такой пугающе страшной. Даже в красноватом закатном свете было видно, как побелело матовое лицо; чёрные волосы без заколок то и дело сваливались на глаза, губы тряслись от ярости. Табачка поняла: сын опять устроил беду.

— Ой, што мне делать, Зина? — зарыдала она, схватившись за доски забора. — Нет его, поганца. Нет. Не знаю, как жить дальше. Вчера бабку толкнул — она лежит.

При виде Катерининых слёз Санькина мать стала приходить в себя.

— Сказала б тебе. Да ты всё равно не бросишь.

До этого она никогда не встревала в уличные конфликты сына. Считала: сами разберутся, и со взрослой стороны трудно понять, кто прав, а кто виноват. Но здесь дело выходило на убийство, и кого хотели убить — её сына! Зинаиду снова жиганул гнев.

— Уйми, Катька, своего...

Она хотела повторить: “выbledка”, но опомнилась.

— ...паразита! Укороти! Если чё с Санькой случится, я вас в клочки разнесу. Дом тебе подпало!

Но на этом дело не кончилось. Зинаида Разина сбегала ко двору Анисимовых. Грохотала щеколдой запертой калитки так, что в соседних дворах на заборах повисли любопытные. Витьку Заику дед упрягал в доме — на Зинаиду было страшно глядеть. Не то что попасть под руку, в которой она держала лопату. Дед Василий кое-как отбрёхивался, успокаивал соседку, но она пригрозила в случае чего Заику тоже изрубить.

До Слесаря на соседнюю улицу Санькина мать дойти не смогла. Возле калитки Гаврилы Плугина встала, как наткнулась на что, несколько раз раскрытым ртом рванула воздух и рухнула наземь, откинув в сторону лопату. Валентина Москва, стоявшая за забором, вскрикнула, выскочила на улицу.

— Беги к Марь Михалне! — скомандовала подбежавшему мужу.

Зинаиде дали нюхнуть нашатыря. Она вздрогнула, приоткрыла глаза.

— Чёй-т это со мной?

Гаврила, Валентина и присеменившая Санькина бабка Мария Михайловна довели Зинаиду до дома. Телефонов в частном секторе не было. Врача вызывали посылным. Поэтому от всех болезней лечили самостоятельно. Зинаиде накапали и налили всяких успокоительных жидкостей. Она спала с вечера до утра. Уходя на работу, осмотрела спящего сына. Царапины стали немного заживать. “Как на собаке”, — улыбнулась мать и пошла на железную дорогу.

Ничего этого Санька не знал. Обработав ссадины и царапины, приложив пятак к синяку, бабка дала ему успокоительного. Но то ли переборщила, то ли внук так основательно отошёл от нервного потрясения, только спал он долго и глубоко. Сквозь сон услышал Вовкин голос. Младший внук требовал от бабки вырвать листок в “кетрадке”. Она шикнула на него: Саньку разбудишь, и увела малыша во двор.

Но старший уже совсем проснулся. Хотел повернуться на бок, сморщился от боли и вспомнил, что произошло. Воззвание не сработало. Теперь надо было по-другому отстаивать свое место на улице. Как? — он не знал, однако понимал: если сдастся, на улице не жить.

Через три дня Санька впервые вышел за калитку. До этого к нему приходили Маркиз и Сазан. Во дворе до опупения играли в “чеканку”. У Сань-

ки была самая лучшая: мех длинный, кусочек свинца удачно расплюснутый, размером как раз по коже. Игра заключалась в том, чтобы как можно дольше не дать этому меховому парашютику упасть на землю. Ухищрялись, как могли. Надевали на правую ногу вместо сандалия кед или ботинок. Потом кто-то пошёл дальше: вместо ботинка напялил валенок. Взрослому народу это смотрелось нелепо. Август, безветренный зной, воздух кажется расплавленным до густоты. И в этой жаре — мальчишка в трусах, с босой левой ногой, а на правой — валенок, подкидывает ногой кусочек меха со свинцом, шепча счёт: “сто двадцать два”, “сто восемьдесят пять”, “двести двадцать три”. При всей ловкости в ботинке столько не набьёшь. В валенке — доводили до полутысячи. Если “чеканка” падала, проигравший снимал валенок, ложился в жидкой тени клёна, положив под голову валенок, и ждал, когда подойдёт теперь уже нескорая очередь. При этом мысленно повторял за игроком счёт: на десятку-другую запросто могли смухлевать.

Первое время Санька кривился от боли: трусы елозили по глубоким царапинам. Но азарт брал своё, да и содранная кожа быстро заживала.

Однажды калитку открыл Шурей. Маркиз и Сазан лежали под клёном. Санька “чеканил”. Увидев Шурея, поймал “чеканку”, подошёл к недавно закадычному другу.

— Чево пришёл?

— Да вот... Может, на плоты?

— Иди, иди отцеда. Тебя мама ждёт.

Теперь, выйдя через три дня на улицу, Санька первого, кого увидел — Шурея. Он нёс кружку воды от дома Кольки Бурого к Поляне. Там полудежали, полусидели Колька Москва, Бурый, Гешка Табак и Витька Заика. Видно, Бурый посылал Шурея за водой для больших пацанов. Невдалеке от кучки бегали друг за другом, прыгали Славка Немец, Сазан, Маркиз. Большие играли в карты. Азартно вскрикивали, били картами о землю. Вдруг Заика увидел Саньку.

— Г-г-глянь, кто идёт!

Он не успел ещё выговорить, а все уже повернули головы в сторону приближающегося Саньки. Тот шёл прямо на картёжников, никуда не сворачивая.

Те, кто видел, как Разя в прошлый раз стремительно разделался с трюми, тут же вскочили на ноги. Один Колька Бурый остался полудежать.

— Здравствуй, Саня! — вкрадчиво проговорил Москва. — Давно тебя не видели. Ты к нам?

Санька напрягся.

— Нет. Вон к ним.

Ему едва удалось сказать это спокойно и сделать несколько шагов в сторону остановившихся своих сверстников. Но тут подскочил Табак, схватил за рубаху.

— А долги, Разя?

Санька резко вскинул левую руку, отбил руку Гешки от себя. Правую он держал в кармане стареньких, коротких штанов, из которых успел вырасти. Там, в потном кулаке, он сжимал большой ржавый гвоздь, острие которого специально точил всё утро на кирпиче. Санька обречённо и в то же время неколебимо знал: если Табак ударит, он его будет тыкать гвоздём до тех пор, пока не сойдёт с ног.

Табак не ожидал такой реакции. Он развернулся, чтобы ударить, однако между ним и Санькой, сделав быстрый шаг, встал рослый Колька Москва.

— Подожди, Табак.

Колька специально назвал его кличкой. Глянув в бледное лицо Саньки, на котором из чёрного синячищи блеснул дикий взгляд, он почувствовал, что этот пацан сделает сейчас что-нибудь невероятное.

— Пошёл отцеда, гад! — толкнул Табак Кольку Москву.

— Чево, чево? Ты кому говоришь, вонючий Табачина?

К ним подскочил Витька Заика. Ростом он был меньше всех своих сверстников, с лицом маленьким, вроде как усушенным, и если не предполагал рядом силы, в драку не встречал. Но с большим сладострастием и угодливо-

стью затевал её, когда видел, что это получит одобрение сильных, их поддержку и продолжение. Москву Заика не любил. Тот, в отличие от Гешки, самого Витьки, Кольки Бурого, продолжал ходить в школу.

— Г-г-геша, я щас в-выровняю... Б-б-будет д-два “фонаря”.

Заика до сих пор хромал — ботинок у Саньки был, как железный. Однако подбежать к Разину не успел: Москва выбросил ногу, и Витька со всего маху, плашмя распластался на пыльной земле. Теперь у Кольки Москвы было два врага, и неизвестно, как повернулось бы дело, если бы к Поляне спешно не подошёл Колька Лизкин — старший сын Якова Плутина. Он сразу понял, что двоюродный брат в опасности.

— Ну-ка, ну-ка! Чево прыгаешь? — оттолкнул он Заику. Лизкин, как и брат, был рослым, кулачистым.

— Пристали к Саньке Разе, — сказал Москва. — Ты куда, Разя? К Маркизу и Сазану?

Мальчишка кивнул. Решимость, страх, злость — всё это ещё кипело в нём; кулак, сжимающий гвоздь, одревенел. Встретившись взглядом с Табаком, он не отвёл глаза. Наоборот, ожёг того яростью и даже пожалел, что Москва не дал им схлестнуться.

И Гешка, похоже, уловил опасность. Подвигал тонкими губами большого рта, прищурил маленькие глазки, как бы показывая свою снисходительность.

— Ты, Колька, выбирай слова. У нас с Разей был свой счёт.

— Был да сплыл, — сказал вместо Москвы Санька. Не вынимая кулака с гвоздём из кармана, он двинулся к своим, застывшим неподалёку. На пути к ним по-прежнему стоял Гешка Табак. Саньке ничего не стоило взять малость левой и обойти его. Но он поддернул штаны, нагнул к земле голову — бабка говорила: набычился, и пошёл прямо. Ещё немного, и он бы наткнулся на Гешку. Но тот увидел неукротимую исподлюбную решительность и быстро отшагнул в сторону.

Эпилог

Человеку всегда хочется узнать, что было потом. Но порой лучше не знать. Шурей — этот трусоватый весельчак, вырастая, начал пить. Рано женился. Родил двух красивых девчонок. По пьянке попал под трамвай — и на смерть.

Гешка Табак и Колька Бурый кончили жизнь в тюрьмах. Первый сначала сел за грабёж, второй — за драку. За что давали следующие срока, уже не знали и родные.

Молчан стал поваром, много лет ездил в вагонах-ресторанах.

Витька Анисимов — Заика, как ушёл вскоре после “казни” Саньки Разина в ученики слесаря, так и проработал всю жизнь по этой профессии. Говорят, был очень хороший слесарь.

Юрка Маркиз кончил строительный институт, поднялся до крупного начальника. Разин встречал потом его фамилию в местных газетах.

Славка Сазан вдруг ни с того, ни с сего пошёл в Дом пионеров, в кружок струнных инструментов. Закончил музыкальное училище, консерваторию, играл в оркестре с известными певицами. Одновременно не упускал возможности “лабать”* в ресторанах, “башлять”** на проводах “жмуров”***. Довольно быстро эта халтура стала основным занятием — с обильной выпивкой, трудным выходом из запоев.

Славка немец, как и отец, стал медиком. Только не санитаром, а врачом.

Про Кольку Москву — Николая Гавриловича Плутина — одно время говорили как про возможного кандидата в космонавты. Ещё в те космонавты — первые. Его мать, Валентина, как-то облокотившись по обычаю на за-

* Лабать — играть (муз. жаргон).

** Башлять — зарабатывать (муз. жаргон).

*** Жмуры — покойники (муз. жаргон).

бор, остановила Санькину бабу, стала рассказывать про сына. Говором быстрая, спешная, она, торопясь, то и дело проглатывала буквы. Говорила, что Колька — лётчик, хорошо живёт, имеет покладистую жену и вот теперь она — Валентина, ждёт, когда придут с внуками. Потом скорострельно подытожила: “Нет, Михална, всё жа Колька у меня пердовик”. Хотела сказать “передовик”, но подвела привычка. Санькина бабу, конечно, постаралась. Улица долго повторяла слова Валентины Москвы.

Разин так и не узнал, имел ли Николай Плутин отношение к космонавтике, но в мундире полковника авиации он сам Кольку однажды видел.

Что до Александра Николаевича Разина, то трудно сказать, где он сейчас. Был геологом, воспитателем, ходил в политику; поднимался довольно высоко вверх и падал глубоко вниз.

Но когда его пытались согнуть, чтобы выпрямить, он только бычился и каменел в убеждениях. А на предложения просить прощения у сильных в ответ слышали: “Не буду...”

Если встретите сегодня такого, быть может, это он и есть — тогдашний Санька Разин.



МИХАИЛ ТРОФИМОВ



ПО СВОЕЙ РУСИ ХОЖУ

* * *

Землицу-мать сосёт царевна рожь,
И вся земля — раскрытая душа,
Как с дерева, с меня стекает дождь,
С работушки иду я не спеша.

Уставшему рубаха тяжела...
Без дум и без печали, зная, живу —
Вот дышит поле, и гроза прошла,
Иду тропинкой — колосок жую.

Засветит ночь счастливую звезду,
Девчата песню старую споют —
Земля в цвету, земля моя в меду,
Родное поле и родной приют.

Счастливый я, любовь мою спроси:
В сверхскоростной и сверхбетонный век
Моя изба — окраина Руси,
В ней цену хлеба знает человек.

* * *

Вырастал я весёлым баловнем...
Средь лесов у меня на родине
Ангара течёт — свет Байкаловна,
Острова на ней все в смородине.

ТРОФИМОВ Михаил Ефимович — известный читающей России поэт, живущий в Иркутске. Автор многих стихотворных книг, член Союза писателей России.

Я, рождённый землёю дикою,
Жил в утробе лесной мальчишкою:
Туеса носил с голубикою,
С черемшой да с кедровой шишкою.

Все таёжные тропы ведомы,
В ручьевинах зимовья рублены.
Брал с собой рогатину дедову,
От клыков медведя в зазубринах.

Человечий детёныш хаживал —
А по следу зверь в ночь холодную
Пас меня добром, не вынашивал
Седомордый думушку злобную.

Всё-то зелено было, молодо...
Птица шла на улёт — прощалася,
На стожарах до зимнего холода
Нам по соколу оставалось.

Не хули, не брани меня, матушка,
Мне приснились сны звериные —
В яровых лесах леший мается...
Ухожу я верстами длинными.

ЛАПТИ

Шёл старик, да так устал —
Ни вздохнуть, ни охнуть.
Лапти мокрые он снял —
Пусть они просохнут.

Греть весною норовит
Солнце все росточки,
Он проснулся и глядит:
На лаптях — листочки.

Взял их, в землю закопал:
Картузом водицы
Черпал в лыве, поливал —
Может, что родится.

И босой ушёл, крестясь,
Сгорбленный и тощий,
Из лаптей поразрослась
Липовая роща.

* * *

Я давно с деревнею расстался
На брусничной зорьке ясна дня.
По родной округе стосковался,
Сердце испалилось у меня.

Городскую прокляну удачу,
На родном крыльце картуз сниму,
А увижу маму — и заплачу,
Старую, седую обниму.

Только, мама, не умри от счастья...
Стыдно мне, я землю не пашу.
И бываю у тебя не часто —
Горечью асфальтовой дышу.

Я вернусь, притихший и влюблённый:
Жаль дождя, что мочит лопухи,
Жаль щенят слепых и несмышлёных, —
Оттого в слезах мои стихи.

ГРАЧИ

Сестре Марии

К нам грачи в апреле прилетали,
На берёзах древних отдыхали,
Талую водицу в лужах пили
И за плугом бороздой ходили.

На коровах бабы зябь пахали,
Тонкой хворостинкой погоняли,
Плакали, бурёнок обнимали —
Плуг тянуть тяжёлый пособляли.

Мы с тобою, дошколята-крохи,
Собирали из земли картохи:
На боку холщовые торбинки,
Пили под кустом из рыжей крынки.

И доселе мне ночами снится —
Как летят на север наши птицы,
Как они кричат над полем нашим,
Где бурёнка с мамой землю пашет.

ТАЙГА

Тайга таит звериное тепло
И лютые извечные законы,

Их радости и беды мне знакомы —
Я греюсь у огня, мне повезло.

Здесь собственной шкурой всяк согрет,
Тайга, она людьми не так богата.

А зимовьё убого и щербато.
Но крепкое. На двести хватит лет.

Звериного лица не различить
За синевой окна, за сенью хвои,

Но снег скрипит, и, стало быть, нас двое.
Беру ружьё — убить иль не убить?

А стая птиц летела на ночлег,
Их тени по земле вослед бежали —

А люди им, крылатым, угрожали,
Как будто всех не породнил ковчег.

Как будто стало на земле тесней,
Лесами рыскаем, на небесах летаем —

Пугливую добычу настигаем,
Клюём, грызём, рычим, играем с ней.

Я сам бедой звериною брожу,
Таёжные припоминаю встречи.

Зверь раненый кричит по-человечьи,
И я, как зверь, его побег слежу.

ДМИТРИЙ ИГУМНОВ



НОЧНОЙ РАЗГОВОР

РАССКАЗ

— Какой это паразит звонит? — с негодованием подумал я, вставая с постели. — Только удалось заснуть, а здесь нате, пожалуйста, понадобился кому-то в такой час.

В комнате, правда, не было темно, несмотря на погашенный свет. В этот поздний летний вечер ярко светила луна.

Я взял телефонную трубку и, не скрывая недовольства, сипло сказал:

— Алло!

— Привет, дружище! — прозвучал радостный голос Ильи, моего старого приятеля, сотоварища по учёбе в институте. — Ты небось уже дрыхнешь? Так что извини! Я только что прилетел из Штатов и не стерпел... Извини ещё раз. Что нового? Как живёшь? Что делаешь?

— В основном сиплю, а ты вот будишь!

— Да ладно тебе. Завтра выспишься. Завтра же выходной, кажется. Праздник “День освобождения России”?

— Какой день освобождения? — Я попытался сосредоточиться и вспомнить о празднике.

— Какой, какой? Да самый настоящий! Правда, сейчас власть имущие стали его называть “Днём России”. Но исконное название “День освобождения”... Это, с позволения сказать, отражает его истинную суть... Ты что, ещё дрыхнешь?

Нет, я уже не спал, но полностью воспринять сказанное Ильёй ещё был не готов:

ИГУМНОВ Дмитрий Васильевич родился в Москве в 1937 году. Служил на Балтийском флоте. Окончил Всесоюзный заочный энергетический институт. В настоящее время преподаватель Московского института радиотехники, электроники и автоматики. Автор книги прозы “Рыжий”. Живёт в Москве.

— Ну ладно, валяй, великий математик, рассказывай про завтрашний праздник.

— Это будет праздник печали и национального унижения...

Илья был действительно выдающимся математиком. Обладая всяческими учёными званиями и титулами, правда, в основном полученными от иностранных университетов. Последнее время в России Илья бывал нечасто: его талант оказывался востребован во многих странах мира, но не на Родине. В то же время процессы, происходящие у нас, не просто волновали его — он “жил” ими. Он был не только выдающимся математиком, но и выдающимся патриотом.

— Какой печали? — недоумевал я.

— Вот и послушай человека, постоянно тоскующего по Родине! — Как полагается научному работнику, он начал издавека: — Представь себе человека, потерявшего руку или ногу. А после этого он стал бы ежегодно отмечать это событие, выражая бурный восторг по поводу освобождения от своей конечности. Согласись, так вести себя может только пациент дурдома. Полагаю, здесь всё ясно? — удостоверился Илья. — Теперь другой вопрос, сложнее. В какой стране существует общенародный праздник, знаменующий потерю больших территорий? Причём многие из этих земель издревле входили в состав государства, и все они обильно политы кровью его народа. Не надо долго думать. В мировой истории только один пример — современная Россия. В день такого освобождения в Кремле устраиваются банкеты, приёмы, вручаются ордена, а на площадях городов проходят народные гулянья... Прав поэт: умом Россию не понять, — горестно добавил Илья. — Да к тому же это день освобождения от наших соотечественников, ставших теперь иностранцами!.. Что молчишь? Покритикуй мои рассуждения.

— Что тут сказать? Грустно всё это, но ещё грустнее, что мало кто из нас задумывается об этом. А ты, Илья, там, в капиталистическом рае, встречал единомышленников?

— Везде люди разные. На удивление — разные. Есть у меня один знакомый, тоже математик, уехавший на постоянное место жительства в Израиль. Сам он по национальности еврей, а жена у него русская. Так вот, мой коллега страшно тоскует по России и, как он мне рассказывал, постоянно молится о ней. Интересуется всем, что с ней связано: радуется её успехам и переживает неудачи. А его русская жена не может нарадоваться на свою новую жизнь, а про Россию вспоминает почти с ненавистью.

— Дура, она и есть дура. Здесь всё понятно. А вот твой коллега — странное существо.

— Не такое уж странное. Национальность, конечно, многое определяет, но далеко не всё. Одни люди, навсегда покинув Родину, потом о ней почти не вспоминают. А других нещадно мучает ностальгия. — Илья усмехнулся. — Взять хотя бы меня. Сколько унижений испытал я в России, чтобы пробить собственную тему. А на Западе мне предлагают все условия для работы и нормальной жизни. Но я вот, придурок, проживу пару недель вдали от Родины, и хоть стреляй: тянет домой. Как наркомана к зелью... А прилетаю на Родину, звоню своему другу, — тон Ильи стал окрашиваться игривыми оттенками, — и, оказывается, мешаю ему спать.

— Да ладно тебе... Лучше расскажи, что там интересного, за кордоном?

— Интересного? Самое интересное обычно случается в России... Ты ведь помнишь наших сокурсников Толю Крохина и его подружку Симу Сгудицкую? Так вот, они не только семейная пара, но завели прибыльный бизнес. Но ещё интереснее: их отпрыск стал очень богатым и влиятельным человеком в России. А мы-то раньше смеялись над ними, мол, посредственность...

В нашей студенческой группе эта пара часто вызывала снисходительную улыбку. Тихий и тощий Толик был по уши влюблён в игривое и нахальное создание, которое звали Симочкой. На первый взгляд могло показаться, это совершенно разные люди, но только на первый взгляд. Каждого из них мы плохо понимали: слишком примитивны были их суждения. Но зато они-то

прекрасно чувствовали друг друга даже на значительном расстоянии... Азы науки постигали они тоже своеобразно. И не без помощи сокурсников.

При сдаче экзамена почти по любому предмету первым в аудиторию входил отличник Илья. Он подходил к столу преподавателя и ухитрялся взять из разложенных веером экзаменационных билетов не один, а два. Делал он это мастерски. Затем почти без подготовки Илья отвечал на вопросы одного из билетов и, получив законную пятёрку, выходил в коридор, где его с нетерпением ждали... Другой, оставшийся билет наш лидер отдавал Толику. Толика тут же натаскивали по конкретным вопросам конкретного экзаменационного билета.

В конце экзамена в аудиторию заходил студент Крохин и, совершив нехитрую манипуляцию с билетами, отвечал экзаменатору. И даже в таких случаях иногда ухитрялся получать “неуд”. После такого “неуда” в дело вступал актив группы, где ведущую роль играла Симочка. В конце концов, после нескольких попыток Толя получал вымученную тройку.

Знания самой Симы едва превосходили знания её сердечного друга, но она как-то умудрялась сдавать экзамены с первого захода.

На одном из очередных экзаменов по электронике Симе достался билет с задачкой “по расчёту времени рассасывания в транзисторном ключе”. Это время во многом определяло быстрдействие цифровых устройств, а рассчитывалось оно по весьма простой формуле. Да, эта формула была простой, но не для Симы...

Преподаватель терял терпение и почти кричал:

— Ну, чему, чему равно время рассасывания?

Симочка, нежно потупив свои нахальные глазки, вдруг выдала:

— Время рассасывания равно времени засасывания.

После такого нестандартного ответа студентки старичок преподаватель глубоко вздохнул и вывел в её зачётной книжке: “удовлетворительно”. Видно, стало жалко губить такое дарование.

После окончания института мы частенько цитировали высказывания Симочки, и особенно историческую фразу о времени рассасывания.

...Воспоминания о студенческих годах могли длиться часами. В окне уже не стало видно луны, время летело, а мы с Ильёй не могли наговориться.

— И как ты, великий математик, объяснишь тот факт, что два умственно скромных человека смогли породить удачливого сына? Его фамилия в списках членов Государственной Думы... Как это согласуется с законами генетики?

— Про генетику не знаю, — отвечал Илья. — А по законам математики всё элементарно. Если одно отрицательное число умножить на другое, тоже отрицательное, получим число с каким знаком?

— Со знаком успешного бизнесмена и депутата!

— Вот именно! Математика — великая наука!

На высокой ноте во славу математики и закончился наш ночной разговор. Илья обещал позвонить следующим вечером, перед отъездом. Он опять отправлялся за рубеж, на этот раз в Женеву.

Миновал праздник “День освобождения...”, и вечером, поздним вечером, мы были опять с Ильёй на проводе.

— Не злись, что опять звоню поздно. Совсем затыркался, — традиционно извинялся Илья. — Катастрофически не успеваю. Поэтому очень быстро — об одной заморочке. Слушаешь? Вспомнился мне один японский физик-теоретик, который рассказывал, что по-японски он думает только в обычных жизненных ситуациях. Когда же этот японец занимается физикой, мыслит исключительно на английском языке.

— А как ты? — не удержался я с вопросом.

— В том-то и дело, я хорошо знаю английский и неплохо ещё несколько европейских языков. Но всегда думаю только по-русски...

Я услышал в телефонной трубке, что кто-то окликнул Илью.

— ...Извини. Торопят, пора в аэропорт... Поэтому очень кратко. Только резюме. Если наш соотечественник уехал в Америку и стал там думать по-

английски, он превратился в американца. Если он живёт там, а думать продолжает по-русски, это переселенец, он не сможет стать там счастливым. Как был, так и останется нашим — и телом, и духом. Вот я почему не могу надолго покидать матушку Россию.

Ещё несколько дежурных фраз, и наш разговор закончился. Должно быть, Илью уже мчала машина в аэропорт, а я всё ещё сидел у телефона. Мне представлялся большой светлый зал научной конференции, где в центре внимания был мой друг. К нему подходили люди, приветствовали его на разных языках. Он отвечал им — на английском, немецком, испанском, французском... И никто не догадывался, что этот выдающийся математик думать умеет только по-русски.

СЕНЕЧКА

РАССКАЗ

В мерцающем сознании Василия Александровича проносились картины не только из реально прошедшей жизни, но и случались совершенно непонятные видения. Были они порой достаточно яркими и эмоциональными, что приносило старику даже интерес, разнообразие в его безысходном, отрешённом состоянии.

Василий Александрович уже давно и тяжело болел. Даже вставать со своего ложа приходилось через силу, по крайней необходимости.

Но несмотря на безнадежность положения, одинокий старик категорически отвергал предложения врачей и социальных работников покинуть квартиру и перебраться в дом престарелых или подобное заведение. Он не только не хотел, но и был не в силах оставить всё то, что ещё теплилось в окружающем его прошлом. Даже стены с поблёкшими обоями, не говоря уже о фотографиях и картинах-вышивках покойной жены, сохраняли связь настоящего с прошлым, дорогим прошлым...

Старик мог часами созерцать серую морозную дымку за окном, просто так, почти ни о чём не думая. Мог смотреть на морозный иней, который лепился вокруг рамы, потому что часто приходилось открывать окно для проветривания.

Так проходили дни и недели, пока первые мартовские капли не просигналили о приходе весны.

Странно устроен мир. Весна, весна! Что ты приносишь с собой? Ведь, несмотря на ухудшение состояния и усиливающиеся боли в груди, образы временами вспыхивали в сознании не только ярче, но и радостнее. Вспомнились эпизоды из далёкой юности, чаще всего дурачкие... Василий Александрович лежал иной раз с застывшей улыбкой на лице.

Вот неожиданно вспомнился философствующий приятель Валька Басов. “А знаешь, почему весной девчонки становятся особенно манящими? — объяснял он весеннюю тягу к женскому полу. — Всё очень просто. Раздеваются они весной! Снимают пальто и другую верхнюю одежду. Вот и всё. Факт! Никакое пробуждение природы и игра гормонов здесь ни при чём!”

... — Цилип-тип, цилип-тип! — раздалось совсем рядом. Что за странные звуки из заоконного мира? Василий Александрович повернул голову, увидел птичку.

На козырьке с внешней стороны рамы сидела, вернее, постоянно крутилась, шустилась синичка. “Цилип-тип, цилип-тип”. Незамысловатое пение

птички было радостно и беззаботно. Старик с увлечением смотрел на пернатую гостью...

— Откуда ты взялась, Сенечка?

— Цилип-тип! Да вот прилетела тебя проведать. Как ты тут? Совсем скис? — ответила Сенечка тонким голосом, но мыслями старика...

“Ну вот, — вслед за этим подумал Василий Александрович, — и впрямь скис, если стал разговаривать сам с собой голосом птицы...”

— Не кисни! Весна наступает. Позови родственников. Закати пир... — посоветовала Сенечка и упорхнула.

Василий Александрович попробовал вспомнить всю свою родню. Кто, где? Выходило, что созывать на пир практически некого. Старший сын Василия Александровича, Павел, морской офицер, погиб ещё в советское время на больших военно-морских учениях. Погиб, не оставив после себя даже могильного холмика. В письме от командования говорилось о подвиге, который совершил его сын. Оставшиеся после этого горечь и гордость одновременно уживались в больном сердце старика. От младшего сына Олега осталась только горечь стыда и вины. Олега застрелили в бандитской разборке в середине девяностых, в самый разгул ельцинского правления. Семьи у Олега не было, а семья Павла — сноха и внучка настолько отделились от старика, наверное, создали новую семью, что от них — ни слуху ни духу. Весь смысл существования Василия Александровича в последние годы держался на жене. Но недавно её не стало. Вот и наступило одиночество, полное одиночество.

Василий Александрович никогда прежде не задумывался об этом. Надеялся, что его это не коснётся, обойдёт. Но теперь к нему подбиваются социальные работники, чтобы сбавить в соцприют, как немощного старика-одиночку...

— Что ты, старик, жалуешься на жизнь? А каково нам, птицам? У нас нет крыши над головой... Ветер, холод, снег... А пропитание? А кошки? Эти зловредные кошки!

— Не бойся, Сенечка, у меня нет кошки, — Василий Александрович рассмеялся.

Синичка опять прилетела к нему на карниз:

— Цилип-тип, цилип-тип...

Василий Александрович заметил, что Сенечка постоянно оглядывается, суетится, что-то ищет будто бы.

Да ведь она есть хочет!

Чтобы как-то загладить свою недогадливость, Василий Александрович тяжело поднялся с постели и побрёл на кухню. Здесь он набрал горсть хлебных крошек. Но когда вернулся из кухни в комнату, синицы уже не было.

— Где ты, Сенечка? — вздохнул старик. — Улетела, шалунья?

— Да. Полетела проведать подруг и своего друга. Весной каждая птица находит себе друга... Пока-пока.

— Пока-пока...

Он опять поговорил сам с собою — и за себя, и за Сенечку и улёгся в постель.

“Старый стал я и бестолковый. Синицы же обожают сало! Надо раздобыть для Сенечки...”

Раздобыть лакомство для синицы можно было через Асю.

— Что? Зачем вам сало? Вам же врачи строго-настрого запретили такие деликатесы...

Пожилая и ворчливая Ася была прикреплена к старику в качестве социального работника. Она поддерживала относительный порядок в квартире, приносила простенькие диетические продукты, ходила в аптеку за лекарствами. А тут вдруг сало?

Но Василий Александрович настоял на своём. И вскоре кусок лакомства ждал Сенечку. А Сенечки всё не было...

Старик даже выложил маленький кусок сала на карниз. Но синица не прилетала...

— Где ты, где ты, щебетунья? Где ты, моя Сенечка? — сокрушался старик.

Он предчувствовал что-то неладное. Неужели злые кошки или дети с рогатками, или... Где же ты, Сенечка?

Так, в бесплодном ожидании, прошло несколько дней.

Странно, думал Василий Александрович, он прожил долгую жизнь, у него была семья, были друзья, даже остались дальние родственники, а ему интереснее всего судьба какой-то синицы, он ждёт её, словно друга или родственнику...

Разумеется, Василий Александрович понимал, что птичка-синичка символ, знак... Он даже загадал: если вернётся Сенечка, он ещё встанет на ноги!

Душевное уныние старика сказывалось на физическом здоровье. Он уже почти не вставал с постели, а если и приходилось это делать, то — с превеликим трудом. Старик по-прежнему ждал синицу как избавление от недуга, как единственный светонесный луч в сумраке инвалидной, одинокой жизни.

Проходили дни. Весна всё больше вступала в свои права. А Сенечки не было. Временами в полумистической дремоте старику мерещились невнятные видения, сопровождающиеся милыми его сердцу звуками: “Цилип-тип, цилип-тип”. Он опять начинал говорить за себя и за птицу, но когда открывал глаза и воспринимал явь, как она есть, синицы на карнизе не находил...

Уже последние силы стали покидать старика. Он перестал ощущать время. День и ночь сливались в сознании. Но про Сенечку старик не забыл. Он просто знал, что его драгоценная синичка попала в беду, ей надо помочь.

Василий Александрович собрался с силами и пошёл на кухню. Вскоре дрожащая старческая рука положила на карниз за окно очередной ломтик сала.

— Неужели всё напрасно? А, Сенечка? Ведь в жизни всё проходит и со всем приходится смириться. Я сам потерял самых близких людей. И вот видишь, свылся, смирился... Так устроен мир. Пройдёт время, и обо мне, Сенечка, тоже никто не вспомнит...

— Я вспомню! Я вспомню! Я вспомню! Цилип-тип, цилип-тип! — прилетело в приоткрытое окно.

На карнизе опять была его дорогая Сенечка. Она вертелась и прыгала, она клевала сало, она щебетала своё неизменное “Цилип-тип, цилип-тип!”

— Прилетела, жива! Значит, и я буду жить, — встрепенулся и заулыбался Василий Александрович. — Будем жить, Сенечка?

— Будем жить, дедуля! — радостно отозвалась синичка и, сытая, резвая, упорхнула по своим делам.

Старик лежал очарованный и счастливый. Старику было совсем невдомёк, что прилетела к нему не Сенечка, а другая синица. Да и зачем ему было знать об этом.

— Будем жить, Сенечка! Обязательно будем жить.

СТУДЕНТОЧКА

РАССКАЗ

Хотя моросил дождь, Пётр Васильевич, как вышел из института с кепкой в руке, так и продолжал идти... Всё перемешалось в голове: и прошлое, и настоящее, и мечты, и поиск выхода из сложившейся ситуации. Где-то проблескивало польщённое самолюбие, но оно тут же загуманивалось вихрями взбудораженной совести.

В самый разгар трудового дня после очередной лекции Пётр Васильевич, как обычно, зашёл на кафедру, чтобы немного передохнуть. Хотелось посидеть с закрытыми глазами в стареньком кресле, приткнутом в уголке уютно-закуточка, отгороженного от официального помещения книжными шкафами. Однако на этот раз спокойно провести межлекционный тайм-аут не получилось. Его дождалась незнакомая женщина, мать одной из его студенток, Ольга Андреевна.

Со слезами на глазах она долго и эмоционально рассказывала, что её дочь Таня безрассудно влюбилась в своего преподавателя, а именно — в него, Петра Васильевича. Рассказывая про увлечение дочери, Ольга Андреевна взывала к совести и даже пыталась угрожать. Последнее было уж очень неприятным.

— За кого вы меня принимаете? — возмутился Пётр Васильевич. — У меня дочь ровесница вашей Тане...

В конце концов Пётр Васильевич постарался успокоить хнычущую Ольгу Андреевну да и самому обрести здравое рассудительное состояние.

Он не был примерным семьянином, но всё же, по его собственному выражению, “никогда не опускался ниже ватерлинии”. Он попытался представить себе влюблённую в него девушку. Впрочем, это не составляло особого труда: девушек на этом техническом курсе было немного, в основном — ребята. “Конечно, это та Таня, большеглазая студентка. Всегда сидит на первом ряду и сверлит меня взглядом...”

Пётр Васильевич невольно отметил, что эта Таня здорово похожа на свою мать, которая только что взывала к его совести. Он искренне пообещал исправить положение и никоим образом не способствовать увлечению студентки.

Прежде всего, решил Пётр Васильевич, надо договориться с кем-нибудь из коллег о рокировке лекционными потоками. Лучше всего с Маратом Садыковичем, он читает подобный курс на параллельном потоке. А ведь между тем сам Марат лет десять тому назад оказался в подобном положении. И воспользовался симпатиями студентки!..

“Тогда было совсем другое время, — подумал Пётр Васильевич. — Мы были ещё молоды и ненамного старше своих студентов. А теперь? А теперь в подобную ситуацию может попасть и моя Настя”.

Мысли о своей единственной дочери, студентке второго курса, окончательно убедили Петра Васильевича отстраниться, ничем не провоцировать, не распалить чувств влюблённой в него студенточки Тани...

Таня, студенточка Таня. Как это было давно! Почему “студенточка”, а не “студентка”? Об этом нужно спросить у Петра Лещенко. Почему он в одной из популярных песен времён юности Петра Васильевича так страстно воспевал именно студенточку?

Студенточка. Заря вечерняя...

В те далёкие годы студенточка Таня стала первой любовью Пети. Первой и безответной. Сладость открытого радостного чувства оказалась отравленной жёсткой отвергнутостью. Таня была дочерью крупного воинского чина. Вежливо, но красноречиво она показывала своим поведением, что её не интересует простой рабочий паренёк Петя...

А Лещенко всё продолжал надирать душу:

С трэвогю я ожидал тебя...

С той поры прошло много лет, и вот — надо же! — опять студенточка Таня. Ситуация отчасти повторяется, только теперь — наоборот... Сколько на свете этих Тань! И какие они разные: от пушкинской Татьяны до совсем непутешинских.

Петру Васильевичу вспомнился разговор, свидетелем которого он оказался совершенно случайно. Отдыхая в перерыве между лекциями за книжны-

ми шкафами в уголке кафедры, он почти задремал. Звуки открывающейся двери и голоса двух женщин, пришедших на кафедру, пробудили его. Одна из них, которую звали Татьяной — Татьяной Михайловной, — говорила своей собеседнице:

— Иметь одного любовника? Только одного? — Здесь она перешла на возмущённый шёпот. — Это просто неприлично!

Женщины вскоре ушли, так и не заметив затаившегося в закутке коллегу.

Промокший Пётр Васильевич всё в том же отрешённом состоянии добрался до своего дома. Поднявшись на свой пятый этаж, он ещё какое-то время потоптался на лестничной клетке, будто не хотел заносить свои мысли в квартиру. Наконец он нажал кнопку звонка.

Дверь открыла Настя.

— Ой, папуля! Что с тобой? Ты как человек-амфибия... Тебе срочно нужно горячего чаю! А то заболешь...

Слушая родной звонкий голосок, Пётр Васильевич улыбался и продолжал стоять в дверном проёме:

— Ну здравствуй, студенточка!



ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ



ЗАПАХ
ВЕСЕННИХ КОСТРОВ

РОССИЯ

Вот опять этот запах
весенних костров,
Но надежды на лучшее
нам не обещаны.
Дни летят. И как будто вчера
был Покров,
А сегодня весна.
Благовещенье.
Православные люди потянутся
в храм.
Дожились — даже нечего
нищим подать!
Как бы нас ни теснили,
но верится нам —
На святую Россию
падет благодать.

ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ Валентина Юрьевна родилась в Омске. Окончила Омский техникум советской торговли, Московский коммерческий институт, юридический факультет МЭСИ. Председатель правления Омской областной общественной организации СП России. Печаталась в альманахах «Иртыш», «Мир увлечений», журналах «Литературный Омск», «Сибирские огни», коллективных сборниках. Автор трех поэтических книг. Член Союза писателей России. Живет в Омске.

НА ГОРЕ ПИКЕТ

Здесь Катунь по-прежнему шумит.
И леса неведомо колдуют...
На пригорке памятник стоит,
Где ветра алтайские кочуют.

Отзвучала жизнь его, как песнь
Родине, что он любил до боли.
И его душа летает где-то здесь,
В многотравье, где так много воли.

В разнотравье тонут берега,
Ветер ивам косы заплетает.
Облака пушистые бока
В стылой речке день-деньской купают.

Солнце в гору ласково ползёт,
Омывая бронзовые ноги...
Никогда он больше не пройдёт
В дом родной с пригорка по дороге.

Не попьет колодезной воды,
Анекдот соседу не расскажет...
Но калины майской белый дым
Для других свои соцветья вяжет.

Горицвет кочует на ветру,
Васильки глазастые беспечны...
Здесь в июле рано поутру
К памятнику шли мы бесконечно.

И цветисто у трибун присев,
Приминая осторожно травы,
Слушали поэтов и напев
Ветра у Катуньской переправы.

Барнаул 15.08.08.

* * *

Незабвенное детство, —
Мир желаний и грёз.
Мне досталось в наследство:
Стылость русских берёз,
Гонор зимнего ветра,
Шаловливых проказ,
Косы русого цвета,
Серость дедовых глаз.
Пусть лукавинка дремлет
В уголках моих губ.
Я пророчеством древним
Согреться могу, —
В нём я черпаю силы
Для любви и утрат...
Из загадок России
И меня не убрать.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 14. Рать солнценосцев

В начале 1917 года в Петрограде выходит первая книга о Клюеве. Точнее, не столько полновесная книга, сколько статья о нём в отдельном издании — “Обрётённый Китеж” поэта Бориса Богомолова.

Многое в этой статье шло, бесспорно, от самого Клюева. Изнемогший от “понимания” его поэзии “собачьей публикой”, из которой не выветрился “салтычихин и аракчеевский дух”, он в личной беседе подробно изложил молодому поэту основные принципы своего “жизнетворчества”. Проникшийся стихами Николая и беседами с ним, Богомолов дал волю не столько анализу и разбору, сколько своим чувствам и впечатлениям. И получился настоящий величественный гимн русскому поэтическому слову, который и ныне не вредно внимательно перечитать.

“... С запада не так давно к нам хлынул поток гнойной мути порнографии, которую процедили “в лабораториях поэзии” дипломированные мастера словесного искусства и влили в народ. Это ли не позор? Русь органически не могла принять и впитать в себя такое творчество и с негодованием его отвергла, убегая от него, как от заразы. Газеты и журналистика выдвинули марионетствующих болтунов, наделив их золотом. Талантливые поэты продавали великий дух и благородную мысль и пели, надрываясь, о сладости экзотики, пока, обессилев, не уходили в кабаки, чтобы — приняв наркоз — снова кричать “о фиолетовых ногах на эмалевой стене”.

В таком бутафорском венце уходит в забвение истории кафешантанная цыганка современной “русской” поэзии, под свистопляску неврастеничных алкоголиков и наркотиков, подбадриваемых улюлюкающими репортёрами и шамкающими муслявыми старикашками...

Жизнь и её миражная красота в мироздании поэтов современья уже всем известна: наркоз им в несколько часов создавал такие картины, такие образы, такую музыку, что многим казалось даже странным называть такое творчество нормальным. Логика ясно подсказывает, что если ширь и сила творческого взмаха прорывает оболочку нормы, расширяя крепки и грани изжитых миром форм, значит, творчество таковое есть ничто иное, как явление гения... Гипноз минутного очарования, к счастью, у многих быстро рассеялся, ибо сама жизнь в скором времени разрушила все их розовые иллюзии, повергавшие их в припадки истерии и увлекавшие к пропасти безумия...

Что говорить — впечатляющая картина. Будто и ста лет не прошло с тех пор, как вышли эти строки из-под пера впечатлительного стихотворца, не пощадившего и самого Блока:

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–2 за 2010 год.

“Талантливейший, претендующий на лавры универсальности, русский поэт с громким именем, которым была открыта и замкнута целая эпоха русской лирики, и тот не устоял перед хмелящими чарами знойной похоти, воспевая в буйных песнях разнузданный утончённый разврат”.

Этот разврат живёт в той среде, которую Клюев описал ещё до войны в статье (скорее, стихотворении в прозе) “Пленники города”.

“Они... стоят, молодые, с нафабранными усами или безусые вовсе, пожилые, с сивой щетиной на подбородке, с опалёнными уличным зноем ржаво-красными шеями и щеками. Полдень. Мутно жёлто-горячее небо, воздух сух и угарен, пахнет человеческим потом и ещё чем-то, от чего слегка кружится голова и во рту становится тошно... Неслышны и мертвы пепельно-серые деревья бульвара. Сквозь подошвы сапог чувствуется, как горяча мостовая, деревянный стук пролёток, острый, напоминающий звон кандалов, лягз трамвая, сверкающие глянецом и позолотой экипажи и в них что-то... мёртвое...”

Они стоят. Я ничего в мире не видел ужаснее их стойки! Всем чужие, бесконечно одинокие, они целые годы стоят на углах улицы, таскают куда-то смрадных, опухших пьяниц, вытягиваются “господам”...

Пленники города – вечное напоминание людям о Великой Несправедливости, о духе “Зверя из бездны”, о печати антихриста, несмылаемо чернеющей на каждой тумбе, на каждой вывеске, неистребимо живущей в шумах толпы, медных вздохах уличного оркестра. Они стоят – Сыны Ужаса, холодного, чёрного Отчаяния...”

И мнится – Богомоллов пишет о ней буквально языком старого клюевско-го сочинения.

“Гигантские каменные чудовища – чрева алчных городов, где железным лягом оглушена и задавлена великомученица-любовь, где на смертный стон и величайшие страдания никто не обращает никакого внимания, – осатанелые улицы нагло хохочут над поруганной святыней народной красоты – над национальной великой душой. Она очами молний узрела всю потрясающую ложь современной культуры. Увидела, кто такие, которые развращают Русь...”

Воплощением же “пробуждения русского национального самосознания” и “подъёма духовных сил Руси” Богомоллову видится один-единственный на фоне мрачной и удручающей картины современной литературной жизни – Клюев.

“Путь Руси – путь Христа сквозь эпохи тысячелетий... Будда, Магомет, Конфуций – всё это мистические воплощения мировой мученицы – мысли. Тяготение к Солнцу жизни видится – сквозь призмы истории – в душе всех племён и народов. Тоска людей по идеалам, увенчанным любовью, изваялась в многоликие музыкальные апофеозы слова, осиянные ореолом народного поклонения и волхвующие над ними своими сказаниями, исполненными загадки и трепета...”

И внезапно, словно титанический вздох земли, выбросившей раскалённую лаву из своих недр, из глубины Руси, хлынул и бьёт неудержимый вулкан творчества Николая Клюева. Творчество его поистине стихийно. Он – песнослов народной красоты. Сказитель русской души, возрождающий избяную великую Русь – в глазах изумлённых современников – своим художественным сказом, сохранившим в своих родниках подлинный народный дух, его волю и чаяния, его творческую самобытную силу и преемственную мощь великих кудесников русского слова... Русь с её верованиями, сказаниями, легендами и наговорами безгранично прекрасна. Грубость её – не врождённая грубость; она – плод той лживой человеческой культуры, которая сдавила душу народа в своих ржавых объятиях, пытаясь её обессилить и обезличить... И ныне Руси пришло время серьёзно задуматься над тем, как сохранить свой обаятельно-прекрасный лик, отражённый в народном творчестве...

В буйном огневороте гибнут целые народы с их бесмертными памятниками литературы и искусства. В этот пророческий час страстотерпица Русь из вековой глубины северных лесов после долгого молчания услышала свой подлинный родной русский сказ, что стародавний сладостный гусельный перезвон... Николай Клюев – единственный в созвездии современной поэзии, кто сумел сохранить свой изумительный творческий дар нетронутым растлевающим Западом.

В его песнях и сказах во всей несказанной красе и величии восстают и вздымают свои золотые наглавия, словно из подводного невидимого града

Китежа, вековые стародавние русские святыни. Зовут истосковавшуюся по солнцу душу в свою благодатную сень – к подвигу созерцания красоты и величия народного гения. . . Николай Клюев – предтеча возрождения Руси. . . По силе величия и мощи выявления русского поэтического духа – Клюев недосягаем. Он потряс нашу литературу, приковав к себе поражённое внимание всех выдающихся своих современников. . .

Русская земля подарила нам своего поэта-сказителя Николая Клюева. Из живоносных непомерных глубей его творчества она, духовно взалкавшая, ныне утолит свою национальную жажду. . .”

Кажется, что иные фрагменты этого сочинения если и не написаны под диктовку Клюева – то взяты с его губ, без особенной литературной и даже синтаксической обработки. . . Те, что касаются города, интеллигентской поэзии и Руси – “осиротелой вдовицы”. Все же восторженные слова о самом поэте – богомолвские – выдержаны в заданном Клюевым ключе. . . Только сам поэт знал – насколько этот “прижизненный памятник” отличается от настоящего Клюева, такого, каким он был на рубеже 1916–1917 годов.

Уже с началом войны в его поэзию стали властно вторгаться ноты, исходящие из адских глубин. Дьявольские видения посещали ещё не часто, но таили в себе страшный соблазн.

*Неугасимое пламя,
Неусыпающий червь...
В адском, погибельном храме
Вьётся из грешников вервь.*

*В совокупленье геенском
Корчится с отроком бес...
Гласом рыдающе женским
Кличет обугленный лес:*

*“Милый, приди. О, приди же...”
И, словно пасечный мёд,
Пёс огнедышащий лижет
Семени жгучий налёт.*

*Страсть многохоботным удом
Множит пылающих чад,
Мужа зовут Изумрудом,
Женщину — Чёрный Агат.*

*Сплав Изумруда с Агатом —
Я не в аду, не в раю, —
Жду солнцеликого брата
Вызволить душу мою...*

Адская похоть, окружающая поэта и разъедающая его изнутри, – угроза всему Божескому и человеческому, что готова поглотить волна дьявольского сладострастия. . . Пытка – физическая и душевная – переходит ту грань, когда начинает становиться наслаждением, и, в ужасе от этого наслаждения, взывает к Господу испытуемый.

Взывает. . . В поисках улады духовной, дабы бесплотный поцелуй заглушил физиологическое томление, бушующее по зову беса.

Бесплотный. . . Но принимаемый, как земная ласка.

*“Милый, явись, я — супруга,
Ты же — сладчайший жених.
С Севера — с ясного ль Юга
Ждать поцелуев Твоих?”*

*Чрево мне выжгла геенна,
Бесы гнездятся в костях.*

*Птицей — волной белопенной
Рею я в диких стихах.*

*Гибнут под бурей крылатой
Ад и страстей корабли...
Выведи, Боже распятый,
Из преисподней земли”.*

Это стихотворение войдёт в цикл “Спас”, созданный в 1916–1917 годах, где хлыстовские мотивы в последний раз со всеокрушающей силой завладеют поэтом — и его Спас будет говорить, как говорил некогда “старец с Афона”, увещавший Николая, что тому “нужно во Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому Христом быть”. Старец, который надел на Николая “образок из чёрного агата” (“Мужа зовут Изумрудом, женщину — Чёрный Агат...”) с надписью “Серис биди Шамаим”... И уже “облекавшийся во Христа” Николай, словно вслушиваясь в прежние влекущие слова, пишет своего — “вселенского Спаса”, вмещающего в себя невмещаемое.

*У мужицкого Спаса
Крылья в ярых крестцах,
В пуне перьев запасы,
Чтоб парить в небесах.*

*Он есть Альфа, Омега,
Шамаим и Серис,
Где с Ефратом Онега
Поцелуйно слились.*

*В нём Коран и Миня,
Вавилон и Саров
Пляшут пляскою змея
Под цевницу веков.*

Если “в начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог” — то Слово обладает даром рождения “новой земли и нового неба”. “Женщина — Чёрный Агат” — сопрягается с Богородицею, как “Матерью-Супругой” Иисуса Христа. И Клюев, ощутивший в себе “женское” начало, как дар родительства — рождает своего мужицкого Спаса: “Я родил Еммануила — Загумённого Христа”, который

*...за сошенькой-горбушей
Потом праведным потел,
Бабы, дедовские души
Возносил от бранных тел.*

*С белопахой коровёнкой
Разговор потайный вёл,
Что над русскою сторонкой
Судный ставится престол,*

*Что за мать, пред звёздной книгой,
На слезинках творена.
Черносошная коврига
В оправданье подана.*

“Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рождшую... Тя величаем...” Он меняет ипостаси на протяжении всех восьми стихотворений цикла... Сначала неодошевлённое растение — лён — одушевляющееся на глазах по мере превращения в “порты” для “плоти громной, Господней...” Далее — Мать-Богородица в мужском обличье грешного Николая, рожаящая “Сына Еммануила, Бога же и человека...” Далее —

Сам Христос, родившийся “в овчьем тёплом хлеву” и покинувший осиротелую избу, когда “дьявол злой тонконогий объявился в лесах...”

*Лес, как призрак, заплывал,
Умер агничий закат,
И увёл меня дьявол
В смрадный, каменный ад.*

*Там газеты-блудницы,
Души книг, души струн...
Где ты, гость светлицы,
Крестный мой — Гамаюн?*

*Взвыли грешные тени:
Он бумажный, он наш...
Но прозрел я ступени
В Божий певчий шалаш.*

А далее — “в дни по вознесении Христа” — покинутые христы его голосом возносят свою молитву вознесшемуся Иисусу.

*Мы тебе лишь алчем вознести
Жар очей, сосцов и губ купинных.
В ландышевых горницах пустынных
Хоть кровинку б — цветик обрести.*

*Обойти все горницы России
С Соловков на дремлющий Памир
И познать, что оспенный трактир
Для Христов усладнее Софии.*

Эта природная нежность ко Христу обретает далее, кажется, тональность физиологическую, когда соитие, зачатие и рождение Бога-Слова обретает характер телесный, плотной — а на самом деле перед нами небесный брак, когда земной пол утрачивает всякое своё значение, всё преобразуется, как преобразуется тело и кровь Христа при причастии... Земной словарь отсылает к земле, а прозрение грядущих новых родов Христа — к небу. И обе ипостаси Богоматери и Иисуса — земная и небесная — соединяются в единое целое.

*Я солнечно брадат, розовоух и нежен,
Моя ладонь — тимпан, сосцы сладимей сот,
Будь в ласках, как жена, в лобзании безбрежен,
Раздвини ложесна, войди в меня, как плод.*

*Я вновь Тебя зачну, и муки роженицы,
Грызть жил, следа жар, стена, перетерплю...
Как сердцевину червь и как телок веприцы,
Тебя, Моё Дитя, Супруг и Бог — люблю.*

Не мог Николай не понимать — сколь рискованны такие откровения для читательского восприятия. Ни по частям, ни в целом виде цикл “Спас” не был отдан тогда в печать и появился лишь во втором томе “Песнословия”, изданном уже в 1919 году, в новую эпоху.

Не мог он не понимать и того, сколь тонка грань, отделяющая в его стихах любовь божественную и любовь земную, переходящую в откровенную ересь. Возвышенное, небесное снова сменяется адским, греховным — и, наконец, воплощается в таком соединении с Господом, когда не только дух, но и тело обретает сладость воплощения в Боге, а восторг от вложения перстов в раны Христа — чрез вожделение — преобразует всё существо человеческое и мир сущий.

*Войти в Твои раны — в живую купель,
И там убелиться, как вербный апрель,
В сердечном саду винограда вкусить,
Поющую кровью уста опалить.
Распяться на древе — с Тобюю, в Тебе,
И жил тростники уподобить трубе,
Взыграть на суставах: Или-Элои —
И семенем брызнуть в утробу Земли...*

.....
*Уплыть в Твои раны, как в омут речной,
Насытиться тайною, глубию живой,
Достать жемчугов, золотого песка,
Стать торжником светлым, чья щедра рука.*

Эта ликующая мольба сопровождается страшным признанием: “Мой стих — зазыватель в Христовы ряды — охрип под туманами зла и беды...”

Зло и беда, мнится, идут с ненавистного Запада — “Змеи и Блудницы”, — но ум и душа самого Клюева изнемогают под гнётом дьявольских видений, где “полуденный бес, как тюлень, на отмели греет оплечья”, где “к юду в фартуке кровавом не раз подходит смерть-мясник...” Физиологическая образность буквально перенасыщает клюевский стих, и кажется, разверзлось чрево ада — клокочущее бесовское нашествие готово поглотить Божий мир... Грешные “тени-слепцы”, навестившие поэта, готовы тихо повести его душу “дорогою длинной”, а земля приготовилась к вселенскому катаклизму...

*Услышат Чикаго с Калугой
Предвечный полёт гарпуна,
И в судоргах, воя белугой,
Померкнет на тверди луна.*

*Мережи с лесой осетровой
Протянут над бездной ловцы, —
На потрохи звёздного лова
Сбежатся кометы-песцы.*

*Пожрут огневую вязигу,
Пуп солнечный, млечный гусак.
Творец в Голубиную книгу
Запишет: бысть воды и мрак.*

Всё возвращается на круги своя — и земля обречена вернуться в то состояние, что описано в начальных строках Книги Бытия: “Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною: и Дух Божий носился над водою...” Иного исхода не может быть, если “в куньем раю громыкает Чикаго и сиринам в гнёзда Париж заглянул”, если “драконовой лапой Европа сплетает железную сеть”... И перед вселенским концом поэт акцентирует мотив “безмужнего зачатья”, рода, порождения... “Родить бы предвечного, вещею, струнного, и сыну отдать ложесна и сосцы...” “И понял я: зачну в чреве и близнецов на свет рожу: любовь отдам скопца ножу, бессмертье ж излучу в напеве...” Плодом должно стать “Микулово бездно слово”, а для самого поэта уже сама русская природа — воплощение женского ложесна, готового принять в себя семя родителя: “Не я ли — отец, и не женским ли сальником стал лес-роженица и туча вдали...” Такой плотской образности не знала отечественная поэзия последних трёх столетий. И совершенно иная картина открывается глазу после вселенской “брачной ночи”, за которой следует рождение “новой земли”.

*Прослезится волчица над костью овечьей,
Зарыдает огонь, что кусался и жёг,
Станет бурей душа, и зрачок человечий
Вознесётся, как солнце, в небесный чертог.*

*И Единое око насытится зреньем
Брачных ласк и зачатий от ядер миров,
Лавой семя вскипит, изначальным хотеньем
Дастся солнцу — купель, долу — племя богов.*

*Роженица-земля, охладив ложесна,
Улыбнётся Супругу крестильной зарёй...
О пиры моих уд, мрак мужицкого сна, —
Над могилой судеб бурных ангелов рой!*

Со страхом в душе думаешь, что речь здесь идёт о Втором Пришествии, и что Супруг — сам Христос, но “пиры моих уд” неумолимо свидетельствуют о том, что сам поэт, отождествивший себя с Христом, оплодотворяет землю, ради её спасения... О своём личном спасении, похоже, не думая.

* * *

За несколько недель до Февральского переворота Клюев знакомится на квартире Иванова-Разумника с Андреем Белым, который с влечением и жадностью слушает его рассказы о хлыстах и сектантах Русского Севера... А 12 февраля уже сам Николай вместе с Есениным слушает доклад Андрея Белого “Александрийский период и мы в освещении проблемы “Восток и Запад” на заседании Религиозно-философского общества в Демидовом переулке и там же по приглашению Белого читает свой “Новый (ещё не “Поддонный”) псалом”.

Как отметил в своём дневнике С. Каблуков, Андрей Белый “кончил... приглашением, обращённым к молодому сочинителю стихов Клюеву, прочесть стихотворение “Новый Псалом”, которое можно считать как бы эпиграфом к его докладу. Клюев просить себя не заставил, и целых 15 минут с кафедры Рел/игиозно/-Ф/илософского/ Об/щест/ва раздавались рифмованные вопли явно хлыстовского кликушествования. Впоследствии выяснилось, что Клюев и в самом деле чистейший хлыст, считающий себя Христом, имеющий своих верных и даже своего “архангела Михаила”.

А Клюев читал:

*О родина моя земная, Русь буреприимная!
Ты прими поклон мой вечный, родимая,
Свечу мою, бисер слов любви неподкупной,
Как гора необхватной,
Свежительной и мягкой,
Как хвойные омуты кедрова моря!..*

.....
*Тебе только тридцать три года —
Возраст Христов лебединый,
Возраст чайки озёрной,
Век берёзы, полной ярого, сладкого сока!..*

Показательна реакция на поэму уже знакомой нам Зинаиды Гиппиус, записавшей в дневник то, что практически совпало по смыслу с записью Каблукова:

“Особенно же противен был, вне программы, неожиданно прочтенный патриото-русопятский “псалом” Клюева. Клюев — поэт в армяке (не без таланта), давно путавшийся с Блоком, потом валандавший даже в кабаре “Бродячей Собаки” (там он ходил в пиджачной паре), но с войны особенно вверзившийся в “пейзализм”. Жирная, лоснящаяся физиономия. Округлый, трубкой. Хлыст. За ним ходит “архангел” в валенках.

Бедная Россия. Да опомнись же!”

“Архангел” в валенках” же, естественно, Есенин. Ни в каких “валенках” он, конечно, не появлялся в Религиозно-философском обществе, но змея-Гиппиус и здесь не преминула ужалить — по аналогии с пресловутыми “гетрами” 1915 года.

Клюев насквозь видел публику, слушавшую его стихи: "... всё сволочь кругом", — как он писал в письме к Ширяевцу. Любопытные воспоминания оставил о Николае Рюрик Ивнев, который познакомился с ним ещё до войны. Вспоминал Ивнев, как после чтения стихов в салоне Шварцц на Знаменской Клюев вышел вместе с ним, остановился у набережной Фонтанки и тихо произнёс как бы про себя:

— Пустые люди.

— Про кого это вы, Николай Алексеевич? — спросил Рюрик.

— Про всех... Про петербургскую нечисть. С жиру бесятся. Ни во что не верят. Всех бы их собрать да и в эту чёрную воду.

— Ну а дальше что?

Николай не ответил. После долгой паузы произнёс жёстким голосом:

— Интеллигенция не лучше их.

Ивнев задал, как ему казалось, естественный вопрос:

— Тогда зачем вы водитесь с нами?

Реакция Клюева поразила его.

"Он посмотрел на меня своими прозрачными глазами. При свете фонаря они показались мне до того страшными, что холодок прошёл по коже. Он, наверное, заметил это, потому что взял мою руку и крепко сжал её.

— Вас я не трону. Вы не из этой чёрной стаи.

Я улыбнулся:

— Можно подумать, что вы...

— Верховный правитель? — закончил он за меня.

— Вроде этого, — ответил я.

— Душно здесь, всё пропитано сыростью, — произнёс он загадочно. — Вот в Олонецкой у нас легко дышать.

Я хотел спросить у него, почему же он не живёт в Олонецкой губернии, а крутится здесь, в этой "душной сырости", но он, как бы разгадав мои мысли, сказал:

— Если бы я остался там, то кто же был бы здесь".

Потом — опять молчание... Несколько слов о Есенине, о том, что "слаб духом" отрок вербный, что "спасать его надо", а похвалы Блока и Городецкого "тяжелее плит каменных"... И, наконец, после долгой паузы:

— Всё надо начинать сначала.

Доверять мемуарам Ивнева можно с большой поправкой. Но настроение Клюева того времени он передал точно. Более того, "восстанавливая по памяти" спустя много лет тексты писем Есенина к нему, точнее, заново их сочиняя, видимо, на основе запомнившихся бесед, Рюрик в одном из "писем" привёл "слова" Есенина о том, что Клюев мнит себя новым Распутиным. Точнее, приписал Есенину собственное, выношенное им (и не им одним) мнение о Николае... А в марте 1917 года состоялась их новая встреча, когда "всё началось сначала" — и это "начало" породило вихрь восторга в душах "крестьянской купницы".

Ивнев вспоминал, как встретил на Невском Клюева, Есенина и Клычкова (приписал он туда же и Петра Орешина, с которым "собратья" и знакомы-то ещё не были). "Они шли, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то странном возбуждении, размахивая руками, похожие на деревенских парней, возвращающихся с гулянки. Сначала я подумал, что они пьяны. Но после первых же произнесённых слов убедился в их полной трезвости. Очевидно, их возбуждение носило иной характер". Особенно запомнилось Рюрику "шипение" "елейного", как он выразился, Клюева:

— Наше времечко пришло!

Есенин лукаво щурился, говорил колкости, а сам незаметно жал Рюрику ладонь.

Спустя несколько дней на одном из митингов Ивнев вновь столкнулся лицом к лицу с Клюевым. И тот заговорил уже по-другому, без агрессии.

— Кто старое помянет, тому глаз вон... Ошалели мы тогда. Шутка ли сказать!.. Владыки мира полетели вверх тормашками. Помните салон Шварццихи? Митрополиты, кареты, машины — всё к чёртовой матери сгнуло! Эти старые дуры, которые увивались около меня, чтобы послушать мои былины, думали купить меня своими ласковыми словами, а я в душе смеялся над ними. Мне они нужны были, чтобы проникнуть к той, которая всё решала сама и заставляла муженька плясать под свою дудку. Я хотел её руками задушить все дво-

рянские шеи. Но дело обошлось и без меня. Как же было мне не опьянеть от радости, хотя я уже давно чувствовал, что придётся начинать всё сначала.

Сомнительно, конечно, упоминание Клюевым “чёртовой матери”, а также циничная интонация, в которую облечены слова об императрице... Но мысль, тайная цель переданы, пожалуй, верно. Пройдёт более 10 лет, и о “муженке” Клюев найдёт совсем другие слова в “Песни о великой матери”, когда станет прозревать своим “нерпячим глазом” всю глубину свершившегося катаклизма:

*И увидал я государя.
Он тихо шёл окрай пруда.
Казалось, чёрная беда
Его крылом не задевала,
И по ночам под одеяло
Не заползал холодный уж.
В час тишины он был досуж
Припасть к еловому ковшу,
К румяной тучке, камышу,
Но ласков, в кителе простом,
Он всё же выглядел царём.
Свершилось давнее. Народ,
Пречистый воск потайных сот,
Ковёр, сказаньями расшитый,
Где вьюги, сирини, ракиты,—
Как перл на дне, увидел я
Впервые русского царя...*

А тогда — крушение дома Романовых виделось как свершение вековой народной мечты, избавление народа от “голштинской” власти. Воля, волюшка-мать настала!..

— Вы, конечно, читали “Петербург” Андрея Белого? — спрашивал Клюев Ивнева. — Никто не понял души Петербурга так, как понял он. Только в Петербурге могло произойти всё это. Как подгнивший дуб, рухнула Империя. Подсчитать невозможно с точностью, сколько тысяч станций у нас в России. И надо же было, чтобы царь отрёкся от престола именно на станции Дно. Отрёкся на Дне и оказался на дне. Мне скажут, что это — случайность? Бедные мы все кроты. В темноте живём и света не видим.

Клюев не видел в происходящем никаких случайных совпадений. На самом деле отречение Николая произошло в Пскове 2 марта после того, как царский поезд, шедший к охваченному волнениями Петрограду, не был пропущен железнодорожными рабочими станции Дно. 1 марта был издан приказ № 1, призывавший солдат действующей армии избирать в частях комитеты солдатских депутатов, приказ, совершенно разложивший армию. А в ночь на 2 марта было образовано Временное правительство, председателем которого стал князь Львов... В 23 часа 40 минут Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата Михаила.

“Суть та, что во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг, — записывал в дневнике бывший император. — Я согласился. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена, трусость и обман”.

На следующий день отрёкся от власти Михаил Романов. С империей было покончено. Ни о каком “спокойствии”, ни о каком “удержании армии на фронте” речи по сути быть не могло.

Амнистия почти 90 000 человек, из которых абсолютное большинство было уголовными преступниками. Так называемые “птенцы Керенского” развязали на городских улицах настоящий террор мирного населения. А само население ликовало на митингах. На митингах, некоронованным королём которых был глава Временного комитета Государственной думы Михаил Родзянко.

“... Там, в бывшей Государственной Думе, всё и происходило, “решалась судьба России”, — вспоминал Алексей Ремизов. — ... К Таврическому дворцу с музыкой водили войска. Один полк какой-то великий князь сам привёл, и об этом было много разговору. С войны приезжали солдаты, привозили день-

ги, кресты, медали, — чтобы передать Родзянке. Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя Родзянку. Родзянко был у всех на устах”.

Реакция Клюева на этого нового “вождя” была совершенно недвусмысленной. Услышав крик: “Да здравствует Родзянко!” — он повернулся к нему спиной.

— Пойдёмте отсюда. Точно слушать. Нашли кого прославлять. Этого сукина сына я б задушил своими руками, дворянское отродье! Камергер! Царский лакей, возжелавший сесть на престол своего барина! Он так же будет душить крестьян, как душил его барин...

И, помолчав, добавил:

— Тяжела шапка Мономаха, но ещё тяжелее упустить эту шапку.

Государство шло вразнос. Уже упразднён Департамент полиции, в Петрограде идёт политическая забастовка. Временное правительство восстанавливает автономию Финляндии, признаёт право Польши на отделение — недалеко до провозглашения “самостийной Украины” и “автономии Шлиссельбургского уезда”... Синод радостно приветствует торжество “всеобщей свободы России”, а временным государственным гимном становится “Марсельеза”.

А Клюев пишет свою “Марсельезу” — крестьянскую, что позже станет “Красной песней”.

*Пролетела над Русью Жар-птица,
Ярый гнев зажигая в груди...
Богородица наша Землица,
Вольный хлеб мужику уроди!*

*Сбылись думы и давние слухи,
Пробудился Народ-Святогор —
Будет мёд на домашней краюхе
И на скатерти яркое узор.*

.....
*Ставьте ж свечи Мужичькому Спасу!
Знание — брат, и наука — сестра.
Лик пшеничный с бородой солнцевласой —
Воплощенье любви и добра!*

*Оку Спасову сумрак несносен,
Ненавистен телец золотой;
Китеж-град, ладан Саровских сосен —
Вот наш рай возделенный, родной.*

Вот за что он испытывал тюремные муки, вот чего он чаял много лет — с того дня, как взял в руки перо... Пришествия мужицкого Спаса, явления Китеж-града, возрождения древней благочестивой Руси... Воскрешения того,

*Чей крестный пот и серый кус
Лучистой купины.
Он — воскрешённый Иисус,
Народ родной страны.*

.....
*То кровью выкупленный край,
Земли и Воли град,
Многopleменный каравай
Поделят с братом брат.*

*Литва с кряжистым пермяком,
С карелою — туркмен
Не сломят штык, чугунный гром
Ржаного града стен.*

Не может не обратить на себя внимание написание имени Господа — “Иисус”. Презрев староверческий канон, Клюев соединяет в единое целое “наро-

ды-Христы” и староверие с нововерием, Китеж-град — сакральный символ староверчества — и “ладан Саровских сосен”, место святого Серафима, которого истинные староверы отказывались считать святым, а, скорее, воспринимали, как колдуна... Для Клюева в час воли все противоречия и нестроения стираются — и вселенскому физическому и духовному единству слагает он свой величественный гимн — “Песнь Солнценосца”, в котором даже демоны, лишённые своей демонической силы, становятся братьями в ликующем хороводе.

*То колокол наш — непомерный язык,
Из рек бечеву свил архангелов лик.*

*На каменный зык отзовутся миры,
И демоны выйдут из адской норы.*

*В потир отольются металлов пласты,
Чтоб солнца вкусили народы-Христы.*

*О демоны-братья, отпейте и вы
Громовых сердец, поцелуйной молвы!*

*Мы — рать солнценосцев на пупе земном —
Воздвигнем стобашенный пламенный дом:*

*Китай и Европа, и Север и Юг
Сойдутся в чертог хороводом подруг,*

*Чтоб Бездну с Зенитом в одно сочетать.
Им Бог — восприемник, Россия же — мать.*

Прежний сумрак разрезают палящие солнечные лучи, солнце охватывает всю вселенную, сжигает старый мир и порождает новый, а “стобашенный пламенный дом”, кажется, напоминает новую Вавилонскую башню — и это невольное сходство проходит мимо сознания поэта. Более того, в этой “Песни” совмещаются несовместимые символы:

*Верстак — Назарет, наковальня — Немрод,
Их слил в песнозвучье единый народ.*

Родина Иисуса Христа — и имя идолопоклонника, основателя Вавилона, имя, сакральное в масонских ложах, и это у Клюева соединяется в одном “песнозвучье”... Он творит с волю революцию, имеющую слишком мало общего с той, что творится на городских улицах и в русских селеньях.

* * *

Совершенно иное увидел в свершающейся “мистерии” Сергей Есенин. В мае в эсеровской газете “Дело народа” появляется его поэма “Товарищ”, написанная по горячим следам Февраля. “Товарищ Иисус” (у Есенина староверческое написание имени чередуется с нововерческим) сходит с иконы — “стоять за волю, за равенство и труд” в “чёрной ночи” — и падает, “сражённый пулей”... Слова поэта безжалостны и неумолимы: “Больше нет воскресенья!” И все звуки заглушает одно “железное слово: “Рре-эс-пуу-блика!”, напоминающее своим звучанием воронье карканье.

Чрезвычайный интерес вызывает восприятие свершившегося у Михаила Пришвина, для которого Февраль стал своего рода свидетельством того, что наконец “Бога узнают, а то ведь Бога забыли. Из Невидимого Града”. И вот что он пишет в своём дневнике:

“Всё больше и больше с каждым днём вырастает фигура Петра Великого, как нашего революционера (Петроград, освободивший Россию), и всё выпуклее вспоминается смутный страх мой во время заседания Совета рабочих депутатов в Морском корпусе, что рабочие свергнут статую царя-революционе-

ра. Страх этот был ни на чём не основан и был порождён моим особенным “декадентским” состоянием души. Но он был... Я вошёл в огромную залу и видел, море голов сидят, я сел с ними и прислушался, о чём говорят: пулемёт, молитва, правда”.

Для Клюева всё происходящее было наполнено как раз антипетровским, антиромановским смыслом. Но “пулемёт, молитва и правда” соединялись в его стихах революционной поры в какой-то противоестественной, на обычный взгляд, гармонии. Позже он напишет антиромановские стихи, где воздаст хвалу “пулемёту, несытому кровью битюжьей породы, батистовых туш”, а одно из стихотворений семнадцатого года так и назовётся – “Пулемёт”.

*Пулемёт... Окончание — мёд...
Видно, сладостен он для охочих
Пробуравить свинцом народ —
Непомерные звёздные очи.*

И если “чашу с кровью — всемирным причастьем нам испить до конца суждено”, — то настанет день, когда “под Лучом заскулит пулемёт, сбросит когти и кожу стальную...” А пока — он ответит “Товарищу” Есенина своим “Товарищем”.

*Убийца красный — святей потира,
Убить — воскреснуть, и пасть — ожить...
Браду морскую, волосья мира
Коммуна-пряха спрядает в нить.*

До Коммуны ещё дожить надо... Февраль — лишь прелюдия. Прелюдия той красочной симфонии, что должна найти своё земное воплощение, и которую слагает Клюев с упованием на будущее:

*Уму — республика, а сердцу — Мать-Русь.
Пред пастью львиною от ней не отрекусь.
Пусть камнем стану я, корягою иль мхом, —
Моя слеза, мой вздох о Китеже родном...
.....
Железный небоскрёб, фабричная труба,
Твоя ль, о родина, потайная судьба?!
Твои сыны-волхвы — багрянородный труд.
Вертепу Господа или Ироду несут?
Пригрезятся ли им за яростным горном
Сад белый, восковой и златобрёвный дом, —
Берестяной придел, где отрок Пантелей
На пролежни земли льёт миро и елей?..*

Показательно, как воспринял Февраль один из самых молодых поэтов “крестьянской купницы” Алексей Ганин. Уроженец деревни Коншино Вологодской губернии, начавший печататься в вологодских газетах в 1913 году, он воссоздавал в своей поэзии крестьянскую жизнь, как порождение идеальной духовной жизни мироздания. Тончайший лирик, называвший себя “романтиком начала XX века”, он умел воплощать не слышное грубому уху и не видное незрячему глазу движение природного мира, преображающего всё сущее: “И будто жизни нет, — но трепет жизни всюду. Распался круг времён, и сны времён сбывлись. Рождается Рассвет, — и близко, близко чудо: как лист — падёт звезда, и солнцем встанет лист...” Клюев благодно, в числе других друзей, упоминал о нём в письме к Ширяеву: “Мы в Петрограде читали и пели твои стихи братски — четыре поэта-крестьянина: Серёженька, Пимен Карпов, Алёша Ганин и я. Нам всем понемножку нравится в тебе воля и Волга — что-то лихое и прекрасное в тебе...” Ганин в эти дни был неразлучен с Есениным — вместе засиживались в Обществе распространения эсеровской литературы, читали и обсуждали шаповскую “Историю раскольнического движения”, на которую их навёл, очевидно, Клюев. Вместе бродили по Петрограду с новыми знакомыми — Миной Свирской и Зинаидой Райх, за которой Алексей

ухаживал. В конце концов отправились вместе на Соловки — и во время сего путешествия Ганин в качестве шафера присутствует на венчании Сергея и Зинаиды в церкви Кирика и Иулиты Вологодского уезда.

Но то, что писал в эти дни Ганин, сущностно разнилось с тем, что вышло из-под пера его друзей. В происходящем он видел приношение даже не Ироду, а самому дьяволу.

Это спустя много лет будут исследователи ломать копыя вокруг “масонской темы”, связанной с Февралём. Это спустя много лет уцелевшие масоны будут вспоминать — из кого состояло Временное правительство и кто на самом деле был движущей силой Февраля. Это позже будет основательно проясняться физиономия фонтанирующего Керенского, кажется, тонувшего тогда в бесконечном словоизвержении... Для Ганина всё творившееся на его глазах было чернее адской ночи и очевидно до боли.

Об этом он и писал свою страшную поэму “Сарай” с многозначительным посвящением: “Посвящаю живым — сущим в часе со мной за воротами “Завтра” в ладонях Времени”.

*Лежу у храма на плите,
Жду с неба светлого хранителя,
Вот придет в зорней красоте,
Раскроет дверь — и в песнь обители
Уйду, погрязший в суете.*

.....
*И вот пришёл, но света нет,
А крылья — чёрной ночи сумрачней...
Не он. И был суров привет:
Вставай, во гробе ли разумничать?
И встал я. Вижу — храма нет.*

*Во тьму земной упёрся Край.
Хочу к звезде взмахнуть ресницами
И не могу.
“Дорога в рай”, —
Твердит. А путь кишит мокрицами
И впереди — глухой Сарай.*

“Тёмный проводник Земли” доводит обманутых до Сарая и стучится в дверь, окликаая привратника слишком хорошо узнаваемыми в масонской среде словами. “Стучит: Откройте, гость пришёл, откройте мастеру-строителю...” Дверь открывается. И пришедшие попадают в настоящую преисподнюю.

*Я рад?.. Чему?.. В сарае пир.
Гремит нестройно чья-то музыка.
На трупах золотой кумир.
Кругом танцуют знать и блузники.
Нет окон... в щелях горний мир.*

.....
*И слышу, говорит кумир:
“К победному столу, кто званые”.
Все званые. Сарай — весь мир.
Идут тела, гниеньем рваные,
Отпраздновать последний пир.*

*Садятся за столы цари.
Их головы на блюдо сложены.
За милость от рабов дары...
И все, с отрубленными рожами,
Пришли, кто украшал дворы.*
.....
*Все пьют. А женщины волной
В глаза мужчин ныряют голыми.*

*Всё слепнет. Пьяно. Злее злой.
И мысли, как бумага в полуме,
Чернеют и летят золой.*

*Как полночь, закоптел Сарай,
В кумире дьявол обнаружился...
Под маской вместо глаз дыра,
Стальные челюсти напряжались,
Чтоб званых и незваных жрать.*

Когда спустя два десятка лет Михаил Булгаков будет работать над “Мастером и Маргаритой” – он вспомнит эту поэму, несомненно, читанную им, при описании великого бала у сатаны, и даст свой вариант пиршества и кровавого посвящения – романтизированный и приукрашенный, как некую веху, необходимую на пути спасения своих героев.

* * *

В начале 1917 года Есенин написал своё, пожалуй, ключевое стихотворение этого периода, многое объясняющее в его дальнейшем конфликте с Клюевым.

*Проплясал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Подымать глаза...*

*Скучно слушать под небесным дровом
Взмах незримых крыл:
Не разбудишь ты своим напевом
Дедовских могил!*

*Привязало, осаднило слово
Даль твоих времён.
Не в ветрах, а, зная, в томах тяжёлых
Прозвенит твой сон.*

Поэты, практически не расставаясь в те весенние дни, читали друг другу всё только что написанное. И Клюев, услышав стих о неразбуженных дедовских могилах – не мог не понять: его любимый Сергунька отходит в сторону от ключевых мотивов Николая, которые, мнил Клюев, должны стать общими мотивами. Это духовная ревизия всего его наследия – от “Избяных песен” до “Подонного псалма”. А сомнение, связанное с “томами тяжёлыми”, он попытался развеять в ответном послании своему собрату.

*Построчный пламень во сто крат
Горючей жупела и серы.
Но книжный червь, чернильный ад
Не для певцов любви и веры.*

*Не для тебя, мой василёк,
Смола терцин, устава клещи,
Ржаной колдующий Восток
Тебе открыл земные вещи.*

.....
*И знаю я, мой горбунок
В сосновой лысине у взморья;
Уж преисподняя из строк
Трепещет хвойного Егорья.
Он возгремит, как Божья рать,*

*Готовя ворогу расплату,
Чтоб в книжном пламени не дать
Сгореть родному Коловрату.*

Здесь очевидна отсылка к ранней поэме Есенина “Сказание о Евпатии Коловрате, о хане Батые, цвете Троеручице, о чёрном идолице и Спасе нашем Иисусе Христе” и то, что Клюев отождествляет Есенина с героем его творения. Но главное то, что ни “смола терцин”, ни “устава клеци” — ни старая, ни новая поэтическая форма, как нечто застывшее, книжное — не для Есенина, по слову старшего собрата. И Есенин, уже отталкиваясь от клюевской мысли, пишет весной или летом 1917 года восторженное стихотворение “О Русь, взмахни крылами...”, где выстраивает свою хронологическую поэтическую родословную — от Алексея Кольцова через Николая Клюева. Клюев здесь — “смиранный Миколай”, “весь в резьбе молвы”, тогда как Есенин — совершенно иной.

*А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и весёлый,
Такой разбойный я.*

Мало того, что разбойный. “Но даже с тайной Бога веду я тайно спор...” Спор с “тайной Бога” чреват последствиями необратимыми. Для Клюева самым тяжёлым было услышать в эти дни всеобщего ликования от Есенина: “Не изменят лик земли напевы, не стряхнут листа... Навсегда твои пригвождены ко древу красные уста. Навсегда простёр глухие длани звёздный твой Пилат...” А ежили и предстоит сошествие с креста и “новое восславят рождество поля, и как пёс пролает за горой заря”, то встреча Воскресшего будет совсем не той, какую чаёт “смиранный Миколай”.

*Только знаю: будет
Страшный вопль и крик,
Отрекутся люди
Славить новый лик.*

*Скрежетом булата
Вздыбят пасть земли...
И со щёк заката
Спрыгнут скулы-дни.*

*Побегут, как лани,
В степь иных сторон,
Где вздымает длани
Новый Симеон.*

Нет, не зря у Клюева вырывались строки в стихотворении, посвящённом Есенину: “Ты отдалился от меня, за ковыли, глухие лужи...” Внешне это отдаление пока что не означалось со всей очевидностью. Поэты ещё ощущают себя друзьями и единомышленниками. “Кланяются Вам Клюев и Есенин, — пишет Иванов-Разумник Андрею Белому. — Оба в восторге, работают, пишут, выступают на митингах...” Иванов-Разумник ещё до революции затевает сборник “Скифы”, название которого отсылает к Герцену, проникнутый идеей “духовного максимализма, катастрофизма, динамизма”, и пишет к нему совместно с С. Мстиславским предисловие: “На наших глазах, порывом вольным, чудесным в своей простоте порывом, поднялась, встала, от края до края молчавшая, гнилым туманом застланная Земля. То, о чём ещё недавно мы могли мечтать лишь в мечтах молчаливых, затаённых мечтах думать — стало к осуществлению как властная, всеобщая задача дня. К самым заветным целям мы сразу, неукротимым движением продвинулись на пролёт стрелы? На прямой удар. Наше время настало...” Дословное повторение клюевского “Наше времечко настало”. И какие бы сомнения ни терзали Есенина — основной посыл Разумника был ему близок, и не зря в следующем стихотворении

он отдаёт должное ему: “Звездой нам пел в тумане разумниковский лик” и “апостол нежный Клюев нас на руках носил”... Их “отческую щедрость” Есенин никогда не забывал – и в письме к Ширияевцу от 24 июня будет писать в унисон со словами Клюева и Разумника, неоднократно слышанными:

“Бог с ними, этими питерскими литераторами, ругаются они, лгут друг на друга, но всё-таки они люди, и очень недурные внутри себя люди, а потому так и развинчены. Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублёва Византию и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших бабок, что земля на трёх китах стоит, а они все романцы, брат, все западники, им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костёр Стеньки Разина.

Тут о “нравится” говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их пруд поглубже и мутить, мутить до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут свои носы и не разглядят тебя, что это “Ты”. Им всё нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут возьмёшь им да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и боже мой, как их легко взбаламутить...

Но есть, брат, среди них один человек. Перед которым я не лгал, не выдумывал себя и не подкладывал, как всем другим, это Разумник Иванов. Натура его глубокая и твёрдая, мыслью он прожжён, и вот у него-то я сам, Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя.

На остальных же просто смотреть не хочется, с ними нужно не сблизаться, а обтёсывать, как какую-нибудь плоскую доску, и выводить на ней узоры, какие тебе хочется. Таков и Блок, таков и Городецкий, и все и весь их легион...

Похожее по тону письмо Ширияевец получил весной от Клюева: “Умоляю не завидовать нашему положению в Петрограде. Кроме презрения или высокомерной милости мы ничего не видим от братьев образованных писателей и иже с ними...”

Каждый день этого года по событиям вмещал в себя как минимум несколько месяцев. Клюев готовит издание двухтомного “Песнослава” (один поначалу том разросся в два) и переживает, что скорый отход Есенина от него – лишь дело времени, что Есенин уже “разлюбил его сказ”, ибо, по его собственному признанию, стал “зрелей и весом тяжелей”... Есенин ещё не предчувствует жестокого конфликта, но уже недалеко время, когда он будет беседовать с Блоком, на которого ему сейчас “смотреть не хочется”, и высказывать всё, что надумалось по поводу Клюева, с которым пока ещё – душа в душу.

До великого и рокового Октября оставалось совсем немного.

(Продолжение следует)

ТАТЬЯНА ШИШОВА

ОБРАЗ МАТЕРИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Образ матери – первый человеческий образ, возникающий у маленького ребенка. Ее лицо он начинает узнавать прежде всех остальных лиц. Прикосновение рук отличает даже во сне. Пребывая в утробе, младенец чувствует мамино настроение, слышит и запоминает ее голос. Замечательный российский врач Борис Зиновьевич Драпкин даже изобрел оригинальный метод лечения детей, основанный на том, что голос матери воздействует на ребенка с такой силой, с какой не воздействует больше ни один голос в мире! всю жизнь проработав в детской психиатрии, Борис Зиновьевич на склоне лет пришел к выводу, что лучшего психотерапевта, чем мать, для ребенка найти нельзя. Поэтому он обучал женщин вселять в малыша спокойствие и уверенность, давать ему положительный настрой и тем самым активизировать защитные силы организма для борьбы с болезнью. Как именно? Мама должна была каждый вечер говорить засыпающему ребенку о своей любви, и постепенно у детей безо всяких лекарств проходили заикание, тики и энурез, нормализовывалось развитие речи, уменьшались возбудимость и расторможенность. Конечно, в методике имелись свои тонкости, иначе ей не нужно было бы специально обучаться. Но речь сейчас не о них, а о том, что только голос родной матери и ничей другой так удивительно воздействовал на ребенка. Ни отцам, ни приемным матерям (даже если ребенок был взят в грудном возрасте и не знал, что его усыновили!) такого эффекта достичь не удавалось. Некоторых положительных сдвигов Драпкин добивался еще, включая в работу бабушек по материнской линии. (Он объяснял это похожестью голосов.) Однако та невидимая пуповинная связь, которая устанавливается у мамы с ребенком еще до его рождения, у бабушки с внуком отсутствовала, потому и результаты были не столь впечатляющими.

Ребенок растет, и образ мамы тоже обрастает подробностями. Еще толком не умея говорить и тем более связно выражать мысли, малыш знает о маме поразительно много. О ее характере, нраве, вкусах, привычках. Он впитывает это знание всеми органами чувств, бессознательно запечатлевает его и так же бессознательно (а потом все более осознанно) начинает подражать. Исследования современных ученых показывают, что младенец, лежа на руках у матери, невольно копирует ее мимику. Невооруженным глазом поначалу это даже незаметно, настолько мимолетны его гримасы. Но достаточно скоро в мимике и пластике ребенка, во взгляде или в повороте головы, в некоторых жестах и интонациях, в выражении лица начинают проскальзывать “мамины мотивы”. Даже когда малыш – вылитый папа, все равно, внимательно понаблюдав за ним, как бы фоном увидишь мать. Становясь старше, мальчики в норме подражают отцу, перенимая мужской тип поведения. Однако глубоко запечатленный, будто “впаянный” в психику образ матери все равно продолжает влиять на сына. В частности, во многом определяя его отношения с противоположным полом, выбор спутницы жизни, построение семейных отношений и подходы к воспитанию собственных детей.

Но вернемся к раннему возрасту. Постепенно к чувствам и ощущениям, к невольным, интуитивным реакциям добавляется осознание. В какой-то момент ничего не означавшие слоги лепетной речи начинают наполняться смыслом и складываться в слова. Мало-помалу развивается и образное мышление, формируются представления об окружающей его действительности. И вот тут начинают происходить интересные вещи.

КАК ВОЗНИКАЕТ ОБРАЗ

Мыслит малыш конкретно, абстрактных понятий пока не понимает. Но ведь и для того, чтобы произвести любое самое элементарное обобщение, надо в какой-то степени абстрагироваться от конкретики и вычленив суть. Если этого не сделать, то как понять, что мама в халате и мама в пальто, мама с распущенными волосами и мама, убравшая волосы под платок, это не разные люди, а один человек? Крупнейший исследователь детской психологии Жан Пиаже называл эту способность интеллекта “символической функцией”. Без нее мы бы воспринимали реальность как набор не связанных друг с другом статических кадров. Вместе они составляют медленно развертывающийся фильм, но без способности к символизации, лежащей в основе образного мышления, человек не мог бы увидеть ни связи между картинками, ни познать суть вещей, изображенных на них. То есть в основе образного мышления – способность ощущать предметы, объекты и явления окружающего мира на уровне символов.

И ребенок на втором году жизни, даже не умея говорить, производит такую символизацию, показывая маму не только в реальности или на семейной фотографии, но и на картинке в книжке, где изображена вовсе не его мать, а мама сказочного героя. Значит, в его представлении уже существует не только образ собственной матери, но и мамы “вообще”, некий обобщенный образ материнства. И, что очень важно для темы нашей статьи, эти два образа мирно сосуществуют, не вступая в противоречие, а нередко и накладываясь друг на друга. Ребенок постарше, уже неплохо осознающий и разницу между людьми и животными, и границу между понятиями “мое” и “чужое”, будучи захвачен действием мультфильма, в котором мамонтенок ищет маму, внутренне отождествляет себя с героем (на чем и основан эффект сопереживания), а его мать – со своей собственной. Это еще более яркий пример символизации, поскольку его мама, конечно, на мамонта не похожа, но он “зрит в корень”, абстрагируясь от внешнего и сосредотачиваясь на смысловом наполнении материнского образа. Пока что малыш понимает этот образ не столько умом, сколько “умным сердцем”, про которое некогда говорила Агния, героиня романа Достоевского “Идиот”. Он еще не может связно выразить свои представления в речи, но душа его каким-то таинственным образом знает больше, чем ум. Она знает, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ мама. Знает, даже если ребенок-сирота растет в детском доме или если поведение его мамы абсолютно не соответствует эталону материнства! И именно это непостижимым способом полученное, Богом вложенное в душу знание дает возможность делать обобщения, производить аналогии, ухватывать суть. Оно служит для ребенка ориентиром, определяя его реакции (например, реакцию сопереживания), а также камертоном, на который настраивается его восприятие действительности и, соответственно, поведение. Разумеется, все, о чем я сейчас говорю, происходит у малыша на бессознательном уровне.

Иллюстрацией к сказанному в какой-то мере может служить история воспитания аутичного ребенка, описанная в книге его воспитателя Сергея Александровича Сошинского “Зажечь свечу”. Мальчик Андрюша, попавший в дом к Сошинским в четыре года, страдал очень тяжелой формой аутизма, был практически неконтактен. Речи у него тоже, считай, не было. Даже те немногие слова, которые он знал, Андрюша далеко не всегда применял к месту. Иногда он на каком-нибудь слове “застревал” и бессмысленно повторял его раз двадцать, а то и пятьдесят. В пять лет он не узнавал изображенных на картинках животных или людей. “Очевидно, – пишет Сошинский, – слова никак не сопрягались с образами, особенно одушевленными”.

На первом этапе его приучали просто повторять слова, даже без их понимания. Это было невероятно тяжело, но пробиться на уровень понимания ока-

залось еще труднее: мешал недостаток целостности восприятия. Фрагменты не складывались в единую картинку, образа не получалось.

“Уроки шли с опорой на вытверживание шаблонов, — вспоминает Сошинский. — “Как говорит корова?” (Вопрос зубрится уже несколько месяцев... и эта тема будет длиться еще месяцы). Андрюша говорит невнятное. Наташа (супруга Сошинского. — Авт.) диктует ответ, подлежащий зубрежке: “Корова говорит: “Му!” Повтори!” — “Му...” — “Повтори полностью: “Корова говорит: “Му!” — “Му...” День за днем идет вызубривание этого шаблона. Но когда этот шаблон был освоен, вопрос был повернут в обратную сторону: “Отвечай, кто говорит “Му?”” И этот вопрос оказывается для Андрюши совершенно отличным от предыдущего. Ответ требуется учить заново, как бы без связи с уже выученным” (“Зажечь свечу”. М., РОО “Образование и здоровье”, стр. 73).

Путем многократных повторений, буквально “натаскивания” Сошинским удалось научить Андрюшу говорить и до определенной степени восстановить целостность его мышления. Когда наконец броня аутизма была частично пробита и произошел сдвиг в лучшую сторону, мальчик стал довольно быстро развиваться, не только повторять заученное по шаблону, но и понимать. А потом... Потом воспитатели заметили, что “Андрюша стал выдавать отдельные знания, которые он у нас еще не приобретал. Например, весной 1999 г. Наташа начала с ним изучать цвета, и вдруг выяснилось, что некоторые названия он знает, хотя прежде ни у нас, ни у родителей он этих знаний не проявлял. Знания лежали в нем скрытно, возможно, даже не вертелись в уме, и все же присутствовали. Знал Андрюша и некоторые буквы. Видно, родители показывали ему их. Но пока мышление Андрюши было заблокировано аутизмом, эти знания лежали неподвижно, и, возможно, сам Андрюша о них не догадывался. Это касается не только конкретных знаний, но и уровня мышления. В какой-то непроявленной форме, по-видимому, у него мышление было более сложное, чем можно было подозревать... С неразвитым речевым мышлением Андрюша, конечно, не мог “понимать все”, но понимал больше, чем могло показаться по его поведению. Через четыре с половиной года после его появления у нас выяснилось (к моему великому изумлению!), что Андрюша помнит многое о своей жизни в отчем доме и о первом появлении у нас. Это подтверждает предположения о большей глубине его внутреннего мира и большей сложности мышления в то время” (стр. 78).

А ведь впервые очутившись в доме Сошинских, Андрюша, казалось бы, даже не отреагировал на то, что родные привели его и ушли. Он никогда не вспоминал о родителях и не узнавал мать на фотографиях. Но оказывается — и знал, и помнил, и переживал. Образы близких людей, и в частности матери, хранились в глубинах Андрюшиной памяти, но выразить это знание и свои переживания он не мог, поскольку болезнь блокировала его связь с внешним миром.

“С момента появления Андрюши у нас, — продолжает автор книги “Зажечь свечу”, — меня всегда поражала в нем двойственность. Неспособность сказать и понять простейшие мысли, полная интеллектуальная беспомощность его поведения. И в то же время было постоянное чувство наличия у него “внутреннего ума”... У него есть молчаливое, глубокое, неповрежденное Я и неповрежденный молчащий интеллект, <...> который мог бы воспринимать, мыслить, понимать целостно, глубоко, развернуто, — если бы к тому были средства, если бы рядом с ним и вровень ему действовала вторая компонента интеллекта, логосная, словесная (психологам более свойственно слово “вербальная”). Я говорю о “неповрежденном молчащем я”, конечно, не в абсолютном (богословском) смысле, а в человеческом — психологическом, психиатрическом. Мне представляется также это “молчаливое Я” неразвернутым и неразворачиваемым даже внутри самой личности, живущим за порогом ее произвольного сознания, как бы “сокрытым Я”. Это некоторое глубокое “бытие в себе” человека” (стр. 132–133).

В здоровом, гармонично развивающемся ребенке нет такого разрыва между внутренним и внешним. Содержание психической жизни и ее форма адекватны друг другу. Но “внутреннее молчаливое я” все равно существует, и, видимо, именно в его глубинах хранятся некие базовые, ключевые символические образы, общие для всего человечества. Образы, которые активизируются, когда ребенок получает соответствующие внешние впечатления, и, всплывая на поверхность, облегчают “складывание фрагментов в целостную

картинку”, формирование представлений ребенка об окружающем его мире и о жизни вообще. В современной западной (а теперь и отечественной, пошедшей по западным стопам) психологии, рассуждая об этом, обычно оперируют понятиями “архетипов”, “архетипических образов”, “коллективного бессознательного”. В последние десятилетия часто можно услышать и о генетической памяти, “генетической программе”, как бы “заложенной” в младенца и во многом определяющей его реакции.

Но по сути эти объяснения мало что дают. Тут скорее просто констатация факта: доскать, есть нечто “эдакое”, не позволяющее говорить о младенце как о чистой доске. Но откуда оно взялось и что собой поконкретнее представляет – непонятно. Зато христианский взгляд на проблему позволяет многое прояснить. (Хотя, конечно, все равно сотворение человека и наделение его разумом, которым не обладает больше ни одно живое существо на Земле, – великая тайна Божия.)

ПОРА ПОДУМАТЬ О ДУШЕ

Исключая из рассуждений понятие о душе, мы обрекаем себя либо на механистичность, когда человек уподобляется сложно устроенному компьютеру, либо на какую-то мутную, запутанную мистику. Сам создатель учения об архетипах Карл Густав Юнг “определял “архетип” различным способом в разное время, – пишет его последователь Мишель Вэнной Адаме. – Иногда он говорил об архетипах, как если бы они были образами. Иногда он более строго различал архетипы как бессознательные формы, лишенные какого-либо специфического содержания, и архетипические образы как сознательное содержание этих форм”. Юнг и Бога, как известно, причислял к “архетипам”.

А вот говоря о душе ребенка, которой он, по учению Св. Отцов, обладает с момента зачатия, и помня, что, по Заповедям Блаженства, только чистые сердцем Бога узрят (Мф. 5:8), мы можем подойти к пониманию сути вопроса. Младенческая чистота приближает ребенка к духовному миру, дает возможность видеть и чувствовать то, что от взрослых уже закрыто. О. Александр Ельчанинов сравнивает душу ребенка с той, которая была у Адама до грехопадения. (Особенно, вероятно, это высказывание справедливо по отношению к детской душе, просвещенной Святым Крещением).

Как мы знаем из Священного Писания, Адам в раю нарекал имена животным. Причем имена эти давались не абы как, а со смыслом, отражая сущность каждой птицы, зверя и проч. “Подумай о том, какая нужна была мудрость, чтобы дать имена стольким породам птиц, гадов, зверей и прочих бессловесных... всем им дать имена и притом имена собственные и соответствующие каждой породе,” – пишет свят. Иоанн Златоуст в “Беседах на книгу Бытия” (XIV, 5, с. 115). А для этого необходимо было постичь некий внутренний образ каждого животного существа.

Но животными дело не ограничилось. “Звери полевые и птицы небесные, приведенные ко Адаму, суть наши неразумные чувства, потому что звери и животные представляют различные страсти тела, равно и более сильного, и более умеренного характера, – учит свят. Амвросий Медиоланский (цит. по кн. о. Серафима (Роуза) “Бытие: сотворение мира и первые ветхозаветные люди”, Изд. Дом “Русский паломник”, 2004, стр. 183). – Бог даровал тебе власть быть способным отличать при пособии трезвого рассуждения вид всех без исключения предметов, чтобы побудить тебя составить суждение о всех их”.

Конечно, полного тождества души ребенка с душой Адама быть не может, поскольку грехопадение повредило человеческую природу, сделало ее удобопреклонной ко греху. Но в раннем детстве грех еще не успевает прилепиться к душе. Это потом страсти начинают обуревать душу и, как черные тучи, закрывают ее внутреннее око. “У души, – писал митрополит Вениамин (Федченков), – есть свой, более глубокий разум, истинный разум, интуиция, внутреннее восприятие истины”. И пока ребенок чист и невинен, он, не обладая жизненным опытом и логикой, многое постигает именно этим “истинным разумом”. Особенно то, что тесно связано с духовным миром. “Ты утаил от мудрых и разумных и открыл младенцам”, – говорится в Евангелии (Мф. 11:25). Сколько взрослых годами (а то и до конца жизни!) бывает не в состоянии уразуметь то, что ребенок понимает без долгих объяснений, чуть ли не

с полуслова. Понимает, конечно, по-своему, по-детски, но понимает – и это главное!

Года в два с половиной – три моя дочь боялась трансформаторной будки, издававшей грозное, на ее взгляд, гудение. Увидев будку в первый раз, она спросила, кто там живет. Я что-то сказала про ток, про электричество, показала на провода. А когда мы на другой день опять проходили мимо, узнала, что в будке, оказывается, обитает “злой дух”. О чем мне было сообщено таинственным шепотом, с массой уморительно-”страшных” гримасок. Не Бармалей, про которого Кристинка все знала наизусть, или Карабас-Барабас, хорошо знакомый по картинкам, а – именно “злой дух”. Хотя ни в одной сказке, которые мы с ней читали, никаких злых духов не было. Мультфильмов или компьютерных игр с соответствующей тематикой – тоже. До Карлсона, изображавшего, укутавшись простыней, “маленькое привидение из Вазастана”, Кристинка тогда не выросла. Разговоры о духовности в массовом масштабе, в первой половине 80-х, когда происходили описываемые события, еще не начинались. Подавляющее большинство взрослых про духов не думало и не говорило, и увидев, к примеру, название фильма Феллини “Джульетта и духи” (который могла в те годы посмотреть разве что узкая прослойка творческой интеллигенции), решило бы, что речь идет о духах. Максимум, что могла слышать малышка, это идиоматическое выражение типа “в тебя вселился злой дух”. Но никакого объяснения ей на эту тему не давалось, да она и не спрашивала. Однако образ, стоявший за словами, был правильным, причем ухвачена была суть: дух, как и ток, невидим. Но, в отличие от тока, для ребенка это не абстракция. Ну, а поскольку он пугает, то, естественно, “злой”.

А закрытую, полуразрушенную церковь в Тропарево, мимо которой мы часто тогда проезжали, Кристинка называла “Богин дом”. И опять-таки, я не вела с ней тогда каких-то специальных “просветительских” разговоров о Боге. Детская Библия с картинками, воскресная школа – все это появилось в ее жизни позже. (Хотя бы потому, что в 1985 году воскресных школ в Москве просто не было.) В храме она была только в годик, когда ее крестили, так что это не отложилось в ее памяти. Конечно, про то, что церковь – дом Божий, она услышала от меня. И, может быть (точно не помню), я когда-нибудь сказала, что Бог живет на небе. Но я точно помню, что не рассказывала трехлетнему ребенку ни про то, что Господь всемогущий, ни про то, что Он все сотворил, ни даже про Его доброту. Но ребенок откуда-то знал, что Бог добрый и самый главный. И так радовался, показывая на церковь, рвался к Нему “в гости”, говорил, как о любимом, близком, родном человеке... Хотя о воцеловечении Христа никогда не слышал, икон у нас дома на тот момент не имелось. Изображения Бога-Отца, которое можно увидеть в храмах, Кристина тоже не видела. Почему, спрашивается, она вообще представляла Его в человеческом облике, а не, скажем, в образе солнца, которое как раз и “жило” на небе, освещая и согревая все вокруг? То есть, снова каким-то непостижимым образом, душой маленький ребенок уловил суть. Фактически без объяснений и даже без молчаливых подсказок “видеоряда”, он правильно понял новое для него слово “Бог”.

Немало подобных примеров можно привести и из наблюдений за другими детьми. Конечно, среда, близкое и дальнее окружение ребенка, национальный уклад, в котором он живет, культурно-исторический “воздух”, которым он дышит, интенсивно формируют его представления о мире. Но душа по отношению ко всему этому первична. Стало быть, первичен и “внутренний разум, внутреннее восприятие истины”, и он охотно откликается на внешние “позывные”, легко воспринимает и усваивает их, не требуя пространных “лекций на тему” и верно улавливая суть многих вещей на уровне образа.

ОБРАЗ И ПРООБРАЗ

Каков же он, идеальный образ матери? Историки, литературоведы, культурологи, социологи, исследующие этот вопрос, отмечают его удивительную устойчивость. “Основные характеристики и эталонные черты социокультурного образа женщины-матери со времен Античности фактически не изменились, – пишет, со ссылкой на многочисленные исследования других авторов, в своей монографии “Женский образ в социокультурной рефлексии” Т. Г. Киселева. –

Это женщина, обладающая неординарным жизненным опытом и даром интуитивного предвидения наиболее вероятных путей развития событий (особенно связанных с ее детьми); отличающаяся редкой добротой, чувством сострадания и умением понять своих детей и их решения; женщина, одаренная от природы неординарными способностями к воспитанию и убеждению; человек по природе необыкновенно стойкий, верный интересам своих детей и безоговорочно принимающий во имя их (или вместо них) любые испытания судьбы и т. п. Разумеется, в соответствии с культурными традициями разных народов этот набор характеристик мог в большей или меньшей степени варьироваться, но в целом он остается относительно типовым в культурах большинства цивилизованных (постпервобытных) сообществ” (М., МГУКИ, 2002, стр. 50–51).

Ну а что касается прообраза идеальной матери, то для христианского мира, как нетрудно догадаться, им является Богородица. Жертвенная любовь, чистота и нежность, кротость и в то же время нравственная стойкость – эти ассоциации возникают при упоминании о Пресвятой Деве даже у людей, далеких от церкви. И в недавние времена позднесоветского государственизма именно с Ней, а не с какой-нибудь языческой богиней плодородия сравнивали матерей, если хотели выразиться возвышенно-поэтически. (Правда, называли обычно на католический лад – Мадонной, видимо, вспоминая картины мастеров Возрождения, которых тогда было принято знать и любить, или хрестоматийное стихотворение Пушкина, посвященное Наталье Николаевне Гончаровой, которое тогда тоже многие знали наизусть.) Хотя, конечно, советская власть, сделавшая огромный рывок на пути женской эмансипации, усиленно прославляла женщин – борцов за народное счастье: революционерок, участниц войны и тружениц, подразумевая под этим словом профессионалок в самых разных отраслях, а вовсе не домохозяек. Как будто они не трудились! (Впрочем, и тут все было неоднозначно: существовало звание матери-героини, но его получали немногие – женщины, родившие и воспитавшие минимум 10 детей.) И все же образ “просто матери” остался важнейшим образом культуры, не претерпев кардинальных изменений. Доминанты были традиционными: самоотверженность и нравственная высота. В этом смысле преемственность не прерывалась.

Софья Николаевна из “Семейной хроники” С. Т. Аксакова, потомственная дворянка, жившая в конце XVIII – начале XIX вв., не смыкала глаз у постели тяжело больного сынишки, и лирическая героиня знаменитой песни времен Великой Отечественной войны “Темная ночь”, вряд ли дворянского происхождения, делала то же самое. Мать, не спящая над ребенком, это вечный образ, на все времена. И очень может быть, что жена бойца из “Темной ночи”, как и аксаковская Софья Николаевна, “горячо молилась, подняв руки к небу”, хотя в советской песне по вполне понятным причинам про молитву не упомянуто. Но мы-то теперь знаем, как в войну наполнились храмы. И можно не сомневаться, там было немало женщин, к которым обращена “Темная ночь”. Во всяком случае, “белые платочки”, которые в годы “застоя”, когда всему прогрессивному человечеству казалось, что религия отмирает, потихоньку от сына-начальника крестили внуков и упрямо праздновали Пасху, по возрасту – те самые лирические героини, которые “у детской кровати тайком слезу утирали”.

Но и не молившиеся, а просто плакавшие, жалевшие, любившие и трудившиеся не покладая рук на самом деле своей самоотверженной жизнью вымалывали и детей, и мужей, и страну. “Россия удержалась благодаря матерям, – говорил старец Паисий Святогорец. – Отцовское объятие – если в нем нет Благодати Божией – сухо. А объятие материнское – даже без Бога имеет в себе молоко” (“Слова”, том IV, стр. 89).

МАМА, МИЛАЯ МАМА! КАК ТЕБЯ Я ЛЮБЛЮ...

Не сосчитать светлых образов матерей, которые донесли до нас сказки и легенды, стихи и песни, рассказы и повести, романы и мемуары, спектакли и кинофильмы. Они обступали ребенка с раннего детства и сопровождали всю жизнь. Это был как бы привычный фон – в том смысле, что такая трактовка считалась сама собой разумеющейся. (Хотя, конечно, в художественном плане никакого единообразия не наблюдалось. Было много находок, порой настоящих шедевров. Не обходилось, естественно, и без халтуры, но речь сей-

час не о том.) Не буду перегружать текст перечислением имен авторов и названий произведений. Приведу всего один пример, свидетельствующий о масштабности описываемого явления. Любовь Соколова сыграла в своей жизни около 300 ролей (в том числе в фильмах “Тихий Дон”, “Я шагаю по Москве”, “Ирония судьбы, или С легким паром”, “Доживем до понедельника”) и была внесена в книгу рекордов Гиннеса как актриса, исполнившая больше всего ролей матери. Причем она всегда отказывалась от отрицательных персонажей, говоря, что нельзя разрушать сложившийся образ верной жены, доброй матери и бабушки.

Сам тон разговора о матери уже настраивал на любовь, нежность, уважение и благодарность.

“Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием, — писал в “Детских годах Багрова-внука” С. Т. Аксаков. — Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моей детства, хотя постоянно участвует в них”.

“Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какую она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня” (Л. Н. Толстой “Детство”).

“Бедная мать! Вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит ваше имя из уст в уста, гремят ваши дела по свету — голова старушки трясется от радости, она плачет, смеется и молится долго и жарко. А сынок, большей частью, и не думает поделиться славой с родительницей. Нищие ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними — тем более места в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долее и жарче” (И. А. Гончаров “Обыкновенная история”).

*Великое чувство, его до конца
Мы живо в душе сохраняем.
Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем* (Н. А. Некрасов)

*Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, теплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
“Ангел-хранитель над тобой!”* (И. А. Бунин “Матери”)

“О, материнская любовь, любовь, которая никого не забывает! Манна небесная, которую Господь разделяет и умножает, стол, всегда накрытый у родительского очага, за которым у каждого есть свое место и за которым все собираются вместе!” (В. Гюго).

“Если ты с детства не научился смотреть в глаза матери и видеть в них тревогу или покой, — ты на всю жизнь останешься нравственным невеждой” (В. Сухомлинский).

Особенно, конечно, часто — что неудивительно — образ матери встречается в произведениях для детей. Где-то она (как, скажем, в “Красной Шапочке”) — эпизодический персонаж. Где-то (например, в пьесе “Два клена”) оказывается в центре сюжета. А где-то речь вообще идет о зимнем вечере, но как бы невзначай мелькнет сравнение месяца с мамиными сережками, и мама незримо появится на странице, и сразу станет теплой и уютной. Свет маминых глаз, тепло маминых рук, ласковый голос, нежная улыбка — эти выра-

жения не приедаются, не кажутся избитыми, потому что они подлинны, органичны, в них нет жеманства. Душа – с радостью или с тоской – но всегда откликается на них.

Серьезно или шутивно, прямо, в лоб или прозрачным намеком ребенку на примере литературного героя показывают, как нужно относиться к матери. Вспомним хотя бы:

*Мама спит, она устала...
Ну, а я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу (Е. Благинина)*

Мамы всякие нужны, мамы всякие важны! (С. Михалков)

А вот из подростковой литературы. Знаменитая повесть Рувима Фраермана “Дикая собака Динго”: “Близко за плечами Тани стояла мать. В дождевом плаще, в белом докторском халате, она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так предмет, поднесенный близко к глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не опомнившись, секунду-две неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные морщинки, расхлывшиеся от уголков ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных для нее – мать никогда не умела заботиться о себе, – и худые, слабые руки, столь искусно врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами. И в них, как щепотка соли, брошенная в море, растворились мгновенно все обиды Тани. Она поцеловала мать осторожно, избегая притронуться к глазам, словно боялась своим движением погасить их взгляд”.

Вспомним и злоключения Звездного мальчика из одноименной сказки О. Уайльда, постигшие его за то, что он отверг свою маму-нищенку. А также его ответ вельможам в финальной патетической сцене, когда они предлагают ему власть: “Я недостоин этого, ибо я отрекся от матери, которая носила меня под сердцем, и теперь я ищу ее, чтобы вымолить у нее прощение, и не будет мне покоя, пока я не найду ее. Так отпустите же меня, ибо я должен вновь отправиться странствовать по свету, и нельзя мне медлить”. Вроде бы никаких нравов, герой говорит исключительно про себя, но воспитательный эффект этих четких, прямо чеканных формулировок огромен, потому что слова вложены в уста ребенка, которому соперничают и с которым, естественно, отождествляют себя юные читатели.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИШЬ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРАВИЛО

Хотя нельзя сказать, что “плохих” мам совсем не было. Помнится, я именно по этой причине не любила знаменитую сказку братьев Гримм про пряничный домик. Никак не могло мое детское сердце смириться с тем, что родители завели Ганса и Гретель в лес и оставили там на погибель!

Да и в произведениях, которые мы читали позже, в школьные годы (в том числе в рамках программы по литературе) попадались разные характеры. Мамаша фонвизинского Недоросля, Кабаниха в “Грозе” или мать-плюсунья из горьковских “Сказок об Италии”, видевшая в подросшей дочери соперницу, безусловно выпадали из идеального образа. Но ведь это и воспринималось как выпадение! Идеал продолжал существовать. И то, что мировая история и культура сохранили и донесли до нас фигуры не просто посредственных, а преступных матерей (Иродиада, Медея и т. п.), нисколько не разрушало идеального образа матери. Наоборот, он, по контрасту, высвечивался еще ярче. И пьедестал, на котором он стоял, возносился еще выше. Иными словами, исключения лишь подтверждали правило. Аномалии позволяли четко увидеть критерии нормы.

Что же касается жанра авторской детской сказки или рассказа, то есть произведений, предназначенных именно для детей (ведь и Горький, и Островский, и Фонвизин писали для взрослых, да и фольклорные сказки не относятся к специфически детским произведениям), я подобных аномалий вообще не припомню. Знаки не менялись местами. Злой, отрицательный бывала

мачеха, а никак не родная мать. Какими бы оригиналами и выдумщиками ни были детские писатели и режиссеры, такое революционное новаторство им в голову не приходило. Причем для этого не требовались знания возрастной психологии или диплом культуролога. Все как-то без особых объяснений понимали, что отталкивающий образ матери в произведении для ребенка — это дикость, подрыв основ.

Максимум, что могли позволить себе детские писатели (и то, повторяю, в порядке исключения) — это покритиковать слепую материнскую любовь, то бишь чрезмерную снисходительность, баловство ребенка, какие-то педагогические ошибки. Таков образ Медведицы в стихике А. Барто “Медвежонок-невежа”:

*Медведица бурая
Три дня ходила хмурая,
Три дня горевала:
— Ах, какая дура я —
Сынка избаловала.*

Или в повести Ефима Чеповецкого “Непоседа, Мякиш и Нетак” родные (не одна мама, а вся семья, то есть это, как говорят в юриспруденции, “разделенная ответственность”) усиленно пичкают, кутают и опекают мальчика Петю, не давая ему нормально расти и мужать. Но в конце концов он вырывается из плена гиперопеки, убегает в пионерлагерь и начинает развиваться, как все нормальные дети.

Согласитесь, неумелая воспитательница, балующая ребенка, и мать-злодейка или развратница — это принципиально разные образы.

Да и сама критика “отдельных недостатков” была очень аккуратной. Из серии “если кто-то кое-где у нас порой”. Никакого, как тогда говорили, очернительства, сарказма, максимум — добродушный юмор. Даже когда в произведениях для подростков описывалось вполне естественное для этого возраста смятение чувств (в том числе и чувство, что близкие тебя не понимают, что ты им не нужен), писатели и режиссеры делали это тактично. Психологически верно передавая переживания юных героев, они не переходили запретную черту, за которой начинается провокация непочитания родителей и подросткового цинизма. О каких-то вещах просто не писали, хотя и в той, “старой” жизни можно было при желании выискать много всякого-разного. А затрагивая “взрослые”, нередко весьма болезненные для подростков темы (например, тему развода родителей), все равно старались не дискредитировать взрослых.

Возьмем для иллюстрации уже упомянутую повесть Рувима Фраермана и не менее знаменитую книгу Владимира Киселева “Девочка и птицелет”. И там, и там — образ разведенной матери. Но если мама “дикой собаки Динго” — сторона страдательная (отец бросил ее с крошечной дочкой на руках), то мать Оли сама стала инициатором развода. Уйдя от мужа, который ее любил, к другому человеку, она вдобавок ко всему на протяжении многих лет гнала дочери, что папа умер. Дочь, правда, догадывалась, что это не так, но не подозревала, что в распадае семьи виновата мать. Когда правда выходит наружу, для Оли это, естественно, потрясение. Отношения с мамой у нее и раньше не были безоблачными. Мать считала её трудным ребенком, а Оля переживала, что у них нет душевной близости. Как ни удивительно, но с отцом ей гораздо проще найти общий язык. Казалось бы, авторитет матери должен рухнуть. Сколько могло бы в такой ситуации всплыть застарелых обид! Тем более что мать, повторяю, объективно виновата: она оставила девочку без родного отца, и девочка это понимает. Но Оля, при всех своих переживаниях, сохраняет любовь и уважение к маме. У нее даже в мыслях нет предъявлять ей претензии и, тем более, устраивать сцены. И хотя в повести религиозные темы не затрагиваются, данный эпизод можно приводить в качестве наглядного примера соблюдения Пятой Заповеди. В обстановке нынешнего разгула грубости и эгоизма, когда дети качают права по любому поводу и без него, это пример весьма поучительный.

СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА

Трудно назвать конкретную дату или даже год, когда ситуация начала меняться. Классик социологии Питирим Сорокин в книге “Американская сексуальная революция”, впервые увидевшей свет в 1956 году, говорил о том, что еще в XIX веке в европейской литературе “все больше внимания уделялось сточным канавам – таким местам, как разрушенный дом вероломных родителей и нелюбимых детей, спальня проститутки, бордель “Сагау Роу”, притон преступников, психиатрическое отделение больницы, клуб бесчестных политиков, уличная банда малолетних преступников, контора барышника, претенциозный особняк циничного финансового магната, переполненная ненавистью тюрьма, “трамвай “Желание”, криминальный портовый район, зал заседаний продажного судьи, дебри скотобоен и мясоконсервных цехов. Эти и сотни подобных картин характерны для большей части современной западной литературы, которая все больше превращается в настоящий музей человеческой патологии” (М., 2006, стр. 31).

Но все же до недавнего времени о систематической дискредитации образа матери в литературе, кино и других видах искусства речи не шло. Даже герои таких “прорывных” по своей грубости и цинизму произведений, как “Над пропастью во ржи” Дж. Сэлинджера (1957 г.) и “Заводной апельсин” Э. Берджесса (1962), не позволяли себе ругать своих матерей. “У моих предков, наверное, случилось бы по два инфаркта на брата, если бы я стал болтать про их личные дела, – говорит сэлинджеровский Колфилд. – Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чертиков.” А законченный поддон, бандит и убийца Алекс, герой “Заводного апельсина”, конечно, относился к родителям наплевательски (например, врубал музыку на полную громкость, похваляясь тем, что “приученные предки не осмеливались стучать в стену моей рум”), но конкретно ничего плохого о матери не говорил. Даже когда она вместе с отцом отказала ему от дома, поскольку, не рассчитывая на его скорое возвращение из тюрьмы, они поселили у себя квартиранта!

В конце же 80-х – начале 90-х гг. что-то случилось. Процессы, о которых писал П. Сорокин, резко усугубились. Культура на глазах становилась всё более деструктивной, табу отменялись одно за другим, святого оставалось все меньше и меньше. Не пощадили и образ матери. Сейчас можно, что называется, навскидку, совершенно не напрягаясь, назвать достаточно большое количество произведений, в которых мать изображена существом, мягко говоря, малосимпатичным. В лучшем случае карикатурно-нелепым, а то и просто гадким, отталкивающим. Поскольку нынешнее молодое поколение явно предпочитает фильмы книгам, обратимся к кино- и видеопродукции. Тем более что фильмы нередко бывают экранизациями нашумевших бестселлеров.

Истеричка – это, с позволения сказать, современный классический образ матери. Тут примеров не счесть. Фильмы “Нация прозака” (США/Германия, 2001), “Дикие сердцем” (США, 1990), “Глянец” (Россия, 2007), “Возвращение домой” (Филиппины, 2003), “Испанский английский” (США, 2004), “Амели” (Франция, 2001) – список можно продолжать очень долго. В бельгийской картине “Мой сын для меня” (Франция – Бельгия, 2006) мать постоянно третирует сына, за что он в конце концов пыряет ее ножом.

Из дающей жизнь мать всё чаще превращается в жизнь отбирающую. Внешне милая домохозяйка из “черной комедии” Джона Уотерса “Мамочка – маньячка, убийца” (США, 1994) может убить человека из-за любого пустяка. В фильме Жанны Лабрюнь “Без единого вскрика” (Франция, 1992) матери удается так настроить сына против отца, что в конце концов он в угоду ей травливает на родного папу собаку, и тот погибает. В “Мертвых дочерях” (Россия, 2007) сумасшедшая мать за одну ночь утопила трех своих маленьких дочерей. В фильме “Жена, мать, убийца” (США, 1991) героиня пробивается наверх из низов, не гнушаясь ничем. Ее жертвами становятся муж и дочь. Она отравила их, так как сочла, что они мешают ей достичь успеха. В фильме “Красная сирена” (Франция, 2002) дочь выдает мать-убийцу полиции.

Еще один образ – мать-дура (нередко в сочетании с истеричкой). Свежий пример – российский сериал “Счастливы вместе”. Из отзывов зрителей: “Да-ша (мать семейства) – дурочка. Гена (отец) – реальный идиот! Семейка придурков”. Кстати, американская “Семейка придурков” (Канада – США, 1995), а также “Семейка Адамс” (США, 1991), все герои которой занимаются черной

магией (пусть и преподано это с юмором, в жанре “черной комедии”), тоже не способствуют поднятию престижа семьи и облагораживанию образа матери.

Образу современной матери может быть свойственна и половая распушенность. В “Острых каблуках” П. Альмодовара (1991) мать соглашается переспать с зятем, своим бывшим любовником. В “Новом парне моей мамы” (Германия/США, 2008) начинающий агент федеральной службы безопасности получает первое задание: следить за своей собственной матерью и ее любовником, которых подозревают в краже предметов искусства из национальных музеев. В фильме “Моя мать, я и моя мать” (Франция, 1999) родительница не только меняет мужчин, но и может разбудить свою дочь в пять утра, чтобы поделиться с ней впечатлениями о проведенной ночи любви. Мать Розетты из одноименного фильма (Франция – Бельгия, 2000) занимается проституцией за бутылку пива. А в фильме “Моя мать”, французской драме Кристофа Оноре, показанной в 2004 году на XXVI Международном кинофестивале в Москве, мать развратна настолько, что оказывается способна даже на инцест.

К таким матерям и отношение соответствующее.

– Ты опять сосешь пиво! – обрушивается на пьяную мамашу Розетта. – Подбери свои лохмы! Ты только думаешь о том, чтобы пить и ... (Далее следует непристойное выражение, на молодежном сленге обозначающее физическую близость).

В фильме Майкла Ли “Тайны и ложь” (США, 1996) мать с дочерью обмениваются грубостями, как базарные торговки.

Мать: – Это из-за тебя я не смогла найти мужчину! Из-за тебя я пала так низко!

Дочь: – Никто тебя не просил меня рожать!

Мать: – Я вовсе не жаждала тебя рожать!

Дочь: – Нужно было подумать, прежде чем стаскивать трусы!

А вот российский “эквивалент”. Фильм Дениса Евстигнеева “Мама” (1999). В основу сюжета положена реальная история многодетной семьи Овечиных, составившей в свое время самостоятельный джаз-бенд и попытавшейся (неудачно) угнать самолет.

“Зачем ты столько детей нарожала, мама? – восклицает Ленчик-инвалид. – Почему я поверил тебе, что меня вылечат? Я в классе лучше всех учился ради тебя. Я гордился тобой! Сейчас опять новую счастливую жизнь затеяла? Опять ни у кого не спросил? Ничего мне от тебя не надо, мама! Ни-че-го!”

Осуждение родителей становится не только допустимым, оно возводится в ранг художественного приема. Фильм “Моя мать, я и моя мать” (1999) построен как рассказ от лица четырнадцатилетней девочки-подростка. Мать состоит из бесчисленных недостатков, которые постоянно раздражают дочь. Сериал “Абсолютно неправдоподобно” (2000) высмеивает мать – жертву моды, за которой наблюдает “чудовищно правильная дочь”. В мультфильме “Агриппина” дочь поучает мать, а не наоборот. В фильме “Реквием по мечте” (США, 2000) сын не обращает на мать внимания, считает ее выжившей из ума. Впрочем, Сара Голдфарб тоже не особо переживает из-за своего Гарри, а ведь он, между прочим, подсел на наркотики. Но у матери есть дела поважнее: её собрались пригласить на любимую телепередачу, а она не влезает в красивое красное платье, которое носила много лет назад, когда еще был жив муж. Стремясь похудеть, Сара начинает принимать амфетамины, у нее развивается привыкание к ним, и постепенно она действительно сходит с ума.

Впрочем, и материнская любовь, понятие, казалось бы, однозначно высокое, положительное, в современном искусстве нередко дискредитируется, подается с обратным знаком. Делается акцент на “собственничестве” матери, ее “нарциссических злоупотреблениях”. А с подачи психоаналитика Франсуази Кушар в последние два десятилетия на Западе стало модно говорить о “материнском захватничестве”. Или, что в сущности то же самое, об “удушающей” материнской любви. О таком “захватничестве” – фильмы “Маленький человек Тейт” (США, 1991), “Пианистка” (Франция, 2001; дочь в этом фильме – ходячий каталог извращений, возникших из-за материнского диктата), “Почти знаменит” (США, 2000; правильная мать все запрещает детям, дочь сбегает из дому), “Замкнутый круг Кароль”. Последняя картина особенно интересна тем, что мать главной героини Мари, в общем-то, не в чем упрекнуть. “Хотя и крайне редко, но в художественных произведениях авторы все же обращаются к весьма актуальной на сегодняшний день ситуации, когда дочь

должна противостоят «совершенной» матери, — пишут, разбирая этот фильм, известные французские психоаналитики К. Эльячефф и Н. Эйниш. — «Совершенной» в нашем случае означает внимательно слушающей и понимающей, разрешающей самостоятельность, не стремящейся установить определенные правила и ограничения для любой мелочи... Именно такое не проявленное противостояние пытается показать в своем фильме «Замкнутый круг Кароль» (1990) Эммануэль Кюо. Мать (Бюль Ожье) и ее дочь Мари (Лоранс Кот) живут вдвоем, без отца, который не упоминается даже намеком, — в доме нет ни одной его фотографии. Груз неразрешенных родительских проблем явным образом перекалывается на дочь, тем более что ей не в чем всерьез упрекнуть свою всегда спокойную, уравновешенную, «идеальную» мать. Она терпеливо слушает, как Мари пробует свои силы в пении, заботится о её пропитании, старается найти способы лишней раз порадовать дочь. Мать, не считая мелких бытовых упреков, не способна вступить в малейший конфликт с дочерью, которая с целью вывести мать из равновесия и услышать ее подлинный голос постоянно провоцирует мелкие и крупные неприятности, то привороживая по мелочам в магазине, то теряя почту и т. п.» («Дочки-матери. Третий лишний?» Попова Наталья, М., «Кстати», Издательство «Институт общегуманитарных исследований», 2006, стр. 42).

«Знаешь, чему бы я была по-настоящему рада? — спрашивает в какой-то момент свою маму Мари. И безжалостно заявляет: — Чтобы ты меньше меня любила!»

Короче, «сбрось маму с поезда!», как советует название популярной американской кинокомедии.

МАМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Но, может, хотя бы дети пока избавлены от «новой» трактовки материнского образа? Увы... Неприкосновенность детства, охрана его чистоты, понятие «это не предназначено для детских глаз и ушей» все активнее вытесняются из поля культуры. Несколько лет назад по московскому телевидению был показан сюжет режиссера Сергея Игнатова о том, какой образ женщины и матери формируют современные (преимущественно западные) мультфильмы. Зрительный ряд производил и до сих пор производит огромное впечатление. Вот уж поистине достаточно один раз увидеть, чем сто раз услышать! Благодаря возможностям копировальной техники эту передачу смогло посмотреть много людей, поэтому пересказывать ее содержание я не буду. Напомню лишь кое-что, особо, на мой взгляд, интересное.

Просмотрев, по выражению автора, «километры пленки», съемочная бригада обнаружила любопытную закономерность: традиционный, привлекательный образ материнства представлен, в основном, в фильмах про животных. В человеческом же облике материнство, как правило, изображено нетрадиционно. Мамы либо слишком стары — такими в наших мультках изображают бабушек — либо непривлекательны. Они могут (как в сериале «Гуфи и его команда») быть изображены карикатурно и вести себя нелепо, тупо, заторможено и т. п. Могут напоминать ведьм (или в действительности ими являться), отталкивать неприятным выражением лица, властностью, злобой. Ну, а в мини-эпизоде, мелькающем на какие-то доли секунды в мультфильме «Красавица и чудовище», совмещены чуть ли не все эти характеристики. Сознание не в состоянии уловить и отрефлексировать изображение, а подсознание улавливает. Авторы фильма дают зрителям возможность поподробнее рассмотреть раскадровку. Почему-то, ни к селу ни к городу, рядом с прекрасной главной героиней возникает старая, некрасивая, бедно одетая женщина с перекошенным от злобы лицом. На руках она держит несколько орущих младенцев. Более неприглядный образ материнства трудно себе представить. Зато легко понять, какую установку получают дети при виде такой картинки: хочешь быть старой, бедной и некрасивой — будь многодетной матерью. Хочешь быть похожей на Красавицу (а кто ж из девчонок не захочет?) — тогда не рожай. В последние годы много написано о манипуляции сознанием. Полагаю, не надо долго объяснять, как опасно воздействие таких «скрытых» кадров на психику юных зрителей.

Да! Чуть не забыла! В современных мультфильмах еще порой эксплуатируется образ матери – секс-бомбы, а иногда, по совместительству, и супермена (“Суперсемейка”).

А во многих модных мультфильмах (например, в “Корпорации монстров”) мать просто не присутствует. В мультфильме “В поисках Немо” маму съедают в первых же кадрах. В “Истории игрушек” от матери – одни только ноги. Но и когда мама есть, вовсе не факт, что ее существование будет воспринято маленьким героем положительно. Малыш Стьюи из мультсериала “Гриффины” (цитирую экспертизу, проводившуюся по определению суда) “не нуждается в матери и пытается избавиться от “матриархального гнета”... По отношению к ней Стьюи испытывает сложный комплекс негативных чувств: отвращение, злобу, презрение, гадливость, в то же время мать – “вторая натура”. Материнское молоко он называет отвратительным, его трясет и он вопит от злобы, когда Лоис (мать) целует его. В монологе любви-ненависти к матери Стьюи поет: “Её могло бы и не быть, но я привык к её чертам”. Фотографии в альбоме малыша показывают, что это – не только слова. Вот затаившийся Стьюи целится в мать со шкафа; он же пытается ее отравить, задушить подушкой. Тень Стьюи с занесенным для удара ножом явственно обозначилась в ванной, где Лоис принимает душ... Бранные выражения – характерная черта образа малыша Стьюи. Их набор, посвященный матери в данной серии (“Гриффин – Президент школьного совета”): “Какого черта ты здесь стоишь?”, “старая карга”, “проклятая ведьма”, “ведьма”, “ненавижу тут и там”, “соскучился как по клизме или летальной температуре”, “не скучаю по этой выдре”, “пусть она хоть в аду сгорит”.

Но, пожалуй, пора хоть немного переключиться с кино на литературу. В повести Жаклин Уилсон “Разрисованная мама”, предназначенной для девочек от 9 до 14 лет и в 2000 году признанной лучшей детской книгой Англии, в образе матери присутствуют едва ли не все столь ценимые современным искусством качества. Мэриголд и алкоголичка, и тунеядка, и ворует чужие кредитные карточки, и водит к себе мужчин. (Ее дети обсуждают это в терминах “подцепить очередного отморозка”.) Основной способ самовыражения Мэриголд – через моду (этакая ожившая кукла Братц, “девчонка со страстью к моде”). Причем проявляется модничанье нелепо-экстравагантно: Мэриголд с ног до головы покрыта татуировками, сделанными по ее собственным эскизам. Как она признается дочерям, татуировки “заставляют ее чувствовать себя необыкновенной”. К дочерям она относится наплевательски. Получив пособие, единственный источник существования для семьи, Мэриголд может потратить деньги на какую-то свою прихоть, нисколько не задумываясь, будет ли что детям завтра поесть. Эгоистичная, взбалмошная, упрямая, инфантильная, она нисколько не похожа на нормальную маму. Ее тринадцатилетняя дочь Стар вынуждена брать на себя материнские опекающие функции как по отношению к младшей сестренке Дол, так и по отношению к самой Мэриголд.

“Почему бы тебе не вести себя нормально?.. Ты-то когда повзрослешь?” – читает Стар нотации маме.

Да и Дол, которая еще не закончила начальную школу (стало быть, ей лет 8–9), во многих ситуациях ведет себя по отношению к матери покровительственно.

“Тебе пора подкрасить корни (волос. – Авт.), Мэриголд”, – командует она (ни Дол, ни Стар не называют Мэриголд мамой).

“Крыша у нее на одном гвозде”, – так характеризует свою мамашу Стар. В конце же повести и без того шаткая “крыша” слетает совсем, в результате чего Мэриголд оказывается в сумасшедшем доме.

Отношение девочек к матери сложное. Дол, от лица которой ведется повествование, несмотря ни на что, по-детски любит мать, хотя и стыдится ее. “Честно говоря, я до сих пор со страхом вспоминала о тех случаях, – признается Дол, – когда она увязывалась за мной, потому что тогда она заходила в школу, да еще и пускалась в разговоры с учителями.” И все же она пока склонна оправдывать Мэриголд: дескать, она “смешная”, “умеет замечательно играть в разные игры”.

Стар же устала от такой “веселой” жизни, ее часто охватывают раздражение и даже ненависть. “Идиотская, мерзкая, бесполезная... не мать, а черт знает что!”, “чокнутая” – вот эпитеты, которыми она награждает маму.

“Да не любит она нас, не воображай, пожалуйста. Если бы любила, постаралась бы исправиться. Если хочешь знать, ей вообще на нас наплевать!” – говорит Стар сестренке.

Другие мамы в повести тоже не подарок. Мать самой Мэриголд отказалась от неё. Приемную же мать Мэриголд называет в разговоре со своими дочками “стервой” и в красках описывает, как та над ней издевалась. Мать мальчика, с которым удается подружиться Дол, тяжелая истеричка с выраженным комплексом “захватничества”, и мальчик ждет не дожидается, когда сможет вырваться на свободу. “Уж тогда отведу душу, – делится он своими планами, – разрисуюсь (татуировками) по полной программе!” От матери девочки Таши, с которой неуклюже пытается подружить дочку Мэриголд, за версту пахнет снобизмом. Единственный положительный персонаж в этом плане – тетушка Джейн, которой социальная служба передает на временное содержание Дол, когда Мэриголд попадает в психиатрическую больницу. Но это пожилая женщина, по возрасту годящаяся Дол в бабушки, а то и в прабабушки.

В другой широко разрекламированной книге, трилогии Ф. Пулмана “Темные начала” (“Северное сияние”, “Чудесный нож” и “Янтарный телескоп”), удостоившейся множества престижных премий, мать Тони Макариоса “думает, что ему лет девять, но какой с неё спрос. Память у бедолаги никудышняя, да и пьет она сильно... Фамилию он носит греческую, но очень может быть, что это все мамашины фантазии... В ее одурманенной вином голове мысли о материнской любви не возникают, но уж если ласкается сынок, так она его не отпихивает. Если узнаёт, конечно. Пускай себе ласкается. Не чужой ведь”.

Мать другого мальчика, Уилла, душевнобольная. А мать главной героини Леры Белаква – сущее исчадие ада. Внешне прекрасная, обворожительная миссис Колтер хладнокровно заманивает в ловушку детей, которых затем используют в чудовищных экспериментах. Больше того, их страдания доставляют ей садистское удовольствие. “Она упивалась, когда детей раздирали на части”, – рассказывают уцелевшие маленькие пленники Лире. Во второй книге она собственноручно ломает пальцы пленённой ведьме, заставляя её выдать тайну. Всё в жизни миссис Колтер подчинено задаче достижения максимальной власти над людьми. Никаких человеческих чувств для нее не существует, ребенок ей был не нужен. Зачата Лира в прелюбодеянии. Когда же лорд Ариэл, отец Леры, убил мужа миссис Колтер, и суд в наказание конфисковал его имущество, любовница поспешила откреститься от него и от дочери, поскольку связь с таким человеком угрожала её карьере и репутации. С самого детства миссис Колтер “не проявляла ни капли сострадания, жалости или доброты, не рассчитав заранее выгоды, которой это должно было <для неё> отозваться”. Она “мучила и убивала всех без промедления и раскаяния... предавала, плела интриги и наслаждалась своим предательством”. У Леры мать вполне естественно вызывает ужас и отвращение.

Правда, в конце концов миссис Колтер вдруг, неожиданно для себя, проникается к дочери любовью. Более того, она жертвует собой, спасая Лиру, но ее образ от этого не становится менее злодейским. Она нисколько не сожалеет о своих преступлениях, продолжает бороться с церковью и даже с самим Богом (вернее сказать, с его “регентом” Метатроном, поскольку Бог изображен в этом кошунственном произведении жалким, немощным стариком). То есть в данном случае мать – уже персонаж откровенно демонический.

Что же касается матери всемирно известного Гарри Поттера, то она изображена безусловно положительно, с одной лишь “маленькой” поправкой: Лили (так зовут покойную маму Гарри) была ведьмой.

НОВЫЕ ЭТАЛОНЫ

Но нельзя исказить образ, не посягая одновременно и на прообраз. Смена координат, искажение ценностей рано или поздно затрагивают не только внешние оболочки, но и глубинные смыслы. И что бы ни говорили авторы (сейчас обычно говорят не об обличении недостатков, это прошлый век, а о том, что жизнь такова, посмотрите вокруг), всё более очевидно, что современная масс-культура настойчиво старается не просто дискредитировать образ матери, но и посягает на его прообраз. Вместо Богоматери – дьяволица – таков вектор современной культуры (в том числе и предназначенной для детей!). Это делается еще не вполне открыто, последние слова не произнесены, но вышеупомянутые и неупомянутые – поскольку им несть числа – книги, фильмы, мультфильмы, а также многие рекламные изображения и персонажи компьютерных игр недвусмысленно характеризуют тенденцию.

Да, бывают и проблески на темном небе, но, к сожалению, не они нынче определяют погоду. Я, конечно, полагала, что дела обстоят неважно, но, право, не догадывалась, насколько они плохи, пока не занялась изучением данной темы вплотную. А между тем “любая жизнеспособная культура опирается на систему положительных ценностей. Кто бы с кем ни воевал, кто бы кому ни противостоял, но рост этноса становился возможным только на яркой пассионарной (по емкому определению Л. Н. Гумилева) позитивной идее. Любая устойчивая культурная модель базируется на позитивном образе человека и его устойчивых связях с миром. Основа такой модели — представление о достойном человеке, чья ценность постоянно демонстрируется и доказывается”. И “обязательный образ, на котором держится любая культура — это положительная женщина-МАТЬ” (Безносюк Е. В., Князева М. Л. “Психопатология современной культуры”).

Разрушение таких обязательных, фундаментальных образов влечет за собой слом культуры. Пока окончательного обвала не произошло, поскольку нелегко за несколько десятилетий погубить то, что создавалось веками. Но “сопротивление материала” не беспредельно. Недавно проведенный опрос среди британских подростков показал, что для них лучший образ современной матери — Мардж Симпсон из популярного мультсериала. Для тех, кто не смотрел, кратко поясню: это пародия на провинциальную американскую домохозяйку 50-х гг., персонаж не противный, но довольно нелепый. Ее легко выделить в толпе по огромной прическе ярко-синего цвета, в которой она нередко хранит различные предметы. Из-за прически рост Мардж больше двух с половиной метров. Однажды она пережгла свои волосы утюгом, и ей пришлось какое-то время побыть брюнеткой. В школьные годы Мардж активно занималась общественной работой (в частности, разоблачила работницу столовой, плевавшего школьникам в суп), но по окончании школы вскоре забеременела и вышла замуж. Энергии Мардж хватает не только на семью. После того, как ей по ошибке увеличили грудь, она какое-то время работала моделью. Еще была учительницей начальных классов (к вящему огорчению своего невоспитуемого сына Барта), актрисой, писателем, плотником и даже полицейским. Как гласит рекламный текст, Мардж “пытается научить людей нравственности, но её попытки зачастую тщетны”. Она “хочет, чтобы люди жили праведно и не грешили, однако в некоторых сериях нарушает свой образ жизни”, потому что “даже ей становится скучно”.

Среди прочих в списке кандидаток на титул “идеальной матери” фигурировали и отнюдь не мультяшные героини современного шоу-бизнеса Виктория Бэкхем, Шэрон Осборн и Лиз Харли. Утомлять подробностями не буду, желающие могут сами поинтересоваться, благо информация о “звездах” сейчас общедоступна. Процитирую только кое-что про Шэрон Осборн с сайта Beatles.ru: “Жена Оззи (Оззи Осборн — известный рок-музыкант. — Авт.) и известная матерщинница ведет переговоры об участии в спектакле “Монологи вагины”. Комедия, написанная американкой Ив Энслер, представляет собой рассказы женщин о своих причинных местах... Шэрон прославилась благодаря реалити-шоу “Семейка Осборнов”, снятом на MTV”. Еще “Шэрон сыграла маленькую роль барменши-лесбиянки в хитовой американской комедии “Воля и благосклонность” после того, как она произвела впечатление на создателей шоу своей эпизодической ролью лесбиянки в американской мыльной опере “Дни нашей жизни”... Однако ее решение примерно год назад стать королевой ток-шоу потерпело фиаско по причине ее чрезмерного сквернословия”.

Так что, похоже, полного перевертыша ждать осталось недолго. Интересно, что сказала бы о результатах опроса, проведенного, кстати, по заказу благотворительной организации “Союз матерей” (Mothers’ Union), писательница Вирджиния Вулф в 30-е гг. прошлого века, борясь вместе с другими феминистками за права женщин, она ратовала за развенчание образа женщины-матери, а творческих дам вообще призывала “убить в себе домашнего ангела”. Осталась бы она довольна результатами, или ее, как это часто бывает, разочаровало бы столь буквальное воплощение мечты? Увы, ответа получить не удастся, поскольку, желая избавить мужа от страданий, связанных с ее помешательством, Вирджиния Вулф в 1941 году утопилась в реке Оус.

Ну, а ответ на отнюдь не риторический вопрос, что творится с душой ребенка, когда так искажается святой образ матери, и чем это чревато для семьи (и не только для нее), мы попробуем получить отдельно.

Редакция предлагает вниманию читателей работу известного российского общественного и политического деятеля, доктора экономических наук, профессора, академика Российской академии естественных наук (РАЕН), эксперта ООН по окружающей среде Михаила Яковлевича Лемешева. Работа эта является отрывком из его новой книги “К воскрешению России”.

МИХАИЛ ЛЕМЕШЕВ

“С РОДНОЙ ЗЕМЛИ — УМРИ, НЕ СХОДИ!”

Поставьте памятник деревне...
Николай Мельников

О русских национальных началах

Великий государственный деятель России Пётр Аркадьевич Столыпин на выступлении в Государственной думе 16 ноября 1907 года сказал: “Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать свою силу в русских национальных началах”. Так вот, давайте попробуем выяснить, что же такое русские национальные начала, о которых говорил Столыпин. Это, прежде всего, трудолюбие и доброта, соборность и взаимопомощь, православная вера, нестяжательство, любовь к родной земле, готовность всеми силами защищать Отечество. Совершенно очевидно, что эти высокие проявления русского духа на протяжении веков хранились именно в деревне.

Крестьянство всегда было животворным источником русской культуры и базирующейся на ней русской цивилизации. Этому в большой степени способствовала община, являющаяся вместе с церковью основой духовной и материальной жизни крестьян. Община осуществляла нравственный и социальный контроль над жизнью своих членов. Все работы, праздники и похороны, свадьбы и именины справлялись всем миром. С сельским миром у крестьян были связаны хозяйственные успехи, все радости и горести, отношения с внешним миром в лице государства.

Главенствующая роль деревни в жизни общества определяется тем, что деревенский образ жизни охватывает весь комплекс социальных, экономических, культурно-бытовых, природно-географических условий и этим определяет характер и образ жизни всех сословий. Механизм воздействия деревни на всё общество обусловлен вечной неразрывной связью с землей. Об этом красочно сказал Глеб Иванович Успенский (1843–1902 гг.): “... крупнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастьях, до тех пор молода душой, мужественно сильна и детски кротка, — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, народ, который мы любим, к ко-

торому идём за исцелением душевных мук, до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли”.

Русские люди считали и считают свою землю святой, боготворят её как всеобщий источник жизни, как мать всего живого. Определение “Мать сыра земля” живёт в народном сознании с языческих времён Древней Руси до наших дней. Земля – основа любви к малой родине, Отечеству, к родному государству, истории страны. Образ земли в русском сознании выражал взаимосвязь живых и мёртвых, преемственность поколений.

Великий А. С. Пушкин до века запечатлел это в одной бессмертной строфе:

*Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

На Руси издревле считалось, что земля – одушевлённое существо, что между землёй и человеком, как творениями Божиими, происходит постоянный взаимный обмен духовными и физическими силами. Русский человек не мыслил свою жизнь вне связи с родной землёй. Если доводилось ему покинуть Россию и отправиться на чужбину, он брал с собой горсть родной земли и держал её на груди до конца своей жизни, унося её вместе с собой в могилу. Возвратясь на Родину, русские люди вставали на колени и целовали свою землю.

Только из великой сыновней любви могла родиться изумительная русская поговорка: “Велика святая русская земля, и везде солнышко”. Подобных мудрых пословиц о земле в русском языке множество. Среди них и такая заветная: “С родной земли – умри, не сходи”. Русский народный гений не случайно сформулировал этот вневременной завет: слишком много охотников было до русской земли в её многовековой истории. Однако русские люди, верные этому великому завету, всегда с честью отстаивали родную землю и свободу страны от алчных захватчиков всех мастей.

Великолепно об этом написал русский советский поэт А. А. Сурков:

*За данью, за поборами богатыми
На Русь дружины жадные вели
Увенчанные шлемами пернатыми
Магистры, полководцы, короли.
Где слава их? Где гордость их надменная?
Орёл на шлеме, сокол на щите?
А ты жива — бессмертная, нетленная,
Загадочная в мудрой простоте!
А ты лежишь, бескрайними пределами,
Ковры своих просторных нив стеля,
Сынами возвеличенная смелыми,
Родная сердцу Русская земля!*

Такова неразрывная связь жизни человека с родной землёй – кормилицей, питающей его не только своими многообразными благодатными плодами, но и духовно-нравственными чувствами, сознанием своей полной зависимости от неё.

Человек испытывает высокое чувство любви и к ясну солнышку, и к звёздному небу, и к животворящей водице-царице, и к своим близким, и к “братьям меньшим”, но ни с чем не сравнимо всепоглощающее чувство любви к родной земле. И эта святая любовь является основой вечного и нерасторжимо единения человека с родной землёй. В этой любви и скрыты те национальные русские начала, черпать силу в которых призывал государственный Столыпин.

Атака на деревню

Внешние и внутренние враги нашей страны, замышляя уничтожение России под видом уничтожения социализма, под лживым прикрытием совершенствования рыночных отношений, особый упор в своих разрушительных реформах, начатых во второй половине 80-х годов XX века и продолжающихся

до настоящего времени, делали ставку на уничтожение русской деревни и русского крестьянства, на ликвидацию самого духа общинности и коллективизма. Один из самых главных и злобных “прорабов” горбачёвской перестройки, член Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев давал такие указания: “Нужны воля и мудрость, чтобы постепенно разрушить большевистскую общину-колхоз. Здесь не может быть компромиссов, имея в виду, что колхозно-совхозный АгроГУЛАГ крепок, люмпенизирован беспредельно. Деколлективизацию надо вести законно, но жёстко”. – Какова лексика! Как это напоминает заявление фашистского фюрера Германа Геринга, сказанные им при начале похода на СССР: “Я намереваюсь грабить и грабить эффективно”.

Какова была “законность” при разрушении русской деревни Ельциным и его преступной командой – хорошо известно. Достаточно указать на то, что руководителями “реформы сельского хозяйства” были такие “знатоки” сельской жизни, как Гайдар, Явлинский, Немцов.

Эта первая волна ненавистников русской деревни и русского образа жизни до основания разрушила эффективную коллективистскую систему землеустройства и землепользования и общественную организацию труда на земле. Под видом организации фермерского хозяйства общественное землевладение в колхозах и совхозах было ликвидировано, а вместо него крестьянам были выделены так называемые “земельные доли” в частную собственность. Но это был наглый обман народа, поскольку конкретные границы участков на территории бывших хозяйств не были определены. Никто из крестьян не знал и не знает до сих пор, где эта его бумажная “земельная доля”. Вместо “земельной доли” крестьянина постигла доля безземельщика, тяжкая доля люмпена.

Сотворив это преступное дело, первая волна реформаторов ушла в тень, а на смену ей накатила новая, не менее агрессивная волна новых душителей русского крестьянства, возглавляемая Кудриным, Грефом, олигархами и просто крупными бандитами от бизнеса. В результате этих зловещих акций, проводимых либерально-демократической властью РФ, русская деревня начала на глазах всего мира погибать. За годы “реформ” с карты России исчезло около двадцати тысяч сёл и деревень (!). Жизнь крестьян опущена до ужасающей нищеты. На селе царит страшная безработица. Всё большее число дееспособных граждан покидают свою историческую малую родину, уходят в города в поисках средств к выживанию. Около 40 млн гектаров ранее обрабатывавшихся плодородных земель зарастает бурьяном и мелколесьем, а земли, на которых ещё теплится сельскохозяйственное производство, огульно распродают не только вороватым дельцам из числа российских граждан, но и лицам без гражданства и иностранцам.

Вся эта преступная вакханалия творится в соответствии с федеральным законом “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”. Антинародная суть этого закона очевидна для всякого здравомыслящего русского человека.

Такая же трагическая судьба уготована нынешней властью и другим видам природного национального богатства России – лесам и водным объектам, которые в соответствии с принятыми федеральными кодексами также подлежат распродаже. Приведём конкретный скандальный факт организации торгов лесными участками общей площадью 490 гектаров, расположенными в Одинцовском районе Московской области, прилегающими к элитному Рублёвскому шоссе. По условиям торгов продажу лесных участков предполагалось провести ограниченному кругу лиц (18 человек) по цене 1000 рублей за сотку при её рыночной стоимости не менее 4–5 тыс. долларов (!). Кто был “допущен” к участию в торгах, думается, читателю догадаться нетрудно.

Социально-экономические последствия гибели деревни

Беды России, обусловленные разрушением деревни, неисчислимы. Это – не только обнищание миллионов сельских жителей, это – потеря неисчерпаемого источника наиболее дееспособных русских людей, наполняющих все сферы общественной жизни – промышленность, транспорт, армию, флот, науку, культуру. Это – потеря экономической независимости страны, это – удар по геополитическим интересам государства, наносимый потерей его

продовольственной безопасности, удар по здоровью, благополучию и воспроизводству нации.

Сугубо трагичным следует признать положение, при котором 40–50%, а в больших городах 60–70% продовольствия поступает из-за рубежа. Власти РФ должны чётко осознать, что сохранение этой критической ситуации представляет собой мощный рычаг в руках враждебных России государств для давления на её внутреннюю и внешнюю политику. **Расходы государства на импорт продовольствия достигли фантастической величины. В 2007 году они превысили 23 млрд долларов.** Эти бессмысленные траты народных средств активно стимулируют развитие экономики западных стран и одновременно лишают инвестиций отечественное сельское хозяйство, которые в 2007 году составили ничтожную (относительно денег на закупки продовольствия из-за рубежа) сумму в 1 млрд долларов.

Но это ещё не вся трагедия. снабжение населения импортным, зачастую генетически модифицированным продовольствием – это целенаправленное разрушение его здоровья, это – долгосрочная стратегия продовольственного геноцида русского народа. Проведение этой злодейской стратегии нашими западными “друзьями” даже не скрывается. Об этом, в частности, свидетельствует маркировка продуктов питания, производимых в странах-экспортерах с предупреждающим текстом: “Для продажи только в странах СНГ”. В целях удешевления производства и получения максимальной прибыли продукты насыщаются целой гаммой ингредиентов: стабилизаторов, эмульгаторов, загустителей, осветлителей и других химикатов, “аналогичных натуральным”. Кроме того, в такие продукты вносятся высокомолекулярные добавки, не поддающиеся обычным методам химического анализа, наряду с точно рассчитанными микродозами солей тяжёлых металлов, радиоактивных изотопов и генетически изменённых белков, что приводит к снижению воли и умственных способностей, сосредоточенности и самоконтроля, разрушает репродуктивную и иммунную системы, вызывает раковые опухоли и наркозависимость.

А какова же “забота” правительства РФ о судьбе деревни?

Как видим, в туннеле, по которому движется реформируемая Россия, царит мрак. У российского народа возрастает озабоченность сложившейся ситуацией. Поэтому либерально-демократическая власть объявила в качестве “света в конце туннеля” **реализацию приоритетных национальных проектов. Их целей четыре: “Образование”, “Здоровье”, “Доступное и комфортное жильё”, “Агропромышленный комплекс”.** Все эти проекты тесно взаимосвязаны, но мы более подробно остановимся на последнем из них. Автору этих строк, как экономисту, представляется, что указанные проекты – это лишь пропагандистская акция, предпринятая правительством для успокоения общественного мнения. В самом деле, о какой приоритетности можно говорить, если в 2007 году из 7 триллионов рублей доходной части федерального бюджета на все четыре проекта было выделено лишь... 3,3%, то есть 231 млрд рублей, из которых на развитие АПК направляется ничтожная часть. Уместно напомнить, что в 1990 году из расходной части бюджета Российской Федерации на развитие АПК выделялось 19%, теперь же эту долю Госдума урезала до жалких 0,4%. Какое уж тут приоритетное развитие? Очевидно, что эта издевательская подачка в большей своей части попала в карманы чиновников различных звеньев управления АПК, а оставшийся мизер был употреблен на организацию разрозненных пропагандистских акций, ни в коей мере не изменяющих критическую ситуацию в АПК к лучшему.

В настоящее время в России насчитывается 25 тыс. колхозов и совхозов, ныне именуемых закрытыми акционерными обществами (ЗАО), и 286 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. Из них только 1,5–2% получили какие-то средства по нацпроекту “АПК”. Кроме того, в стране 16 млн приусадебных хозяйств, которых нацпроекты вообще не коснулись. Им лишь предоставлена возможность получить кредиты под грабительские 15% годовых. Попутно заметим, что подобные кредиты в западных странах и США выдаются под 1–2% годовых, а в Японии они беспроцентные. Причём сроки погашения заёмных средств в несколько раз превышают те, которые приняты в Российской Федерации.

Таким образом, реализация нацпроекта “АПК” свелась к тому, что в каком-то хозяйстве установили оборудование для переработки молока или для какой-то сельской больницы закупили новейшую аппаратуру для диагностики заболеваний, но при этом забыли пригласить специалиста, способного эффективно использовать её; или нескольким сельским школам подарили компьютеры и школьные микроавтобусы, но забыли предоставить в комплекте с ними и трактор, чтобы этот автобус с ребятами перетащить из одного селения, где школа закрыта, в соседнее, а то и отдалённое село по ужасающему бездорожью. А ведь за последние десять “победных” лет на селе уничтожено 10% школ, в деревнях и сёлах сплошь и рядом закрываются библиотеки, клубы и дома культуры, фельдшерские пункты, почтовые отделения. Селянам приходится, чтобы отправить письмо или телеграмму, добираться до ближайшего города или районного центра, отстоящего на 10, а то и на 20–30 км.

Совершенно разрушена материально-техническая база сельского хозяйства. Отечественное тракторное машиностроение угроблено. Имеющаяся на селе техника полностью изношена, да и работать на ней некому. Хорошо отлаженная ранее система подготовки механизаторов через сеть ПТУ почти вся уничтожена, а в тех единичных учебных заведениях, которые ещё сохранились, студенты получают стипендию 310 рублей в месяц. Свёрнуто производственное, дорожное, мелиоративное, культурно-бытовое и жилищное строительство на селе, 60% селян проживает в ветхом и неблагоустроенном жилье. Этих важнейших сфер жизни деревни нацпроект “АПК” вообще не касается.

Подведём печальный итог. Демонтаж созидательной жизни русской деревни принял тотальный характер. Для его осуществления используется следующий механизм:

- резкое снижение объёма госзаказа на сельхозпродукцию;
- вопиющий диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию;
- разрыв цен с двукратного в 2002 году к 2008 году возрос до десятикратного;
- нарастание массовой безработицы;
- нищета, ведущая к деградации личности и ускоренному вымиранию людей.

Естественно, возникает вопрос, можно ли спасти русскую деревню от окончательной гибели? Как экономист и специалист по управлению функционированием сложных систем, автор этих строк убеждён, что такое спасение возможно. Но оно возможно только при проявлении политической воли со стороны руководства страны и осознания им безотлагательной необходимости перехода в управлении экономикой страны к жёсткому государственному регулированию. К сожалению, “наверху” такого осознания в настоящее время всё ещё не наблюдается. Более того, непотопляемый чиновник высочайшего уровня, руководивший в течение восьми “победных” путинских лет российской экономикой, Герман Греф, как выразитель либерально-демократической идеологии, недавно произнёс странную фразу: “Того, кто называет себя государственным, надо изолировать от управления страной”. Фраза эта, конечно, свидетельствует об уровне мыслительных способностей этого “государственного” деятеля. Но не приведи Господь, чтобы новое руководство взяло на вооружение эту “рекомендацию” завязатого реформатора и его многочисленных единомышленников.

Будем молить Бога, чтобы этого не случилось, а пока изложим некоторые собственные соображения о путях спасения русской деревни, а следовательно, и России.

Что же необходимо сделать?

Официальная пропаганда непрерывно вещает о якобы динамичном подъёме российской экономики. Однако это не соответствует действительности. Пресловутый подъём оценивается практически по единственному показателю – росту валового внутреннего продукта страны (ВВП). В действительности же происходящий рост ВВП достигается за счёт роста цен на мировом рынке на распродаваемые невозполнимые природные ресурсы России, прежде всего энергоносители. Поэтому рост ВВП вовсе не свидетельствует об эффек-

тивном развитии экономики и тем более адекватном повышении благосостояния народа. Так, с 2000-го по 2007 год ВВП России вырос в 1,5 раза, золотовалютные резервы Центрального банка и Стабилизационного фонда соответственно в 31,6 раза, а доходы населения, по сообщению В. В. Путина, “в два с лишним раза”. Правда, при этом не разъясняется, о каких доходах идёт речь – номинальных или реальных. Не разъясняется также, каков рост этих доходов по различным социальным группам граждан. Не секрет, что средний рост обеспечивается за счёт более быстрого роста доходов олигархов и высокопоставленного чиновничества. Между тем такое уточнение способно указать, что при значительном росте ВВП большинство населения страны продолжает жить в условиях ужасающей бедности и нищеты, и в первую очередь это относится к русскому крестьянству.

Чтобы прояснить истинную картину состояния российской экономики, приведём динамику изменения благосостояния российского общества по исчисляемому ООН сводному показателю – индексу развития человеческого потенциала. **В 1988 году Российская Федерация находилась на 26-м месте в мире, к 1992 году она опустилась на 34-е место, а в 2006 году на 63-е место!**.. Здесь, как говорится, комментарии излишни. Россию продолжают опускаться на дно мирового сообщества.

Как же прервать этот губительный процесс и повернуть ход экономики страны от упадка к подъёму? Ключом (именно ключом, а не отмычкой) такого исторического поворота может и должно стать возрождение русской деревни. Только оно способно дать стимул и жизненные соки для оздоровления всей экономики. Понятно, что эту задачу невозможно решить в ближайшие 3–4 года. Необходима детальная разработка стратегии возрождения, как минимум, на 15–20 лет, но реализовать эту стратегию надо начинать незамедлительно. Ресурсы для этого пока имеются большие. Это не востребованный донные трудовой и интеллектуальный потенциал русского народа, наши уникальные природные ресурсы и ещё частично сохраняющийся с дореформенных лет производственно-технический аппарат. Что же касается финансовых ресурсов, то ссылку нынешних властей на отсутствие денег нельзя рассматривать иначе, как явную ложь.

Попробуем, хотя бы для обсуждения, назвать реальные источники денежных средств для возрождения деревни и АПК в целом. Выше уже отмечалось, что на покупку продовольствия за рубежом страна затрачивает 23 млрд долларов. Переориентация этих гигантских средств может обеспечить значительное инвестирование в развитие АПК. Понятно, что это невозможно сделать одновременно, но начинать пусть частичную такую переориентацию следует не откладывая.

Необходима активная регулирующая роль государства. В этих целях непременно должно стать воссоздание Госплана и Государственного комитета по науке и технике Российской Федерации.

В подтверждение целесообразности этих предложений сошлюсь на авторитет известных зарубежных ученых. На одном из российско-американских экономических форумов японский миллиардер Хороси Такавама заявил: “Вся наша экономическая система скопирована с вашей плановой. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры”. Британский профессор Т. Шанин добавил: “Мне смешно, когда у вас говорят о свободном рынке Запада. Где он? Его нет. Например, цены на молоко определяет правительство, а не рынок”. Всемирно известный американский ученый Дж. Гелбрейт, автор теории конвергенции капитализма и социализма, уточнил: “За свободный рынок могут ратовать только люди с психическим отклонением”.

Особое внимание государства должно быть уделено эффективному использованию выделяемых средств. Чтобы уберечь их от расхищения коррумпированным чиновничеством, они должны адресно направляться производственным предприятиям АПК, поставляющим для села тракторы, автомобили, сельхозтехнику, энергоресурсы, удобрения, оборудование для переработки сельхозпродуктов, а также специализированным организациям производственного, дорожного, лесомелиоративного, жилищного и культурно-бытового строительства.

Непосредственно на селе необходимо безотлагательно начать создание производственных и торгово-сбытовых кооперативов и небольших дееспособных трудовых артелей. Только они, а не мифические индивидуальные фер-

мерские хозяйства способны вести современное сельскохозяйственное производство, и поэтому именно они должны получать финансовую поддержку государства.

Осознание властью ключевой роли спасения русской деревни в будущей судьбе России, её возрождении и воскрешении – первое условие принятия созидательной стратегии управления государством. Рынок всегда был и будет. **Но не рыночные заклинания, а государственное регулирование и действенный общественный контроль со стороны органов местного самоуправления создадут реальную возможность вывода АПК и всей экономики страны на путь истинного развития.**

РОБЕРТ НИГМАТУЛИН,
БУЛАТ НИГМАТУЛИН

КРИЗИС И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ

Ключевой вопрос экономической стратегии сегодняшней России — за счёт каких ресурсов модернизировать экономику? Ведь пока нет никаких признаков выхода из сырьевой траектории. Глава госкорпорации “Роснано” Анатолий Чубайс определил, что модернизация возможна “только за счёт снижения расходов в социальной сфере. Иных источников нет”¹. Он также заявил, что всё профессиональное сообщество, в том числе экономическая и экспертная элита, отстало интеллектуально и не готово предложить правительству системные меры перестройки экономики. “Я отношу это и к себе”, — добавил А. Чубайс. Замечательное признание, хотя, скорее всего, риторическое!

Показатели России по неравенству доходов, основным позициям в мировых рейтингах (бедность, безработица, средняя продолжительность жизни мужчин, коррупция, защищённость личности и собственности, приверженность демократии и свободе личности) равны нигерийским. В этих условиях представитель либерально-рыночной элиты (далее ЛР-элита) говорит, что единственным источником для инноваций является снижение расходов на социальную сферу, а это значит — расходов на учителей, врачей, инженеров, профессоров, офицеров. Тут дело не только в интеллектуальной отсталости. Дело и в эгоистическом классовом интересе и безответственности. Ведь такая экономия сопряжена с риском народных волнений. А то, что экономия на социальной сфере может тормозить экономический рост (об этом ниже), этого ЛР-элите никогда не понять.

Данная статья и посвящена обоснованию тех мер, которые могут вывести российскую экономику из беды, в которую её завёл либерально-рыночный догматизм и несбалансированная жажда наживы.

Экономическое неравенство и распределение доходов

Для анализа распределения доходов население разбивается на десять одинаковых по численности (по 10%) децильных групп в порядке возрастания денежных доходов, приходящихся на каждую группу.

Первая группа — самая бедная, она имеет самые маленькие доходы, последняя (десятая) — самая богатая, она имеет самые большие доходы. Для характеристики экономического неравенства используется децильный коэффициент (ДК), который равен отношению денежных доходов двух крайних из этих децильных групп — самой богатой и самой бедной.

В скандинавских странах ДК = 3–4, в Евросоюзе 5–6, в Южной, Восточной Азии, Японии и Северной Африке — 4–6, в США — 9, в Южной Африке — 10,

¹ Горе без ума — у чиновников нет идей, как перестроить экономику России, РБК Daily, 01.07.09.

НИГМАТУЛИН Роберт Искандерович — академик, член Президиума РАН, лауреат Государственной премии.

НИГМАТУЛИН Булат Искандерович — доктор технических наук, первый заместитель директора Института проблем естественных монополий.

в Латинской Америке – 12 и, наконец, с большим отрывом “впереди планеты всей” – Россия с официальным ДК = 16.

Такое лидерство свидетельствует о вопиющем и позорном экономическом неравенстве в России. В ряде исследований было показано, что если ДК больше 7–8, то социальное и экономическое положение в стране с рыночной экономикой неустойчиво. А как будет показано, такое неравенство разрушает и производительные силы.

Самая богатая децильная группа в России задекларировала 30,6% всех открытых¹ денежных доходов страны, а самая бедная – 1,9%. Следующая, чуть “побогаче” децильная группа имеет 3,5% от всех денежных доходов.

Граждане двух самых бедных групп составляют вместе 20% населения России, и все они живут ниже или около прожиточного минимума². Какие же ресурсы нужны, чтобы поднять в два раза доходы самой бедной (первой) децильной группы (то есть поднять их долю с 1,9% до 3,8%) и в полтора раза доходы второй, чуть менее бедной децильной группы (то есть поднять их долю с 3,5% до 5,2%)? Нетрудно посчитать, что для этого нужно добавить им всего $1,9 + 1,7 = 3,6\%$ доходов всего населения. Если собрать их с самой богатой (десятой) децильной группы (которая задекларировала 30,6% открытых доходов всего населения), то последняя потеряет всего $3,6 : 30,6 = 12\%$ своих задекларированных доходов, а “официальный” (задекларированный) децильный коэффициент станет равным $DK = (30,6 - 3,6) : (1,9 \times 2) = 7,1$, то есть войдёт в норму.

И это лишь относительно небольшая коррекция распределения задекларированных доходов с целью выхода из крайней бедности 20% населения.

Только интеллектуальная отсталость и несбалансированная жадность ЛР-элиты объясняют нежелание решить эту проблему такой небольшой коррекцией распределения доходов в пользу бедного класса.

Для спасения и развития государственных сфер (армия, правопорядок, образование, культура, здравоохранение, наука), спасения и развития производительных сил такая коррекция, конечно, недостаточна, и требуется коренная реформа распределения доходов и модернизация экономического порядка в России.

Анализ распределения доходов в самой богатой децильной группе показывает, что основная часть доходов этой группы сосредоточена у очень малой части семей³. Более того, доходы самых богатых, составляющих 1% населения и входящих в самую богатую часть 10-й децильной группы, во много раз больше задекларированных ими доходов и тем самым учтённых в официальной статистике. Эти скрытые доходы сопоставимы с общим официальным доходом всего населения России, составляющим более 20 трлн руб. в год. В основном эти доходы получаются в иностранной, а не рублёвой валюте. Если учесть эти скрытые доходы, то получится, что в современной России ДК равен 30–50.

В группу “сверхбогатых”, в частности, входят:

– 0,2% семей (100 тысяч семей), которые владеют 70% национального богатства;

– 0,4% семей (200 тысяч семей), которые в 2007 г. имели доход более 30 млн руб. в год⁴.

Идеологи правительства и ЛР-элиты обычно повторяют расхожую сентенцию, что оплату труда можно повысить только после повышения производительности труда. *Надо сначала заработать, а потом делить* – говорят они в противовес тезису крайних левых, которые хотят всё у богатых отобрать и раздать бедным.

Правильный тезис: *чтобы страна больше заработала и больше произвела*

¹ Ниже показано, что самые богатые имеют “теневые доходы”, многократно превышающие задекларированные.

² Прожиточный минимум, установленный с 1 января 2009 г. в среднем по разным категориям населения, равен 5100 руб./мес. По данным Росстата, число бедняков, имеющих доход меньше прожиточного минимума, равно 24,5 млн человек (17,4% всего населения), а годом ранее число бедняков было меньше и составляло 17,4 млн человек.

³ С. Валянский, Д. Калюжный. Неуловимые “середняки”. Литературная газета, 08–14 октября 2008 г.

⁴ Данные Росгосстраха, опубликованные в “Коммерсант – Дейли”. 27.02.2008.

товаров, надо правильно распределять то, что уже зарабатывается страной. Иначе она не заработает больше.

Ниже показано, к каким последствиям приводит аномальное экономическое неравенство, которое в свою очередь является средством неправильного распределения национального дохода.

Прогрессивное налогообложение богатого класса

Если под социальной сферой понимать всё население, в том числе и указанный выше класс самых богатых, составляющий 0,2–0,4% семей, то утверждение, что экономия на социальной сфере – источник для инноваций, формально правильное (с уточнением, что эта экономия не единственный источник). Но этот класс богатых, как “священная корова”, российской ЛР-элитой не включается в социальную сферу и тем более не рассматривается как класс, на содержании которого можно сэкономить, чтобы собрать ресурсы для поддержки инновационной экономики. Этот класс платит 13% со своих открытых доходов, и всё. Чиновники и ЛР-элита говорят, что иначе, если с богатых пытаться взимать больше, то богатые и 13% не будут платить, скрывая свои доходы.

Конечно, втайне они имеют в виду себя, потому что среди чиновников (губернаторов, депутатов, министров и др.) и ЛР-элиты есть те, кто вместе со своими жёнами имеют доходы, исчисляемые десятками миллионов рублей в месяц. Более того, как уже говорилось выше, самые богатые даже от нынешнего (13%) примитивного налогообложения скрывают огромные суммы, сопоставимые с общим официальным денежным доходом всего населения.

Между тем в тех странах, которые они любят ставить в пример, богатые должны платить не 13%, а 50% своих доходов и более.

Во имя отечества, о котором так “радеет” российская ЛР-элита с гигантскими доходами, она могла бы отдать 50%, оставив себе столько же (ведь и это немало), тем более что так делают во всех (ещё раз подчеркнем, именно во всех) более или менее развитых странах. Так нет же. Ниже будет показано, сколько теряет государство из-за нынешней порочной налоговой концепции, принятой в России.

Экономическая элита США, Европы, Японии и других индустриальных стран в отличие от российской ЛР-элиты понимает, что прогрессивная (нелинейная или непропорциональная) шкала налогов, при которой чем больше доход, тем большую долю надо отдать государству в виде налогов, это не “социалистическая блажь”, а необходимое условие сбалансированности и устойчивости экономики, инвестиционной емкости, социальной устойчивости и социальной справедливости. К социальной справедливости российская ЛР-элита относится с презрением, а к устойчивости нашего общества она привыкла. Но непостижимой для российской ЛР-элиты является следующая теорема.

Теорема 1: Прогрессивная шкала налогов является **необходимым условием сбалансированной рыночной экономики и экономического роста.**

Именно необходимым!

Прогрессивное налогообложение (чем больше прибыль и доход, тем большая доля идет в госбюджет в виде налога) уравнивает эгоистическое стремление предпринимателя меньше заплатить работнику и меньше вкладывать в развитие производства. Прогрессивное налогообложение спасает капитализм и рыночную экономику от гибели из-за кризиса перепроизводства, описанного Карлом Марксом.

Поэтому во всех развитых и развивающихся странах богатые отдают государству налогами в несколько раз большую долю (до 50–60%) своих доходов, чем бедный и средний класс.

А бедный класс вообще освобождается от налогов.

В США, если у гражданина зарплата меньше 13 000 \$/год, то налоги ему возвращаются. Кроме того, если в его семье есть ребёнок, учащийся в школе, то семье добавляется из государственной казны 3000 \$/год. В Европе поддержка бедного класса ещё значительнее. И эта поддержка обеспечивается налогами богатого класса.

Но даже при таком “выравнивании” доходов западным государствам и в

первую очередь США, не удалось предотвратить избыточное и порой незаконное сосредоточение доходов у небольшой группы из богатого класса (о чём свидетельствует их большой ДК = 9), что и привело к кризису платежеспособного спроса и неплатежам по кредитам за жильё. Нынешний мировой кризис, в конечном счёте, и есть следствие нарушения баланса, избыточного неравенства и несбалансированного сосредоточения доходов у крупных менеджеров и финансовых воротил США. Эти доходы фактически изымались из экономики с помощью различных спекулятивных ухищрений с “ценными бумагами” (деривативами).

Российская ЛР-элита гордится, что по ее настоянию у нас плоская (линейная, или пропорциональная) шкала налогов и все платят 13% своих доходов. Ведь это очень удобно – говорят они. А сколько стоит стране это удобство? 200 тысяч самых богатых семей в 2007 г. имели доходы более 30 млн руб./год. Если 50% этих доходов мобилизовать на спасение отечественной экономики, то получится сумма в 3 трлн руб./год. Как раз столько не хватает для сбалансированного госбюджета.

А ещё имеется и богатая собственность (дорогие дома, земельные участки, яхты и т. д.), за которую, в том числе и за право её наследования, её обладатели во всех нормальных странах платят приличные налоги. И дело опять же не только в справедливости.

Дело в том, что избыточное сосредоточение доходов в малочисленной группе наиболее богатых (избыточное неравенство) оставляет слишком мало доходов большей части народа. Платежеспособный спрос бедного и среднего классов, являющихся потребителями отечественной продукции, становится недостаточным для покупки производимых товаров. Спрос падает, и возникает кризис перепроизводства и кризис неплатежей. А сверхизбыточное неравенство, которое имеется в современной России, не позволяет оплачивать даже жизнеобеспечивающие товары по покрывающим издержки ценам. То есть товары и услуги бедной частью народа потребляются (питание, услуги ЖКХ, транспорт), но не полностью оплачиваются из-за низких зарплат и пенсий. В результате жизнеобеспечивающие отрасли (сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, производство простых и необходимых для жизни потребительских товаров) задыхаются от недоплаты. Этот механизм разрушения производительных сил проанализирован в книге одного из авторов¹.

Россия напоминает семью с неумными родителями. В этой семье почти все заработанные родителями средства отдаются одному “самому любимому” ребёнку, который тратит их на свои забавы. В результате всем остальным детям и самим родителям почти ничего не остаётся даже на питание, чтобы поддерживать свои силы. Они слабеют, хуже работают и скоро потеряют работу. Пострадает вся семья, в том числе и “самый любимый” ребенок, во имя которого разбалансировано распределение семейного бюджета.

Сотрудники Института социально-экономических проблем народонаселения РАН во главе с профессором А. Ю. Шевяковым дали анализ данных Росстата за последние 17 лет². Их анализ показал, что избыточное неравенство снижает темп экономического роста. Анализ также показал, что если бы правительство проводило даже небольшую корректировку распределения доходов за счёт прогрессивного налогообложения и изъятия доли доходов наиболее богатых и передачи этой доли бедному классу, то темп экономического роста можно поднять в полтора раза.

Нынешнее распределение доходов и нынешняя налоговая концепция не позволяют сохранить государство, развивать народ и его производительные силы. На этом пути нет никакой перспективы. И чем дольше откладываются соответствующие реформы, тем тяжелее и болезненнее они будут позднее, и тем больше риск деградации страны, потери социальной устойчивости и революционных потрясений.

Какой же ориентировочно должна быть прогрессивная шкала налогов в России при нынешних рублёвых доходах?

¹ Нигматулин Р. И. Как обустроить экономику и власть в России. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007.

² Шевяков А. Ю. Факторы неравенства в экономической и демографической динамике и формирование новой социальной политики государства. “Вестник Российской академии наук”, том 77, № 4, 2007.

Во-первых, следует освободить от налогов малообеспеченных с зарплатой, меньшей 15 тысяч руб./мес.

Во-вторых, брать налог 13% с той части дохода, которая выше 15 тысяч руб./мес.

В-третьих, ставку выше 13% применять к тем доходам, которые превышают 100 тысяч руб./мес., увеличивая её с ростом доходов, доведя ставку до 50% для доходов около 1 млн руб./мес. и более.

Аналогично — с собственностью. Обычные квартиры и небольшие дачи должны быть освобождены от налогов, а “элитная” недвижимость должна быть обложена налогом с годовой ставкой, равной около 3% рыночной стоимости этой недвижимости.

Конечно, здесь приведены ориентировочные оценки, основанные на зарубежных аналогах. Российские нормы должны быть уточнены в процессе подготовки законов и их внедрения в практику. Кроме того, все изменения налоговых ставок по отношению к нынешним ставкам следует делать постепенно в течение трёх–пяти лет. Но работу по введению прогрессивного налогообложения личных доходов и богатой собственности надо срочно начинать, иначе мы потеряем все структуры, обеспечиваемые из госбюджета, а учителя, врачи, офицеры, профессора будут и впредь очень бедными.

Социальная ответственность государства и бизнеса

Президент РФ и Председатель правительства правильно говорят о социальной ответственности бизнеса. Но социальная ответственность не только бизнеса, но и, в первую очередь, государства предполагает нетерпимость к безнравственному и разрушительному для экономики (главным образом из-за кризиса платежеспособности народа) и страны в целом распределению богатств и доходов.

Теорема 2: Пока есть учителя, врачи, инженеры, научные работники и офицеры, получающие 15000 руб./мес. и меньше, **все доходы более 1 млн руб./мес. являются безнравственными и разрушительными** для государства и экономики.

А ведь носители этих безнравственных и разрушающих экономику доходов входят в ЛР-элиту, сильно влияют на экономическую стратегию и руководят страной в качестве министров, депутатов, губернаторов... Это очень опасно для страны и для них самих.

Во всех странах никто платить налоги не хочет, особенно богатые. Но они платят более 50% своих доходов, и основная налоговая нагрузка ложится на них.

Например, 80% федерального бюджета США обеспечивается налогами, взимаемыми с 20% наиболее высокодоходных граждан.

Если бы в США использовалась наша плоская шкала налогов и такие же налоги с богатой собственности, то их государственный бюджет сократился бы в 2,5 раза по сравнению с нынешним, и США перестали бы быть великой державой. Тогда бы в США так же, как в России, деградировали армия, образование, здравоохранение, наука, культура. При этом страдала бы и экономика, ослаблялись производительные силы. Всех и особенно высокодоходных граждан платить налоги заставляет государство. И если кто-то нарушает правила, его жёстко наказывают.

Когда начинается война, государство призывает в армию всех военнообязанных, не спрашивая их согласия. Ведь многие не хотят лично подвергать свою жизнь опасности. Государство обязано заставлять своих граждан исполнять то, что необходимо для жизни страны.

Так должно быть и в России с богатыми, избегающими исполнения необходимых для жизни страны законов, принятых во всём мире. Необходимо контролировать не только доходы, но и расходы на дорогую недвижимость, дорогие автомобили, яхты и другие предметы роскоши. При этом нет необходимости тратить значительные усилия для контроля бедного и среднего класса, простых квартир и дач, принадлежащих людям среднего и ниже среднего достатка.

Налоговым службам надо сосредоточиться на контроле доходов, расходов и недвижимости 1–2% богатых граждан, живущих в богатых домах. Имен-

но в этой “социальной сфере” следует собирать налоги и находить бюджетные ресурсы для модернизации страны по нормам, которые приняты во всех цивилизованных странах за исключением России. Ныне эти огромные ресурсы растрачиваются на избыточную роскошь или переводятся за рубеж.

Особое внимание следует обратить на так называемые “оффшоры” или компании, работающие в России, но зарегистрированные на Кипре или в других подобных маленьких государствах. Такие компании “уводят” налоги из России. Сейчас во всём мире идёт законодательная и административная работа по прекращению таких махинаций, что особенно актуально для России. Должен быть закон: где производится товар, где работают российские граждане, там надо и платить налоги.

Эти очевидные для специалистов положения не понимает и не заинтересована понять наша ЛР-элита, депутаты и чиновники.

Для оценки величин оптимального государственного бюджета, когда потребности ресурсов для государственной деятельности в интересах всей нации (народа) и развития экономики сбалансированы с экономическими возможностями страны, имеет место теорема, установленная из анализа бюджетов различных стран.

Теорема 3: Для сбалансированного (баланс потребностей и возможностей) обеспечения государственной деятельности необходимо, чтобы государство аккумулировало у себя за счёт налогов, акцизов и пошлин не менее 40–50% ВВП.

Так, в США эта доля колеблется от 40% до 43%, в Европе – от 45% до 50%, а в скандинавских странах – до 65%.

В России доля консолидированного бюджета существенно меньше (меньше 30% официального ВВП, а с учётом незадекларированных (теневых) доходов меньше 20% фактического ВВП). Поэтому российское государство и не может обеспечить содержание армии, образования, здравоохранения, культуры, науки, правоохранительных органов на уровне индустриальных стран и не в состоянии обеспечить долговременные проекты страны. Ресурсов не хватает потому, что небогатые у богатого класса огромные деньги растрачиваются на сверхпотребление.

Прогрессивная шкала налогов на доходы и собственность, которые поднимут платёжеспособный спрос народа, конечно, не единственный механизм, который надо использовать в России для мобилизации национальных ресурсов и спасения деградировавших последние 20 лет российских производительных сил и государственных институтов.

Баланс издержек, цен, зарплат и прибыли

Второй механизм, который необходимо использовать, чтобы поднять платёжеспособный спрос народа и способствовать экономическому росту, это обеспечение сбалансированных цен. Особое значение это имеет для самых важных для жизнеобеспечения отраслей: сельского хозяйства, энергетики, строительства жилья, жилищного хозяйства (ЖКХ) и транспорта. Эти отрасли работают практически только на внутренний рынок, и без них невозможна жизнь страны. Они наши последние экономические бастионы. Остальные отрасли – производство одежды, бытовая, электрическая и радиотехника, станкостроение, гражданское авиастроение и многое другое – влчат жалкое существование. Соответствующие товары покупаются за рубежом и оплачиваются за счёт выручки от экспорта. Причем 92% этой выручки приходится на экспорт сырья и полусырья – нефти, нефтепродуктов, газа, угля, металлов, драгоценных камней, древесины, целлюлозы, удобрений, и только 8% – на экспорт машин, оружия, зерна¹. Мировой экономический кризис уменьшил

¹ Для полного обеспечения зерном в условиях России необходимо 1 т/(чел. х год), из которых половина нужна для обеспечения животноводства и птицеводства. Таким образом, для России необходимо производить 140 млн т/год. В последние годы производится 80 млн т/год (в 2008 г. – 108, в 2009 г. – 98 млн т/год), из которых экспортируется около 10–15 млн т/год, т. к. с 1992 г. в 2 раза сократилось поголовье скота и соответственно упала потребность в зерне. Но Россия полностью зависит от импорта продуктов животноводства. Несмотря на это, правительственные чиновники и представители ЛР-элиты с гордостью утверждают, что Россия стала крупным экспортером зерна. Вот такие времена, и такие у нас чиновники, и такая у нас ЛР-элита.

спрос на сырьевые товары российского экспорта, что привело к двукратному уменьшению цен на них.

В ближайшие три – пять лет Россия не сможет существенно расширить экспорт товаров обрабатывающих отраслей. Надо сосредоточиться и спасти те отрасли, которые обеспечивают жизнь народа. Надо срочно облегчить бизнес в этих отраслях, облегчить бремя оплаты сырья и энергии, производимых в нашей же стране, и увеличить покупательский спрос нашего потребителя, который одновременно является и производителем. А для этого необходимо *сбалансировать экономику*.

Для *жизнеобеспечивающих* товаров, потребляемых на внутреннем рынке, необходимо сбалансировать рублевые цены с издержками производства (с учётом амортизации средств производства), а со сбалансированными ценами необходимо сбалансировать зарплаты трудящихся. Это потребует сокращения чрезмерных доходов богатых. Но только сбалансировав цены, издержки, зарплаты и доходы богатых, можно сбалансировать возможности производительных сил с потреблением, с остро необходимой модернизацией производства и с доходами богатых, идущими на сверхпотребление и вывоз их капиталов за границу. Только так можно сбалансировать социальное давление в сторону роста зарплат трудящихся и стремление богатых увеличивать свои доходы. Только так можно создать условия для реального роста *производства товаров и устойчивости страны*.

Идея сбалансированной экономики не учитывается и никак не обсуждается нынешними идеологами, определяющими экономическую политику России. Теория межотраслевого баланса разработана Нобелевским лауреатом В. В. Леонтьевым, и она применяется во всех индустриальных странах. В 1970-е годы этот метод широко использовался в СССР, в том числе и в Госплане СССР, но сейчас он используется только в отдельных лабораториях. Нынешние руководители российской экономики его не понимают и не хотят понимать. Отчасти это связано с тем, что для поддержания экономических балансов требуется высокая теоретическая квалификация и честная работа государственных структур.

Чтобы понять суть экономических балансов и их влияние на инфляцию и производительность труда, нужно напомнить некоторые азы макроэкономики.

Цены должны покрывать издержки производства, выплату налогов и давать прибыль.

В сбалансированной экономике жизнеобеспечивающие производства, в которых нет революционных прорывов в технологиях, должны работать с умеренной (сбалансированной) прибылью на уровне 5–10%. Кроме того, в ценах должны быть заложены умеренные налоги в бюджеты разных уровней на уровне 10–15%. В итоге необходимое условие баланса цен с издержками, налогами и прибылью приводит к тому, что цены должны превышать производственные издержки от 10% до 25%.

Именно так должны работать топливно-энергетический комплекс, металлургия, сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, химическая промышленность и машиностроение, обеспечивающие основу жизнеобеспечения страны и основу всей экономики.

Баланс оплаты труда и валового продукта

Фонд оплаты труда основной массы трудящихся¹ должен покрывать фонд цен всех жизнеобеспечивающих товаров, потребляемых этими трудящимися, то есть быть сбалансированным с производительностью труда. Если фонд оплаты труда существенно больше фонда цен товаров, то этот дисбаланс приводит к дефициту. Если фонд оплаты труда существенно меньше фонда цен жизнеобеспечивающих товаров, то этот дисбаланс приводит к кризису перепроизводства.

¹ В фонд оплаты труда не следует включать не только противозаконные выплаты, взятки и “откаты”, но очень высокие зарплаты менеджеров и чиновников (например, более 500 тыс. руб./мес.), которые являются на самом деле рентой за близость к властным, финансовым и другим “монополиям”. Фонд упомянутых “откатов” и рент вздувает цены и на жизнеобеспечивающие товары, и на предметы роскоши, недвижимость и т. д.

Опыт индустриальных стран показывает, что имеет место следующая теорема.

Теорема 4: Для экономической сбалансированности валового внутреннего продукта (ВВП) и внутреннего платежеспособного спроса, определяемого фондом оплаты труда (ФОТ), необходимо:

$$\text{ФОТ} = (0,6 \div 0,7) \text{ ВВП.}$$

Сегодня в России фонд оплаты труда составляет 40% официального ВВП. А учитывая огромные скрывающиеся доходы богатого класса, которые должны быть учтены в объеме ВВП, фонд оплаты труда становится в два раза ниже нормы. Этот дисбаланс надо решительно сокращать.

Правительство должно следить за сбалансированностью экономики, в частности, за издержками, ценами, прибылью (в первую очередь в отраслях, обеспечивающих внутренний рынок) и фондом оплаты труда трудящихся. С избыточной прибыли государство должно взимать более высокие налоги. Такая сбалансированная политика должна стимулировать использование избыточной прибыли на инвестиции для развития производства вместо растраты на личные прихоти. Следует понимать, что избыточная прибыль, не связанная со снижением издержек за счёт организации труда и новых технологий, является паразитической, обескровливает остальные отрасли экономики из-за диссипации ресурсов. Такая избыточная прибыль растрачивается на роскошь, а производительные силы деградируют из-за недостатка ресурсов.

В живом организме балансы сводятся к тому, что все жизнеобеспечивающие органы должны получать необходимое питание. Если всё питание сосредоточить на питании мозга в ущерб питанию сердца или почек, то упадёт кровоснабжение всех органов и ухудшится состав крови. От этого будут страдать и деградировать все органы, в том числе и мозг, в “пользу” которого разрегулирован (разбалансирован) обмен веществ. И это приведёт к нарушению устойчивости и преждевременной гибели всего организма.

Опора на специалистов и профессионалов

Некомпетентное руководство погубило многие отрасли промышленности, такие как авиастроение, станкостроение, электроника, энергомашиностроение. Резко упал уровень автомобильной промышленности. Президент РФ и Председатель правительства неоднократно отмечали неэффективность использования государственных средств, выделяемых для поддержки этих отраслей. Никто не отвечает за растраты, ни с кого не спрашивают за избыточные издержки, не требуют экономии производственных издержек. Руководители корпораций получают огромные зарплаты и бонусы, в несколько раз превышающие зарубежные нормы. Все надежды на то, что рынок заставит делать производство эффективным, оказались напрасными.

И в то же время нынешние руководители корпораций считаются выдающимися менеджерами, они влиятельны, несмотря на то, что по их вине тратятся огромные ресурсы с малой эффективностью.

В авиационной промышленности снизилась роль главных и генеральных конструкторов. Авиационные фирмы возглавляют “менеджеры”, умеющие только управлять пакетами акций и денежными потоками. В результате в России производство самолётов упало в десятки раз, утерян кадровый потенциал инженеров и рабочих. Надвигается острая нехватка лётного состава.

Промышленные предприятия, энергетические системы (электрические сети, электростанции, особенно атомные), транспортные устройства (самолёты, поезда, трубопроводы) таят очень серьёзные техногенные угрозы. “Менеджеры”, не понимающие инженерных проблем, не компетентны, чтобы нести ответственность за их работу. Они уже существенно снизили обеспечение безопасности. Риски крупномасштабных аварий в современной России стали особенно высокими из-за падения квалификации сотрудников, нехватки квалифицированных инженеров и рабочих, а также износа оборудования.

Участившиеся авиакатастрофы, недавняя авария на Саяно-Шушенской ГЭС показали зияющие провалы в обеспечении техногенной безопасности.

А ведь на территории страны огромное число опасных и изношенных производств, десятки атомных реакторов, тысячи километров нефтяных и газовых трубопроводов высокого давления.

Опыт показывает, что первые должности в высокотехнологических отраслях промышленности и в энергетике должны занимать специалисты с инженерным образованием, *прошедшие все ступени работы на своих предприятиях*. А экономисты, финансисты должны быть *помощниками* профессиональных руководителей отраслей или лидеров науки и техники.

В США министерство (департамент) энергетике, курирующее все виды энергетике, в том числе и атомную, возглавляет Нобелевский лауреат по физике. Американскую службу по надзору за безопасностью атомных объектов (NRC) возглавляет крупный инженер, доктор наук. А у нас – так называемые “менеджеры”.

Наука и власть

Наука формулирует теоремы. Их надо обязательно учитывать. К сожалению, руководство нашей страны не пытается их познать и слишком часто следует вопреки этим теоремам. Не дай Бог, если власть ослабнет. Это будет трагедией для всех – и бедных и богатых.

Ещё легендарный Лао-Цзы предупреждал: “Наведение порядка надо начинать тогда, когда ещё не началась смута”. Авторы очень хотят помочь руководителям страны и предостеречь от ошибок.

Ведь уже два века цари, генсеки и президенты России не слушали предостережений. Не слушали предостережений Радищева, Пушкина, Герцена, Чернышевского, Достоевского, Толстого, Менделеева, Солженицына и многих других. А специалисты, тем более научные работники, должны следовать совету Конфуция, который ещё 2500 лет тому назад на вопрос: “Как служить государю?” ответил: “Говорить правду и не давать покоя”. Вопреки этой разумной рекомендации в России прижилась отвратительная привычка поддакивать властным и богатым. А потом клянем Н. Хрущева, Л. Брежнева, М. Горбачёва, Б. Ельцина...

Конечно, Академия наук за последние двадцать лет сильно ослабла как материально, так и духовно. Но ученые Отделения общественных наук и других отделений всегда отмечали пороки экономического порядка в России, отстаивали необходимость нового курса.

Бедность, потеря численности научных работников, их старение сильно ослабили силы российской науки. *Но других учёных у страны нет.*

Нужно создать все условия для передачи молодёжи того, что есть в российской науке. Мы пока больше теряем, чем передаём молодёжи. Чтобы работа Академии улучшилась, власть и чиновники должны не поучать и сокращать, а заботиться о науке, выделять ресурсы для вовлечения в науку молодёжи, строительства для неё жилья, укрепления материальной, в первую очередь приборной, базы институтов и ремонта ветшающих зданий институтов.

Необходимо принять закон, запрещающий отчуждать государственную недвижимость, находящуюся в хозяйственном ведении высших учебных заведений, государственных академий наук, учреждений культуры и здравоохранения. Такие отчуждения чиновники обосновывают неэффективным или нецелевым использованием в указанных учреждениях. Даже если такие обвинения порой справедливы, то надо наказывать конкретных руководителей, но ни в коем случае не передавать соответствующую недвижимость под “эффективное управление” чиновников и коммерсантов.

Сегодня в науку идёт больше молодёжи, чем три года назад, и зарплаты в системе РАН выросли, но это лишь малая часть того, что необходимо...

Утечка мозгов идёт не столько за границу, сколько в другие сферы. Молодые ребята, не видя перспектив устроить свою жизнь, работая в науке, уходят в примитивную коммерцию, в торговлю, в сферу обслуживания... Идёт снижение интеллектуального уровня молодёжи.

А если всё оставить как сейчас, то обещания политиков останутся благими намерениями, которыми, как известно, устлана дорога в ад. Имеет место теорема.

Теорема 5: Если в России не будет двукратного увеличения ресурсов на здравоохранение¹, образование, науку, культуру и оборону, то будут следующие последствия:

- будет продолжаться падение квалификации, интеллекта и духа народа, будет расти алкоголизация и наркомания;
- будет расти детская смертность и смертность в трудоспособном возрасте, Россия никогда не достигнет показателей развитых стран по средней продолжительности жизни (75 лет);
- будет катастрофически снижаться численность граждан России на 700–800 тыс. в год;
- будет продолжать падать обороноспособность страны.

Нормальная семья не экономит на образовании детей. Пока же производительные силы и дух народа не развиваются. Ресурсы тратятся на увеселения. Имеется риск потери российской цивилизации. Потерю народного духа ЛР-элита пытается возместить безумными проявлениями восторгов по поводу побед футболистов и хоккеистов.

Ответственность лидеров государства – сделать всё, чтобы предотвратить снижения уровня жизни и падение производства, разрушение российской цивилизации и социальный взрыв. Имеет место следующая теорема.

Теорема 6: Для подъема экономики и роста производительности труда в современной России *необходимы следующие меры:*

1. Ввести *прогрессивный налог на большие доходы и дорогую недвижимость.*
2. *Сбалансировать издержки, цены и зарплаты, добиваясь снижения рублёвых цен на топливо, электроэнергию, сырьё и полусырьё и строительство жилья.*
3. За счёт высвобождаемых ресурсов существенно *увеличить жилищное строительство, кратно увеличить финансирование здравоохранения, образования, армии, науки и культуры.*

Последний пункт очень критичен. Если не переломить политику в здравоохранении, образовании, культуре, науке и обороноспособности страны, то будет катастрофически ухудшаться наш народ, у нас будут плохие врачи, учителя, учёные, инженеры, рабочие, солдаты, офицеры и т. д. Нужно всё возможное вкладывать в подготовку молодёжи в школах, в ремесленных училищах, в техникумах, вузах и научно-исследовательских институтах во всех регионах России. И ресурсом для этого может быть только часть чрезмерных доходов богатого класса, составляющего 1% населения.

Гражданское общество, политическая конкуренция и коррупция

Имеет место ещё одна теорема.

Теорема 7: При нынешней коррупции и концентрации во власти людей, причастных к нынешней ЛР-элите, все перечисленные меры по подъёму экономики и выводу её из кризиса *осуществить невозможно даже при желании лидеров страны. Для преодоления коррупции необходимо активизировать гражданское общество с политической конкуренцией нескольких партий и зависимостью власти от гражданского общества.*

Невозможность быстрого проведения необходимых реформ для спасения и развития производительных сил страны при нынешнем состоянии всех государственных органов – трагедия сегодняшней России. И дело не только в невозможности, но и в бессмысленности проведения необходимых экономических реформ, связанных с прогрессивным налогообложением и увеличением доходов госбюджета. Зачем это всё? Всё равно разворуют. И такая постановка далеко не бессмысленна.

Болезнь России в запущенной форме, когда больны все органы не только государственной власти, но и всего общества. Коррупция дошла до системы образования, здравоохранения и науки, то есть тех слоёв общества, которые всегда были примером для воспитания народа. У большинства народа преобладает неверие в силы страны и возможность позитивных изменений.

¹ Улумбекова Г. Э. Здравоохранение России. Что надо делать. – М.: ИГ ГЭОТАР-Медиа, 2010.

Прорывающиеся в средствах информации разоблачения коррупции и воровства “начальников” уже не вызывают негодования. Многие привыкли и равнодушно комментируют: все “там” воруют.

В этих условиях активизация гражданского общества, создание условий, чтобы оно реально влияло на власть и принимаемые ею решения – единственный путь лечения власти и общества.

Необходимо создавать условия, чтобы позитивные идеи активно обсуждались и осваивались народом. Средства массовой информации должны быть независимыми от чиновников и “спонсоров”. Необходимы несколько партий, которые имели бы реальные возможности попасть во власть благодаря поддержке избирателей. Партии должны выбирать главные цели и представлять их обществу. Руководители государства обязаны вести прямую дискуссию с оппозицией, прямо перед избирателями отвечать на критику.

Система избирательных комиссий должна быть независимой от исполнительной власти, иметь утверждённый законом бюджет на проведение выборов и агитационную деятельность партий. Избирательные комиссии должны формироваться партиями по квотам с равным представительством всех партий, участвующих в выборах. Должна быть обеспечена и гарантирована эффективная деятельность наблюдательных или контрольных общественных и партийных комиссий.

Власть должна осознавать, что если у значительной части граждан есть хотя бы только сомнение в справедливости выборов, в честности подсчёта голосов, то власть становится неавторитетной и незаконной. Никакие доводы типа “обращайтесь в суд” авторитет власти не спасут. Власть с сомнительной репутацией начинают презирать, и она оказывается очень неустойчивой. В “тяжёлую минуту” (падение уровня жизни, крупные техногенные аварии, террористические акты, военные конфликты) такую власть никто не защитит. В обществе будет усиливаться сочувствие тем, кто ведёт дело к бунту и свержению власти. В истории России это уже было в 1917-м и 1991 гг.

Теорема 8: Для выработки правильной и эффективной политики, отвечающей интересам народа, необходимо, чтобы все руководители, ответственные за государственные дела и участвующие в политической деятельности, *отвечали на публичные обвинения в злоупотреблениях, следуя правилу – или обращайся в суд, или уходи в отставку.* Оставлять публичные обвинения без ответа должно быть запрещено. В противном случае коррупция задушит государство и разорит страну.

Приняв рыночный экономический порядок, нужно внимательно усвоить выработанный многими десятилетиями во всех цивилизованных странах порядок для чиновников во власти. В частности, государственные служащие (в первую очередь Президент, министры, губернаторы, депутаты) и их супруги не должны иметь коммерческие интересы, не должны иметь акции. Они должны жить только на зарплату и денежные накопления. Никакого совмещения с коммерцией.

Уровень коррупции – важнейший показатель, свидетельствующий о неудовлетворительной деятельности лидеров государства, порочности курса централизации власти, сворачивания политической конкуренции и ухода чиновников из-под контроля народа. Нынешний государственный аппарат, в том числе правоохранительные органы, настолько коррумпирован, что бороться с коррупцией без контроля гражданского общества не способен. И это при том, что на многие сотни самых высоких должностей назначения производятся по распоряжениям от имени Президента РФ и Председателя Правительства РФ.

Некоторым кажется, что это самый надёжный порядок. Но когда число самых высокопоставленных государственных служащих (министры, губернаторы, заместители министров, руководители агентств, служб, госкорпораций и т. д.), которые назначаются от имени Президента и Председателя Правительства, составляет многие сотни, то решения по большинству этих “номенклатур” навязывают клерки, которые всегда имеют собственные интересы. И как показывает теория и опыт управления, это не только не оптимальный, но и “коррупционнотенный” порядок. Его надо менять.

К сожалению, вместо действенной работы по уже отработанным в “нормальных” странах правилам российское общество слышит лишь заклинания против коррупции, “а Васька слушает да ест”.

Заключение

Не так просто понять простые вещи.

Композитор Георгий Свиридов

Основные беды страны связаны с тремя главными пороками:

- порочная макроэкономическая стратегия;
- гигантская коррупция;
- порочный подбор руководящих кадров.

Сегодня из всех государственных, экономических и общественных структур значимый авторитет имеют только Президент России, Председатель Правительства России и Патриарх православной церкви. Но в условиях нынешнего стиля управления государством и экономикой, деградации народной жизни этого авторитета может не хватить, чтобы предотвратить презрение и даже ненависть ко всем государственным и экономическим структурам. А это приведёт к разрушительной смуте.

Поэтому российская интеллигенция, критикуя действия власти, должна делать всё, чтобы помочь Президенту, Председателю Правительства, Патриарху православной церкви и лидерам других конфессий вывести Россию на траекторию развития производительных сил и укрепления народа. Ни в коем случае не бунт, а ПРОСВЕЩЕНИЕ и БЛАГОРАЗУМИЕ.

Страна должна поменять свои ориентиры, создать психологическую атмосферу, когда выпячивание личного богатства, избыточного потребления и праздности станет неприличным и презренным, когда важнейшей характеристикой человека станет его образование, творческие и трудовые способности и вклад в развитие своего народа и его производительных сил.

Нужно ориентировать свой народ на тяжёлый каждодневный труд. Необходимо привлекать молодёжь к занятию наукой, разработке новых технологий, работе на производстве, заниматься реальным и созидательным делом, укреплением обороноспособности страны и правопорядка. И этот труд должен оплачиваться так, чтобы обеспечивать сложившийся стандарт российской жизни.

Нужно заново создавать КБ, отраслевые институты, которые должны обеспечивать модернизацию производства и новую конкурентоспособную продукцию сначала на внутреннем, а затем и на мировом рынке. Как осознаешь, сколько КБ и институтов мы потеряли за прошедшие годы, так понимаешь, какой разрушительный “шторм” был организован в России в соответствии с идеями ЛР-элиты.

Весь комплекс реформ фактически должен сводиться к перераспределению ресурсов и доходов с целью *развития производительных сил и поддержки отечественного производителя*. На начальном этапе должен быть обеспечен канал перевода избыточной прибыли богатых через зарплаты и сбалансированные цены (в которые входит и амортизационная, или инвестиционная составляющая) в обеспечение и инвестирование реальных производительных сил и, в первую очередь, в сельское хозяйство, транспорт и жилищное хозяйство. Это и обеспечит в последующем рост производительности труда и соответственно улучшение благосостояния трудящихся, который станет заметным через 1–2 года.

Реализация представленных идей требует высокой квалификации и честной работы правительства. В условиях нынешней коррупции и слабой квалификации идеологов и чиновников экономического блока сбалансировать экономику невозможно. Тем более что все вышеперечисленные меры являются необходимыми, но не достаточными. Для реализации достаточных условий нужны огромные усилия, в том числе усилия российской интеллигенции.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

ЖРЕЦЫ И ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА

VI. По заветам Иисуса Навина

*И всё дышащее, что находилось в нём,
в тот день предал он заклятию...*

Книга Иисуса Навина

Когда жрецы Холокоста утверждают, что он уникален, непознаваем и неповторим, что он случился в XX веке и ничего такого в прошлом не было и ничего подобного в грядущем уже не будет, они лукавят, обманывая доверчивых гоев, дабы ошеломить их таинственным величием новой религии, которую умом не понять и в которую можно только верить.

Дело в том, что отцы-основатели государства Израиль не раз заявляли, что “Библия – наш мандат на Палестину” (Хаим Вейцман); “создание государства Израиль – ответ Бога на Холокост” (один из иерусалимских раввинов); “если мы считаем себя народом Библии, мы должны владеть всеми библейскими землями” (Моше Даян); “эта земля нам обещана, и мы имеем право на неё” (Менахем Бегин); “я чистосердечно верю в право еврейского народа на всю землю Израиля” (Ольмерт). Из этих формулировок, сказанных с абсолютной уверенностью, явствует, что создатели Израиля назубок знали Библию и знали, конечно, что само понятие “Холокост” (“всесоужение”) родилось во времена Моисея и его преемника Иисуса Навина. Из великих и зловещих мифов тех времён они черпали фанатическую веру в свою правоту и учились очищать землю обетованную теми же методами, какими очищали её от чуждых племён их легендарные предки.

“В тот же день взял Иисус Макед и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и всё дышащее, что находилось в нём; никого не оставил, кто бы уцелел. И поступил с царём Македским так же, как поступил с царём Иерихонским.

И пошёл Иисус и все израильтяне с ним из Македа к Ливне и воевал против Ливны. И предал Господь и её в руки Израиля, и царя её, и истребил её Иисус мечом и всё дышащее, что находилось в ней; никого не оставил в ней, кто бы уцелел. И поступил с царём её так же, как поступил с царём Иерихонским.

Из Ливны пошёл Иисус и все израильтяне с ним к Лакхису; и расположился против него станом, и воевал против него. И предал Господь Лакхис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и всё дышащее, что было в нём, так, как поступил с Ливною.

Продолжение. Начало в № 1,2 за 2010 год.

Тогда пришёл на помощь Лахису Горам, царь Газерский; но Иисус поразило его и народ его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел.

И пошёл Иисус и все израильтяне с ним из Лахиса к Еглану, и расположились подле него станом, и воевали против него. И поразили его мечом, и всё дышащее, что находилось в нём, в тот день предал он заклятию, как поступил с Лахисом. И пошёл Иисус и все израильтяне с ним из Еглана к Хеврону и никого не оставил, кто уцелел бы” (Книга Иисуса Навина; X; 34–36).

Мало того, что Ягве приказывает своему народу “предать “заклятию”, то есть уничтожить поголовно, все соседние народы: “Хеттеев, Гергесеев, Амореюев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Ивусеев” (Втор.: 7; 1–3), – нет, он требует большего: “Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом; и разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощу их, и разбейте истуканов богов их, и истребите имя их от места того” (Втор.: 12; 2–3).

То есть надо стереть с лица земли все признаки истории и жизни этих уже уничтоженных (“заклятых”) народов, чтобы не то что их капищ в лесах и на холмах, но даже имени их на этих пространствах не осталось! А еврейские историки до сих пор негодуют, что гитлеровцы сжигали книги Гейне, Карла Маркса, Фейхтвангера, Томаса Манна, Гервега, Лассалю. Да это же – детские шалости по сравнению с картиной, нарисованной во Второзаконии!

Но это ещё не всё. Тексты из Первой книги Царств (15, 9) ещё круче. Холокост не ограничивается истреблением людей и материальных свидетельств их жизни: “Теперь иди и порази Амалика и истреби всё, что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла” – это приказ Ягве царю Саулу. Конечно, воспитанники Гиммлера и Эйхмана были хорошими исполнителями приказов, но думаю, что уничтожать ни в чём не повинную еврейскую живность в белорусских и польских местечках – овец, волов, телят, свиней, кошек и собак (“всё дышащее”) – они, лишённые библейской поэтической фантазии, всё-таки не додумались.

Впрочем, оно и понятно: одно дело, когда тебе приказывает провести этническую чистку в Киеве или Риге какой-нибудь штурмбаннфюрер, какой-нибудь пошлый эйхман, отличающийся от тебя только другими погонами на эсэсовском мундире (“банальность зла!”), другое, когда приказы исходят от самих жрецов Ягве, а в исключительных случаях и от Него Самого:

“Истребите все народы, которые Господь Бог твой даст тебе”; “ты идёшь, чтобы овладеть народами, которые больше и сильнее тебя... Господь Бог твой идёт перед тобою, как огонь пылающий...”

Попробуй тут не выполни! Ведь у Ягве – око всевидящее, и его приказ “об окончательном решении вопроса” в разборках с амалекитянами, хананеями, гергесеями и прочими народами – это приказ свыше, а не какая-то “филькина грамота”, принятая на берегу Ванзейского озера.

Жрецы Холокоста могут возмутиться и возразить мне: мол, всё, что написано в книге Иисуса Навина – это мифы, это легенды, это много раз переписанные, сочинённые и не подтверждённые историей и археологией рассказы, поэтому их нельзя считать Холокостом.

Но тогда – и вся Библия никаким “мандатом на Палестину” быть не может... Однако если говорить серьёзно, то ничего, к сожалению, не изменилось ни в сознании, ни в действиях жрецов, опричников, инквизиторов и воинов Холокоста за 25 веков – со времён этнических чисток, производимых Иисусом Навином.

Вот как с подробностями описывает уничтожение мирных арабских деревень публицист И. Шамир в книге “Сосна и олива”:

“Во время нападения на деревню Саса в Верхней Галилее 14 февраля 1948 г. пальмахники взорвали шестьдесят домов с мужчинами, женщинами и детьми <...> нечто подобное произошло и на юге Нагорья, в селе Дауамие, где десятки крестьян были убиты, а их тела брошены в водосборную яму 28 октября 1948 года <...> Израильской журналистке Юле Харшефи удалось обнаружить в яме скелеты убитых, в том числе и детские скелеты. Убийство в Дауамие было произведено солдатами 89 батальона под командованием Моше Даяна <...> село было стёрто с лица земли динамитом и бульдозерами, и на его месте возник еврейский посёлок Амацея.

Массовая резня мирных жителей производилась и в сёлах Ильбун, Саф-саф, Джиш и других. “Евреи совершали нацистские зверства, это не даёт мне спать спокойно. Надо это скрыть от внешнего мира, но расследовать”, – заявил министр сельского хозяйства Аарон Зицлинг на заседании правительства 27 июня 1948 года” (стр. 155).

А вот какой сверхчеловеческой яростью, излучающей поэтическое дыхание “Второзакония”, и абсолютно той же лексикой наполнено заявление группы раввинов о том, как надо сегодня относиться к палестинцам:

“Наш религиозный долг такой же, как освящение вина в субботу, устроить им не джихад, но такой Холокост, какой и Гитлеру не снился, перебить всех, включая женщин и младенцев, и домашний скот, до последней кошки и собаки” (газета “Гаарец”, 21 ноября 2000 года).

Особенно повторяют Ветхий завет слова об уничтожении “домашнего скота” и “до последней кошки и собаки”... А ведь эти же раввины искренне верят в то, что Холокост уникален и повторить его невозможно...

Но именно так действовали израильские головорезы в январе 2009 г., устроив побоище палестинцев в Газе, где убили более полутора тысяч человек по рецепту, выработанному в эпоху Иисуса Навина: *“включая женщин и младенцев, и домашний скот, до последней кошки и собаки”*. На этот раз даже европейцы, пославшие своих сыновей в Ирак, в Югославию, в Афганистан, содрогнулись от ужаса.

Во время Интифады 1987–1993 годов израильтяне убили 1 176 палестинцев (20 000 – раненых). Израильские потери составили 33 солдата. Соотношение – один к сорока. В январские дни 2009 г. палестинцы потеряли почти полторы тысячи человек (больше половины – дети, женщины, старики). У израильтян погибло 10 солдат. Соотношение – один к ста пятидесяти. Искусство безнаказанно убивать у потомков Иисуса Навина совершенствуется с каждым годом.

* * *

Что такое “избранный Богом народ?” Если следовать суждению русско-го богослова о. Сергия Булгакова о том, что “народы – суть мысли Божии”, то все народы, каждый по-своему, “избранные”, потому что в сущность каждого из них Создатель вложил свою мысль, одновременно наделив народы, как человеческие личности, свободной волей, дав им возможность развивать Божью мысль в своей истории. Если так понимать “избранность” народа – как религиозное единение с Богом, как ощущение себя “Божьей мыслью”, как благодарность Богу за доверие, то можно понять и восхититься верой христианина, верой мусульманина, верой тибетского монаха, наивной верой язычников в Зевса-Юпитера, в Ра-Амона, в Дажьдбога и в Перуна с Велесом.

Но если народ начинает толковать факт своей избранности как корыстную и почти материальную силу, если он на пряжках своих солдат-оккупантов гравировывает слова “Gott mit uns” (“с нами Бог”), как это делали немцы, то он естественно впадает в один из смертных грехов – в гордыню, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Арабы по-своему тоже избранный народ, поскольку их пророк Мухаммед получил в аравийской пустыне суры Корана не от кого-нибудь, а от самого Аллаха. А этот момент мировой метафизической истории ничуть не слабее того, при котором Моисей записал из уст Ягве скрижали на горе Синай.

А древние египтяне считали себя детьми Солнца, потому что их Верховным Божеством был Бог солнца Ра.

Великая цивилизация Индии не дожила бы до наших дней, если бы Создатель Вселенной не продиктовал племенам Индостана мифологию сотворения мира. А буддийский мир, по-своему очеловечивший целый континент, заселённый многочисленными ветвями древа людского, – что, разве на нём нет печати избранности? А разве в бессмертном афоризме “Москва – Третий Рим” не реализовалась мечта об избранности русского народа? Той избранности, о которой писал в поэме “Ленинградский апокалипсис” гениальный мистик русской поэзии Даниил Андреев, которая помогла нам выстоять в невиданной до селе в человеческой истории войне с фашистской Европой:

*Ночные ветры! Выси чёрные
Над снежным гробом Ленинграда!
Вы — испытанье; в вас — награда;
И зорче ордена храню
Ту ночь, когда шаги упорные
Я слил во тьме Ледовой трассы
С угрюмым шагом русской расы,
До глаз закованной в броню.*

Недаром Даниил Андреев называл русских — сверхнародом. . .

Так что каждый народ может тешить себя надеждой на свою избранность. В этом смысле все народы — как дерзкие дети или как тихие пациенты психиатрической клиники. В ней ведь никому не возбраняется считать себя Христом, или Магометом, или Буддой, но выпускать на волю, во внешний мир таких пациентов можно лишь тогда, когда они излечатся.

Пусть тешатся своей избранностью в стенах лечебницы, в своём родовом гнезде, но выносить её, эту мечту, как оружие в борьбе за место под солнцем, делать её средством борьбы — это значит впадать в расистские соблазны, о чём писал ещё сто с лишним лет назад наш религиозный философ Владимир Соловьёв:

“Как только эти чисто человеческие и натуральные особенности еврейского характера получают перевес над религиозным элементом и подчиняют его себе, так неизбежно этот великий и единственный национальный характер является с теми искажёнными чертами, которыми объясняется всеобщая антипатия к еврейству <...> в этом искажённом виде национальное самочувствие превращается в национальный эгоизм, в безграничное самообожание с презрением и враждой к остальному человечеству; а реализм еврейского духа вырождается в тот исключительно деловой, корыстный и ничего не брезгующий характер, за которым почти совсем скрываются для постороннего, а тем более для предубеждённого взгляда лучшие черты истинного иудейства”.

И это сказано в статье “Еврейство и христианский вопрос” (1884) мыслителем с устойчивой мировой репутацией юдофила, задолго до того, как политический сионизм испортил духовную ауру иудаизма.

... У нас в Калуге бок о бок расположены с давних времён два кладбища: одно — христианское, другое — еврейское. На христианском можно складывать кого угодно: православных, мусульман, буддистов, адвентистов, староверов, атеистов, русских, евреев, армян, татар, чукчей. У меня там семейные могилы, я там часто бываю и отвечаю за свои слова. Для нашего Бога “несть ни эллина, ни иудея”. На еврейском, где я тоже бываю, но реже, — навещаю своего покойного школьного друга Бориса Горелова — лежат под шестиконечными звёздами только евреи. . . “Здесь не увидишь ни одного креста”, — сказал мне кладбищенский сторож. Почему? Может быть, потому, как пишет об иудеях сионистский историк Кастейн, что в глубокой древности, ещё во времена персидского пленения, “они решили, что им предопределено стать особой расой. . . что их образ жизни должен быть совершенно иным, чем у окружающих их народов. Требуемое различие не допускало даже мысли о слиянии их с соседями. Они хотели быть обособленными, абсолютно отличными от всех”.

При жизни, особенно нынешней, конечно, соблюдать такие условия невозможно. Но после смерти — легче лёгкого. Никаких других соседей рядом в твоём посмертном гетто. . . Осуществление мечты левитских жрецов несчастного народа. И даже на гранитном надгробье Бориса Горелова, комсомольца и атеиста, не знавшего ни одного слова из древнееврейского языка, вырезаны клинописные слова на неведомом ему иврите. . .

* * *

Кротких еврейских овец всю их двадцатипятивековую историю пасли жестокие пастухи, именуемые во времена персидского и вавилонского пленения левитами, в эпоху Иисуса Христа фарисеями, в Средние века талмудистами, в XVIII—XIX веках хасидами и хабадниками, в XX веке раввинами и сионистами.

Сплочённость этой касты паразитерна. Она имеет даже физические, зрительные формы. Вспоминаю, как по нашему Центральному Российскому ТВ летом 2007 года показывали свадьбу всего лишь навсего внука нынешнего, если не ошибаюсь, раввина, возглавляющего секту Хабад (“Евреи превыше всего, а Хабад – превыше евреев” – вот девиз этой секты. Э. Ходос. “Выбор между Спасителем и Антихристом”, Харьков, 2005, стр. 5).

На свадьбу собрались раввины со всего мира. Их было несколько сотен. В честь великого праздника они затеяли на одной из площадей Иерусалима ритуальный танец. Все они были в чёрных шляпах, в чёрных плащах до пят, с чёрными бородами. Образовав гигантскую чёрную цепочку-змею, в которой каждый, кто стоял сзади, впивался пальцами обеих холёных рук в плечи того, кто находился впереди, под звуки ритуальной музыки с одинаковым застывшим выражением на бородатых лицах, распевая неведомые мне слова то ли древнего песнопения, то ли молитвы, эта чёрная шеренга начала извиваться, как громадная змея, подчиняющаяся волшебной мелодии. Все раввины – старые и молодые, с одинаковыми улыбками на бородатых лицах, раскачиваясь и выделявая однообразные и слаженные танцевальные па, стали изгибаться вправо-влево с не меньшим искусством, нежели плывущие по сцене танцовщицы из ансамбля “Берёзка”. И так всё слаженно у них получалось – колебания тел, повороты голов в чёрных шляпах, передвижения ног, как будто они всю жизнь выступали вместе на мировых подмостках и всю жизнь исполняли бок о бок этот мистический танец, похожий на сеанс коллективного самогипноза.

А ведь, наверное, в таком составе и в таком количестве они встретились в Иерусалиме впервые. И столько самозабвенного однообразия было в движении этого живого организма, этой гигантской чёрной гусеницы, что я подумал: по красоте и режиссуре, по фантастической синхронности движений с этим ансамблем мирового класса могли бы сравниться только парады элитных частей Третьего рейха в чёрных мундирах, со свастиками или с черепами на рукавах в эпоху 1938–1939 годов, с механическим совершенством марширующих перед застывшей фигурой фюрера, возвышающегося на трибуне с выброшенной в мировое пространство неподвижной дланью.

А ещё я бы мог сравнить сверхчеловеческое слияние отдельных тел в один организм, в одну громадную особь с бесчисленной стаей океанских рыб, внезапно, по неведомому нам приказу принимающей форму шара или объёмного овала... Эти чудесные метаморфозы я не раз видел в замечательных телепрограммах Би-би-си о жизни природы. ... Мистерия, в которой начисто исчезает личная воля каждого исполнителя, но эта потеря возмещается апофеозом высшей воли племени, секты, сословия, стаи. Воли Божественной или сатанинской, горней или животной – это уж пусть каждый из нас понимает, как хочет...

* * *

До сих пор таинственные обряды, зародившиеся в иудейской древности, живы и воздействуют на историю Израиля и на жизнь народа, порой самым причудливым образом.

К середине 90-х годов прошлого века премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, в молодости профессиональный террорист, один из организаторов убийства шведского графа Бернадотта (защищавшего от имени ООН права палестинцев), отдавший приказ во время Интифады ломать руки палестинским детям, бросавшим камни в израильских оккупантов, пришёл к выводу, что никаким военным решением палестинцев не сломить: народ победить невозможно. И он, подобно американцам во Вьетнаме и французам в Алжире, пошёл на переговоры с Арафатом, чтобы дать палестинцам автономию и отказать от дальнейшей оккупации Западного берега Иордана.

Через несколько месяцев израильские фундаменталисты провели против Ицхака Рабина обряд “пульса денура” (“удар огнём”), каббалистическую церемонию, “участники которой, – как пишет историк Э. Ходос, – проклинают человека, виновного в преступлении против народа Израиля, и призывают ангелов смерти и разрушения покарать его”.

Через недолгое время “предателя” убил несколькими выстрелами из пистолета молодой израильтянин Игал Амир.

Роже Гароди так пишет об убийстве Рабина: “Игал Амир, убийца Ицхака Рабина, не бродяга, не умалишённый, а чистый продукт сионистского воспитания. Сын раввина, студент-отличник клерикального университета, воспитанник талмудических школ, солдат элитных частей на Голанских высотах, имел в своей библиотеке биографию Баруха Гольдштейна (который несколько месяцев назад убил в Хевроне 27 арабов во время молитвы у гробницы Патриархов). Он мог видеть по официальному израильскому телевидению большой репортаж о группе Эйлл (“воины Израиля”), поклявшейся на могиле основателя политического сионизма Теодора Герцля “уничтожить каждого, кто уступит арабам “землю обетованную” <...> Убийство премьер-министра Рабина (как и тех, кого расстрелял Гольдштейн) укладывается в строгую логику мифологии сионистских фундаменталистов: приказ убить, сказал Игал Амир, “исходил от Бога”, как во времена Иисуса Навина” (“Ле Мوند”, 8 ноября 1995 г.)

А ровно через десять лет обряд “пульса денура” был наложен на премьер-министра Израиля (бывшего организатором истребления нескольких тысяч палестинцев в ливанских лагерях Сабра и Шатила) Ариэля Шарона.

“Старый Бульдозер, — пишет Эдуард Ходос, — впал в немилость у своих бесноватых соплеменников с того момента, когда решил отогнать израильские танки и бульдозеры с небольшой части оккупированных палестинских территорий и вывести оттуда несколько тысяч еврейских поселенцев. Мимходом замечу, что, несмотря на громкие рукопожатия “всего прогрессивного человечества”, мирными инициативами там и не пахло. Всё гораздо прозаичнее: уж очень дорого и хлопотно постоянно держать в круговой обороне несколько малочисленных поселений, с присутствием которых на отнятой у них земле никак не хотели мириться палестинцы” (стр. 50).

Тому, что судьба Шарона, посягнувшего на какие-то сотки “земли обетованной”, завещанная Иеговой народу Израиля, была решена, я нашёл подтверждение в еврейской газете “Форум”, в размышлениях Е. Сатановского, президента Института изучения Ближнего Востока (Москва).

“Шарон сегодня — это уже не тот Шарон, что 20 лет назад. То же самое можно сказать о большинстве политических деятелей. Они стары, они устали. Они запуганы. На сцену должно выйти поколение новых политических деятелей. От этого зависит, останется ли Израиль на карте. В конце концов, страну теряет не армия — страну теряют её лидеры”.

От ритуальных каббалистов — знатоков обряда “пульса денура” к просвещённому российскому востоковеду информация доходит моментально, словно по таинственным сообщающимся сосудам истории.

“Пульса денура”, шаманские танцы раввинов, юноша Игал Амир, словно бы возникший в современном Израиле из времён Иисуса Навина... Чудеса? Конечно. “Правоверный иудей действительно верит в физическую реальность и эффективность перечисленных во Второзаконии и других книгах проклятий. “Еврейская энциклопедия” подтверждает, что эта вера держится до сих пор. В этом отношении евреи сходны с африканскими дикарями, верящими в то, что заклинания могут привести к смерти, и с американскими неграми, дрожащими перед шаманами Вуду” (Дуглас Рид. Спор о Сионе, стр. 38).

“Талмудистская литература обнаруживает веру в действенную силу слов, доходящую до явного суеверия... проклятие, произнесённое учёным раввином, неотвратимо... Иногда проклинали, не произнося ни слова, а лишь фиксируя на жертве свой пристальный взгляд. Неизбежным последствием этого взгляда были скорострельная смерть либо обнищание” (там же, стр. 78).

Вся эта ниточка древнейших обрядов (вплоть до “дела Бейлиса”!) тянется из глубины тёмных времён. Члены вечного синедриона, как высшая жреческая инквизиция, присматривают за рядовыми жрецами, и если те из прагматических соображений чуть-чуть пошатнутся вправо-влево, чуть засомневаются в законности или целесообразности владычества над землёй обетованной, чуть помыслят пойти на компромисс с арабами, усомнившись в союзе Ягве и его народа, то верховная инквизиция тут же выносит им приговор.

Вот почему от этого диктата Осип Мандельштам бежал в христианство, Троцкий в русскую революцию, Маркс — в теоретический западноевропейский коммунизм, Роже Гароди — в ислам, Иосиф Бродский в американскую космополитическую жизнь. Куда угодно, только бы вырваться из-под власти жре-

цов, из “хаоса иудейского”, о котором с удивительной точностью писал выдающийся русский поэт Николай Заболоцкий в стихотвореньи “Бегство в Египет”, где идёт речь о спасении младенца Христа от фарисейской инквизиции:

*Снилось мне, что я младенцем
В тонкой капсуле пелён
Иудейским поселенцем
В край далёкий привезён.*

*Перед Иродовой бандой
Трепетали мы. Но тут
В белом домике с верандой
Обрели себе приют.*

.....
*Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простёрла Иудея
Перед нами образ свой —*

*Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень распятого в горах, —*

Вскрикнул я и пробудился...

* * *

В газете “Форум” (№ 219, 2009) я прочитал статью журналиста Симона Джекобсона, которая повергла меня в изумление: оказывается, в правовом государстве Израиль, считающемся оплотом демократии на Ближнем Востоке, не существует Конституции! Вот что пишет об этом юридическом феномене автор статьи “Есть ли будущее у современного сионизма”:

“Израиль так и не принял Конституции (...) многие религиозные евреи настаивают, что единственная подлинная конституция еврейского государства — это Тора и еврейский закон (Алиха).

Они не только не видят необходимости в светской конституции, но даже усматривают в подобном документе угрозу верховенству Торы и соответствующим тысячелетним традициям еврейской жизни на родине и в диаспоре”.

А мы ещё возмущаемся, что иные мусульманские народы сегодня пытаются жить по законам шариата. Да Тора на две тысячи лет старше любого шариата!

Ну это всё равно, как если бы русские жили даже не по “Домострою”, а по “Правде Ярослава Мудрого”... Конечно, там, где Тора, где Второзаконие — там и “пульса денура”, и “уши Амана”. Поневоле вспомнишь даже про кровь христианских младенцев. Словом, “ветхозаветная демократия”...

* * *

*Евреи — люди лихие,
они солдаты плохие,
Иван воюет в окопе,
Абрам ворует в рабкоопе.
Я всё это слышал с детства
и скоро совсем постарею,
но мне никуда не деться
от крика: “евреи! евреи!”
Не воровавший ни разу,*

*не торговавший ни разу,
ношу в себе, словно заразу,
эту особую расу.
Пуля меня миновала,
чтоб говорилось не лживо:
евреев — не убивало,
все воротились живы.*

Меня, начиная с 1959 года, когда я его впервые прочитал, тревожило это стихотворение Бориса Слуцкого. Но всю сложность, глубину и противоречивость его я понял только в нынешней старости.

Борис Слуцкий — честный поэт, находившийся в эпицентре всех социальных и национальных веяний — русских, советских, еврейских, попытался в этом стихотворении внятно выразить всю сложность еврейской судьбы. Он бесстрашно принимает (или, по крайней мере, не отвергает) упреки мировой и русской истории, когда перечисляет действительные пороки еврейства: “они солдаты плохие”, “люди лихие”, “Абрам торгует в рабкоопе”, “евреев не убивало — все воротились живы”... Это — почти набор антисемитских обвинений — анекдотов, наветов, слухов, сплетен... Но честный поэт Слуцкий не возмущается, не кричит в истерике “антисемитизм!”, “черносотенство!”, он со спокойной усталостью как бы соглашается, что нет дыма без огня, что в этих антисемитских упреках есть некая страшная и трагичная для евреев и для него правда: “но мне никуда не деться от крика “евреи! евреи!” Он почти соглашается с тем, что есть для этого тотального осуждения причина, поскольку очень уж непохожи евреи на все другие ветви человечества. “Ношу в себе, словно заразу, эту особую расу” — с мужеством отчаяния признаёт он, что раса — “особая”, но одновременно поэт понимает, что мир несправедлив, обвиняя поголовно в “особом расизме” всех евреев.

Вот он сам. Его душа, распахнутая в стихах. Его судьба, непохожая на судьбу “Абрама”, торгующего во время войны в рабкоопе; непохожая на судьбу евреев, укрывшихся в тылу, на судьбу евреев, которые и “люди лихие”, и “солдаты плохие”, не похожа на судьбу чуть ли не всей “особой расы”. “Не воровавший ни разу, не торговавший ни разу” — но почему мир не хочет видеть этой его единоличной искупительной честности, его офицерской мужественности, его, в конце концов, советского патриотизма? А сколько горестной иронии в последних строчках: “пуля меня миновала” — для чего? — для дальнейшей жизни после войны?! — да нет, всё гораздо сложнее, для того, чтобы “навет” на еврейство был абсолютным, безо всякого исключения:

*чтоб говорилось не лживо:
евреев — не убивало,
все воротились живы!*

Даже его личная удача — остался жив — ложится на антисемитские веса истории, потому что мир убеждён в порочности “особой расы”, “избранного народа”. А это уже разговор с судьбой, вымаливание милости у немилосердного, страшного и карающего Бога евреев Ягве. Моление, похожее на моление Авраама о том, чтобы ревнивый Бог Израиля простил утонувшие в грехах и непослушании ветхозаветные города Содом и Гоморру, поскольку в них всё-таки есть среди тысяч, достойных только “заклятия”, несколько праведников. “И подошёл Авраам и сказал: может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нём? Не может быть, чтобы ты погубил праведного с нечестивым... Судия всей земли поступит ли неправосудно?” (Бытие, 18).

Поэт возвращает нас к спору, длящемуся сорок веков, начало которому было положено в мошенническом и трогательном молении Авраама, чтобы грозный Ягве помиловал ради горстки праведников целый город грешников.

Свято место пусто не бывает. И недаром Борис Слуцкий, выросший в эпоху воинствующего атеизма, вспомнив отринутую историей ветхозаветного Бога, поставил на его место другой, более понятный образ:

*Мы все ходили под Богом.
У Бога под самым боком.*

*Он жил не в небесной дали,
его иногда видали
живого. На мавзолее.
Он был умнее и злее
Того — иного, другого
по имени Иегова,
которого он низринул.
Извёл, пережѣг на уголь¹,
а после из бездны вынул
и дал ему стол и угол.*

Этому земному Богу Слуцкого свойственны и “всевидящее око”, и “всепроницающий взгляд” — всё забытое, ветхозаветное и вдруг всплывшее из доисторической вавилонской бездны.

Интересно, что Сталин в стихах русских поэтов той же эпохи (Исаковский, Твардовский и др.) изображён как понятный людям земной человек, как суровый, но справедливый отец, как народная надежда, в крайнем случае как полководец и вождь и даже злодей или диктатор. Но никогда — как Бог. Такое случалось лишь с поэтами, вышедшими из “хаоса иудейского”, из еврейской среды, сохранившей в своей генетической памяти все ветхозаветные мифы об отношениях их предков с грозным племенным божеством Ягве.

VII. От Розенберга до Валленберга

На деле существуют только два национализма: немецкий и еврейский.

Томас Манн

В поистине эпохальном романе Томаса Манна “Доктор Фаустус” есть одна сцена, всегда привлекавшая моё внимание. В маленьком городке — в сердце Германии — встречаются два человека, а если точнее, то два символа: гениальный и полубезумный немец — композитор Адриан Леверкюн и парижский импресарио, в прошлом бедный польский еврей Саул Фительберг. Действие происходит на рубеже 20–30-х годов. Импресарио уговаривает композитора совершить гастроль по Франции, соблазняет Парижем, но наталкивается на каменное молчание Леверкюна, в котором угадывается одно его желание — поскорее избавиться от назойливого собеседника и додумать, почувствовать, довершить нечто медленное, глубокое, тяжёлое, что никак ещё не может вылиться у него на бумагу нотами, в которых, как он подозревает, может быть, будет выражена разгадка тёмной немецкой сущности. Еврей Фительберг — не дурак. Он сразу понял, что ни в какую Францию этот угрюмый немец не поедет, и после нескольких жеманных и остроумных попыток разговорить Леверкюна гражданин Франции, уже уходя, почти стоя в дверях, произносит замечательный монолог:

“Можем ли мы, евреи — народ пророков и первосвященников, не ощущать притягательной силы немецкого духа? Как родственны между собой судьбы немецкого и еврейского народов (...) Сейчас любят говорить об эпохе национализма. Но на деле существуют только два национализма: немецкий и еврейский; все другие — детская игра. К примеру, исконно французский дух Анатоля Франса просто светское жеманство по сравнению с немецким одиночеством и еврейским высокомерием избранныости” (Собр. соч., т. 5, стр. 528. М., 1960 г.). В ответ на возражение о том, что это суждение принадлежит герою повествования, а не автору, я приведу суждение о немецком народе из письма Томаса Манна, написанного летом 1934 года Эрнсту Бертраму:

“Несчастный, несчастный народ! Я давно уже прошу мировой дух освободить его от политики, распустить его и рассеять по новому миру, подобно евреям, с которыми этот народ связан таким сходным трагизмом”.

¹ “Всесожжение”, “Холокост” — по отношению к Ягве! — Ст. К.

Крайне любопытна также мысль Томаса Манна, высказанная в письме Оскару Шмитту (январь 1948 г.), то есть уже после разгрома ненавистного ему гитлеровского Третьего рейха.

“В том, что Вы рассказываете мне об “иконоборческом” движении, о покаянном антиромантизме, есть, однако, своя плачевная сторона.

Низкопоклонством перед неудачей отдаёт это отвращение к ценностям, которые, не проиграв Германия войны, оздоравлили бы мир <...> теперь ополчаются на Лютера, Фридриха, Бисмарка, Ницше, Вагнера, а то и на Гёте. Хотят отречься, что ли, от своей истории, от своей немецкости? Есть много правды и много доброй воли, но есть и что-то жалкое в этом самобичевании и отрицании немецкого величия, самого, впрочем, каверзного величия на свете”.

В двадцатом веке, к несчастью для человечества, на Европейском материке произошли столкновения двух национализмов, нет, много страшнее – двух расизмов, немецкого и еврейского. Оба были беременны внутренними тёмными революциями. “Сумрачный германский гений” жаждал всемирного господства, и не просто посредством грубой силы, но силы, обогащённой культом сверхчеловека, освящённой религией расы. Ему было мало оставаться просто “тевтонским Римом”, он возжелал стать арийским Иерусалимом, возведённым на фундаменте национальной почвы и чистой крови.

В то же время гений “избранного народа”, уставший за два тысячелетия от скитаний по задворкам мировой истории, от тяжести венца “горнего Иерусалима”, устремился к тому, чтобы стать “как все” и обрести своё национальное государство с признаками своего еврейского Рима, с родимыми пятнами несправедливости и бесчеловечности, которыми украшена история всех государств мира. Обе большие гордыни созрели для того, чтобы ради этих безумных целей принести в жертву своих сыновей и дочерей, как приносили их некогда на древнегерманские жертвенники жрецы эпохи Нибелунгов и левиты иудейского племени, требовавшие от имени Иеговы у своего стада первенцев для “всесождения”.

То, что я сейчас пишу, сегодняшние жрецы Холокоста воспримут с понятным мне возмущением, но, слава Богу, в мировой истории были и ещё есть честные еврейские мыслители. Одной из них была Ханна Арендт, жившая в Германии, точно и трезво объяснявшая драму еврейского самосознания на рубеже XIX–XX веков:

“Евреи трансформировались в социальную группу с характерными психологическими свойствами и реакциями. Иудаизм выродился в еврейство, мировоззрение – в набор психологических черт. Именно в процессе секуляризации родился вполне реальный еврейский шовинизм. Представление об избранности евреев превратилось... в представление, что евреи будто бы соль земли. С этого момента старая религиозная концепция избранности перестаёт быть сущностью иудаизма и становится сущностью еврейства” (Арендт Х. Антисемитизм. “Синтаксис”, Париж, 1989, № 28).

Но что могла сделать в 30-е годы Ханна Арендт и ещё несколько трезвых еврейских умов, когда в правящем слое жрецов будущего Холокоста уже калькулировалась жестокая, прагматическая и предельно бесчеловечная цена, которую придётся заплатить овцам стада Израилева за создание сионистского государства!

Бен-Гурион: *“Задача сиониста – не спасение “остатка Израиля”, который находится в Европе, а спасение земли Израильской для еврейского народа” (Том Сегев. “Седьмой миллион”, изд. Дианы Леви, Париж, 1993 г., с. 539).*

“Если мы можем спасти 10 000 человек из 50 000, которые могут внести вклад в создание страны и дело национального возрождения, или миллион евреев, которые станут для нас обузой или в лучшем случае мёртвым грузом, мы должны ограничиться спасением 10 000, которые могут быть спасены, не смотря на проклятия и призывы миллиона, который не в счёт” (из меморандума “Комитета спасения”. Том Сегев. “Седьмой миллион”).

“Сионизм прежде всего... Могут сказать, что я антисемит, что я не хочу спасти диаспору... Пусть говорят, что хотят” (И. Грюнбаум. “Дни разрушения”).

Что ж. Сказано честно. На войне как на войне. Сколько раз великие полководцы разных народов жертвовали частью своих солдат (“остатком Израиля”), отрядами “пушечного мяса”, лишь бы отвлечь внимание противника

и нанести важнейший стратегический удар на главном направлении. В конце концов, и палестинцы многому научились у евреев. “Сухие ветви” у палестинцев – это их смертники, их шахиды, у которых, в отличие от евреев, за душой не просто библейские мифы и не оккупированная территория, а своя земля.

В 30-е годы XX века между сионистами и нацистами разыгрался, как продолжение разговора Фиттельберга с Леверкюном, бурный роман. Они ревновали друг друга в борьбе за мировое господство, объяснялись в любви, душили друг друга в объятиях, торговались за место под солнцем, обменивались своими идеологически-расистскими наработками.

Из меморандума “Сионистской федерации Германии”, посланного 21 июля 1933 г. руководству нацистской партии:

“С основанием нового государства, которое провозгласило расовый принцип, мы хотим приспособить наше сообщество к этим новым структурам... <...> Мы не хотим недооценивать эти основные принципы, потому что мы тоже против смешанных браков и за сохранение чистоты еврейства” (Л. Давидович. “Читатель Холокоста”, стр. 155).

Словом, сионистская верхушка послала фашистской власти сигнал (не то чтобы “мы с тобою одной крови – ты и я”, но чуть-чуть другой): “мы, как и вы, исповедуем чистоту расы и потому предлагаем вам плодотворное сотрудничество”. В сущности, это было предложение об идеологическом разделении мира под властью двух избранных народов. Сионистский миф побратался на время с арийским мифом. Мартин Бубер – философ, сопротивлявшийся перерождению религиозного сионизма в государственно-политический, горевал по поводу такого перерождения:

“Большинство евреев предпочло учиться у Гитлера, а не у нас. Гитлер показал, что история идёт не дорогой духа, а дорогой силы, и если народ достаточно силён, он может безнаказанно убивать” (“Джуйт ньюслеттер”, 2.6.1958).

Иуда Магнес, президент Еврейского университета в Иерусалиме, называл отказ от традиции пророков, от их духовной праведности и увлечение еврейства расистскими соблазнами фашизма – “помешательством” и “языческим иудаизмом”. “Если вы хвастаетесь своей избранностью вместо того, чтобы жить по воле Божьей, – говорил Мартин Бубер, обращаясь к евреям, – это преступление, это “превращение народа в идола” (М. Бубер. Израиль и мир. Нью-Йорк, 1948, с. 263).

“Горькая ирония судьбы пожелала, чтобы те же самые биологические и расистские тезисы, которые пропагандировались нацистами и вдохновляли позорные нюрнбергские законы, стали основой для определения принадлежности к иудейству в государстве Израиль” (Хаим Коэн, член Верховного суда Израиля. Источник: Дж. Бади. “Основные законы государства Израиль”. Нью-Йорк, 1960, стр. 156).

Во время Нюрнбергского процесса один из главных идеологов арийского расизма Юлиус Штрейхер на допросе относительно подготовки и принятия нюрнбергских законов заявил:

“Я писал статьи такого плана и всегда повторял, что мы должны брать еврейскую расу или еврейский народ за образец. Я всегда повторял в своих статьях, что евреев нужно считать образцом для других рас, потому что они дали расовый закон, закон Моисея, который гласит: “Если вы идёте в чужую страну, вы не должны брать себе чужеземных жён”. Это, господа, очень важно для оценки нюрнбергских законов. За образец были взяты еврейские законы. Когда несколько веков спустя еврейский законодатель Ездра установил, что, несмотря на это, многие евреи женились на нееврейках, эти браки были расторгнуты. Это было началом еврейства, которое, благодаря этим расовым законам, устояло на протяжении веков, в то время как все другие расы и цивилизации погибли”. (Источник: “Процесс главных военных преступников в международном военном трибунале. Нюрнберг, 14 ноября 1945 г. – 1 окт. 1946 г. Официальный текст. Дебаты 26 апреля 1946 г., том XII, с. 321.)

Из документа, озаглавленного “Основные принципы национальной военной организации в Палестине, касающиеся решения еврейского вопроса в Европе и активного участия НВО в войне на стороне Германии”: “При условии, что германским правительством будут признаны национальные чаяния за свободу Израиля, национальная военная организация готова принять участие в войне на стороне Германии” (Д. Израэли. “Палестинская проблема в германской Палестине”. Ун-т Бар Илон. Рамот Ган, Израиль, 1974).

Более того, как пишет Исраэль Шамир, “сионистское движение легально действовало в Третьем рейхе, и даже была отчеканена медаль, несущая шестиконечную звезду Давида с одной стороны и свастику – с другой” (“НС” № 10, 2003 г., стр. 239).

Подумать только: две сакральных эмблемы, два священных символа были объединены в одно целое, как близнецы!

А Лев Коцин, один из религиозных авторитетов русскоязычной Америки, приблизительно в то же время писал в статье “Евреи в нацистской армии”:

“Еврейские офицеры – ветераны Первой мировой войны – обратились с патетическим письмом к Гитлеру, давая клятву верности Германии и прося его только об одном: “Да позволь нам умереть за Германию в бою!” Вот он, еврей, с Железным крестом на груди, который предан Германии больше, чем собственному отцу или народу” (газета “Форум”, 3–9/8 2007, Нью-Йорк).

Эта статья Льва Коцина помогла мне разгадать одну загадку. Когда я писал свою книгу “Шляхта и мы”, то пользовался исследованием австрийского историка Стефана Карнера “Архипелаг Гупви”, в котором была любопытная таблица численности военнопленных гитлеровской интернациональной армии, которая содержалась в лагерях Советского Союза. Численность эта отражала национальный состав военнопленных рейха. Из таблицы я узнал, сколько у нас было в плену, помимо немецких, венгерских, румынских, австрийских и итальянских фашистов – также польских, французских, чешских и прочих. Где-то в конце первого десятка значилось, что в нашем плену было 10 тысяч еврейских фашистов, солдат и офицеров гитлеровского рейха... Прочитав статью в “Форуме”, я понял наконец-то, откуда они взялись...

Подтверждением тому ещё одно свидетельство следующего рода:

“По данным израильской прессы, в составе вермахта против СССР воевали 150 тыс. евреев, точнее т. н. “мишлинге”, т. е. лиц, рождённых в смешанных германо-еврейских браках. И, надо признать, вояки они были отменные – среди них было 23 полковника, 5 генерал-майоров вермахта, 8 генерал-лейтенантов, 2 полных генерала, один генерал-фельдмаршал (Э. Мильх). Сотни солдат и офицеров из числа “мишлинге” были задействованы в полной мере – “образцом голубоглазого арийца” долгое время был Вернер Голдберг, отец которого был еврей. Воевали против СССР не только “мишлинге”, но и даже чисто верующие иудеи, в частности, в составе осаждённой Ленинград финской армии таких насчитывалось свыше 300 чел., у которых была даже походная синагога! Двое из них – майор Лео Скурник и унтер-офицер Соломон Класс – были представлены финским и немецким командованием к Железному кресту I класса. И это в то время, как их же соплеменники умирали от голода в блокадном Ленинграде...” (А. Мартиросян. “Трагедия 22 июня: блицкриг или измена”, М., 2007, стр. 565).

Будущий премьер Ицхак Шамир был арестован британскими службами в декабре 1941 года “за терроризм и сотрудничество с нацистским врагом”. А вот как характеризовал Бегина один из основателей государства Израиль Бен-Гурион: “Бегин, несомненно, человек гитлеровского типа. Это расист, желающий уничтожить всех арабов во имя мечты об объединении Израиля, готовый использовать все средства для достижения этой святой цели...”; “Его можно обвинять в расизме, но тогда надо было бы устроить процесс над всем сионистским движением” (цит. по: Хабер Э. “Менахем Бегин, человек и легенда”. Делле Бук, Нью-Йорк, 1979 г., стр. 385).

Вот что рассказано израильским историком и журналистом Исраэлем Шамиром о главном подвиге Бегина, после которого началось паническое бегство палестинских крестьян-феллахов со своих земель.

“Почему опустела Лифта? В километре от неё, по другую сторону Яффской дороги, находится причина бегства жителей Лифты: груды серых камней, поросших кактусами, – руины села Дир-Яссин¹. Их прекрасно видно из окна, где живёт бывший премьер-министр и бывший глава правой организации еврейских боевиков “Эцель” Менахем Бегин. Ночью с 9-го на 10 апреля 1948 года отряды “Эцель” и “Лехи” (главой “Лехи” был другой израильский премьер-министр Ицхак Шамир) напали на это палестинское село, которое славилось хорошими отношениями с еврейскими соседями. То, что произошло в Дир-Яссине, Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля, назвал “кровавой бойней”. 254 палестинцев, мужчин, женщин и детей, были убиты в Дир-Яссине.

¹ В разных источниках это село называется Дир-Яссин или Деир-Ясин. – С. К.

Я помню, с каким недоверием я читал в Советском Союзе рассказы о Дир-Яссине: “Советская пропаганда”, — думал я и отметал описания резни как вымысел. Понадобилось много лет, много книг, много документов, чтобы я понял: нет, Дир-Яссин не был выдуман Политбюро или Арафатом.

Подробнейшие описания того, что произошло в Дир-Яссине, можно найти в нескольких вышедших в Израиле и за рубежом книгах, в частности, в произраильской, но довольно объективной книге Доминика Лапьера и Ларри Коллинза “О, Иерусалим!”.

В ней приводят слова командира Хаганы Давида Шалтиэля, который называл Дир-Яссин “одним из немногих мест, куда не ступала нога вооружённых бандитов извне”.

Когда боевикам “Эцеля” и “Лехи” удалось овладеть селом, они приступили к хладнокровному убийству. Коллинз и Лапьер пишут:

“Молодожены, вместе с 33 соседями, были среди первых жертв. Их выстроили у стены и расстреляли... 12-летняя Фехими Зейдан, одна из выживших, рассказала: “Евреи поставили всю нашу семью к стенке и стали нас расстреливать. Я была ранена в бок, но большинство нас, детей, спаслись, потому что мы прятались за спинами родителей. Пули попали моей четырёхлетней сестре Капри в голову, моей восьмилетней сестре Сами в щёку, моему брату Мохамеду, семи лет — в грудь. Но все остальные были убиты”. Халим Эл заявила, что видела, как “человек загнал пулю в шею моей сестре Сальхие, которая была на девятом месяце. Затем он распорол ей живот ножом”... “Нападавшие убивали, грабили, насиловали. Они рвали уши, чтобы легче было снять серьги”.

Первым на место резни прибыл представитель Международного Красного Креста Жак де Ренье, швейцарец. Он писал в своём дневнике:

“Я увидел людей, врывавшихся в дома, выскакивавших из домов, они были с ружьями, автоматами, длинными арабскими ятаганами. Они казались полоумными. Я видел красивую девушку с окровавленным кинжалом в руках. Я слышал крики. “Мы подчищаем очаги сопротивления”, — сказал мне мой приятель, немецкий еврей. Я вспомнил эсэсовцев в Афинах. К своему ужасу, я увидел молодую женщину, всадившую нож в старика и старуху, прибывших к порогу своей хижины... Повсюду лежали трупы. Они “подчищали” ружьями и гранатами, а завершили работу ножами, это было видно всем... Я нашёл труп женщины на восьмом месяце беременности, убитой выстрелом в живот — в упор”.

Затем 25 пленных палестинцев были посажены на грузовик, на котором победители триумфально проехали по еврейскому базару Махане Иегуда, затем пленные были отвезены в каменоломню Гиват Шауль и расстреляны.

Прибывший на место заместитель командира Хаганы Ешурун Шиф отметил: “Террористы “Эцель” и “Лехи” предпочли убить всё живое”. Он видел, как тела жертв были отнесены в каменоломню, облиты бензином и подожжены. Элиягу Ариэли, прибывший в Дир-Яссин с отрядом “Гадны”, еврейский пионер, заметил: “Все убийтые, за немногими исключениями, были старики, женщины и дети... никто не погиб с оружием в руках”. Затем дома села были взорваны. В настоящее время большая часть руин находится за колючей проволокой больницы для душевнобольных.

Британская полиция — дело было ещё в дни британского мандата — провела расследование резни и установила, кроме прочего: “Нет сомнения, что нападавшие евреи совершали зверства сексуального характера. Многие школьницы были изнасилованы, а затем зарезаны... многие младенцы убиты. Мочки ушей у некоторых женщин были порваны — чтобы сорвать серьги”. Собственно говоря, и нападавшие отрицали только факт изнасилования и использования холодного оружия, но не сам факт массового убийства безоружных крестьян.

В изданном по-русски “сокращённом переводе” книги “О, Иерусалим!” вышеприведённых мест нет — вместо этого там содержится отсебятина переводчиков и редакторов официального израильского издательства “Алия”, издающего книги для просвещения русских евреев. Символично, что издательская деятельность, как и вся деятельность во благо русского еврейства, координировалась до недавнего времени д-ром Лапидотом из Тель-Авивского университета, назначенным Менахемом Бегинотом на пост главы Русского отдела МИДа. В 1948 году д-р Лапидот был командиром отряда “Эцеля”,

бравшего Дир-Яссин. Он лично брал село и ликвидировал очаги сопротивления – до последнего арабского младенца, до последней серьги в ухе арабской женщины. При Бегине он стал зам. премьер-министра и организовывал призывы к Советскому Союзу – во имя человечности отпустить отказников”.

Спустя 27 лет после этого побоища, после того, как подобным же образом были стёрты с лица земли сотни палестинских селений и число беженцев, ушедших от смерти в Ливан, в Газу, на Запад, перевалило за полтора миллиона, собралась Генеральная Ассамблея ООН, чтобы осудить Израиль за идеологию расизма и за геноцид палестинского народа. И на заседании ООН представитель Израиля г-н Херцог сказал: “Трудно найти другое многонациональное государство в мире, где две нации (евреи и арабы. – **Ст. К.**) живут вместе в такой гармонии и где достоинство и права человека соблюдаются перед законом, как это имеет место в Израиле”. До такого цинизма не мог бы додуматься сам доктор Геббельс.

И здесь надо отдать должное советскому диссиденту еврейского происхождения, который признавал “первородный грех” сионистского государства Израиль: “Идеи и мифы сионизма возникли в сознании тех, кто хотел сопротивляться погромам. Спасать своих близких от Освенцима и Бабьего яра. . .

Но все горестные и страшные воспоминания, разумеется, не могут оправдать сегодня тех израильских ультра, которые изгоняют и унижают палестинских арабов. Ссылки на гибель миллионов европейских евреев, на преследования в Польше, на дискриминацию в СССР, на бессмысленный терроризм арабских фанатиков не оправдывают трагедии палестинских беженцев, массовых репрессий в районах, оккупированных израильскими войсками” (Лев Копелев. “О правде и терпимости”, Нью-Йорк, 1982, стр. 56).

С такими мыслями Копелеву вполне можно было бы выступать под аплодисменты на тегеранской “ахмадинежадовской” конференции. . .

* * *

Из книги Роже Гароди “Основополагающие мифы израильской политики”:
“Вице-президент сионистской организации Рудольф Кастнер договаривался с Эйхманом о том, чтобы тот помог ему организовать отъезд 1648 евреев, по образованию, профессиям, социальному положению, возрасту и т. д. необходимых для строительства в будущем государства Израиль. А за эту услугу Кастнер обещал Эйхману внушить четырёмстам тысячам ненужных для будущего Израиля венгерским евреям, что их отправка из Венгрии в эшелонах на Восток – это простое переселение на другие территории, и отнюдь не в Освенцим. Кроме того, Кастнер спас от сурового приговора своими свидетельствами на Нюрнбергском процессе одного из своих нацистских партнёров по венгерским делам штандартенфюрера Курта Бехера. Но когда во время суда над Эйхманом все эти факты всплыли на поверхность, всё равно Кастнеру не было предъявлено никакого обвинения, потому что, как писала израильская газета “Едиот Ахронот” от 23.6.1955 г.: “Если отдать Кастнера под суд, то всё правительство рискует быть полностью дискредитированным в глазах нации в результате того, что может открыться на этом процессе”. “Единственным способом избежать того, что Кастнер заговорит и разразится скандал, – писал Роже Гароди, – было исчезновение Кастнера. И он в самом деле внезапно умер”.

Однако швейцарский историк Юрген Граф пишет о том, что глава еврейской общины Будапешта доктор Кастнер “эмигрировал в Израиль и был застрелен фанатиком-сионистом, который обвинил его в соучастии в Холокосте” (стр. 401).

Как говорит русская пословица, “для кого война, а для кого мать родна”. . . Судьбы европейского еврейства в эпоху Холокоста разделились: один драгоценный ручей потёк в Швейцарию, другой в Америку, третий в Палестину, а самый многоводный и престопадный – в Освенцим, в Дахау, в Треблинку. Вот что писал украинский историк Эдуард Ходос о “чудесном” спасении в начале Второй мировой войны вождя ультраортодоксальной еврейской секты Хладоб любавичского ребе Шнейерсона:

“Вплоть до осени 1939 года шестой любавичский ребе находился на территории Польши, откуда был тайно переправлен за океан после того, как чле-

ны хабадской общины США обратились с просьбой о помощи лично к госсекретарю Корделлу Хэллу. В результате договорённости между госдепартаментом США и главой германской военной разведки (абвера) адмиралом Канарисом Йосеф Ицхак Шнеерсон покинул Варшаву, беспрепятственно пересёк территорию рейха и оказался в нейтральной Голландии, а затем в Соединённых Штатах. Операцией по вывозу шестого любавичского ребе из оккупированной Польши руководил подполковник абвера, еврей по отцу Эрнст Блох” (Э. Ходос. “Между Спасителем и Антихристом”, Харьков, 2005, стр. 4).

Похожей была судьба венгерского магната Манфреда Вайса и его семьи, к спасению которых от депортации в Освенцим был причастен сам Эйхман.

Из протоколов допроса Эйхмана:

“Манфред Вайс был самым крупным промышленником Венгрии, в каком-то смысле — “венгерский Крупп”. Бехер занял там, кажется, место директора <...> Семью Манфреда Вайса он... наверное, они улетели самолётом в Швейцарию. Сам Гиммлер занимался всем этим делом с компанией... “Манфред Вайс”.

“По договору, заключённому в середине мая, наследники Вайса уступали хозяйственным предприятиям СС более половины акционерного капитала. За это 48 членов семьи были доставлены двумя немецкими самолётами в Португалию” (“Протоколы Эйхмана”. М., “Текст”, 2002, стр. 202).

И ещё несколько отрывков из той же книги, в которой речь идёт о спасении влиятельной и богатой верхушки венгерских евреев.

Рассказывает Лесс (следователь, допрашивавший Эйхмана. — **Ст. К.**): “Вот документ обвинения 11-го Нюрнбергского процесса военных преступников. Он <...> касается отправки 318 венгерских евреев в Швейцарию”. Эйхман: “Да, речь идёт о нелегальном переходе” (далее упоминается штандартенфюрер Бехер. — **Ст. К.**). “Он, собственно, договаривался с д-ром Кастнером, но я эту переброску в Швейцарию не проводил. Я должен был только сказать пограничной службе, чтобы им не чинили препятствий, и позаботиться о прикрытии с венгерской стороны” (стр. 203).

Следователь Лесс напоминает Эйхману, что ему было указано из берлинского МИДа спасти “госпожу Глюк, еврейку и сестру нью-йоркского обербургомистра Ла Гардиа. Просим позаботиться, чтобы в связи с высоким положением брата госпожи Глюк её не отправили в общем порядке в Восточные области <...> чтобы при необходимости её можно было использовать в политических целях” (стр. 215).

В ответ на это Эйхман вспоминает:

“Так точно, это была весьма высокопоставленная еврейка. Наверное, был приказ не меньше чем от самого Гиммлера, чтобы её придержали. И, возможно, её куда-нибудь отправили, точно так же, как Леона Блюма... или брата Леона Блюма” (стр. 215).

Леон Блюм впоследствии стал премьер-министром послевоенной Франции. Точно так же сионисты по сговору с нацистами спасали от Освенцима многочисленный клан Ротшильдов, точно так же в результате торга гиммлеровских эмиссаров с организацией Джойнт, базирующейся в Швейцарии, “несколько сот венгерских евреев, отобранных Кастнером <...> прибыли через концентрационный лагерь Берген-Бельзен в Швейцарию, чтобы оттуда уехать в Палестину. Однако причитающаяся за это немцам оплата в валюте, о чём была договорённость, не поступила” (“Протоколы Эйхмана”, стр. 233).

Но одновременно со “льготами”, которые выдавали нацисты с сионистами известным, привилегированным и нужным евреям, они согласованно и чётко формировали и отправляли в концлагеря на тяжкие работы, а порой и сразу в “Баби яры” целые потоки беспородных, бессловесных, обманутых “овец израилевых”, и при этом каждая из преступных сторон преследовала свои цели.

Из стенограммы допроса Эйхмана:

“Кастнера интересовали только молодые евреи из восточных областей Венгрии. Эти группы надо было пропустить нелегально и без ведома венгерского правительства через румынскую границу... Однажды д-р Кастнер пришёл с чемоданом иностранной валюты” (стр. 194).

“Речь шла о миллионе евреев, которых надо было доставить в какой-то пункт и освободить в обмен на десять тысяч грузовиков, пригодных к зимней эксплуатации, с обещанием не использовать их на Западном фронте (на Восточном — против наступающих советских войск, спасающих ещё оставшихся

в живых польских, венгерских, румынских евреев, использовать было можно! – **Ст. К.**) <...> в это время Гиммлер сказал, что он хотел бы... переговорить с Хаимом Вейцманом” (стр. 190).

Из показаний Кастнера: “Эйхман продолжал: “мне нужны 65–70 тысяч венгерских евреев, пока что на германской границе приняты только 38000. Мне нужно ещё не меньше 20 000 евреев-землекопов на Юго-Восточный вал. В рейхе копают рвы уже немецкие дети и старики!” (стр. 232).

Из допроса Эйхмана: “50 тысяч работоспособных евреев мужского пола должны быть доставлены в программе “Егер” <...> для замены русских военнопленных, необходимых для других работ”... “Я должен добавить, что это было время, когда людей отправляли в Палестину в обмен на промышленные товары” (стр. 226).

Вот так сионисты поставляли рейху “промышленные товары”, нужные для борьбы с наступающей Советской Армией.

Эйхман: “Если меня послали в Венгрию <...> с целью депортации, то я не говорил еврейским функционерам (Кастнеру и другим сионистам. – **Ст. К.**), что её не будет. Я никогда не врал еврейским функционерам”... Этими словами Эйхман пытается доказать израильскому суду, что еврейские функционеры и он, гестаповский чиновник, делали одно общее дело и что они виноваты не менее его:

“За время многолетнего общения, которое у меня было с еврейскими функционерами, не найдётся ни одного, кто мог бы меня упрекнуть, что я ему лгал... По приказу Гиммлера эшелоны шли все до одного в Освенцим” (стр. 187, 190).

И весьма любопытны страницы из книги протоколов допроса Эйхмана, где всплывает имя Рауля Валленберга.

Израильский следователь Авнер Лесс цитирует страницы из воспоминаний доктора Кастнера, в которых последний рассказывает о своей торговле с Эйхманом еврейскими жизнями:

“Затем он (Эйхман. – **Ст. К.**) перешёл к “злоупотреблению” иностранными паспортами. Он-де привлечёт к ответственности за это свинство швейцарского консула Лютца и Рауля Валленберга, представителя шведского Красного Креста. Но у него есть предложение: он забудет про обладание таких паспортов, если наша сторона добровольно представит ему 20 000 евреев-землекопов. А иначе ему придётся отправлять всех евреев – без исключения – пешком!” (стр. 232).

Конечно, чтобы получить от Эйхмана разрешение на переброску нужных евреев с паспортами в спасительные нейтральные страны Европы, сионистские функционеры отправляли десятки тысяч других “евреев-землекопов” на работы в Освенцим или на Восточные рубежи для возведения укреплений.

Так что прав Вадим Кожин, пронизательно заметивший в статье “Война и евреи” некоторую особенность явления, именуемого Холокостом: “Евреи в отличие от цыган дали миру множество всем известных людей самых разных профессий и занятий, и поэтому еврейская трагедия находится в центре внимания. Но уместно напомнить и другое: кроме педагога и писателя Януша Корчака (Генрика Гольдшмита) затруднительно назвать каких-либо широко известных до войны евреев, погибших в Третьем рейхе, что также противоречит представлению о тотальной гибели” (стр. 318).

Да и Януш Корчак стал широко известен лишь после войны.

А сколько было в еврейских гетто и в многочисленных мелких лагерях смерти всяческих маленьких кастнеров, руководителей еврейских советов-юденратов, раввинов, через которых нацисты управляли евреями!

В Вильнюсском гетто главой юденрата был сионист Якоб Генс, который по требованию немцев регулярно формировал партии евреев в Понары, где их расстреливали. В 2005-м или в 2006 г. по Центральному ТВ об этом юденрате шёл фильм. Телевизионный диктор зачитал кредо жреца Холокоста, отправившего на расстрел около 50 тысяч евреев: “Я взял на себя всю ответственность, и мне не страшно... Вы должны знать, что это был мой долг – обогреть руки в крови своего народа”. Якоб Генс, пользуясь своей властью, жестоко подавлял у молодых евреев всякие попытки сопротивления. Но, как он ни служил нацистам, последние всё-таки расстреляли его. И поделом. А почему киевские евреи так покорно пошли к Бабьему яру? Потому что немцы арестовали 9 киевских раввинов, приказали им обратиться к евреям Киева

и убедить их, чтобы те собрались с вещами для переезда в безопасное место. Обманутых людей привели к Бабьему яру. Об этом публицисту Ю. Мухину написал диссидент и правозащитник М. Кукобака, чьё письмо напечатано в книге Мухина “Евреям о расизме” (стр. 45–46).

А в Винницком гетто доктор Гершман выдал немцам 250 брайловских евреев, которые бежали к нему из зоны немецкой оккупации. (В самой Виннице хозяйничали румыны.) Когда советские войска освободили Винницу, Гершман, естественно, был расстрелян, как коллаборационист. В 1943 году варшавские евреи перед восстанием сами истребили свою сионистскую верхушку, сотрудничавшую с нацистами. Но это редчайший случай в истории Холокоста.

Как утверждает И. Трунк в книге “Юденрат”, *“по расчётам Фрейдигера половина евреев (из шести миллионов погибших в Холокосте. – Ст. К.) могла бы спастись, если бы они не следовали инструкциям еврейских советов”* (изд. Мак-Миллан, Н.-Й., 1972). И на фоне этой деловой сионистско-нацистской эпопеи, по сравнению с которой пресловутый пакт Молотова–Риббентропа выглядит ничтожной тактической сделкой, я ещё раз хочу благодарным словом вспомнить подругу немецкого философа Хайдеггера Ханну Арендт, перед портретом которой я долго стоял в одном из залов древнего Марбургского университета, за её честную книгу “Банальность зла”, написанную во время процесса Эйхмана в Иерусалиме:

“Еврейский совет и мудрецы были оповещены Эйхманом и его людьми, сколько евреев необходимо, чтобы заполнить каждый состав, и они делали списки отправляемых... Те, которые пытались скрыться или убежать, ловились специальной еврейской полицией. Как Эйхман видел, никто не протестовал и не отказывался сотрудничать”.

“Без еврейской помощи в администрации и полицейской работе получился бы полный хаос и невероятно крайнее истощение немецкой силы <...> ... еврейское самоуправление доходило даже до того, что сам палач был еврей” ... “Навряд ли найдётся какая-нибудь еврейская семья, из которой хотя бы один член не состоял в фашистской партии” (Eichman in Jerusalem. A report on banality of evil, by Hanna Arendt. The Viking Pressing. NY, USA, 1969).

Недаром же Норман Финкельштейн, вспомнив о Ханне Арендт, написал в примечании к книге “Индустрия Холокоста”: *“Было ли чистой случайностью, что еврейские организации большинства распинали Ханну Арендт за то, что она рассказала о сотрудничестве еврейских элит с нацистами? Когда Ицхак Цукерман, руководитель восстания в Варшавском гетто, вспомнил о коварной роли полиции Еврейского совета, он заметил: “Не было порядочных полицейских, потому что порядочные люди снимали форму и становились просто евреями”* (стр. 135).

... Мне вспоминается скандальная выставка известного белорусского художника Михаила Савицкого, солдата Великой Отечественной, попавшего в плен и чудом выжившего в немецком концлагере. Выставка была открыта в Минске при жизни Машерова в 70-х годах прошлого века. На ней выставилась картина, которую я видел своими глазами. Немецкий концлагерь, несколько трупов, могильная яма. С одной стороны ямы толстомордый эсэсовец с автоматом наперевес, с другой – еврей средних лет, в полосатой лагерной робе, со звездой Давида на груди, с лопатой в руках спихивает трупы в яму. Оба улыбаются, глядя друг на друга – и толстомордый немец, и еврей, так называемый капо. Помощник палачей.

Народ на выставку повалил валом. Минские евреи заволновались, засыпали первого секретаря компартии Белоруссии Машерова телеграммами о кощунственной, оскорбляющей память жертв Холокоста картине. Пришлось Машерову прийти на выставку... Он долго и молча рассматривал картину, встретился с Савицким, попросил его замазать звезду Давида на робе еврея, но картина на выставке осталась. И якобы Машеров, один из руководителей партизанского движения в Белоруссии, уходя с выставки, сказал:

– Пусть висит. История разберётся...

* * *

Я бы не стал чересчур старательно разыскивать документы и аргументы для этой главы, если бы не попало мне на глаза одно место из книги Коха и Поляна “Отрицание отрицания”. Возражая всем неугодным ему историкам –

исследователям (именно исследователям, а не отрицателям!) Холокоста, Павел Полян с несколько глумливой иронией пишет:

“На бытовом уровне элементы отрицания присутствовали в советской “антисионистской” литературе, в годы холодной войны обвинявшей “сионистов” в том, что они “наживались” на страданиях еврейских жертв и преувеличивали их численность, а главное – находились в прямом сговоре с немцами”... (кавычки Поляна. – Ст. К.).

Пусть теперь наши читатели сами решат, “находились” или “не находились”...

И ещё, обращаясь к началу – к пророческой страничке из романа “Доктор Фаустус”. Иронию истории, или её способность превращать трагедию в фарс, я увидел в одной маленькой заметке из бюллетеня “Холокост” (№ 2, 2006 год).

“Потомок Германа Геринга Маттиас Геринг носит ермолку, а на шее подвеску с звездой Давида. Его растили в презрении к евреям, но он принял их веру”; “Катрин Гиммлер вышла замуж за израильянина”.

Ну вот, через шестьдесят лет после Хрустальной ночи и ванзейской конференции два расизма наконец-то снова заключили друг друга в объятия, свастика и звезда Давида обнялись снова.

VIII. Пастухи и овцы

Я не люблю ни филосемитов, ни антисемитов. Я хотел бы, чтобы люди обращались со мной, как с обычным человеком.

Норман Финкельштейн

Скажу сразу, я не собираюсь оспаривать, пересматривать, уточнять сакральное число шесть миллионов. Потому что с первоисточниками я не работал и демографических серьёзных знаний у меня нет. Потому что, на мой взгляд, уже невозможно подсчитать точно людские потери времён Холокоста. Потому что два враждующих лагеря – жрецы Холокоста и его исследователи – никогда не придут ни к какому соглашению: слишком много фактических, идеологических и политических противоречий имеется в каждом из лагерей. Да и внутри каждого лагеря тоже. У тех и у других в активе есть неопровержимые или почти неопровержимые доказательства своей правоты. А это трагедия. Потому что трагедия рождается только тогда, когда правда в той или иной степени, но есть у каждой из сторон. Я просто буду оперировать числами, фактами, аргументами, мыслями из арсенала обеих сторон и постараюсь, насколько это возможно, быть беспристрастным. Но при всём при том понимаю, что абсурдных ситуаций не избежать. Вот одна из них.

На Нюрнбергском процессе было заявлено, что в Освенциме уничтожено 4 миллиона заключённых, в большинстве своём евреев. Однако после ряда ревизионистских исследований положение изменилось. Из бельгийской газеты “Ле Суар”, 19–20 окт. 1991 г., г. Брюссель:

“Освенцимский международный комитет намеревался в ноябре 1990 года заменить мемориальную доску в Освенциме, на которой была указана цифра “4 миллиона мёртвых” другой с упоминанием “более миллиона мёртвых” . Д-р Морис Гольдштейн, председатель Комитета, этому воспротивился”.

По этому поводу Роже Гароди саркастически замечает: *“В действительности д-р Гольдштейн ни в коей мере не оспаривал необходимость замены старой доски, но он хотел, чтобы на новой доске не было цифр, потому что знал, что, вероятно, вскоре станет необходимым новый пересмотр нынешней цифры в сторону снижения”.*

Благодаря содействию Международного комитета при государственном музее в Освенциме <...> текст был изменён в направлении менее удалённом от истины:

“Пусть это место, где нацисты убили полтора миллиона мужчин, женщин и детей, в большинстве своём евреев из разных стран Европы, всегда будет для человечества криком отчаяния и предостережения”.

Впрочем, фразу “в большинстве своём евреев” каждый из историков горазд читать по-своему. Она может означать и один миллион четыреста тысяч,

и восемьсот тысяч, на чём настаивает в своей “классической книге” (определение П. Поляна) английский историк Д. Рейтлингер, отнюдь не принадлежащий к лагерю ревизионистов.

Да и сам Полян понимает, что сразу же после войны победители, мягко говоря, “погорячились” с четырьмя миллионами освенцимских жертв:

“Этот сырой и уже тогда недостоверный результат в 4 миллиона человек был санкционирован идеологически и сразу же принят за истину в последней инстанции, а со временем и закреплён везде, где только можно, в экспозиции музея, в путеводителях по нему и даже в памятных гранитных досках при входе”.

Поляну (отдаю ему должное) не хочется прослыть некомпетентным историком, но есть вещи, которые сильнее его желания: всё равно окончательная цифра погибших во время Холокоста евреев для него останется священными шестью миллионами. Пару исчезнувших освенцимских миллионов он из неё ни за что не вычтет.

В книге “Отрицание отрицания, или битва под Аушвицем”, составленной А. Кохом и П. Поляном, эти 6 млн стоят незыблемо. Авторы книги восполнили выпавшие из чудесной цифры 2,5 миллиона новым пересчётом других потерь по всем европейским странам в других концлагерях, привели бесконечное количество таблиц из статей множества европейских историков, “осовременили” многие демографические графики, разобраться в которых очень и очень непросто. Так что резервы для ремонта и постоянной реставрации волшебной колонны в честь шести миллионов у жрецов Холокоста всегда найдутся, и потому выиграть у них этот спор невозможно, да и, честно говоря, не нужно. Пусть верят. Шесть миллионов – это не предмет знания, а предмет веры, как вся религия Холокоста.

В 70-е годы образ холокостного сфинкса втемяшивался в мировое сознание благодаря телефильмам. Знаменитый “Холокост” вышел на американские телеэкраны в 1978 году. “Его посмотрели 49% телезрителей страны, – восторгается Полян и добавляет: – Слабой попыткой противостоять этому мощному медиаудару стал выход в середине лета 1978 года (...) отрицательных этюдов Расинь”. Полян понимает, что “противостоять мощному медиаудару”, “его колоссальному успеху” каким-то брошюрам смешно и бессмысленно. Но зачем же историку так неумно торжествовать? Разве мы не помним, как у нас в начале перестройки, когда страна рушилась в пропасть, половина населения сходилась с ума от “Санты-Барбары” и проливала слёзы над сериалом “Богатые тоже плачут”?

А вот ещё примеры подобного арифметического абсурда, случившегося безо всяких провокаций со стороны ревизионистов.

В книге “Уничтожение европейских евреев” историк Рауль Хилберг (классик!) определит освенцимские еврейские потери в 1 (один) миллион человек. Но его, казалось бы, единомышленница Люси Давидович в книге “Война против евреев” настаивает на том, что в Освенциме было загублено два миллиона евреев. С Майданеком вообще получился у этих авторов полный абсурд: Хилберг считает, что там погибло 50 тысяч евреев, а Давидович, что один миллион 380 тысяч – в 28 раз больше! Ну какая тут может быть объективная истина, кому верить?

А какая невразумительная картина открывается, когда ты пытаешься узнать, сколько же евреев нашли свою гибель в знаменитом киевском Бабьем яру. В 1961 году в Израиле на процессе Эйхмана, который готовился с особенной тщательностью, было обнародовано число погибших, казалось бы, с точностью до одного человека: 33 771 еврей. Однако в 1978 году в документе “Проблемы современного сионизма”, принятом Всемирной сионистской организацией, было заявлено, что “только в Бабьем яру в один день было расстреляно 100 тысяч евреев”. Видимо, это троекратное увеличение было ответом на изыскания ревизионистов, активно поработавших к 1978 году. Прошло ещё четверть века, и в бюллетене “Холокост” (фонд А. Гербер) чёрным по белому (№ 2, 2006 г.) отпечатано: “по оценкам историков, до осени 1943 года (то есть не в один день. – Ст. К.) в Бабьем яру погибло 50 000 евреев” (может быть, постеснялись повторить 100 тысяч?). Установить же, какая из трёх цифр (33 771, 100 000 или 50 000) вошла в итоговое священное число 6 млн, не представляется никакой возможности. А между прочим, все три цифры взяты с одной “антиревизионистской” стороны. Абсурд? А вспомним талантливый

фильм Алена Ренэ “Ночь и туман”. Именно в нём говорится о восьми (8!) миллионах погибших в Освенциме! Ну почему бы жрецам не воспользоваться этой кинолегендой! Да с ней, как с восьмичасовым сериалом “Холокост”, никакие отрицатели со своими книжонками, изданными в несколько тысяч экземпляров, не справились бы ни за что! Ну как можно справиться с впечатлением, произведённым на несколько десятков, а то и сотен миллионов телезрителей! Нет, не хотят жрецы трогать священное число. Если будет меньше шести – кощунство, если больше – профанация. Один из американских отрицателей Холокоста Рассель Граната на московской конференции по Холокосту (январь 2002 г.) заявил, что не понимает, “почему исследования ревизионистов вызывают такое неприятие со стороны евреев. Ведь эти исследования являются для них настоящим подарком, ибо теперь выясняется, что миллионы евреев не были убиты, они живы. Но вместо благодарности за свои открытия ревизионисты слышат проклятия и угрозы” (стр. 97). П. Полян в книге “Отрицание отрицания” назвал эту мысль историка “подлинным свидетельством прожжённости (...) как антисемита”.

Словом, сомневаться в шести миллионах нельзя. Здесь, как в зоне: шаг вправо, шаг влево считается побегом, то есть оскорблением Холокоста. Рискну сказать, что любое нарушение пропорций Холокоста для жрецов всё равно, что для нас, православных христиан, изменения в сюжете “Троицы” Рублёва. “Троицу” нельзя уменьшить и поменять на “пару ангелов” или увеличить до “квартета”. И то и другое будет кощунством. Так нельзя разрушать и шестиугольную святыню.

Но если кто-то из поклонников (слово-то дурацкое, может быть – защитников, апологетов, апостолов?) Холокоста возьмётся утверждать (или докажет), что было стёрто с лица земли в наше страшное время 12 миллионов еврейских душ, ей-Богу, я спорить не буду. Хочется вам 12 – верьте в 12. Кстати, число тоже сакральное.

Но то же самое я могу сказать скептикам, ревизионистам, отрицателям, противникам и т. д. Холокоста: ну, победили вы в споре об Освенциме, опустили количество жертв с четырёх до полутора миллионов. Что, вам евреи спасибо сказали? То-то и оно! Удовольствуйтесь скромным результатом – нет, вам всё мало! Вам хочется доказать, что и газовых камер не было, и что мыло из евреев не варили, и что приговор в Нюрнберге гитлеровской верхушке был вынесен в еврейский судный день не случайно... А по-женски практичная ревизионистка Ханна Арендт вообще не допускает мысли о том, чтобы фанатики прагматического порядка (орднунга) немцы могли возводить вавилонскую башню Холокоста в самых невыгодных для себя обстоятельствах:

“Нацисты делали что-то прямо-таки бесполезное, если не вредное для себя, когда в разгар войны, несмотря на нехватку стройматериалов и проката, воздвигали огромные и дорогостоящие фабрики уничтожения и организовывали транспортировку миллионов людей. Налицо противоречие между этим образом действий и требованиями войны, что придаёт всему этому предпринятию сумасшедший и химерический характер” (“Тоталитарная система”. Париж, 1972, стр. 182).

Конечно, ревизионистам я сочувствую больше, но лишь по одной причине... Они сегодня такие же гонимые, как евреи при нюрнбергских законах в Третьем рейхе... А я всегда буду на стороне тех, кто готов к самопожертвованию, кто садится в тюрьму за свои убеждения, уходит в изгнание, а не на стороне тех, кто зарабатывает деньги на чужой беде, на незаживающей памяти.

Первое поколение “ревизионистов” – бывший узник Бухенвальда французский историк Поль Расинье, английский историк Ричард Харвуд, профессор английской литературы Остин Эпп и многие другие издавали свои работы в 50–60-е годы, когда угрозы репрессий за свободную мысль ещё не существовало. Но, осознав опасность такой интеллектуальной свободы, жрецы Холокоста добились того, что пересматривать историю Холокоста в 80–90-е годы стало небезопасно. Показательна судьба канадского историка Эрнста Зюнделя. Его судили несколько раз: сначала 15 месяцев тюрьмы, потом ещё 9. После отбывания этих сроков он покинул Канаду, его объявили в розыск в 1992 году. В 2003 году американцы выдали его в Канаду, канадцы переправили историка в Германию, где его судили сначала в 2005-м, а потом в 2006 году и “за разжигание межнациональной розни” приговорили к 5 годам тюрьмы. А заодно посадили и его защитницу С. Штольц на 3,5 года. После этого – пошло-поехало!

Швейцарца Юргена Графа в 1998 году посадили в тюрьму на 15 месяцев, его издатель Фёрстер получил год тюрьмы.

Немец Гермар Рудольф в 1995 году был посажен в тюрьму на 14 месяцев. После этого он бежал в Англию, потом в США, откуда его выдали в Германию. Судили в 2006 году. Приговор – 30 месяцев тюрьмы. Британец – историк Ирвинг был приговорён в Австрии к трём годам тюрьмы. (Полян раздражённо комментирует: *“Могли дать и десять”*.)

Француз Робер Форисон получил 3 месяца тюрьмы и заплатил громадный штраф. Всех их судят не за поступки, а за обнародование своих исторических изысканий, за естественный для человека поиск свободной мысли. Ну что тут сказать? Жалко Францию, которая всегда в истории человечества славилась защитой своих суверенных прав на свободу мысли, на самостоятельную политику, особенно при де Голле. А в начале 90-х годов, приняв (первой в Европе) так называемый закон Гессо, предусматривающий судебные преследования за любое сомнение в масштабах Холокоста, за любое уточнение, за любое невыгодное для его жрецов изучение, за отношение к нему, как к рукотворному историческому событию, а не фундаменталистскому религиозному мифу, она, прекрасная Франция, “Марианна”, склонилась перед произраильским и проамериканским лобби.

А поскольку Франция всегда была в Европе законодательницей мод, вслед за ней подобные законы были приняты в Австрии, Бельгии, Италии, Литве, Венгрии, Румынии, Люксембурге, Словакии, Чехии, Швейцарии, Польше... То есть в тех странах, откуда больше всего эшелонов с евреями было отправлено в Освенцим. Комплекс вины? Сроки за подобные интеллектуальные преступления кое-где предусмотрены до 10 лет. Слава Богу, нашей Думе хватило ума не пойти в хвосте законодательной элиты этих некогда коричневых государств Европы. Она отвергла попытку внести наказание в России за свободное обсуждение загадок Холокоста. Но устоит ли на этих трезвых позициях следующая Дума? Поляки пытаются, как всегда, пойти дальше всех. Журнал “Новая Польша”, к сожалению, до сих пор бесплатно распространяющийся в России, устами своего главного редактора Ежи Помяновского (отнюдь не поляка) ратует за то, чтобы российское законодательство сурово наказывало не только тех россиян, кто копается в истории Холокоста, но и тех, кто сомневается и не верит, что польских офицеров в Катynie расстрелял советский НКВД. Так что им только дай палец – откусят руку. Норман Финкельштейн видит нагнетание юридической психопатии в следующей причине: *“Как иначе оправдать в обществе, которое уже по уши сыто Холокостом, что создаются всё новые музеи, выходят всё новые книги, учебные планы, фильмы, программы, как не призраком отрицания Холокоста?”* Всё возвращается на круги своя. Только репрессиями можно попытаться остановить врождённое свойство человека мыслить, его “свободу воли”, его поиск истины или элементарной правды, только новой 58-й статьёй мирового “холокостного масштаба” или абсурдной системой, разработанной “новой инквизицией”.

Когда я спросил своего давнего знакомого, автора нашего журнала и гражданина Израиля, верит ли он этой цифре в 6 миллионов и есть ли в Израиле серьёзные историки, не согласные с подсчётами идеологов Холокоста, то мой гость помрачнел: – У нас в демократическом Израиле сомневаться или излагать подобные сомнения – опасно. Засудят, затравят... так что приходится помалкивать...

Сажать сейчас за поиски исторической правды – это всё равно, что сажать по ленинскому указу о борьбе с антисемитизмом 1918 года или по 58-й статье советского Уголовного кодекса 30-х годов, статье, по которой давали срок за намерение, за слова, за высказанное несогласие с официальным взглядом на события, за чувства, в конце концов. Евреи это, казалось бы, должны понимать, как никто.

Российская книга о Холокосте, составленная Поляном и Кохом, заканчивается такой фразой последнего, после его утверждения, что евреев сгинуло в Холокосте 5,9 миллиона:

“Можно ли оценить точнее? Боюсь, что на сегодняшний день нельзя. Хотя, может быть, я и не прав – ведь исследования продолжаются”.

С Кохом согласен его соавтор Полян: *“Историю Холокоста, опираясь на новые материалы, можно и нужно бесконечно изучать и уточнять”*. Но думаю, что это в какой-то степени фарисейские заявления: как можно *“продолжать*

исследования”, “изучать и уточнять”, если за это сажают, штрафуют, лишают работы, изгоняют?! Да и какие исследования могут быть “окончательными” без изучения первоисточников, находящихся в архивах. А знаете, что происходит с архивом Холокоста? Прочитайте, пожалуйста, заметку из газеты “Известия” от 24 сентября 2007 года.

“В 1955 году союзники без участия представителя СССР заключили Боннское соглашение по архиву жертв Холокоста, где имеется статья о недопустимости нанесения ущерба заинтересованным лицам и их семьям. При согласии международной комиссии из представителей 11 стран ФРГ закрыла архив в Бад-Аролсене, оставив доступ только родственникам. Призывы открыть архив для историков разбиваются о тезис о “защите частной жизни”: могут всплыть данные о сотрудничестве с нацистами, спровоцированных преступлениях самих жертв, фактах сексуального насилия. Но есть мнение, что Германия лишь пытается избежать новой волны исков от жертв Холокоста. И подтверждается старая истина о том, что на войне первой страдает правда, а политики могут спекулировать на жуткой теме”.

Как сказано в книге А. Коха и П. Поляна, “26 января 2007 года Генеральная ассамблея ООН по инициативе США одобрила резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста или преуменьшение его масштабов”.

Что же получается? Тогда надо судить членов международного Освенцимского комитета, которые сменили мемориальную доску при входе в Освенцим и “преуменьшили масштабы” освенцимского Холокоста с четырёх до полутора миллионов жертв? А как быть с русским историком В. В. Кожинным, о действиях которого П. Полян высказывается так: “В очерке “Война и евреи” (в составе книги “Россия. Век XX. 1939–1964”) Кожиннов, как ему кажется, поймал двух еврейских исследователей (Л. Полякова и И. Вуля), а также других еврейских статистиков за руку на передёргивании цифр. Первые, как полагает Кожиннов, дважды посчитали два миллиона жертв, вторые завысили естественный прирост своего населения для того, чтобы “скрыть” подлинные масштабы еврейской эмиграции из Европы в Америку и Палестину. Иными словами – типично еврейская приписка в два миллиона душ”.

И больше ни одного возражения, ни тени опровержения не находит Полян в ответ на исторически корректные и точные заключения Кожиннова. “Как ему кажется” – сквозь зубы произнесено, а в итоге – видит око, да зуб неймёт. Да, действительно, в одной из первых книг о Холокосте “Евреи и Третий рейх”, изданной аж в 1955 г. Леоном Поляковым и Иосифом Вулем и тщательно изученной Кожинным, утверждалось, что 2 миллиона евреев из 6 погибших были жителями восточноевропейских стран. Но когда Кожиннов провёл весьма несложные демографические подсчёты, опираясь только на цифры Вуля и Полякова, то выяснилось, что их, живших до 1939–40 годов сначала на территории Польши, Румынии, Литвы и Латвии, а впоследствии ставших гражданами Западной Украины, Западной Белоруссии, советской Прибалтики и советской Бессарабии, авторы посчитали погибшими дважды: сначала как граждан четырёх восточноевропейских стран и второй раз как новых граждан СССР, не успевших убежать на Восток от стремительно нахлынувших немецких войск. Так что Кожиннов не “кажется, поймал” соавторов в приписке, а поймал по-настоящему.

Два с половиной миллиона исчезло у жрецов Холокоста с освенцимской доски, ещё два миллиона благодаря кожинновской дотошности. Что в остатке? Слезы. Бессильные слёзы Павла Поляна.

Кожиннов понимал сакральную суть числа 6 миллионов. “Цифра 6 миллионов, – писал он, – имеет, по существу, “символическое значение”, наглядно запечатлённое, например, в созданном в Париже мемориале, где “возложен камень на символической могиле шести миллионов мучеников. Шесть проекторов рассекает тьму над шестью углами шестиугольного камня, то есть звезды Давида” (стр. 316).

Ошибка Полякова и Вуля, кроме В. Кожиннова, заметил и адепт истории Холокоста (отнюдь не “отрицатель”) англичанин Д. Рейтлингер, который в книге “Окончательное решение” (1961 г.) предположил, что цифра 4,7 млн погибших ближе к истине, нежели 6 млн. Однако официальная израильская статистика продолжала утверждать, что к 1946 году в Европе уцелело лишь 11 млн (из почти 17) евреев и что к 1967 году (то есть за 20 лет) их стало всего лишь 13,3 млн – то есть прирост составил 2,3 млн. Но если поверить шведской кни-

ге о Холокосте с предисловием Матвиенко, утверждавшей, что нацисты убили во время своего господства 90% еврейских детей Европы, которым в 1939 году было меньше 15 лет, то и этого прироста не должно было быть! Послевоенные два-три десятилетия должны были стать чёрной демографической дырой для европейского еврейства: кому было рожать эти 2,3 млн? Старикам и старухам? Но такое было возможно лишь в ветхозаветные времена, если вспомнить, что у благочестивого Авраама благочестивая, но бесплодная Сара начала рожать детей лишь после своего 70-летнего юбилея.

А дальше и того пуще: как замечает Кожин, в следующее двадцатилетие с 1967 года евреи пережили ещё больший демографический взрыв: “К 1987 году их количество, согласно статистике, достигло 17,9 млн, то есть выросло на 34,5%. Примерно такой же прирост имел место тогда, скажем, в Азербайджане, чьё население с 1969 по 1989 год увеличилось на 37,5%. Но этот прирост смог осуществиться в силу азербайджанской многодетности: в 1984 году около 40% семей Азербайджана имело четырёх и более детей! Вряд ли кто-нибудь будет утверждать, что подобная многодетность присуща еврейскому населению <...> воспроизводство еврейского населения близко к европейскому стандарту, а население Европы за эти 20 лет выросло менее чем на 9%, к тому же частично этот прирост шёл за счёт иммигрантов из других континентов. Итак, прирост евреев за 1967–1986 годы почти на 35% — совершенно неправдоподобное явление; остаётся прийти к выводу, что количество евреев и в 1945 году (11 млн) и в 1967 году (13,3 млн) было очень занижено статистиками, дабы не колебать версию о 6 миллионах погибших. А в 1987 году еврейские статистики сочли уместным (ведь дело уже давнее), да и важным (надо же соплеменникам знать реальное положение) опубликовать подлинную цифру. Но она ясно показывает, что потери составляли не 6 и даже не 4 миллиона” (В. Кожин. “Великое творчество. Великая победа”. М., Воениздат, 1999).

Кстати, этот же неестественный “демографический взрыв” “зафиксировал” главный редактор еврейского журнала “Советише Хаймланд” Арон Вергелис, весьма убедительно клеймивший в 1949 году — в разгар борьбы с космополитизмом — еврейское засилье в литературной жизни. Через 30 лет в книге “16 стран не считая Монако” (“Советский писатель”, 1979 г.) он с удовлетворением писал о своих встречах с евреями Европы и Америки, которые принимали его с распростёртыми объятиями:

“Подсчитано, что десять миллионов евреев, уцелевших после второй мировой войны, превратились в четырнадцать миллионов тридцать восемь тысяч на сегодняшний день”. Этой статистикой (увеличением за 30 лет численности европейского еврейства более чем на 40%) Вергелис подтвердил более позднее предположение Кожина о том, что невозможный для еврейства послевоенный демографический взрыв был следствием того, что потери европейского еврейства во времена Холокоста были сильно преувеличены для того, чтобы вдолбить в сознание современников сакральное число шесть миллионов.

Но вера не нуждается в научных аргументах и доказательствах, а потому еретиков, сомневающих в фундаментальных постулатах Холокоста, надо судить судом Холокостной инквизиции.

Если бы В. Кожин был жив, его бы, согласно недавней резолюции ООН, засудили. За что? Он ведь факта истребления евреев не отрицал? Нет! Но его можно было осудить за выяснение того, что 2 миллиона восточноевропейских евреев были засчитаны в общий холокостный итог дважды. И тем самым он снизил сакральную цифру Холокоста с 6 миллионов до 4-х. А Холокост без шести миллионов — это уже не Холокост, а обычное преступление, каких было много в ХХ веке и особенно в эпоху Второй мировой войны.

А тут ещё и соавтор Поляна по книге Альфред Кох свинью подложил и по легкомыслию фактически согласился с выводами Вадима Валерьевича Кожина: “Как уже отмечалось в начале, демографический анализ количества жертв Холокоста затруднён из-за отсутствия сравнимых данных. Поэтому отрицатели часто обращают внимание (и зачастую справедливо) на то, что во многих классических (?! — **Ст. К.**) работах присутствует двойной счёт, когда одних и тех же людей сначала засчитывают как польские жертвы, а потом как советские.

Причины такого двойственного счёта понятны: переход территории Западной Белоруссии и Западной Украины от Польши к Советскому Союзу делают его практически неизбежным” (стр. 338).

Не сумев опровергнуть выводы Кожина относительно “двойной” бухгалтерии жертв Холокоста при подсчёте потерь восточноевропейского еврейства, Полян срывается на глумливую иронию, называя Кожина *“антисемитом-интеллектуалом, специалистом по кожным болезням русской литературы”*, который якобы в *“своё время назвал Эдуарда Багрицкого не то “прыщом”, не то “жидовским наростом” <...> на чистом теле русской поэзии, но противопоставил ему другого поэта-еврея – Осипа Мандельштама, стихи которого он и впрямь искренне любил”*.

Но Кожин никогда не противопоставлял Багрицкого Мандельштаму. Это сделал я в своей речи на дискуссии “Классика и мы” 21 декабря 1977 г. в Центральном доме литераторов. А “жидовским наростом” на теле Тютчева называл Мандельштама (но отнюдь не Багрицкого) не Вадим Кожин, а Пётр Палиевский, да и то только в несерьёзных разговорах.

Так что чего больше в размышлениях Поляна о Кожине – невежества, литературных сплетен или глумления, не достойного историка, сказать трудно. А в ответ на оскорбительную для памяти Кожина реплику относительно его специализации *“по кожным болезням русской литературы”* я скажу только то, что научная импотенция Поляна для меня тоже медицинский диагноз. Она явственна даже в темах, которые он, *“председатель мандельштамовского общества”*, обязан знать, как никто другой. Но вот что он пишет об Осипе Мандельштаме: *“Гениальный русский поэт Осип Мандельштам, каковы бы ни были мотивы его крещения в 1911 году, ни на секунду не переставал быть евреем”*. Интересно, как бы отнёсся к такому заявлению сам Осип Мандельштам, который писал в “Шуме времени” о своей местечковой жизни в детстве и юности: *“А кругом простирается хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал”*. Вот оно, признание честного дезертира. . .

* * *

В 2000 году в старой доброй филосемитской Англии вышла в свет книга Нормана Дж. Финкельштейна “Индустрия Холокоста”. В 2002 году она была переведена на русский язык и переиздана в России.

Норман Финкельштейн – историк, политолог, преподаватель Нью-Йоркского городского университета, родился в 1951 году в семье еврейских эмигрантов из Германии, бывших узников Освенцима, в котором и отец и мать Нормана чудом, но выжили.

“Мои родители вспоминали о своих страданиях только между собой, они не кричали об этом публично, но разве это не лучше, чем нынешняя наглая спекуляция на страданиях евреев...”

В своей книге Финкельштейн не старается уличить жрецов Холокоста (как другие ревизионисты) в подтасовке цифр, фактов, свидетельств. Его, в отличие от участников Тегеранской конференции по Холокосту, не интересуют их доказательства того, что столь фантастическое количество жертв было невозможно уничтожить, не оставив следов – без гигантского бюрократически-документального обеспечения, без немецкого канцелярского “орднунга”, без стенограмм, приказов, без финансовых бумаг и штатных назначений в лагерных администрациях. Он не хочет распутывать противоречивый клубок свидетельств того, как уничтожались несчастные евреи – *“горячим паром”* или *“электрошоком”*, *“негашёной известью”* или *“выхлопными газами”*. Он не соблазняется лежащей на поверхности возможностью объяснить, что технически умертвить такое количество людей в лагерных камерах смерти за время, отпущенное на эти операции, по доказательствам ревизионистов, было невозможным делом.

Его интересует лишь одно – идеология, цели и механизм создания гигантской индустрии Холокоста, могучий феномен возведения “холокостной империи” всего лишь за тридцать–сорок лет второй половины XX века.

Печальный сарказм автора при виде тотального бизнес-мошенничества, которое движет индустрию Холокоста, – основное чувство, пронизывающее всю книгу от начала до конца.

“Пережившие Холокост утверждают, будто в Освенциме на них ставил опыты Иозеф Менгеле” (стр. 57).

“Он считает себя пережившим Холокост, потому что его бабушка погибла в Освенциме” (стр. 58).

“Бюро израильского премьер-министра Нетаньяху насчитывает почти миллион “переживших Холокост”, которые живы” (стр. 58).

“Ещё одно заклинание индустрии Холокоста гласит, что при требованиях возмещения ущерба <...> речь идёт о правде и справедливости, а не о деньгах. Швейцарцы острят по этому поводу, что речь идёт не о деньгах, а о том, чтобы получить больше денег” (стр. 71).

“Послевоенное правительство ФРГ изъявило готовность возместить ущерб лишь тем евреям, которые были в гетто или в лагерях. Поэтому многие евреи придумали себе соответствующее прошлое. — Если каждый, кто утверждает, что пережил лагерь, говорит правду, — восклицала часто моя мать, — то кого же тогда Гитлер уничтожил?” (стр. 57).

“Если верить индустрии Холокоста, сегодня живёт больше евреев, использовавшихся на принудительных работах, чем полвека назад” (стр. 89).

“Российские евреи, которые ранее бежали от нацистов или служили в Красной Армии, выдают себя теперь за переживших Холокост, поскольку, если бы они попали в плен, их ждали бы пытки и смерть” (стр. 110).

“Можно в ещё более широком смысле говорить о втором и даже о третьем поколении переживших Холокост, потому что они “может быть, страдают психическими заболеваниями” (стр. 111).

Вот так с печалью, а порой с презрением высмеивает честный историк мошенников от Холокоста... Масштабы “холокостной инфекции” в Америке, по свидетельству автора, потрясающи:

“Дни памяти Холокоста — события национального значения. Все 50 штатов проводят такие мероприятия часто в своих парламентах, Объединение организаций, занимающихся Холокостом, руководит в США более чем сотней посвящённых ему учреждений. Семь больших музеев Холокоста разбросаны по всей Америке, главный из них — в Вашингтоне” (стр. 531)¹.

Кстати, чтобы никакие другие народы и думать не смели поставить рядом с Холокостом свои геноциды, трагедии и катастрофы — об этом жрецы Холокоста заботятся неусыпно, ибо денег на компенсацию всем в мире не хватает: “По требованию Израиля американский Совет по Холокосту позаботился о том, чтобы армяне практически не упоминались в вашингтонском музее памяти Холокоста, и еврейские лоббисты в Конгрессе воспрепятствовали установлению дня памяти армянского геноцида” (стр. 52).

Когда в Америке возник вопрос о том, что в связи с организацией музея Холокоста надо бы вспомнить и о тотальном уничтожении гитлеровцами европейских цыган, то один из жрецов рабби Сеймур Зигель заявил: “Нужно, чтобы сначала был каким-то образом признан народ цыган, если такой вообще есть” (стр. 55).

Когда в одном из американских изданий появился памфлет, пародийно озаглавленный: “Майкл Джексон и ещё 60 миллионов человек погибли в ядерном Холокосте”, главный идеолог Холокоста Эли Визель впал в истерику: “Кто посмел назвать происшедшее вчера Холокостом? Был только один Холокост!” (стр. 37).

“Тезис об уникальности Холокоста отстаивается с помощью настоящего “интеллектуального терроризма”, — продолжает Финкельштейн. — Сочувствие сотням тысяч немцев, погибших при бомбардировке Дрездена, приравнивается к “отрицанию Холокоста”. Тема геноцида армян считается “табу” — армяне не должны конкурировать с евреями, евреи — единственные мученики в истории. Даже нынешний министр иностранных дел Израиля Ш. Перес подвергается порицанию за то, что однажды поставил на один уровень Холокост и Хиросиму: как можно сравнивать каких-то японцев с евреями!” (стр. 127).

Одной из причин “извечного антисемитизма” жрецы Холокоста считают зависть других народов к евреям. Норман Финкельштейн не отказывает себе в удовольствии поиздеваться над этой “логикой”:

“Признание геноцида цыган означало бы потерю исключительной еврейской лицензии на Холокост, что соответственно повлекло бы за собой потерю

¹ Из газеты “Форум”, № 233, апрель 2009 г.: “Бывший президент США Билл Клинтон откроет в штате Иллинойс новый музей Холокоста и еврейский образовательный центр”. Так что процесс продолжается.

еврейского “морального капитала”... Если нацисты преследовали цыган так же, как евреев, рушится догма, согласно которой Холокост был кульминацией тысячелетней ненависти неевреев к евреям. И если зависть неевреев к евреям привела к геноциду евреев, то, может быть, к геноциду цыган привела зависть к цыганам?” (стр. 56).

“С помощью сказок о Холокосте одну из самых сильных в военном смысле держав мира с чудовищными нарушениями прав человека, — пишет Финкельштейн, имея в виду Израиль, — представляют потенциальной жертвой, а самую преуспевающую в США этническую группу — несчастными беженцами”.

Финкельштейн, вся родня которого, кроме отца и матери, погибли от рук нацистов, вскрывает изнанку холокостной индустрии. Его мать, пережившая Варшавское гетто и Освенцим, получила мизерную компенсацию за все свои страдания — всего-навсего 3 500 долларов, в то время как “годовой оклад Саула Кагана, бывшего первого секретаря конференции по притязаниям — 105 000 долларов”, “Иглбергер получает как председатель международной Комиссии по страховым притязаниям времён Холокоста 300 тыс. долларов в год”, “то, что моя мать получает за шесть лет страданий при нацистах, Каган получает за 12 дней, Иглбергер за 4 дня, а Д’Амато за 10 часов” (стр. 62).

После Германии, как пишет Финкельштейн, жрецы Холокоста в 90-х годах XX века собрали дань со Швейцарии за то, что она не принимала во время войны еврейских беженцев; сейчас начинается давление на Польшу, чтобы вернуть “еврейскому народу” имущество довоенных евреев или его стоимость. Составлен план ограбления Австрии, а в проекте — предъявление претензий к Белоруссии, которая, по мнению вымогателей от Холокоста, “очень сильно отстаёт с возвратом довоенной еврейской собственности” (стр. 93). Вот из каких поборов образуются фантастические оклады верхову руководства “Конференции по притязаниям” и остальной жреческой прослойки. Бедные еврейские овцы! Это о вас сын освенцимских узников Норман Финкельштейн с отчаянием пишет в своей книге, что про Холокост в семье “больно было вспоминать, по общему убеждению, евреи шли на смерть, как бараны, и за это было стыдно”. А вот фраза, ставшая чуть ли не историческим афоризмом: “еврейская кровь — хорошая смазка для колёс еврейского национального государства”.

Это сказал один из высших жрецов современного синедриона и опубликовал антисионист, честный американский раввин Шенфильд в своей книге “Жертвы уничтожения обвиняют” (Нью-Йорк, 1970 г.).

Гремучая смесь из крови, слёз, молитв и пепла от несчастных “сухих ветвей”, отданных на уничтожение фарисеями в сговоре с пилатами нацизма, вошла в фундамент Израиля. Поистине “дело прочно, когда под ним струится кровь”. И сегодня эта смесь второй раз стала разменной монетой в руках нового поколения жрецов Холокоста. Вырастают офисы, плодятся, как грибы, фонды, “комитеты по имуществу” и “комиссии по притязаниям”, утверждаются бюджеты, сочиняются школьные программы и учебники по Холокосту для простодушных и мягкосердечных гоев. История пошла по второму кругу. Мало им было создания государства на земле ни сном, ни духом неповинных палестинцев, нет, ещё раз решили обобратить европейцев. Деньги не пахнут? Пахнут. Истлевшей кровью, фарисейством, провокациями мирового масштаба. И Норман Финкельштейн пишет в эпилоге своей книги: “Холокост ещё имеет шанс прослыть величайшим грабежом в истории человечества”. Это вы, овцы израильтяне, в убогой пермской квартирке Нины Горлановой тряслись, как осенние листья, в ожидании погромов в то время, когда опричники абрамовичей и ходорковских скупали на российских толкучках ваши жалкие ваучеры, изобретённые Найшулем и Чубайсом. А в это время бедная хозяйка пермской квартиры исходила ненавистью к советской власти за слухи о погромах и за страдания несчастных котят, которых пермские сталевары якобы швыряли в геенну огненную.

Но всё равно не получится из Холокоста новой религии. Все великие религии возникают и утверждаются на сознательном и потому благодатном самопожертвовании своих пророков и основателей. Христос знал, на что он идёт во имя спасения человечества, его апостолы и первые христиане-мученики знали, что их ждёт, идя на распятие, в темницы, на арену Колизея. Они были людьми истинной веры.

Да, “дело прочно, когда под ним струится кровь”, но — своя, а не чужая.

Пастырь, пастух Христос первым принёс в жертву себя, свою кровь и плоть, а не кровь своего стада, которую он отнюдь не рассматривал, как “смазку для христианства”.

А вейцманы, бен-гурионы и кастнеры приносили в жертву не свою, а овечью кровь бессловесной отары, не понимавшей, за что и куда её гонят.

Видимо, осознав это, нынешнее поколение жрецов внесло совсем недавно некоторые поправки в “священное писание” Холокоста:

“Если первоначально в формулировке “День катастрофы и героизма” под героизмом понималось участие евреев в воюющих армиях, в подполье и в партизанских отрядах, то сейчас под понятием “героизм” понимается и пассивное сопротивление евреев в гетто и само стремление выжить и остаться евреями”¹.

Такова новая идеология “овечьего героизма”.

* * *

Но почему всё-таки жрецы Холокоста так судорожно цепляются за “6 миллионов”?

Государству Израиль если что-то и грозит, то эти угрозы совершенно не связаны с тем, сколько евреев было убито в гитлеровской Европе.

Один миллион или одиннадцать – для сегодняшней реальной политической жизни не имеет решающего значения. Так же, как Америку уже невозможно наказать за то, что, пользуясь лживым предлогом о “наличии у Саддама Хуссейна оружия массового уничтожения”, она вторглась за десятки тысяч километров от своих границ в суверенную исламскую страну, уничтожила государство Ирак, что из-за этого вторжения и предшествующей блокады в Ираке погибли сотни тысяч детей, сотни тысяч граждан, что из-за вторжения америкосов в Ираке вспыхнула религиозная гражданская самоубийственная война... Шиильской и суннитской кровью залита земля древнейшей мировой цивилизации. Но всё равно мы никогда не увидим, ни в каком гаагском трибунале, где погиб Милошевич, где ждёт своей смерти патриот Сербии Радован Караджич, ни Буша, ни Рамсфелда, ни Кондолизу Райс. Они, эти военные преступники мирового масштаба, защищены до конца жизни всей военной, политической и экономической мощью Америки.

Так же, как защищены все израильские государственные террористы – Бегин, Шарон, Шамир... Мы своих военных офицеров – Буданова, Ульмана – за одну или несколько жизней якобы мирных жителей судим без колебаний, а Бегин в мирное время вырезал палестинскую деревню Деир-Ясин под корень. 254 трупа, включая стариков, женщин и детей, – и что же? Стал премьер-министром. Вот разница между чадами Христа и детьми Иеговы. “Без Деир-Ясина не было бы Израиля” – эта фраза стала чуть ли не политической поговоркой в устах отцов-основателей сионистского государства. Но пролитая кровь арабской беззащитной общины есть вечный первородный грех Израиля, от которого ему никогда не отмыться. Но не паникуйте. Если даже будет доказана когда-нибудь несостоятельность священного шестимиллионника – государство Израиль не рухнет. Уже не в цифрах дело. Цифра была нужна в 1947 году. А сейчас она – зачем?

(Продолжение следует)

¹ Из выступления посла государства Израиль Анны Азари на вечере памяти евреев – жертв нацизма и героев сопротивления. 15.4.2007 в ЦДЛ, г. Москва, бюллетень Холокост № 2, 2007 г.

ОЛЬГА СВЕРДЛОВА

А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО!

Никогда не забуду школьный урок по Евгению Онегину. Наша школа была женская, и мы не были отравлены историями любви, которыми наполнен эфир сегодня. Наш женский опыт был мизерным, а головы не были забиты чудовищными историями о том, кто кого и как обманул или предал в семейной жизни. Сегодня, наряду с откровенными разоблачениями тайн великих, мы узнали много интересного и о семейной жизни простых людей. Коварство, злобность, мстительность и мужчин, и женщин подаются как основные качества наших современников в их изнурительной погоне за “сладкой” жизнью.

Может, всё это было и раньше, но люди чего-то стыдились, не афишировали, не делились своими семейными дрязгами прилюдно, в студиях, на всевозможных ток-шоу, не создавали фильмы, где нравственности места нет.

Когда слушаешь эти откровения на ТВ, то думаешь, что подобные истории – плод воображения сценаристов, готовивших передачу, что в жизни совесть у людей не совсем потеряна. Прав Говорухин, перефразировавший классика: “Разруха в головах создателей”. Не может нормальная женщина так выставлять напоказ все свои грешные поступки и мысли. К примеру, знает, что муж ей изменяет со всеми её подругами, а она делает вид, что ничего не происходит, иначе она лишится материального благополучия. Или она любит и мужа, и любовника, и все вместе живут, и вот она беременна, неизвестно, правда, от кого, но ставит в известность об этом и того, и другого. И возмущается, когда ей предлагают избавиться от ребёнка.

Мы знаем примеры подобных “литературных” сожительства: Маяковский, Лиля Брик и её муж. Но там ведь была драма безысходности, которая кончилась трагически. А здесь – просто пикантная история, рассказанная режиссёром Петром Тодоровским в его фильме “Ретро втроём”, чтобы ещё раз удивить зрителя обыкновенной ситуацией в “необыкновенных обстоятельствах”.

Возвращаясь же к уроку литературы, который, кажется, был до нашей эры, я помню, как мы спорили до хрипоты, права ли была Татьяна, лишив себя счастья, отказав Онегину: “Но я другому отдана, и буду век ему верна”. Помню, нас возмущал отказ Татьяны от счастья быть рядом с любимым человеком. Ведь у неё нет детей, она не любит старика мужа, за которого вышла замуж, потому что её об этом “с слезами заклиний молила мать”. “Зачем же нужна такая жертва”, – говорили мы, обсуждая поступок Татьяны. Но учительница пыталась нас убедить, что “Татьяна – это русская женщина во всём её величии, её духовная мощь проявилась даже в отчаянии. Понимая, что погублена её жизнь, тем не менее, она не может переступить через судьбу другого человека, в ней есть нечто настоящее, твёрдое, на что опирается её душа”. А мы спорили: “В жизни никто никогда не откажется от своего счастья”.

“Она отказывает Онегину не потому, что труслива или не способна сделать решительный шаг, порвать со светом и стариком мужем, которого она не любит. Но ведь она дала слово генералу, этому честному человеку, её бого-

творящему и её уважающему. Пусть её молила мать, но ведь она сама дала согласие, она поклялась быть ему верной, честной женой.

Измена ему покроет его седую голову позором и стыдом и просто убьёт его. А разве человек может строить своё счастье на несчастье другого?” – говорила нам учительница, подтверждая свои мысли цитатой из знаменитой Пушкинской речи Достоевского. “Могла ли Татьяна с её высокой душой, с её сердцем, столько пострадавшим, решить иначе вопрос. Согласились ли Вы на такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание? Нет, чистая русская душа решает вот как: пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть моё несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, пусть, наконец, никто и никогда, и этот старик тоже, не узнает моей жертвы и не оценит её, но не хочу быть счастливой, загубив другого! Тут трагедия и совершается, и перейти предела нельзя, уже поздно, и вот Татьяна отсылает Онегина”.

Когда я рассказала об этом уроке моему сверстнику, который учился в мужской школе, он рассмеялся, потому что у них всё было в точности наоборот. Мальчишки восхищались Татьяной – её честностью, искренностью, преданностью, супружеской верностью, говорили, что именно такой должна быть женщина. Самое главное качество жены – это преданность, когда ей можно верить, когда она не предаст.

В этом разделении мнений по “половому” признаку, очевидно, есть свой смысл. Девочки жаждут любви, а мальчики-подростки, ещё не уверенные в себе, боятся измен и мечтают о честных жёнах.

Нас учили приподниматься над своими эгоистическими желаниями. Счастье не в одних наслаждениях любви, но и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если совершён нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок?

А. П. Чехов как-то задал подобный вопрос писательнице Л. А. Авиловой, женщине, с которой его связывали сложные отношения в течение десяти лет. “Справедливо ли, что ошибка в выборе мужа или жены должна испортить всю жизнь?”

И вот что она ответила: “Нельзя в этом вопросе руководствоваться одним чувством, а всегда надо знать наверное, стоит ли? Взять всю сумму неизбежного несчастья и сумму возможного счастья и решить: стоит ли?” Я была уверена, что он скажет: “Это значит не любить” – или возмутится расчётливостью, а он замолчал, нахмурился и потом спросил: “Но в таком случае когда же стоит?” – Когда нет жертв, которых очень-очень жалко, т. е. не пожалеть себя. Именно себя надо меньше жалеть, и тогда ясно будет, стоит ли”.

Свою любовь к Чехову она скрывала от всех. У неё было трое детей, и характер у мужа был тяжёлый, к тому же он ревновал её к литературе, к среде, чуждой ему, и к Чехову, который незримо вошёл в их мир и занял все мысли и чувства. По её словам, это чувство “так празднично осветило и так мучительно осложнило её жизнь”, и, тем не менее, она ради спокойствия семьи, её благополучия не позволила себе задержаться, хотя бы на один день, будучи проездом в Москве, когда Чехов просил её об этом, лёжа на больничной койке.

Эта была светлая любовь-дружба, какая бывает только в ранние юношеские годы (а ей было, когда она впервые встретилась с Чеховым, 27 лет, ему – 32) и о которой она рассказала в книге “Чехов в моей жизни”.

А вот как понимала счастье Марина Цветаева, о чём она пишет в биографическом эссе “Мой Пушкин”: “Да, да, девушки, признавайтесь – первые, и потом слушайте приповеди, и потом выходите замуж за почётных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них – и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний другого не осталось, как лечь на рельсы. Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь – и дородясь. Ибо Татьяна до меня повлияла ещё на мою мать. Когда мой дед, А. Д. Мейн, поставил её между любимым и собой, она выбрала отца, а не любимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо “для бедной Тани все были жребии равны” – а моя мать выбрала самый тяжёлый жребий – вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюблённого в покойницу, – на детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить – того, с которым потом никогда не искала встречи и которому, впервые и нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и т. д., ответила: “Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива...” (Боже, как в эту минуту она должна была

меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я – не его дочь!). Так, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны – не было бы меня. Ибо женщины так читают поэтов, а не иначе”.

... Написала об уроке по “Евгению Онегину”, о Татьяне Лариной, о том, как спорили, права ли была Татьяна, отказав Онегину, и вдруг натыкаюсь на книгу Юрия Дружников “Дуэль с пушкинистами”, и пытаюсь разгадать загадку: почему, когда начинаю писать о чём-то, тут же встречаю статью или книгу на эту тему? Что это? Совпадение или случайность? Идеи носятся в воздухе или судьба, случай тому виной?

Дружников как будто услышал наш спор, и он действительно мог его слышать, потому что вышел из нашего времени. Я знаю Юру Дружников ещё по тем временам, когда выходили его первые научно-популярные книжки, когда он был ещё совсем молод, и, конечно, думаю, он, как и все его сверстники мужского пола, восхищался Татьяной. Ведь каждый мужчина мечтает о женщине преданной, верной, чистой и честной. Но вот сегодня хочется быть оригинальным и современным, даже если тебе уже за семьдесят. Пожив на Западе, Дружников усвоил новую мораль. Теперь он разоблачает Татьяну и тех пушкинистов, кто создал миф о ней, как образце бескорыстной высокой русской души. Это спор и с Достоевским, который в уже упомянутой Пушкинской речи восхищается героиней Пушкина. Дружников решил сразиться с пушкинистами, которые, как он считает, идеализировали образ Татьяны, лицемерили под воздействием “советской пропаганды”, создавая образ Татьяны, далёкий и от правды жизни и от исторических реалий.

Разоблачая русскую героиню, к которой наш читатель испытывал восхищение, он претендует на новое, не тривиальное прочтение русской классики. Он предпринял жёсткую интеллектуальную атаку, направленную на дискредитацию основ национального духа, повторяя самым парадоксальным образом зады того, что уже давно было сказано. Это и атака на общечеловеческие идеалы, так как русская литература оказала могучее воздействие на мировое сознание.

Он издевательски пародирует слова Достоевского о том, что Татьяна твёрдо стоит на своей почве, а Онегин – духовно нищий, и следовательно, “Онегин – чужой, враг народа, и патриотка Татьяна любить его не должна”. Взращённый на нравственности Запада, где современные взгляды на любовь, семью и брак давно подверглись эрозии, он не приемлет счастья, где есть место долгу, верности и преданности.

Перед свадьбой Пушкин, как пишет Дружников, примеривает на себя разные варианты брачных отношений, соотнося их с личной ситуацией. “Опытный ловелас Пушкин, задумав жениться, меняет свои взгляды на брак. В результате побеждает назидательность. Для него теперь супружеская верность, прочность брака, незыблемость семейных уз представляется важнее любви. Поэтому он заставляет Татьяну ханжески отказать Онегину, ссылаясь на долг. Эта победа морали над чувством (“была бы верная супруга и добродетельная мать”). Он как бы наставляет невесту на путь истинный через Татьяну”.

У Пушкина, конечно, были свои слабости. Особенно это касается его сердечной жизни. Его любовный опыт весьма обширен. “Натали – моя 113 любовь”, – признавался он жене друга, княгине В. Ф. Вяземской. Как-то он даже набросал в альбоме Е. Н. Ушаковой длинный список женщин, которых любил в былые годы. Этот перечень в специальной Пушкинской литературе получил название Дон-Жуанского списка. Он мог увлекаться до безумия, но душу свою не отдал никому. По словам Н. М. Волконской, он любил по-настоящему только свою музу. Обвиняя Пушкина в ханжестве, фарисействе и расчётливости, Дружников судит его с точки зрения примитивного обывателя, которому не дано постичь масштаб личности гения и глубокую трагичность жизни поэта.

Ещё одному исследователю Пушкина, японскому пушкинисту К. Касаме, внесексуальные отношения Онегина и Татьяны вообще кажутся подозрительными. И уж совсем в духе времени он говорит, что Пушкин намекает тем самым на гомосексуальные наклонности Онегина, и Татьяна отказывает Онегину, потому что поняла это. В том же духе трактуются отношения Онегина и Ленского. Вот такие открытия делают современные “исследователи” творчества Пушкина, беря на вооружение либеральные ценности.

Читателю может показаться, что я увожу его в сторону от реальной жизни, что примеры эти больше литературные, чем жизненные, что долг и любовь на-

ходятся на разных полюсах, что благородство и порядочность – это анахронизмы, они уходят из нашей жизни. Сегодня умением находить несправедные возможности и схватить кусок пирога с чужого стола бравируют. Всё не ново под лунной: “Нет правды на земле”, но прежде этим хотя бы не похвально. Вот, к примеру, мы слушаем разглагольствования по радио Бориса Ефимовича Немцова, нашего главного “демократа”, или читаем его очередное интервью, из которого мы узнаем о последних изменениях в его семейной жизни.

Немцов доказывает своим поведением, что многожёнство спасёт Россию от демографического кризиса. Главное – суметь всех обеспечить, и у него это получается. Его пребывание в недрах нефтебанка позволяет содержать не только три его семьи. За счёт усилий нашего политического плебоя народонаселение России увеличится ещё на несколько “единиц”. Активность Немцова проявляется не только на политической арене, но и в заботе о своих детях, хотя было бы справедливо в его положении подумать и о чужих. Наш пострел везде поспел. Старшая дочь от первого брака уже рулит в СПС, сына от второго – провожает в школу, а кого-то, в третьей семье, ещё только пеленает. “Надо узаконить многожёнство”, – провозгласил лидер правых сил и несостоявшийся вождь нашей молодёжи.

Бери от жизни всё. Не считайся с другой судьбой и чужим несчастьем. Это твой шанс, и ты не должен его упустить.

Усилия средств массовой информации направлены на то, чтобы вдолбить в голову наших современников эту “новую” мораль.

Читаю очередное интервью с прямой Волочковой. Она рассказывает, как встретила свою любовь, мужчину её мечты. Сама, ещё недавно пережившая крах карьеры в Большом театре, финансовые трудности, предательство друзей, пытается построить своё счастье на несчастье других. Увела отца у троих детей, младшему из которых всего один годик. И никаких угрызений совести – лишь оправдание: будущий муж был в гражданском браке в той семье, и поэтому она имеет право отобрать отца у этих детей. Ну, а сам жених? Богат, образован, доктор юридических наук, президент инвестиционного фонда, и красив, и не стар. Типичный продукт нарастающей, как сейчас говорят, “эгоизации” общества. Не хочу быть пророком, но думаю, что на месте Волочковой через несколько лет окажется более молодая и, возможно, ещё более “талантливая”. Предела удовлетворению желаний, как известно, нет.

“О времена, о нравы!” – восклицаем мы сегодня по поводу и без повода. Вот что написала читательница Вероника Комарова из Уфы в редакцию, которая затеяла дискуссию об отношениях полов: “Мужчин мало, любят некого – вот в чём проблема. Одни пьют, другие колются, третьи уже заняты более расторопными и не обременёнными соображениями морали. Современная женщина вынуждена быть акулой, и именно таких, кстати, мужчины и любят – стерв, а не наивных дурочек, думающих, что завтра на их улицу явится прекрасный принц и разглядит за их неброской внешностью внутреннюю красоту. Это раньше любили просто так. Сегодня – за что-нибудь”.

А на столе у дочки своей подруги я увидела книжку, последний бестселлер Елены Ямпольской “Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна”. Подобными руководствами к действию переполнены прилавки книжных магазинов. Вот несколько названий из того меню, которое предлагают молодым читателям: “Как завоевать любого мужчину”, “Замуж за миллионера, или Брак высшего сорта”, состряпанный в тандеме Робски и Собчак, “Влюбить в себя олигарха”, “Между ног” и “Вся La vie” и т. д. и т. п. Не будем заниматься рекламой столько сомнительной книжной продукции, которая приносит немалые барыши издателям и вызывает зависть своими высокими рейтингами у пишущих на другие темы.

Но для того чтобы доказать читателю, что вечные ценности существуют, и опровергнуть мораль зарвавшихся либералов, я расскажу жизненную историю, которая показывает, что в жизни всегда есть место порядочности и благородству, когда совесть и доброта одерживают верх над желанием быть счастливым за счёт несчастья другого.

... Она всегда мечтала жить в тёплых краях. А по иронии судьбы пришлось жить с первым мужем, лётчиком-полярником, и на Крайнем Севере, и на Дальнем Востоке. От развода с мужем особой печали не испытывала. Так уж получилось – ни он её не любил, ни она его. Ей всё, что связано с ним, было неинтересно, так же, как и ему неинтересны были её мечты, желания, за теи. Правда, его “неинтересная” работа давала деньги, которые она тратила.

И вдруг она узнала, что у него есть любовница. Решили разъехаться спокойно и без всяких скандалов. Она и замуж вышла без особой любви, просто возраст уже был не юный, да и из дома хотелось уйти, где постоянные ссоры родителей и их сверхзабота о ней смертельно надоели.

Вот так она оказалась одна в подмосковном городке Королёве, потерявшем былой престиж и космическую славу с распадом Союза и превратившемся в захолустный пригород столицы.

Жила теперь она одна в двухкомнатной квартире, доставшейся ей от бабушки по наследству, с маленькими комнатками, заставленными чужими старыми шкафами и диванами. Солнце почти никогда не заглядывало к ней в окно, и жизнь казалось серой и беспросветной.

Утро наполнялось тоской по чему-то несвершившемуся, жизнь представлялась безрадостной, как бы поезд прошёл мимо, и ничего впереди радостного и счастливого ей не светило. Работала бухгалтером в какой-то заштатной фирме, на серое существование хватало, а позволить себе съездить, например, в Турцию, погреться зимой на солнышке, она не могла. И тут случайно попала в руки газета, где она прочитала, что продаётся дом под Анапой за деньги, которые не показались ей баснословными. И сразу в один момент пришло решение – продать квартиру и купить домик под Анапой, где море, фрукты и солнце круглый год. Короче, эпопея продажи, покупки и переселения длилась, на её счастье, недолго, всё складывалось как-то удачно, никто не обманул и не подвёл, и вот она уже в своём доме, в краю, где триста солнечных дней в году. А так как деньги от проданной квартиры ещё оставались, наняла бригаду строителей, чтобы к домику пристроить веранду и кухню и, конечно, баньку, без которой наш человек просто не мыслит своей жизни.

В бригаде было трое молодых ребят и один – средних лет мужчина. Армянин, высокий, худощавый, с интеллигентным лицом, совсем непохожий на профессионального работягу, – никогда не пил, не ругался матом, а главное – умел делать буквально всё, руки золотые. Ребята его уважали и даже побаивались, так как он ненавидел халтуру и прямо об этом говорил, если замечал, что те что-то сделали тяп-ляп.

Все четверо оказывали знаки внимания хозяйке, которая и кормила и попой поила их. Но Артур, так звали мужчину, делал это удивительно трогательно – как-то принёс куст розы и посадил его около окна; узнав, что она собирается устраиваться на работу бухгалтером, положил ей на стол газету, где были напечатаны объявления о вакансиях. Услышав, что она любит животных и у неё когда-то была собака, подарил ей на день рождения маленького спаниеля и тут же соорудил ему аккуратенький домик. Спаниель был чудесный – светло-шоколадный, ушастый и к тому же умный, не избалованный прежними хозяевами.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. А здесь всё построили в срок, бригада ушла, а Артур остался. Короче говоря, стали они жить вместе. Теперь утром она просыпалась в предчувствии счастья. Подходила к окну и смотрела, как плывут облака по бездонному небу и заливают всю комнату раннее утреннее солнце. Такое приятное, тёплое, не палящее, как днём, и черешня, усыпанная красными и розовыми ягодами, тянется ввысь, вся в перламутровом мареве, нарядная. Какое-то чудо-дерево, нарисованное ребёнком, украшенное то ли бусами, то ли разноцветными лампочками.

И рядом – любимый человек. Лицо его словно вырезано из камня, черты острые, крупные, как будто резец скульптора не пытался ничего закруглить или смягчить. Но теперь оно не казалось суровым и жёстким. С ним было легко. И всё это наполняло её такой несказанной радостью, что хотелось петь и постоянно улыбаться от счастья, так неожиданно-негаданно свалившегося на неё.

Он рассказал ей о своей жизни, о трагедиях, которые выпали на его долю: родители погибли во время землетрясения, он вытаскивал их мёртвых из-под завалов. Тётка, сестра матери, которая жила в Баку, позвала его жить к себе. Там он пережил ещё одну ужасную трагедию – резню армян, чудом спасся. Потом были годы безденежья. Он работал учителем в школе, получал гроши, и ему пришлось уехать от семьи на заработки и заниматься не своим делом. Учитель зарабатывает гроши, а детям так много надо! Вот он уже три года, как вкалывает строителем в Анапе, а в прошлом году получил письмо от сестры, которая сообщила ему, что его жена живёт с его другом. Такого предательства он не ожидал. Ведь учился с ней в одной школе, сидел за одной партией, потом в институте.

Он написал ей письмо, в которое вложил заявление о разводе, но написал, что помогать детям будет всегда, — дети ведь ни в чём не виноваты. А недавно узнал, что жена тяжело заболела, прошла сеанс химиотерапии, несколько раз лежала в больнице. Потом ему передали видеокассету от неё, она очень изменилась внешне, измождённое худое лицо, стала похожа на мальчика с короткой стрижкой. Просила прощения, говорила, что это была минутная слабость от одиночества и что только его она и любила всю жизнь, что он был замечательным отцом и мужем и что Бог её уже покарал. Но он её простить не может, такое не прощается. Да и чувств никаких не осталось. Перегорели чувства в горячей топке жизненных перипетий. Не укрепила их прожитая вместе жизнь, а разметала, развеяла по ветру. Сердце иссохло, окаменело. Но, закончил он, и я встретил тебя, и ты меня возродила к жизни. Я вновь поверил, что могу быть любимым и счастливым.

Прошло время и она узнала, что беременна. Артур был ещё на работе, в саду работать было жарко, и она решила постирать его вещи. Вытащила рабочие брюки, куртку и прежде чем положить в машину — вывернула карманы. На пол выпал свёрнутый аккуратно тетрадный лист — подумала, какие-то расчёты, развернула и прочитала.

“Папочка, возвращайся домой, нам без тебя так плохо, ты нам всем так нужен, мы любим тебя и скучаем, мама уже два раза в больнице лежала, а Артём в школу не ходит, по-моему, что-то нюхает. А мне без тебя так плохо, никто рядом со мной не сидит, когда я уроки делаю допоздна. Не нужны нам никакие деньги, лишь бы ты был рядом”.

Она металась по дому и вновь и вновь перечитывала это письмо и рассматривала фотографии, стоявшие на комодке, смугленькой девочки с большими печальными глазами и мальчика, как две капли воды похожего на Артура.

“Я не имею права, это не моё, на чужом несчастье нельзя строить своё счастье. Там дети, больная жена, он должен быть рядом с ними, им сейчас так трудно, — говорила она себе и тут же: — Нет, нет, не отдам я своего счастья, у меня тоже будет ребёнок”.

На третий день она объявила Артуру, что позвонил муж, что он демобилизовался и не мыслит жизни без неё, иначе сопьётся, и что он едет к ней.

Она чувствовала, что только такая ложь может заставить Артура уйти от неё и вернуться к детям.

“Я не могла ему отказать, он приезжает завтра”, — объявила она. Артур выслушал молча, посмотрел на неё так пристально, как будто хотел заглянуть в самую душу. Потом встал, пошёл в кладовку, достал чемодан, положил в него свои вещи и ушёл.

Минув год, и она решилась позвонить ему, сообщить, что родилась девочка, беленькая, как он мечтал. И если он захочет когда-нибудь с ней познакомиться, пусть приезжает. Ведь ребёнок должен знать, кто его родной отец.

Набрала номер, втайне надеясь, что он не забыл её. Трубку взяла женщина, и когда она попросила позвать к телефону Артура, женщина зарыдала и ответила, что Артура нет в живых. Он вместе с Артёмом, сыном, погиб в авиакатастрофе. Летел на экскурсию вместе с учениками, и самолёт разбился. . .

Обожгла мысль: ведь если бы он не уехал, то остался бы жив, и нельзя винить судьбу, она своими руками разрушила своё счастье.

Преподобный Симеон Новый Богослов предупреждал: “Смотри, не разори своего дома, желая построить дом ближнего”. Может быть, она поторопилась с постройкой чужого дома.

Но есть и другая мораль: ради любви терпят, ради любви уступают, ради любви смиряются. Высочайшее искусство — жертвенная любовь. Она принесла жертву на алтарь вечной жизни.

Она поступила вопреки житейской логике, здравому смыслу, который говорит нам, что любить себя и для себя урвать счастье — значит следовать жизненному инстинкту. Но возвышенные проявления человеческого духа, благородство души, возможно, — это лучшие мгновения нашей жизни. В эти минуты мы становимся настоящими людьми. И хотя сама судьба восстала против её поступка, но достойная жизнь лёгкой не бывает.

Хочется закончить эту статью словами Уильяма Фолкнера, замечательного писателя XX века, лауреата Нобелевской премии: “Человек бессмертен не потому, что он один среди всех живых существ имеет неистощимый голос, но потому что своим характером, душою он способен на сострадание, жертвы и непреклонность”.

ГРИГОРИЙ ЦАРЬКОВ

СВОЯ ВЕРШИНА

(экспедиционный дневник)

Вместо предисловия

Неожиданно позвонил Григорий Петрович Царьков:

— Не могли бы вы прочесть мой экспедиционный дневник о восхождении на Мак-Кинли? Как вы понимаете, мной при написании руководил совсем не писательский зуд. Сейчас столько отчаявшихся людей, в том числе поверженных этим пресловутым мировым кризисом... Люди опустили руки, некоторые даже сводят счеты с жизнью, и я хотел показать людям, что нет безвыходных ситуаций. А к вам я обращаюсь и как к писателю, и как к человеку, знающему горы.

Григорию Петровичу я не мог отказать. Более того, признаюсь, я испытал даже нечто вроде гордости, что он прислал свою рукопись именно мне.

Мне придется объяснить читателю, кто такой Григорий Петрович Царьков и что такое Мак-Кинли.

Пожалуй, начну со второго. Мак-Кинли — высочайшая вершина Северной Америки и самая северная горная вершина на планете высотой выше шести тысяч метров над уровнем Мирового океана. Но это ещё не всё. Мак-Кинли — единственный шеститысячник, находящийся севернее Полярного круга. То есть помимо проблем сузубо технических при восхождении на Мак-Кинли возникают проблемы, мягко скажем, климатического порядка. Сверхнизкие температуры (минус 40 градусов и ниже) с пониженной влажностью делают её климат одним из самых неприемлемых на Земле для человека. Самая большая опасность на Мак-Кинли — обморожение и переохлаждение (гипотермия). Сопrotивление холоду понижается из-за высотного кислородного голодания (гипоксии) и обезвоживания.

Но и это ещё не всё. Высота собственно альпинистского восхождения порой не связана с абсолютной высотой горной вершины над уровнем моря. Например, альпинистское восхождение на Эльбрус начинается с плато, которое находится на высоте в 3800 метров, на пик Ленина — с высоты 4500, на Эверест — с 5200 метров. Восхождение же на Мак-Кинли начинается с высоты в 2200 метров, то есть истинная высота восхождения составляет (6194 минус 2200) 3994 метра, что сравнимо только с высотой восхождения на Эверест. Причём до начала собственно восхождения на Мак-Кинли нужно пройти ещё 20—25 километров по располосованным опасными и часто скрытыми трещинами ледникам.

Я сам не восходил на Мак-Кинли, но в какой-то степени могу представить сложность восхождения на эту вершину. Потому как восходил на вто-

рую по высоте полярную вершину — знаменитую Ключевскую сопку на Камчатке. Её высота 4850 метров, но восхождение на неё начинается почти с уровня океана — с высоты всего в 200 метров, к тому же уже на этой высоте на Камчатке, как и на Аляске, где находится гора Мак-Кинли, двадцатипроцентная нехватка кислорода. Из 14 человек, начинавших восхождение в августе, когда внизу, в долине реки Камчатки, стояла двадцатипятиградусная жара, до кипящего кратера, на ребре которого стоял двадцатиградусный мороз со сбивающим с ног и насквозь пронизывающим ветром, дошли только четверо.

Потому я имею некоторое представление о сложности покорения Мак-Кинли.

А теперь пришла пора рассказать о Григории Петровиче Царькове. Григорий Петрович родился в 1959 году в Башкирии, в Зауралье, в Зианчуринском районе. После окончания средней школы получил специальность слесаря-электромонтажника в Самаре, тогда Куйбышеве. В 1977—79 годах служил в Советской Армии. После окончания службы уехал в Хабаровск, работал на кабельном заводе опрессовщиком, где его и настигла беда. В январе 1986 года получил тяжёлую травму позвоночника, отнялись ноги, врачи оказались бессильны помочь, выписался из больницы инвалидом-колясочником I группы.

В июне 1986 года вернулся на родину, в Башкирию, обосновался в городе Кумертау. Но не только не пал духом, как многие в подобном положении, но стал примером для других, в том числе и не для инвалидов. Уже через несколько лет он — чемпион Башкирии в различных инвалидных видах спорта, чемпион России в гонках на спортивных инвалидных колясках. В 1995 году принимает участие в пробеге на спортивных инвалидных колясках по маршруту Уфа — Кумертау, в 2003 году — по северо-востоку Башкирии. Но и этого ему было мало: в 2001 году он без каких-либо сомнений принимает предложение Матвея Шпаро — участвовать в отборочных тренировочных сборах на горе Эльбрус с прицелом на восхождение на одну из высочайших вершин мира. И в 2002-м он совершает восхождение в составе команды на высочайшую вершину Северной Америки (Аляска, США) — гору Мак-Кинли высотой в 6194 метра.

Если вместе со мной на Ключевскую сопку поднимались физически здоровые молодые люди, более того, спортсмены, в том числе мастера спорта, то на Мак-Кинли совершили восхождение, пусть не совсем самостоятельно, пусть с помощью других, два инвалида-колясочника I группы с атрофированными ногами.

Это, безусловно, подвиг!

Это подвиг вдвойне, потому что Григорий Царьков и Игорь Ушаков из Курска совершили это восхождение не только для собственного самоутверждения, но и — показать другим, что в жизни нет безвыходных ситуаций. Григорий Царьков так и заканчивает свой экспедиционный дневник-размышление: “Я пишу эти записки для тех, кто хочет чего-то достичь, а также для тех, кто разочаровался в себе и разуверился в своих силах. Всем, кому сейчас трудно, кого сломило горе, недуг — всем вам хочу сказать, что выход есть! Для этого нужно примириться с Богом. Можно многого достичь и многое преодолеть под благословением Божиим! И пусть у каждого будет своя вершина, которую он обязательно преодолет, и будет цель, которую он сумеет достичь. Я верю...”

Люди, решившиеся идти к вершине Мак-Кинли в одной связке с инвалидами-колясочниками, а для Григория Царькова и Игоря Ушакова это была не просто горная вершина, а одна из главных жизненных вершин, может быть, даже не представляли всей сложности будущего восхождения, потому как уже после экспедиции на Мак-Кинли, после невероятного напряжения, уже дома остановилось сердце у Анатолия Соболева — врача экспедиции, специалиста по медико-социальной реабилитации инвалидов, опытного арктического путешественника, участника нескольких высотных горных экспедиций. А спустя какое-то время без вести пропал в горах Александр Губаев — мастер спорта по альпинизму, “снежный барс”, старший тренер сборной Киргизии по альпинизму, серебряный призер чемпионата СНГ 2001 года...

Скажем им спасибо, живым и мёртвым, выполнившим свой долг до конца.

Михаил ЧВАНОВ

Итак, команда: Матвей Шпаро – 1975 года рождения, москвич, руководитель экспедиции. В 1997 году возглавил экспедицию московских инвалидов на гору Килиманджаро (Африка). В 1998 году вместе с отцом, полярным путешественником Д. И. Шпаро, пересек на лыжах Берингов пролив. За этот переход имя Матвея Шпаро занесено в Книгу рекордов Гиннеса. В 1999 г. совершил восхождение на самую высокую вершину Северной Америки – гору Мак-Кинли. В 2000 г. руководил лыжным переходом через ледяной купол Гренландии.

Григорий Царьков – 1959 года рождения, инвалид I группы, автор этих заметок.

Игорь Ушаков – 1979 года рождения, уроженец Курска, инвалид I группы (в 1996 получил травму поясничного отдела позвоночника).

Борис Смолин – родился в 1961 году в Обнинске Калужской области. Опытный путешественник: в 1982–1994 годы участвовал в пеших и горных походах, зимних альпинистских восхождениях. В 1987-м в составе команды пересек с севера на юг пустыню Каракумы. В 2000-м участвовал в лыжном переходе через ледяной купол Гренландии.

Анатолий Соболев – москвич, 1949 года рождения, врач экспедиции и опытный арктический путешественник. Он участвовал в нескольких высотных экспедициях и как профессиональный врач, специалист по медико-социальной реабилитации инвалидов.

Олег Банарь – 1956 года рождения, уроженец Харькова (Украина), руководитель альпинистской части экспедиции. Кандидат в мастера спорта по альпинизму и спортивному ориентированию, участвовал в восхождениях на пик Хан-Тенгри, пик Гаршербрум-2, пик Ленина.

Виктор Афанасьев – 1979 года рождения, родом из Майкопа, до августа 2001 года спасатель МЧС. Виктор – альпинист 1 разряда, кандидат в мастера спорта по скалолазанию, совершил 10 восхождений на Эльбрус и восхождение на пик Ленина.

Максим Богатырев – земляк В. Афанасьева, 1975 года рождения, до августа 2001 года работал спасателем МЧС Республики Адыгея, руководил походами различных категорий сложности по горному, водному, лыжному туризму, совершил восхождение на пик Ленина.

Степан Гвоздев – 1967 года рождения родом из Красноярска. Альпинист 1 разряда, опытный турист, участник многодневных зимних лыжных походов по Алтаю, Кузнецкому Алатау, Туве.

Александр Губаев – 1964 года рождения, из Киргизии, уроженец Бишкека, “снежный барс”, мастер спорта по альпинизму, старший тренер сборной Киргизии по альпинизму, серебряный призер чемпионата СНГ 2001 года по альпинизму.

Александр Агафонов – 1958 года рождения, родом также из Бишкека. Мастер спорта по альпинизму, многократный чемпион Советского Союза, чемпион Вооруженных Сил СССР по альпинизму, совершил 8 восхождений на пик Ленина, участвовал в восхождениях на пик Победы, пик Коммунизма, пик Хан-Тенгри.

1. Гостеприимная Аляска

6 мая 2002 года. Соединённые Штаты Америки, город Сизтл. Прилетели уставшие: из-за перемены часовых поясов сутки у нас увеличились с 24 часов до 36. Посетили клуб деловых людей. Он расположен на 75-м этаже небоскреба, сооруженного из стекла и бетона. Страшно было приближаться к стеклянной, на вид такой хрупкой, стене, но любопытство оказалось сильнее. Летели на “Боинге-777”. Бизнес-класс был свободен, и Матвей договорился, чтобы нас с Игорем разместили там. Сделать это было не очень сложно. Во-первых, свободны были почти все места, во-вторых, Аэрофлот – наш спонсор. Мы выиграли в комфорте, но проиграли в обслуживании: нас просто не покормили. Хорошо, что Степан пришел проведать, узнать, не нужно ли нам чего. Он сходил куда-то, и нам принесли поесть, предложили напитки – в общем, стало как у людей.

Из Сизтла – прямым рейсом в Анкоридж. Встретили хорошо. Специально за нами была прислана машина с подъёмником для инвалидного кресла-коляски. Матвей хотел отправить нас на обычном легковом автомобиле, но

Патрик, водитель, очень удивился: можно ли ехать инвалидам в неподготовленной машине?

7 мая. Ночевали на горнолыжной базе для инвалидов. Сделали продуктовые запасы для экспедиции, немного успели расфасовать по рационам. Выяснилось, что в день на одного человека придёт из хлебобулочных изделий по полторы галеты и 10–12 крекеров. Для нас, русских хлебоедов, это очень мало.

8 мая. Приехали ночью в Талкитну. Небольшая деревенька с посадочной полосой для легкомоторных самолетов. Ночевали в палатке под навесом, было тепло, но тесно.

9 мая. Сегодняшнее утро началось с песни “День Победы”. Кто первый запел, не помню, но допели уже вчетвером на весь посёлок. Получилось не очень правильно, но от души.

В течение дня фасовали продукты. Второй день идёт дождь. В Анкоридже жили в деревянном двухэтажном доме. Это горнолыжная база для инвалидов. Она расположена в жилом секторе, столовая рядом. Всё приспособлено. Запомнилось и отношение совершенно незнакомых людей. На удивление приветливо с нами здоровались, даже маленькие дети посылали приветствие, сжимая и разжимая ладошку. Во время фасовки продуктов зашел разговор о предстоящем подъеме на Мак-Кинли. Кто-то предложил сходить на гору и обратно за один день. Шутку не сразу поняли, ведь на Аляске сейчас полярный день, и впереди еще не один месяц, пока он закончится.

10 мая. Артур разбудил всех в семь утра. Идёт небольшой снег, но и такое непогожее утро не смогло омрачить этот день, день моего рождения. Все меня поздравили, было приятно: все-таки впервые отмечаю его в Америке. Постепенно погода наладилась, стало тепло и солнечно. Зарегистрировались у рейнджеров (спасателей). Меня почему-то записали лидером, т. е. начальником команды. Выглядит это так: экспедиция Матвея Шпаро, лидер Григорий Царьков! Я принял это как еще один подарок ко дню рождения.

Весна на Аляске только начинается. За недолгое пребывание заметил, что в здешнем обиходе много русских названий. Есть горный хребет Николай. Слова “вилка”, “ложка” у эскимосов означают то же самое, что и у нас. Очень популярны изделия из дерева, резные рекламные щиты, фигуры зверей и животных, срубы жилых домов и административных зданий из калиброванного дерева, вместо пакли современный материал – силикон. Возле здания почты стоит телефон-автомат. Отсюда можно позвонить в любой уголок Земли, где есть телефонная связь. Звонок в Россию стоит 25 центов, независимо от того, куда будешь звонить: на Камчатку (она рядом с Аляской) или к нам в Башкортостан. Мне из Америки дешевле позвонить брату в Хабаровск, чем из дома.

Да, деревни в России и на Аляске очень разнятся по уровню жизненного комфорта. В наших деревнях в редчайшем случае можно встретить таксофоны.

11 мая. Спали в помещении аэропорта, было тепло, даже жарко. Спал без спальника. Ночью прилетели журналисты НТВ и академик Максимов. Ездили с Игорем на смотровую площадку, посмотреть Мак-Кинли возил нас Артур. Он живет в Анкоридже: переехал из России четыре года назад. Прежде жил в Рязани, был женат, но “заболел горой” (разговоры у него только о Мак-Кинли). Сам он был там несколько раз, поднимался разными маршрутами.

Гора выглядит грациозно и недостижимо. Эта величественная картина несколько поколебала мою уверенность в успехе экспедиции. Ведь не зря у американцев она не просто гора, а символ красоты, величия, могущества. Очень популярны снимки горы при ярком освещении солнца. Она в это время золотистого цвета и притягивает взгляд как огромный золотой самородок.

2. Подготовка к восхождению

В 19.00 местного времени улетаем на ледник Кахилтна, что расположен на высоте 2200 метров над уровнем моря и примерно в 15–20 километрах от Мак-Кинли. Вещи упаковали и отнесли к самолету.

12 мая. Прошла первая ночь на снегу. Высота 2200. Она ощущается небольшой болью в голове. Вчера ужин был какой-то сумбурный, неорганизованный. Сидели в “зиме”: кто где и кто как. Полярный день демонстрирует свои положительные черты: в 12 ночи светло так, что можно без напряжения читать.

В соседнем ущелье сошла лавина. Перед её сходом послышался сухой треск или хлопок, а затем уже шум быстро несущегося снега.

Сегодня первый рабочий день. На ледник летели на крошечном самолете. Довольно неприятная штука, когда тебя трясет, качает, все вокруг скрипит – одним словом, страшно. Сегодня академик Максимов предупредил, что мне нежелательно подниматься на вершину, т. к. возможно сильное кислородное голодание. Но если в процессе подъёма всё будет хорошо на 4200 и 5200, то можно будет идти и на вершину.

Расскажу немного о технике подъёма на специальных санях. Это приспособление похоже на инвалидное кресло-коляску, только вместо колёс – лыжи. Передо мной прикреплен рычаг высотой около 90 см, на нём закреплен жумар. Устроен он несложно. В снег забивают колья и прикрепляют блок, через который пропускают верёвку. Один конец верёвки привязывают к саням, а другой пропускают через жумар. Помощник позади меня держит верёвку, которая проходит через жумар, я отодвигаю рычаг от себя. Затем начинаю тянуть его на себя, жумар фиксируется, и я сам себя поднимаю вверх.

13 мая. Сегодня у Игоря день рождения, поздравил его, как только встали. Он как-то неловко улыбался. Смущается, наверное. Молодой парень, всего 22 года. Весёлый, отзывчивый, немного наивный, общительный. Держится молодцом, не всё у него получается, но, главное, есть стремление чего-то достичь, не лежать на диване и мечтать, а действовать, воплощать свои мечты.

Он в 17 лет стал инвалидом: разбился на мотоцикле. Школу заканчивал уже в инвалидной коляске. Отношения у нас с ним дружеские, бывает, правда, что по праву старшего по возрасту наставляю его в житейских вопросах. Он иногда соглашается, иногда нет, но жизнь показывает, кто прав.

Были мы с ним в Москве, жили в Царицыно. Помощников в этот день у нас не было, а ему захотелось съездить в центр на метро. Отговаривал его, как мог, что никто не захочет нас вытаскивать из подземки. Я за свои 15 инвалидных лет устал кого-то просить. Легче отказаться от поездки и посидеть дома. Но он не согласился и уехал. Через несколько часов приехал какой-то обескураженный, радости от поездки не было и в помине. Оказалось, что в центре ему быстро помогли, а когда приехал обратно, обращался ко многим с просьбой о помощи. Кто-то отворачивался в сторону, кто-то прямо отказывал, и он около часа просидел внизу, не имея возможности выбраться наверх. Видя тщетность своих попыток выбраться просто так, решил попробовать заплатить за добро. Предложил продавцу цветов поднять его за 50 рублей. Это было лицо "кавказской национальности". К его удивлению, кавказец сделал это бесплатно. После такого урока он перестал ездить на метро один.

... Мы уже третий день на леднике, и каждый день здесь солнечно и безветрено. На тренировке занимались на очень крутом склоне, было трудно, а порой невозможно самостоятельно подниматься. К вечеру погода стала портиться, появились перистые облака. На завтра намечается заброска продуктов и снаряжения по тропе восхождения. Жить в лагере уже устал, слишком долго длится подготовка, хочется быстрее включиться в настоящую работу. Максимов после очередного обследования дал добро на высокогорье. Сегодня работали на спонсоров, пришивали логотипы на палатки. Было время оглядеться по сторонам. Перед глазами – невообразимо красочная картина: небольшое облако цепляется за вершину горы и при этом светится, как северное сияние, такая круглая разноцветная летающая тарелка. Интересно наблюдать, вокруг много необычного, нового.

3. Мак-Кинли манит...

14 мая. Заброску снаряжения и продуктов отложили ещё на один день. После обеда съёмки для телевидения. Завтра мы с Борисом дежурные, подъем в 5-00, чтобы в 7-00 парни смогли пойти на заброску. Сегодня был первый тренировочный поход на лыжах далеко за лагерь. Мы с Игорем шли на палках, до этого тренировки были на жумаре. Шли траверсом, было очень трудно, сделаешь толчок и съезжаешь вниз с тропы, долго выбираешься, ещё толчок – и опять нужно выбираться на тропу. Иногда без посторонней помощи было невозможно подняться. После долгих мучений, глядя на то, что до

наших проблем никому нет дела, я в резкой форме обратился к Матвею. Он парировал: “Если трудно, нужно вернуться в лагерь, ох уж мне эти инвалиды”. Мне стало неприятно. Хотя я и понимаю, что не всё у него ладится как у начальника экспедиции, но почему-то мы с Игорем оказались крайними. Нам многое пришлось пережить, прежде чем принять участие в этом походе.

... Наше восхождение начнется с того, что мы спустимся на 200 метров по крутому склону, и только потом начнется постоянный подъем. До какой высоты дойдем, не знаю, но хочется до последней – 6194 метра.

16 мая. Подъем в 6-00. Переход до следующего лагеря прошёл хорошо. Игорь с места рванул во всю прыть и пришёл раньше меня часа на два. Я рад, что он горит желанием идти вперёд. У меня был пакетик со смазкой для лыж, чем я и воспользовался примерно посередине маршрута. Пересел на снег, перевернул свой снаряд, смазал лыжи, и двигаться стало легче. Во время этой процедуры меня обогнали двое в связке на расстоянии 7–10 метров друг от друга в снегоступах. Когда продолжил движение, они отошли от меня уже метров на 50–70, у последнего упал коврик. Видно, парень плохо прикрепил его к рюкзаку. Не замечая потери, они шли дальше. Я стал свистеть, кричать, но те двое шли, не оборачиваясь. Вдруг идущий первым остановился, за ним второй, и они оба обернулись назад. Я помахал им рукой и показал на коврик, лежащий на снегу. Второй повернулся спиной к товарищу и медленно снял свой рюкзак, отцепился от страховки и пошел обратно. Дойдя до коврика поднял его, помахал мне рукой и догнал товарища. Вот так, потеряв вещи, и замерзают, наверное, в горах. Шёл этот промежуток пути восемь часов. Радует то, что дошел без посторонней помощи, хотя и предлагали перед самым лагерем, но я отказался.

... Очень скучаю по Тане и Саше. Познакомились мы с Таней на республиканской спартакиаде инвалидов с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата). У нас, в Башкортостане, подобные соревнования проводятся с 1989 года. В программе стрельба, плавание, шахматы, дартс, лёгкая атлетика и тяжёлая, армспорт. Вот на армспорте мы и познакомились. По регламенту соревнований в составе команды должны быть четверо мужчин и одна женщина. Инструктор пригласила Татьяну в команду ради “галочки”, а на деле все оказалось куда серьезней. Татьяна возьми да и выиграй! Мне пришлось выступить в роли “играющего тренера”: и выступать в команде, и подсказывать девушке, впервые участвующей в этом виде. Как подающую надежды спортсменку, Таню пригласили для выступления в лёгкой атлетике. А так как она ходит с палочкой, сочли, что она может выступать на коляске. Меня прикрепили к ней тренером. Она выиграла спартакиаду и была приглашена в сборную Башкортостана для выступления на чемпионате России. И уже на сборах по подготовке к соревнованиям мы стали тесно общаться, многое узнавали друг о друге, гуляли на природе, нам было интересно вместе. Для нашего спортивного клуба Таня была ценной находкой. Она неоднократно выигрывала на российских соревнованиях, завоевала первой из женщин нашего клуба звание “Чемпион России”. А для меня она стала той женщиной, с которой я связал свою судьбу. В далеком 1996 году мы зарегистрировались. Это было в апреле, и я прекрасно помню то время.

В апреле же я заочно познакомился с Дмитрием Игоревичем Шпаро.

Он позвонил к нам домой и ненавязчиво, но очень подробно стал расспрашивать меня. Оказалось, ему нужен был инвалид для участия в экологическом пробеге по маршруту Семипалатинск – Челябинск – Чернобыль, и Дмитрий Игоревич предложил мне принять в нем участие. Если бы вы знали, как я мечтал сделать что-нибудь серьезное в своей жизни, будучи уже инвалидом. А здесь такое заманчивое предложение! Но было одно “НО”, которое встало между мною и пробегом. Мы с Таней назначили бракосочетание на 19 апреля, и именно в этот день я должен быть в Питере для заказа коляски и урегулирования остальных процедур, связанных с пробегом. Я рвался на пробег, предложил Тане перенести бракосочетание, но она была тверда в решении: или сейчас, или никогда. Победила любовь, желание заботиться не только о себе, но и о других.

Я отказался от пробега, решив, что создать семью – тоже достаточно серьезное дело. Очень благодарен Тане, что сейчас у меня есть семья: жена, сын Саша и серьезное дело – экспедиция на Мак-Кинли. Дело я сейчас делаю, а вот по ним скучаю, даже восходя на эту вершину...

4. “Русские идут”

20 мая. Подъём в 6-00, завтрак, и сразу же выходим. Прошли примерно 3 км в длину и 400 метров в высоту. Шли пять часов, нормально двигаться мешал траверс (наклон влево или вправо).

Иностранцы сегодня не обгоняли. На базовом лагере 4200 много разговоров о нашей группе. Если бы я писал заметку в газету о маршруте, который мы проходим, то заголовок был бы таким: “Русские идут”. Альпинисты-иностранцы, глядя на нас, наверное, заключают пари, дойдут ли эти инвалиды до лагеря 4200 или нет. Борис сегодня часто падал, наверное, сказывается его болезнь. Иногда он просто повисал на веревке, по которой я поднимаюсь. Она проходит у меня над левым плечом, теперь плечо болит, ведь он весит около 90 кг. Мы с Игорем работаем по своим возможностям, а на дежурство ходим как все остальные, никаких скидок на инвалидность. Впереди нас ожидает известное и неизвестное. Известное – мороз, ветер, крутые подъемы. А неизвестное – как мы все это преодолеем? Сегодня разделся до плавок, тело отдохнуло от одежды, растерся снегом, взбодрился. Вокруг всё очень величественно и красиво, разломы спрессованного снега и льда достигают 15–20 метров, а есть и поболее. Запасы пресной воды огромнейшие. Столько снега я никогда не видел.

21 мая. Подъем в 6-00, сегодня мое дежурство. Завтрак варить не нужно, только вскипятить воды, ведь практически все продукты сублимированные: залил горячей водой – и завтрак готов. Вчера вечером приходил Прусс из Анкориджа пообщаться. Ему предложили брусничный кисель, мы им всех гостей угощаем, так как он очень вкусный. Но Прусс отказался. Аргумент его отказа был очень “весомый”. По его мнению, мы, русские, очень коварные люди и можем под видом киселя дать водки.

Сегодня отдых, а завтра предстоит первая высота, где мы пойдём на страховке, до этого большой опасности не было. Подобрались к первому опасному участку, которых впереди ожидается, наверное, много.

22 мая. После первых двух переходов не мог спать из-за боли в руках, всю ночь искал место, куда их положить. Сейчас, слава Богу, этого нет. Когда прошли очень опасный участок – глубокое ущелье слева от нас – на выходе был небольшой, метров 30–50, крутой подъём. Пройдя его, вышли на ровное место. Сижу, жду, когда подойдёт Агафонов и перецепит меня на другую верёвку. Мимо прошли парень с девушкой. Метрах в пяти от меня опустились на свои рюкзаки, достали энергетический шоколад и стали подкрепляться. Девушка стала разглядывать меня и, поймав мой взгляд, указала в мою сторону, похвалила мои сильные руки, подняв большой палец вверх.

Молва о нашей группе растёт и распространяется, мы постоянно на виду. Степан три раза сходил за вещами в лагерь на 3000 метров с 3400. А до нас дошёл слух, что наш альпинист сделал четыре ходки на 2800 метров, это больше 10 км в один конец, а ведь ещё и груз нужно тащить. Вот такие мы популярные, что про нас слагают небылицы. Это нам рассказал наш бывший соотечественник. Сейчас он живёт в Бостоне и с группой из семи человек тоже поднимается на Мак-Кинли. Те, кто нас догоняют, здороваются с нами по-русски, говорят “привет” и “удачи”.

Здесь уже ощущается, что вершина становится ближе. Чем выше поднимаемся мы, тем ниже опускается столбик термометра. Те, кто спускается с вершины, говорят, что там настоящая зима с сильными ветрами и морозами. Конечно же, холод внесёт определённый дискомфорт, но я не перестаю радоваться тому, что в палатке светло, для меня это такое же удобство, как электричество в доме, поэтому чувство комфорта меня не покидает. Спускались парни из Екатеринбурга. Они уже поднялись на вершину и идут обратно. Спросили у них: сможем ли мы поместиться всей командой на верхушке или нет. Они улыбнулись и успокоили: “Сможете, всем места хватит!”

Место, где остановились и разбили лагерь, называется Бергшрунд. Это ледник, у которого основная масса откололась от основания и немного съехала, отделилась от питающей его массы. Это место испещрено трещинами как явными, так и скрытыми. Шаг влево или вправо с тропы опасен для жизни.

23 мая. Встали в 6-30. Шли девять часов. Олег Банарь приготовил чай и кисель. Они со Степаном обогнали нас недалеко от лагеря, но пока мы добрались, успели накипятить воды. Олег пожал каждому руку и был неподдель-

но рад, что мы сделали еще один переход. Мы шли до этого лагеря девять дней, а обычно проходят этот маршрут за четыре-пять дней. Он сказал, что мы здорово потрудились. Отдыхаем.

24 мая. Соседи по лагерю подарили карту местности, где мы сейчас находимся. Я нанесу на ней наш маршрут. Ночью и утром было холодно и ветрено, сейчас солнце. Ждем наших парней, когда они поднимутся с грузом, чтобы накормить их. С Матвеем пытались сделать прикидку по времени: сколько уйдет на подъем с 4200 на 5200. Получается примерно 15 часов. Истина где-то рядом. Прикидывать можно сколько угодно, а результат покажет само восхождение.

25 мая. Когда поднимаешься вверх, то склон, по которому идешь, не кажется таким крутым, как если ты обернешься назад и посмотришь, туда, откуда пришел. Иногда кажется, что впереди тебя ровная поверхность или небольшой уклон, но это обман зрения. После крутого подъема идет небольшой перепад высоты, он и кажется уклоном, но только когда начинаешь проходить его, он плавно переходит в “ровное” место, а потом оказывается, что все равно это подъем, лишь “задний обзор” показывает правильную картину. Может, я уже писал про погоду. Она напоминает слоеный пирог или салат “под шубой”. У нас на 4200 солнечно и тепло, на 3400 пасмурно и снег, на 2200 тоже солнечно. Вот такая интересная погода здесь, на Мак-Кинли. В инструкции для восхождения на Мак-Кинли сказано, что трещины на склонах достигают 60 метров глубины. Поэтому все, кроме российских туристов, идут от ледника Кахилтна в связках, хотя тропа натоптана как проселочная дорога. Даже чтобы набрать чистого снега для кипячения воды, один страшит другого на веревке, вот такое у них отношение к собственной жизни. Сегодня и у меня пропала активность, наверное, как говорит Док, это биологический спад. Что бы там ни было, а делать ничего не хочется.

Наша команда очень популярна, всем интересно – как же человек, у которого не работают ноги, хочет взойти на одну из труднодоступных вершин, если даже в жилой местности не везде может передвигаться самостоятельно. Приходят, смотрят наши снаряды, желают удачи, не скрывая восторга. Американцы вообще все очень открыты, по крайней мере, складывается такое впечатление.

26 мая. Сидели до 12 ночи: приходил Джонни из Талкитны, той самой деревушки, откуда вылетают самолёты на ледник и на облёт вокруг Мак-Кинли. Он играл нам на губной гармошке. Во время знакомства он никак не мог выговорить мое имя – Григорий. Называл на свой манер “Грэгори”, и нашим понравилось.

5. “Это арктический альпинизм”

27 мая. Вчера приходил еще один иностранец, он услышал гитару. Им, людям рассудительным и прагматичным, не понять, зачем нужно брать с собой гитару? Ведь это не самый необходимый предмет для восхождения. И так много всего нужно тащить, а тут – гитара. Но нашим соседям по лагерю приятно прийти послушать...

Снег усилился, сыпался сухим и мелким пшеном. Видимость плохая, но и по такой погоде прилетел вертолёт, видимо, кому-то наверху опять стало плохо. По пустякам, да еще в такую погоду вертолет точно не полетит. Много обморожений, возвратов почти с вершины. Не дойдя каких-то пару сотен метров до цели, туристы спускаются вниз, чтобы не упасть обессиленными по дороге. За теми, кто не доходит, прилетает вертолёт. Меня терзают сомнения: что же там, наверху, действительно всё так серьезно, или восхождения совершают плохо подготовленные туристы? Наступит тот день, когда и мне придется проходить этот маршрут. Как же я себя буду там чувствовать? Мне боязно и хочется быстрее подняться туда, чтобы отпали сомнения и осталась реальность, тогда уже точно буду знать: выдержу эту высоту или нет.

Неумолимо приближается тот день, когда мы отправимся наверх и узнаем, как же там на самом деле. Как только наладится погода, ребята пойдут провешивать перила, поставят палатки, и только потом двинемся мы делать вызов одному из красивейших и недоступных символов Аляски. Одно могу сказать: подход к горе для нас был очень трудным. Порезал пальцы ножом,

не заживают. Док говорит, это от недостатка кислорода. Как узнали у рейнджеров, вертолёт прилетал забрать одного парня. Он потерял сознание на высоте примерно 6000 метров и пролежал там несколько часов, пока на него не наткнулся турист из Германии. Его имя – Том. Он по радиации сообщил рейнджерам, те вызвали вертолет. Том все это время был вместе с потерпевшим. Прилетел вертолёт, сбросил конец веревки. Том обвязал парня, и его по воздуху поволокли в лагерь на 2200. Там перенесли в самолёт и отправили в Анкоридж в госпиталь. Да, любое дело, к которому относишься как к самому главному, зачастую поглощает тебя полностью. И тогда человек забывает об осторожности. Иногда, идя к своей цели, не соизмеряет свои силы и возможности. Эти мысли не раз приходили мне в голову. Сомнения порождались и теми случаями, которые происходили наяву. Приходили на ум воспоминания, описанные участниками прежних восхождений.

“Это не просто альпинизм, это арктический альпинизм, со своими особенностями и сложностями. Мак-Кинли остается совершенно уникальной средой мировых вершин. Расположенная на 63 северной широте, она является самой высокой точкой около Полярного круга. Рассекая центральное плато Аляски, Мак-Кинли обвевается штормами залива Аляски и Берингова моря. Только в очень немногих горных областях мира погода меняется так стремительно резко. Приятный день путешествия по леднику может внезапно превратиться в день выкапывания снежной пещеры для выживания. Пронизывающий холод – ещё одна уникальная черта Мак-Кинли, сравнимая только с Арктическими кряжами. Гималаи – тропики в сравнении с Мак-Кинли”. Такие факты удалось вычитать мне у Джонатана Вотермана в предисловии к книге “Выживая на Мак-Кинли”.

28 мая. Ночью снег перестал, и ударил мороз в минус 30. День уже разыгрался, а мороз не отпускает. За последние 10 дней десять спасательных работ. Статистика не утешительная. Поднимаются на вершину не более 60–70%. Остальные либо сами уходят вниз, либо на вертолете, а некоторые остаются там навсегда. В 1984 году японский путешественник Наоми Уемура совершал в феврале одиночное восхождение на Мак-Кинли. Это стало его последним путешествием, из которого он не вернулся. До сих пор неизвестно, поднялся он на вершину или нет, как и неизвестно, в каком месте он погиб. Горы...

6. “У вас одна дорога – только наверх...”

29 мая. Подъём в 5-00. Поднялись, как было намечено, накипятели воды, залили термосы горячим чаем. Парни позавтракали и отправились на работу, а мы легли спать. Проснулся в 11 часов. Идёт снег, мелкая крупа. Делать ничего не хочется. Не хочется даже тренироваться, хочется просто поваляться, поспать. Но, кроме моих желаний, есть руководитель, у которого другое мнение насчёт меня и, конечно же, Игоря. Пришлось отправиться на тренировку. Видел одного туриста, который возвращался с горы. Дошёл он до вершины или нет, я не знаю. Но шёл он, как человек в стельку пьяный: качался из стороны в сторону, оступался с тропы, откидывался назад, затем вперед, ловил равновесие. Иногда разворачивался, смотрел на гору и неуверенными шагами опять шёл к своей палатке. Это зрелище меня поразило. Как же я буду ощущать себя на высоте 5200 и выше? Рассказал об увиденном Матвею. Он сказал, что тоже видел его. А такое состояние вызвано “горняшкой” – нехваткой кислорода. Степан сказал, что у него на высоте 5200 всё было хорошо.

Непогода начинает надоедать. Снег идёт и идёт. Сегодня пришёл немец Хае. Он завтра уходит вниз: не смог взойти на вершину из-за непогоды. Он пришел ко мне спросить мой e-mail. Им, европейцам, невдомек, что для нас это еще роскошь – компьютер. Я дал ему адрес для письма, он оставил свой электронный адрес для писем. Вечером в “зиме” бурно обсуждали, делать нам тренировочный подъем с обратным спуском в лагерь или нет. Матвей спросил наше мнение: нам нужна такая тренировка или нет. Я был “за”, Игорь – тоже. Для хорошей адаптации альпинисты поднимаются выше своего лагеря, а потом спускаются обратно. Наши помощники восторга не выказали, но и отказаться не смогли.

30 мая. Поднялись до отметки 4600 метров, прошли хорошо, Агафонов сказал, если мы согласимся спускаться опять на 4200, он помогать не будет. У вас, говорит, одна дорога – только наверх. Ночевали в пещере. Оказывается, не так-то просто в ней ночевать. Нужно привыкнуть к тому, что снег – это надёжный материал, не обвалится. Мы же к этому не привычные. Как бы ни было страшно, а ночевать где-то нужно. Мы с Игорем расположились в одной стороне, Матвей с Борисом в противоположной, остальные ушли на 4200. До отбоя пришлось немного потрудиться, выравнивая потолок, чтобы сидя не касаться его. Поужинали, я поделился лавашем, который взял с собой. Матвей по достоинству оценил мою сообразительность. Немного поговорили и спать.

31 мая. Сегодня мы продолжим подъём наверх, а потом вниз на 4200. Подъём начали в 11-45. С первых же метров круто вверх, метров десять, затем полого метров 30–40 и через разлом небольшой, но глубокий. В ширину немного больше метра, а в глубину раз в десять поболее. И вот оно, первое непреодолимое препятствие – “стеночка” чуть больше двух метров высотой. За ней опять полого. Определить высоту стенки было просто: Борис ростом 190 см, а стенка немного выше его. Во время подъема в гору необходимо держать темп, не делать резких движений. Но это не для нас с Игорем, нам никак нельзя двигаться одним темпом, чтобы не сбивать дыхание и сердцебиение. Несколько резких движений и – мои сани висят вертикально, не доставая с полметра до верха. Хочу отметить, что в такой ситуации становится не по себе потому, что она мне не подконтрольна и я целиком завишу от помощника.

7. Самый главный штурм

1 июня. Сегодня первый день лета. Снег идёт большими хлопьями, и выпало его уже много. Спустились на 4200 быстро, без проволочек. Отработывали новую систему спуска, понравилось всем. Отдыхаем четыре дня и начинаем самый главный штурм. Спать буду один. Борис на высоте 5200 с Матвеем и Анатолием. Утешает то, что при хорошей погоде можно дней за десять дойти до вершины и спуститься вниз. Даже останется запас на непогоду. Одна ночёвка – 4600, вторая – 5200, день отдыха, затем ночёвка на 5900 и на вершину – 300 метров вверх и 1,5 км в длину и – мы на 6194 метрах... А потом на 5900, 5200 и 4200. Все просчитано, все кажется просто, но простота только на бумаге. Когда мы поднялись на 4600, то мне показалось, что правая нога сильно замерзла, но, слава Богу, только показалось. Дай нам, Господи, хорошей погоды на восхождение! Дай нам сил и долготерпения друг к другу!

3 июня. Встал в 8 часов. Вечером погода немного наладилась. Борис и все остальные спустились к нам в лагерь. Сейчас опять снег, сыро. Накипятил воды, попил какао и – на тренировку. Снега очень много, сани утопают. Ехать трудно.

4 июня. Сегодня на тренировке подошла ко мне молодая девушка, стала что-то спрашивать, что-то говорить, но по моей реакции поняла, что не понимаю. Спросила, говорю ли я по-английски. Я отрицательно покачал головой. Она сняла свое обручальное кольцо, показала на мое, спросила что-то про “women”. Махнула рукой в сторону, потом опять показала на кольцо и затем на наш лагерь. Я догадался что она спрашивает про жену – со мной она или дома, – и махнул рукой в сторону. Из ее объяснений я смог понять, что она журналистка и обещала придти к нам, пообщаться через переводчика. Плохая погода, которую обещали, прошла стороной. Подготовил свою одежду к восхождению: что нужно, высушил, заклеил пятки у валенок скотчем, чтобы меньше промокали, на штаны поставил новую заплатку. Старая, которую кто-то до меня ставил, отлетела. По цвету подобрать не смог: штаны чёрные, а заплатка фиолетовая.

С Анатолием немного позагорали. Во время обеда говорили о возвращении в Россию. Оно назначено на 25 июня. В этот день мы должны быть в Сиэтле. Скорее бы! Анатолий пообещал нам с Игорем презент за взятие высоты. Мол, старайтесь, народ! Поговорили даже о магазинах, в которые нам нужно будет зайти за покупками для себя и родных. Встреча всегда приятнее и радостнее, чем пребывание где бы то ни было, в любом самом привлекательном городе или стране, историческом или развлекательном месте. И ради этого можно куда-то ездить, чтобы опять была возможность испытать радость встречи! Но...

Как им без тебя? Ты наслаждаешься великолепными картинами природы. Вот жемчужные облака заполняют пространство под тобой, а на очередном подъеме открывается новая неопишимо красивая картина. А в это время у твоих домашних обыкновенные будни, да к тому же усложненные твоим отсутствием. Встреча хороша для всех — и для меня, и для них. Но пребывание в семье, а не в отъезде, лучше. Как хочется окунуться с головой в ванну, а ещё лучше в прохладную реку или бассейн.

Вечером пришла Жоан с Мартином, своим мужем, оба медработники. С ними пришел напарник Карлос. Они втроем путешествуют по странам, вернее, по горам. Жоан и Мартин из Канады, Карлос — из США. Когда они поднимались на высоту 4200, было около 11 часов вечера. Жоан, дойдя до нашего лагеря, села на снег и сказала, что дальше не пойдет, замёрзла, и нет больше сил идти. Матвей стоял на улице и смотрел, как они подходят к лагерю. Услышав, что сказала Жоан, он пригласил ее передохнуть у нас в “зиме”. Мартин проводил ее в палатку, посмотрел внимательно на нас, что-то сказал ей и ушел. Мы с Игорем топили снег, готовили воду на завтрак. Матвей попросил кипятка для неё. Напоили Жоан какао, через некоторое время чаем со “сникерсом”. Матвей поговорил с ней, расспросил, кто они такие. Немного погодя пришел её муж, они с Карлосом поставили палатку и вскипятили воды, но оказалось, что мы её уже напоили чаем. Мартин поблагодарил нас, и они ушли, но обещали придти послушать нашего гитариста.

5 июня. Погода опять испортилась, идёт снег. Наши наверху, но работать не могут: у них тоже плохая погода, холодно и нет видимости, перила провешивать нельзя. Вся вершина покрыта плотными облаками. Целое утро говорили с Анатолием о Библии, Боге, о вечности, о браке, об эвтаназии, о вере и неверии и многом другом. Было много времени, было поднято много тем, много вопросов. Ведь человек задумывается, почему поступает так, а не иначе? Что думаешь об этом, а что о другом? Попытался донести до них мысль о том, что спасение человека происходит через веру, и что каждый за себя даст отчёт Богу. Хорошо бы им это запомнить и так жить. Анатолий говорит, что мы начали засиживаться в этом лагере, стала одолевать лень, теряется бодрость и работоспособность. По самым благоприятным прогнозам, нам сидеть здесь до восьмого числа, а ждать — очень тяжело. Снег перестал и усилился мороз... Ждать... Надо...

6 июня. Рейнджеры по-прежнему ожидают ураган в течение ближайших 48 часов. Мы с Игорем накипятили воды, а к нам зашли парни с Камчатки. Они только что поднялись на высоту 4200, попили чаю и ушли разбивать свой лагерь. Они узнали о нас ещё на трассе, а подходя к лагерю, увидели российский флаг. Как хорошо, что мы его вывесили. Когда решался вопрос о вывешивании флага, были еще предложения вывесить флаги Киргизии, Адыгеи и Башкортостана. Но Матвей сказал, что экспедиция в основном российская, и российский флаг в мире знают, а остальные никому не знакомы. На том и порешили. Вечером в нашей “зиме”, где раньше кое-как умещалось одиннадцать человек, сидело семнадцать. И все чувствовали себя довольно комфортно, пили какао, пели песни под гитару до половины второго ночи. Пришли Мартин, Жоан, Риккардо и россияне — Игорь, Сергей и Саша. Последний из камчатской группы, но живёт и работает в Америке. Когда ложились спать, в палатке было минус 2. Здесь большой дневной разброс температур: от минус 30 до плюс 15. Может случиться так, что за полчаса от теплой погоды не останется и следа. Резко нахлынет мороз со штормовым ветром, и на смену беспечности придут инстинкты самосохранения и выживания. Не зря все же полистал литературу перед экспедицией, много полезного почерпнул для себя. Ведь я не “снежный барс”, вообще не альпинист и даже не турист. Но должен все перенести, всё знать, как мои опытные товарищи. Теперь я понимаю, почему книги по восхождению на Мак-Кинли изобилуют предостережениями и советами о безопасности.

Вот выдержки из дневника альпиниста Джона Роскли, в чьей судьбе Мак-Кинли оставила неизгладимый след. “Мы недооценили продолжительность и силу аляскинских бурь, и теперь наши запасы составляли коробку макарон и полквартиры горячего. Наш подъем альпинистского стиля с 9-мм верёвкой до этого проходил нормально, спуск же с высоты 5000 метров с таким снаряжением представлял серьезную опасность. Но это было пустяком по сравнению с мозговым отёком, подкравшимся ко мне во время шторма. Я был полностью

слеп с интервалами в минуту. Ни разу за время десяти крутых экспедиций в Гималаях я не испытывал горной болезни, но Мак-Кинли обманчива. Из-за быстрого прохода лагеря на низкой высоте и нашего с Джефом быстрого подъема слишком высоко мы не успели акклиматизироваться. Мы не паниковали и даже не думали о помощи со стороны Службы Парка. Как гималайские ветераны, мы с Джефом поднимались в горы с единственной установкой: ответственность начинается и заканчивается на альпинисте. Мы начали спуск. Я спускался и устанавливал крючья, пока мог видеть, и терпеливо выжидал, пока пройдет очередной приступ слепоты. По мере того, как мы теряли высоту, периоды слепоты укорачивались, давая возможность двигаться быстрее. К наступлению ночи мы были на высоте 4000 метров и в начале следующего дня дошли до ледника Кахилтна. Моя слепота прошла, остались голод и чувство смущения. Моим единственным сожалением было то, что мы не восприняли Мак-Кинли с такой же серьезностью, как и ее более высоких, но и более теплых двоюродных сестер в Азии”.

8 июня. Погода опять плохая: ветер, мороз. Вставать не хочется, и лежать надоело. Если такая погода продлится на день дольше намеченного, то наш выход наверх отодвинется соответственно на день, а если на 2–3–4... Приходят парни с Камчатки, а также наши знакомые Мартин, Жоан, Риккардо. Опять в горах звучит гитара. Уже второй месяц “покоряем” самую высокую гору Северной Америки Мак-Кинли. Из-за плохой погоды невозможно предсказать, какого же числа мы будем на вершине. 13 июня – это число, которое наметил Матвей по предварительным подсчетам. Поживём, увидим.

10 июня. Встали поздно. Матвей говорит, что ругает себя за то, что проспал. С семи до девяти я ждал команду на подъем, но так и не дождался. Погода налаживается. Витек и Степан пошли на 3600 за продуктами и заодно опустят накопившийся мусор. Здесь такое правило: весь мусор собирать в специальные мешки и спускать с собой вниз на 2200, чтобы отправить самолетом в Талкитну. Появился мини-компьютер для игры в шахматы. Прошел только до пятой позиции, дальше пока никак, а всего их восемнадцать. Вечером опять были гости – поляки, норвежцы, австрийцы. Европейцы от других туристов отличаются тем, что с пустыми руками не приходят, а несут что-нибудь свое. Опять гитара, чай, русский кисель почему-то отсутствовал. После обеда в “зиму” зашел какой-то мужчина. Матвей обрадовался ему, и они начали оживленно разговаривать по-английски. Матвей вел себя с ним как со старым знакомым. Что-то знакомое было в его лице и для меня, но я не мог понять, что. Когда же Матвей сказал по-русски своему собеседнику, что нос-то все-таки он отморозил, я посмотрел внимательно на этого мужчину и узнал в нем нашего бывшего соотечественника, который сейчас живет в Бостоне. Нос у него опух так, что глаза стали узкими. Но, несмотря на свое обморожение, он был очень доволен тем, что смог подняться на вершину и благополучно спуститься сюда, на 4200. Лучше бы он не заходил к нам, ведь завтра и нам предстоит выход наверх, а тут лишние переживания, как же будет там, наверху. Выход назначили на 12 часов, подъем на 9-00. Наконец-то!

8. На вершину!

11 июня. Подъём в девять часов, небольшие сборы и – в путь. Свершилось! Пришли проводить нас парни с Камчатки. Саша помог мне выбраться на тропу. По такому глубокому снегу самостоятельно не проедешь. Этот жест с его стороны больше был похож на дань уважения, чем на проводы. Сани заваливались то влево, то вправо, пришлось использовать помощь со стороны. Прошли 17 верёвок. Это 900 метров в длину, а по высоте 400 метров. Погода хорошая: небольшой туман, снежная крупа, но тепло. Прошло четыре часа. Сегодня на обсуждении дальнейшего подъема Матвей поддержал моё предложение о помощи нам на особо крутых склонах.

Игорь шёл тяжело, говорит, что нужно было больше тренироваться в лагере, чтобы держать себя в форме, а он больше уделял внимание сну. Чувствую себя нормально, поднялся достаточно легко, трудно было почти до верёвок на палках. Вроде бы и подъема нет, но сани не ехали. А когда дошёл до станции, пропустил через жумар первую верёвку, оглянулся вниз и увидел, что подъем всё-таки был. Мы опять находимся на 4600, где пещера, но на

этот раз в ней будут ночевать наши помощники Борис и Анатолий, а мы – в палатке. От пещеры наверх, на 5200, тоже идут верёвки. Они начинаются напротив нашей палатки, и это доставляет нам с Игорем определенные неприятности. По верёвкам, как я уже говорил, ходят много альпинистов как наших, так и чужих. От их ног вниз летят снежные комья, которые попадают в нашу палатку. Мы заметили два больших кома, которые, к счастью, пролетели немного дальше палатки.

12 июня. Вышли в 10–00. Погода рабочая. Пролетали короткие, сильные порывы ветра, но было терпимо. Комки снега попадали в рычаг, который передо мной, разбивались о него, и мелкая колючая крошка впивалась в лицо, если не успевал отвернуться. Не знаю, о чем думать, о подъёме или о том, как уворачиваться. В начале нашего подъема, как я писал раньше, имеется трещина и двухметровая стеночка, где без посторонней помощи я не могу пройти. Борис помог мне снизу и стал искать, как ему подняться на эту стенку, чтобы помочь мне преодолеть её. Витек с Агафоновым делали свою работу так, лишь бы быстрее сделать. Станции делали без учета траверса, иногда веревка огибала скалу, и нам с Борисом приходилось очень тяжело. Он оттаскивал сани в сторону и удерживал их, а я в это время старался быстрее продвинуться вперёд. Когда лыжи попадали на каменный выступ, невозможно было сдвинуться с места, как бы сильно ни напрягался. Выручал Борис. Сегодня был очень сложный участок пути, называется Спасательный Кулуар. Его обычно используют для быстрой эвакуации с высоты 5200 на 4200. Анатолий тоже сильно устал. Говорит: “Не мальчик я, чтобы по горам лазить”. Макс и Губаев помогали Игорю и Анатолию. Макс даже придумал какую-то систему, чтобы не руками “жумарить”, а ногой. Двадцать веревок прошли за 8 часов, первые десять за 3 часа, а вот вторая часть пути вымотала основательно. Сейчас пишу, а все болит: руки суставы, мышцы, пальцы. Особенно трудно было на последних трехстах метрах. Уклон был 45%, а то и повыше. Носки лыж высоко задраны вверх. Ехал только на задниках. Устал сидеть согнувшись. Особенно устала шея, т. к. голова постоянно наклонена вперёд. Шея от этого оголялась, и снег попадал за шиворот. Было не до комфорта. Пришел от сильной усталости без настроения, какой-то пустой весь, но быстро восстановился.

Погода здесь сейчас хорошая, и говорят, что до конца недели будет такая. Слава Богу! Мои молитвы услышаны. Любоваться красотой вида, который открывается при хорошей погоде, нет сил, лежу и слушаю восторженные восклицания парней. Когда выходили из кулуара на ровную площадку, нас встретил Матвей. Он задавал какие-то вопросы, снимал на камеру. Нас приветствовали жители лагеря 5200, хлопали в ладоши и даже кричали “браво!” Скорее бы на вершину – и домой, к жене, сыну. Хорошо, что взял фотографию. Таня и Саша, я вас люблю, целую, скучаю.

13 июня. День, как и обещали рейнджеры, хороший. Если бы не сорвался наш первоначальный план восхождения, то сегодняшним днем мы пошли бы на вершину. Но, что ни делается, все к лучшему. Значит, нас ждет погода еще лучше. Сушим вещи, готовимся на 5900. Олег встречает иностранных альпинистов, тех, кто идет с вершины. Поздравляет их, расспрашивает о самочувствии и про обстановку на вершине. Один из альпинистов сказал, что ничего хорошего: поднялся, стошнило – и вот вернулся обратно. Вот так вершина, вот так радость победы...

14 июня. Агафонов напугал меня в пять утра. Он пришел к Олегу, стал громко говорить, что погода плохая, такой сильный ветер, что и вершину не видно. “Принимай решение: либо ты берешь на себя ответственность за всех, либо идём вниз”, – закончил он свою тираду. Олег ответил, что ещё есть время, ведь выход назначен на 10 часов. У меня сразу же пропал сон, и я стал молиться, чтобы установилась хорошая погода, чтобы мы смогли пойти в верхний лагерь на 5900. Не знаю, о чем говорил Олег с Матвеем, вскоре командиры объявили о выходе наверх, как и было решено, в 10 часов. Погода продолжала нас испытывать: крепкий мороз и небольшой ветерок трепали нам нервы. Поближе к назначенному времени я вышел и стал пристегиваться к саням, но застегнуться не смог: замерзли руки. Пришлось попросить Витьку, чтобы он помог. На палках вышли из лагеря к проवेशенным верёвкам. Пока дошел до них, согрелся, вроде бы не так уж и холодно, как показалось сразу.

Мы пошли опять новым маршрутом. Все ходят траверсом по склону Касина до гребня и по гребню идут наверх. Во-первых, траверсом нам идти очень тяжело; во-вторых, так длиннее; в-третьих, по гребню мы не сможем идти на санях из-за каменных выступов. Поэтому идём в лоб на 5900. Две первые верёвки, примерно 100 м, Витек “поджумаривал”, помогал мне, но потом переключился только на свою работу. Вышли в 10 часов утра, пришли в восемь вечера. Потрясающий по трудности день, при подходе к лагерю стало подташнивать. Док сказал, что это от перегрузки. С прекращением работы тошнота прошла. Прошли крутой участок и вышли на пологое место. Сил практически не осталось. Может, я рано расслабился? Был момент, когда захотелось всё бросить, ни о чем не думать, ни о чем не переживать, оказаться дома и знать, что тебе никуда не нужно идти. С усилием разогнал эти подленькие мыслишки, чтобы не тешить себя пустыми надеждами. Олег, видя мое подавленное состояние, решил подбодрить: “Совсем рядом, за этим вот бугорком будет виден лагерь”. Я ему говорю: “Ну да, давай рассказывай, я дойду до бугра, а там трамвай, который меня довезет до палатки”. Он засмеялся: “Раз шутишь, значит, не совсем устал, дойти сможешь”. Прошел мимо отверстия в снегу. Зияет что-то вроде колодца. Как-то не по себе стало. Опасность кругом, поэтому с тропы никто не сворачивает, кроме нас. Попили с Игорем чай, перекусили полукопчёной сёмгой и лежим, отдыхаем. Мы в палатке, остальные в пещере.

Отсюда открывается красивый вид, Утром постараюсь сфотографировать. Когда поднимаемся, стараюсь не смотреть вниз, потому что страшно. И даже красота, которая открывается внизу, не может вытеснить этот страх. Матвей предупреждал об опасности спуска, говорит, что несчастные случаи чаще всего происходят на спуске.

Когда мы поднимались от пещеры с 4600 на 5200, прошли уже больше половины пути, я увидел, как что-то полетело вниз по нашим веревкам. Пролетев несколько метров, это “что-то” подлетело вверх и ударило о снег. Я решил, что это рейнджеры тренируются: отрабатывают на макете приемы быстрого спуска. Ведь мы идем по Спасательному Кулуару. Но через какое-то время заметил, что это не макет, а человек. Позже, когда мы подошли к этому участку, попросили его освободить веревку для нашего подъема. Он кое-как отполз в сторону от веревки метра на два, вжимаясь в снег всем телом. На него невозможно было смотреть без сожаления.

9. Звёздный час

15 июня. Ночь показалась мне тяжелой: из-за высоты не спалось. За хлопотами забываю о головной боли, ведь собираемся не куда-нибудь, а на вершину! Сегодня месяц и четыре дня, как мы прилетели на ледник. Больше трех недель здесь никто не задерживается, только мы старожилы. Синоптики не обманули: легкий ветер, мороза нет. Наша связка собралась и вышла к склону, который ведет на Футбольное Поле. Пропустил веревку через жумар, поставил рычаг в рабочее положение и вдруг почувствовал, как все тело стала бить легкая дрожь. Как на соревнованиях перед ответственным стартом. Подошел Степан и сказал: “Ну, что, Григорий, вот и настал твой звездный час...” Я промолчал, думать об этом не хотелось. Ведь я ни разу не был на такой высоте и не знаю, как поведет себя мой организм, когда начнем подниматься выше.

Прошли пологий подъем метров 150 и покатались по тропе, по которой ходят восходители, но недолго. Повернули с тропы налево – опять подъем, крутой, но короткий, метров 20. Взобравшись на него, оказались на Футбольном Поле. Я не знаю, в связи с чем даются такие названия, но на футбольное поле та местность явно не походила. Во-первых, поле было не ровное, а полого спускалось вниз. Во-вторых, оно все было в снежных застругах высотой до полуметра и выше, через которые нам предстоит пробираться. Метров через 300 видны наши веревки и подъем в 30–40 градусов и протяженностью метров 500. А там – вершина... Но вначале нужно преодолеть этот труднопроходимый участок. Чтобы не идти траверсом, мы пошли вниз, а затем стали подниматься в “лоб”. Так путь длиннее, но мороки меньше. Связка Игоря применила тактику маятника. И так мы, каждый своим путем,

стали пробираться к провешенным перилам (веревкам) на начале склона. Попадая в ямы и наезжая на заступы, мои сани то и дело пытались опрокинуться. Борис поддерживал, иногда оттаскивал в сторону, уходил вперед выдергивать из-под снежного заступа веревку. Он нервничал: ему это явно не нравилось. Мне — тоже, но другого пути нам никто не предлагал. Из-за того, что сани наклонялись то влево, то вправо, мне было неудобно сидеть и еще неудобней работать. Не заметил, как нервное состояние Бориса передалось и мне, хотя я не выказывал признаков раздражительности. На резкие замечания Бориса старался отвечать спокойно. И вот, наконец, потеряв много сил и нервов, мы прошли это поле.

... От вершины нас отделяют каких-то метров пятьдесят. Мы вместе с Игорем прошли по ровному участку, идя бок о бок, и стали взбираться на небольшую десятиметровую возвышенность. Это был предел наших желаний за прошедший год. Небольшая возвышенность была тем желанным местом, ради чего я изнурял себя тренировками, к чему целенаправленно готовился целый год. И вот она всего в нескольких метрах... Верёвки провешены параллельно, и мы с Игорем вместе поднимаемся на вершину. Из последних сил тяну рычаг на себя снова и снова. Вот остается несколько движений и...

Руки опускаются вниз, подбородок уперся в грудь. Ни радости, ни восторга, одна усталость.

Макс принес и протянул мне круглый географический знак, обозначающий пик Мак-Кинли. Когда я взял его в руки, тогда только у меня появилась радость: вот и исполнилось мое желание! Вот она, вершина, вершина мечты. Достиг! Слава Богу! Мозг сверлила мысль: не забыть сфотографироваться с российским флагом. Достал приготовленный флаг и попросил сфотографировать, ведь на пребывание в столь желанном для многих месте отводится обычно несколько минут, и — вниз. Началась череда поздравлений: жали друг другу руки, обнимались крепко, по-мужски. Нас с Игорем поздравляли особо, ведь мы первые из инвалидов-колясочников поднялись на такую высоту.

Матвей взял меня за плечи, наклонился ко мне и сказал: “Поздравляю тебя с вершиной и верю, что у тебя будут и другие вершины”. О каких вершинах он говорил, я не знаю, а уточнять не стал, принял как обычное поздравление. Особой радости почему-то не было. Наверное, невозможно сразу же осознать то, что мы смогли всё-таки подняться. Агафонов, многократный чемпион по альпинизму, говорит, что он тоже до конца не осознает того, что мы сделали это. Но это восхождение будет самым ярким воспоминанием в его жизни.

Окончив съемки и поздравления, засобирались вниз. Ведь это только половина дела — подняться на вершину, а есть другая половина, более ответственная, — это спуститься живыми и невредимыми вниз на 2200.

Слава Богу, все обошлось. Мне приходилось читать об опасностях, предостерегающих путешественника на горе. Мы сумели избежать сложностей, но иногда были на самом краю.

10. Преодолеть свою вершину... (вместо послесловия)

В адрес экспедиции были присланы поздравительные телеграммы. В телеграмме Владимира Путина были такие слова: “...Восхищён мужеством спортсменов-инвалидов, которые в составе команды поднялись на вершину. Вы не просто покорили легендарную горную высоту, но и взяли еще один рубеж в вашей жизни”.

Пришло поздравление и от мэра Москвы Юрия Лужкова: “...Уверен, что нынешняя победа на Мак-Кинли станет не только страницей истории этой вершины, но и явится примером стойкости и мужества, послужит импульсом в формировании общества равных возможностей, что является актуальнейшей задачей современной жизни”.

Были тёплые пожелания от Президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова: “...Ваша акция имеет глубокий социальный смысл, она еще раз подтвердила, что инвалиды и здоровые могут работать вместе. Особо мы гордимся нашим земляком Григорием Царьковым из Кумертау”.

От губернатора Курской области Александра Михайлова: “...Уважаемый Матвей Дмитриевич! Поздравляю Вас, курянина Игоря Ушакова и других чле-

нов команды с победой на Аляске. Ваша экспедиция на вершину Аляски – пример прекрасно организованного мероприятия национального масштаба – пример патриотической акции”.

Спикер Брайн Потер из Анкориджа (Аляска, США) так отозвался о нашей экспедиции:

“...Вы стали героями для всей Аляски, Америки и особенно для ваших земляков в России. Мы благодарны и горды, помогая вашей экспедиции в достижении таких важных целей. Наиболее примечательно, как ваша экспедиция продемонстрировала всему миру, что человек с ограниченными физическими возможностями может достичь того, о чем многие здоровые люди лишь мечтают”.

После прилёта в Москву были пресс-конференции, различные встречи, интервью...

И вот прошло время... К сожалению, двоих членов экспедиции уже нет в живых: Соболев Анатолий умер от остановки сердца у себя в квартире. Губаев Александр пропал без вести в горах...

Самолет поднялся над облаками. Слишком много всего произошло. Многого предстоит обдумать и во многом разобраться. Многого понять. Но, мне думается, кое-что я уже понял. Понял, что у меня есть дом, где меня ждут мои любимые люди. Я понял, что у меня есть Родина, огромная и самая дорогая. Я понял, что многое можно совершить и в нашей стране и в мире. У нас много единомышленников.

Я пишу эту записки для тех, кто хочет в жизни чего-то достичь, а также для тех, кто разочаровался в себе и разуверился в своих силах.

Всем, кому сейчас трудно, кого сломило горе, недуг – всем вам хочу сказать, что выход есть! Для этого нужно примириться с Богом. Можно многого достичь и многое преодолеть под благословением Божьим! И пусть у каждого будет своя вершина, которую он обязательно преодолет, и будет цель, которую он сумеет достичь. Я верю.

ГАЛИНА СИДОРЕНКО

МИРНЫЕ ГОДЫ, ВОЕННЫЕ ГОДЫ...

Удивительна и парадоксальна человеческая память! Добраться до правды через огромное количество предвзятой и даже недостоверной информации нелегко.

От прошлого нам, во многом, остались обида и боль, непонимание и душевное смятение. Так где же истина? Истина – только в памяти человека.

Когда я родилась, мои родители были молоды, снимали небольшую комнату без удобств и без кухни, зато в самом центре небольшого города Славянска Сталинской области. В углу комнаты за загородкой стоял центр жизни семьи – примус, головка которого постоянно коптила и благоухала керосином на всю округу. По словам родителей, они были счастливы, что так хорошо устроились, но голод в городе заставил отца искать возможность прокормить семью, вернее, не дать ей умереть. Семья переехала в деревню Криничная, отец устроился механиком в МТС (машинно-тракторная станция), а мама не работала, завела козу, ухаживала за небольшим огородом. В качестве оплаты за работу отцу выдали мешок пшена и мешок огурцов. Огурцы были засолены и служили разменной монетой для приобретения раз в неделю небольшого количества хлеба и сахара на пристанционном рынке, куда каждое воскресенье мать ходила или одна, или со мной. Основой пропитания семьи стал мешок пшена: варилась густая пшённая каша, остужалась, резалась на куски – это был и хлеб и закуска и детское питание на каждый день. Пища была достаточно питательная и полезная: несмотря на голод – все остались не только живы, но и вполне здоровы. Странно, но пшённую кашу, сваренную на воде, ем до сих пор с большим удовольствием и считаю её почти целебной.

До школьных лет у меня не было подруг, был только один закадычный друг мальчик, которого звали Игорь, но все называли его Гося. До самой школы мы были неразлучны – вместе лазили по заборам и деревьям, делали набеги на огородные грядки, ожесточённо воевали, в зависимости от времени года, снежками или камнями с соседними ребятами в отместку за их дразнилку “жених и невеста”. В семье Гося царил лёгкий весёлый дух, совсем не похожий на прагматичность нашей семьи, много смеялись, не скупилась на развлечения, у них же появился первый в округе радиоприёмник, который не столько вещал, сколько завывал, когда его настраивали. Но всё равно, с моей точки зрения, это была самая желанная вещь. Мы с Госей по-

СИДОРЕНКО Галина Александровна родилась в 1931 году на Украине, в Донбассе. Детство её пришлось на годы войны и немецко-фашистской оккупации. После войны, окончив школу, поступила в авиационный институт, по окончании которого всю жизнь работала по специальности инженер-конструктор на предприятиях оборонной промышленности. Сейчас на пенсии. Живёт в Москве.

шли в школу в один год, но попали в параллельные классы. Наша дружба кончилась.

Здание школы было достаточно красивым – трёхэтажное из красного кирпича с широким парадным входом, высокой нишей на фронтоне, где на колоннах стояли фигурки пионера и пионерки. На каждом этаже были фойе для отдыха и беготни учеников на переменах, широкие коридоры и просторные классы. Через два чёрных выхода на переменах детвора выбегала в большой внутренний двор, от которого был отгорожен недоступный для школьников большой фруктовый сад. Квартира директора школы располагалась в этом же здании на первом этаже, окна выходили во двор и стерегли и наблюдали за всем школьным народом, поэтому особенно шалить или лазить в сад было просто невозможно, тем более директор, Дора Алексеевна, была общим и для детей и для преподавателей строгим кумиром и судьёй. В нашем классе училась её дочь – Марта, сидела на первой парте напротив учительницы. Её русая головка, с самыми длинными в классе косами, едва выглядывала из-за спинки парты – она была маленького роста. Для меня Марта была существом из другого мира, так же как и для большинства детей в классе.

В первые годы учёбы у меня не было близких друзей в классе, ко всем относилась равно и, похоже, старалась определить, кто есть кто. Решительно не помню, с кем сидела за одной партой, знаю только, что считалась дисциплинированным ребёнком, и соседей, девочек и мальчиков, ко мне подсаживали для перевоспитания, ведь мне учёба давалась без особых усилий.

К тому времени относится и осознание того, что дом, в котором живём, маленький и низенький, комнаты с низкими потолками, обстановка убогая, я с завистью смотрела на дома из кирпича на высоких фундаментах, а особым шиком мне представлялась жизнь в квартирах в многоэтажных домах.

Запомнились трудности с одеждой и обувью, – просто негде было купить. Огромным событием стал для меня подарок в виде отреза на платье, который привезла из Москвы уже взрослая, получившая высшее образование двоюродная сестра. Мама сама сшила из этого отреза платьице, оно стало самым праздничным нарядом, к сожалению, только летним. Основную одежду мне шила мама из старых вещей. Помню, мама жаловалась, что никак не может купить ткань на простыни и ситец на летние платья, за такими товарами нужно было отстоять огромные очереди.

При всём при том питались тогда не плохо: рыба, яйца, мясные продукты и куры почти всегда были на столе. Были в доме и конфеты и печенье, покупалось мороженое и даже несколько раз изготавливалось дома. Иногда покупалась икра паюсная чёрная и красная. Чёрная икра меня не привлекала, а красную очень любила и ела её хоть и не в больших количествах, но без хлеба каждую икринку отдельно.

Папа мой не имел не только среднего, но и начального образования. Получив инвалидность по поводу приобретённого во время работы на шахте порока сердца, в период нахождения на пенсии, без права работы, занимался самообразованием. Самостоятельно изучил математику, металловедение, освоил конструирование и черчение до такого уровня, что сумел после частичной реабилитации пойти работать техником-конструктором на местном предприятии, и работал достаточно успешно, продолжая совершенствовать конструкторские навыки. За несколько лет до начала Отечественной войны он уже работал конструктором на крупном станкостроительном заводе в соседнем городе Краматорске, а затем и на вновь построенном гиганте тяжёлого машиностроения – Новокраматорском машиностроительном заводе им. И. В. Сталина (НКМЗ).

От завода на берегу Северного Донца (позже он стал называться Северским Донцом) в живописнейшем месте функционировал дом отдыха выходного дня, и папа часто получал путёвки на себя и маму, меня брали как приложение. Добираться туда было не просто, вставали затемно, ехали рабочим поездом в жуткой тесноте, довольно долго шли пешком по красивой лесной дороге, уставали отчаянно, но всякий раз радовались очередной поездке. Кормили так, что двух порций вполне хватало на нас троих. Думаю, мама неплохо готовила, но детям почему-то нравится еда в чужом доме. Отлично помню, что мне необычайно нравились сваренные вкрутую яйца со сливочным маслом, которые почти регулярно подавались на полдник. Дома ели яйца сваренные всмятку.

В те времена рабочая неделя была построена не по дням недели, а по числам и называлась “пятидневка”. Вот эти “пятидневки” отец и отрабатывал на станкостроительном заводе в соседнем городе, вставал чуть свет, завтракал и убегал на рабочий поезд. Опоздать на работу было просто невозможно, так как опоздание наказывалось уголовной ответственностью. Однажды, проспав, отец бегом бежал за поездом, догнать который ему удалось на следующей остановке ценой почти полуобморочного состояния. Это событие долго обсуждалось в семье и со знакомыми как чрезвычайное по напряжению сил и счастливому избавлению от трагических последствий.

Возвращался отец с работы в 6 часов, к этому времени мама должна была приготовить обед на печке, которая топилась углём зимой в доме, а летом на улице в “летней кухне” – так называли навес с двумя дощатыми стенами от ветра. На закупку продуктов на рынке и приготовление обеда у мамы уходил весь день.

Все жилые помещения на подворье имели печное отопление и удобства во дворе. Купались в кухне, стоя в корыте, так как бани на подворье не было, только летний душ в виде дощатой загородки без потолка и бочкой для воды наверху. Питьевую воду носили в вёдрах из колодца через два квартала. Воду для хозяйственных нужд с горько-солёным привкусом брали из домашнего колодца со срубом и “журавлём”. Каждую осень в этот колодец дедушка опускал законопаченный бочонок с солёными огурцами, которые выдерживались до весны. Они там так хорошо сохранялись, что весной были похожи на малосольные, крепенькие и хрустящие. Таких необыкновенно вкусных огурцов я больше нигде не пробовала.

Бабушку я отлично помню, так как спали мы в одной маленькой комнате почти впритык и много разговаривали. Она рассказывала о своём девичестве, молодости, о семейной жизни. Дедушка был, по словам бабушки, из богатой интеллигентной семьи и женился на ней, простой деревенской девке, вопреки воле родителей, когда ему было чуть больше двадцати лет, а ей не было ещё и 18 лет. Такой ранний и неравный брак привёл к полному разрыву деда со своими родителями. Дед был образован, играл на скрипке, бабушка не знала грамоты и научилась читать и писать от деда. У молодых сразу пошли дети – родили они 12 сынов и трёх дочерей. Дед работал деревенским учителем, а бабушка едва успевала рожать и кормить детей. Жили бедно, одежду носили не только младшие после старших, но и просто по очереди, не всегда были сыты и, тем не менее, вырастили до взрослых лет семь сынов и троих дочерей. Бабушка в молодости была очень красива и сохранила обаяние до самой смерти. Умерла на 93-м году. В семье есть предание, что в раннем её деревенском девичестве какой-то известный художник написал её портрет, и он якобы есть в Третьяковской галерее.

Жизнь не стояла на месте – в последние годы перед войной стало легче с одеждой: обновки появились у всех членов семьи. Впервые родители купили предметы мебели – диван и стулья. Конечно, это была скудная жизнь, так как работал только отец. Тем не менее – родители могли позволить себе отдохнуть на приморском курорте!

В 1937–38 гг. в нашем доме появилось электричество и радио (электрическая лампочка воспринималась такой яркой, как солнце). В 1939 г. в центре города построили многоквартирный пятиэтажный дом со всеми удобствами, открыли новый кинотеатр. На окраинных улицах открылись новые магазины.

В соседнем промышленном городе Краматорске, где работал отец, построили для своих работников соцгород – несколько кварталов жилых многоэтажных домов с просторными квартирами со всеми удобствами; там мы бывали в гостях у знакомых.

Практически при всех крупных предприятиях создавались клубы и дворцы культуры с разнообразными кружками для детей и взрослых. В таком заводском клубе в Краматорске устраивали для детей своих работников новогодние ёлки с подарками. Подарки вручали на сцене, мне досталась кукла, а предметом зависти была заводная машинка, доставшаяся знакомому мальчику. Там же впервые увидела балет, правда, в исполнении подростков, но впечатление было сильным. В нашем городе Славянске тоже было несколько предприятий, способных организовать и содержать такие клубы. В одном из них функционировал театр, дававший спектакли раз или два в неделю. Родители посещали, взяли как-то и меня, но впечатления не сохранились.

Клубы и дворцы культуры в жизни наших городков с честью выполняли возложенную на них роль, пользовались успехом во всех слоях населения, развивали интересы к творчеству и знаниям, расширяли кругозор людей. Можно над этим иронизировать сейчас, с позиций XXI века, но это было одной из составляющих культурной среды того государства, которое создал народ, во многом лишённый прежних культурных корней. Забота государства о всестороннем развитии личности дала свои плоды в последующие годы. Это было очень нужно – впереди была война.

В нашем кругу не обсуждалась возможность войны с Германией, финская война прошла незаметно, стороной, и её тоже особенно не обсуждали. С позиций сегодняшнего дня меня удивляет своё детское отношение к этой войне. Точно помню: никак не могла смириться с объяснениями её целесообразности, о необходимости отодвинуть границы от Ленинграда. Девятилетняя пацифистка разделяла идеологию построения социализма и считала недостойным вести наступательные войны государствам с такой идеологией.

Впрочем, помню, что в ещё более раннем возрасте не понимала и относилась с нетерпимостью к любым разрушениям. Даже любознательность не могла заставить сломать игрушку или вещь, чтобы посмотреть, что внутри – пыталась догадаться или донимала ближних вопросами. Точно знаю, что среди детей немало врождённых любителей ломать, и это не от воспитания. Наверное, человечество делится почти поровну на две группы: разрушители и берегущие.

И снится девочке сон: выхожу на крыльцо своего дома, не понятно, утро это или вечер, но вид на запад. Во сне точно осознаю, что это запад. Над горизонтом узкая полоса плотных туч, и из-за этой полосы показывается стая тёмных птиц, она всё разрастается, конца ей нет, наплывает, и уже видно, что это вороны. Вот они закрыли почти всё небо над головой, а из-за туч выплывают всё новые и новые стаи, часть из них делает разворот в полнеба и направляется на север. Всё так ярко и чётко, что поразило меня тогда сразу, и я помню этот предвоенный сон до мельчайших подробностей вот уже без малого 70 лет...

* * *

Славянск не бомбили в первые дни войны, поэтому о начале войны с рассветом 22 июня 1941 года мы не узнали. Был ласковый тёплый день. Вопреки обычаю нашей семьи выезжать по выходным на природу, в этот день все члены нашего сообщества, называемого для внутреннего пользования “двором”, были дома. В доме были и гости: отдыхал на каникулах папин младший брат Алексей, который учился в институте в Днепропетровске; у маминой старшей сестры гостили дочь Антонина с мужем, работавшие на химическом заводе в г. Дзержинске Горьковской области. Все занимались своими делами на открытом воздухе, спокойные и довольные. Для развлечения на воздух из нашего дома вынесли “тарелку” трансляционной радиосети. И вдруг гром среди ясного неба...

Сказать, что сообщение Молотова о нападении Германии на Советский Союз сильно встревожило всех, мало. Это сообщение в один миг изменило всю жизнь нашего подворья. В этот же день Антонина с мужем уехали в Дзержинск, а на следующий день уехал Алексей. Но в это время ещё никто из нас не мог и предположить последующего развития событий. Поначалу считали, что война скоро кончится, и мы непременно победим, потом с беспокойством слушали сводки о “спрямлении линии фронта”. Первыми забеспокоились знакомые евреи – эвакуироваться или нет. Соседи через дорогу, не раздумывая, уехали к родственникам на восток. Приехал с западных областей дедушкин племянник Гаврюша с женой еврейкой и устроили большой семейный совет – грозит ли опасность крещёным евреям. Помню, жена дяди Гаврюши много плакала, никто толком ничего не знал, точно ли, что уничтожают всех евреев, как развернутся события, захватят ли немцы наш город, или можно надеяться на остановку их продвижения. Решили не рисковать, и дядя Гаврюша с женой поехали дальше к своим дочерям в Крым. Уже после окончания войны узнала о судьбе этой женщины: уехать от немцев им не удалось, её схватили и убили на глазах мужа.

Школа приняла своих учеников как обычно — 1 сентября, но это была уже совсем другая школа. Чёткой картины этого времени память не сохранила, запомнилось ощущение одного большого серого безрадостного пятна и слёзы учительницы по поводу семейных бед. Её муж был мобилизован, и она узнала о его гибели.

Мобилизован был и ушёл на фронт и отец моего бывшего друга Гози, они с мамой остались вдвоём без всяких средств к существованию. Мама Гози была весёлой, беззаботной и хорошенькой молодой женщиной, рано вышла замуж, никогда не работала и не знала, как заработать на жизнь, которую она видела только через своего мужа — он “встретил зверя не убил, встретил Милу полюбил” (их любимая поговорка и стержень семейной жизни).

Мой отец работал на Новокраматорском машиностроительном заводе имени Сталина, почти все работники которого имели бронь и не подлежали мобилизации. По этой ли причине или по причине заболевания сердца отец не был мобилизован, но дома почти не бывал, а часто и не ночевал. Позже отец говорил, что на военную продукцию завод не успел перестроиться, а занимались они в основном демонтажом и эвакуацией на Урал оборудования и документации, кроме того, будто из работников завода сформировали подполье, куда включили и его. Так ли это или иначе, но наша семья не собиралась в эвакуацию, да и некуда нам было ехать, и невозможно было бросить единственное достояние — скудное жильё. Из тридцати подворий нашего квартала уехала только одна еврейская семья, остальные остались.

Когда начались бомбёжки железнодорожного узла и железнодорожной ветки в районе складских помещений, меня перестали пускать в школу. И не только по причине опасности, но и по здоровью — появился нервный тик лица и почти закрылся левый глаз. По пустынным улицам повела меня мама в поликлинику, которая, к счастью, ещё работала. Мы получили какие-то лекарства и рекомендации, а на обратном пути бегали с одной стороны улицы на другую и прятались под стенами домов от пролетающих со страшным воем снарядов. Наверное, хаотичный артиллерийский обстрел жилых кварталов предшествовал отходу советских войск.

Наши войска ушли не колоннами, просто незаметно покинули город, по ходу взрывая склады, магазины и промышленные постройки, из-за ясной погоды дым стоял чёрными столбами. Немцы ещё несколько дней не входили в город, чем воспользовалось население, подбирая в развалинах складов и магазинов уцелевшие от взрывов и пожара товары и продукты, которые уже негде было купить, а городское население ещё не научилось делать запасы — что купил в магазине или на рынке, то и съел.

Обеспокоенные отсутствием средств существования и поддавшись возникшему на улицах города ажиотажу по добыванию чего-нибудь из продуктов, мама с младшей сестрой Олей запряглись в тачку. Раньше пользовался тачкой только дедушка, смастеривший её для хозяйственных нужд по саду и огороду, а также для поездок на рынок за крупными покупками. Это был дощатый ящик с огромной дугообразной ручкой по торцу и укреплённой по дну одной осью, на которую насажена пара больших колёс с обыкновенной телеги; в дугу ручки могли стать один или два человека и тащить тачку не хуже лошадей. Такие тачки получили самое широкое распространение в период оккупации, да и в течение всего военного времени это был основной и почти единственный транспорт во всех случаях жизни. На тачках возили землю и продукты, больных и детей, покойников на кладбище, на них же ездили “менять” — в деревню за нехитрыми продуктами в обмен на оставшиеся с мирного времени вещи. На тачки в первую зиму оккупации собирали с улиц города опухших и умерших от голода людей.

Мама с Олей запряглись в тачку и отправились туда, где горит. За две поездки привезли они несколько мешков частично сгоревшей пшеницы и бочонок жидкого жира без вкуса и запаха не установленного происхождения. Эти трофеи, вместе с заложенными осенью в погреб картошкой и свеклой, дали нам возможность пережить страшную голодную зиму 1941–42 гг.

Ажиотаж по добыванию продуктов и разбору товаров в развалинах складов и магазинов продолжался не более трёх дней, превратившись внезапно в настороженную тишину и полную безлюдность улиц. Пожары догорели, ни воя снарядов, ни рокота техники, ни звука по радио — ничего, полная тишина и полная неизвестность. Ночью из Краматорска пришёл пешком отец (рабочие

поезда перестали ходить), рассказывал, как отправлял с железнодорожной платформы завода последние вагоны с оборудованием в эвакуацию на Урал.

Тишина была нарушена внезапно бравурным маршем, как гром с ясного неба в душу, сопровождавшим колонну немцев. Население нашей улицы смотрело на это шествие из-за заборов, и я нашла щель в своём заборе, через которую с любопытством наблюдала. Естественно, первое наблюдение дало чисто внешнее впечатление: фашисты все были в сапогах и ладно сшитых мундирах холодного серо-зеленоватого тона, придававшего дополнительную устрашающую строгость их воинственному облику. Несмотря на всю внешнюю щеголеватость солдат, показались неуместными толстоватые перчатки на их руках, так как была ещё не поздняя осень и достаточно тепло, и уж совсем не отвечало моим понятиям о воинской дисциплине то, что некоторые солдаты курили на ходу прямо в строю, не снимая перчаток. Дальше нам пришлось хорошо разобраться в сути и характере завоевателей.

Колонна пришельцев рассыпалась по дворам нашей улицы, и сразу стало шумно: послышались резкие выкрики на чужом языке и на странном русском с незнакомым акцентом, встревоженное кудахтанье кур, почуявших свою гибель под немецким ножом, жалобные голоса жителей, их причитания и плач. Дома в нашем подворье были неказисты, не зажиточны, и, возможно, поэтому к нам заглянули не сразу. А так как мы не держали никакой живности, и кур в нашем подворье не нужно было ловить, первая беседа с завоевателями была чисто деловой и односторонней – нам сообщили, чтобы освободили комнату для постоя солдата немецкой армии. Именно солдата, так как распределение на постой осуществлялось в соответствии чину. Постоялец явился неделю спустя и расположился в бывшей моей комнате по решению родственников; наша квартира была самой малонаселённой. К счастью, это был простой солдат – очень молодой, достаточно доброжелательный и контактный.

Первой жертвой оккупации в нашей семье явилась моя страдавшая с начала войны психическим расстройством тётя Маруся. Она, ускользнув из-под опеки бабушки, отправилась в центральную часть города знакомиться с новыми порядками. Позже до нас дошли слухи от очевидцев, что она зашла в какую-то новую немецкую контору и стала стыдить пришельцев, обзывать их захватчиками и грозить, что она уйдёт в партизаны, и весь народ туда уйдёт. Больше мы её не видели, и узнать о её судьбе возможности не было. Позже мы, сопоставив сведения о новых “хозяевах”, поняли, что, даже разобравшись в заболевании тёти Маруси, её всё равно убили, так как эти “культурные” европейцы не признавали права на жизнь больных, инвалидов и прочих “неполноценных” людей. Круг этих “неполноценных” с их точки зрения был очень широким, и рамки этого круга с лёгкостью расширялись в любую удобную им сторону.

Спустя недели две после вступления в город захватчиков на наше подворье ворвалась группа немецких солдат и побежала с бесцеремонным обыском по всем постройкам и закоулкам подворья, хватали, что нравится, кричали и плевались, громко испускали ветры. У деда со времён его занятия извозом сохранилась линейка. Это улучшенный вариант телеги для пассажиров, которую дед хранил как дорогой для него экспонат. Так вот, эта линейка и приглянулась непрошеным посетителям. Дед попытался воспротивиться захвату своего экспоната, за что в ту же секунду у него выдрали половину бороды. Оккупанты не считали нас за людей, не щадили ни старых ни малых.

Немедленному уничтожению подлежали евреи, врождённые инвалиды, умственно отсталые и многие другие люди с неординарным поведением, остальное же население было отнесено к “неполноценным”, с них можно брать всё, а как они будут выживать – их личное дело. Об организации жизни людей не было даже намёка, подвоза продуктов питания в город не было, в окрестных сёлах весь транспорт (в основном лошади) был реквизирован в пользу немецкой армии. В сельскую местность промышленные товары тоже не привозились. И потянулись вереницы менял, запряжённых в тачки. Город пытался хоть как-то прокормиться, а сельские жители, экономя на собственном питании, старались получить возможный минимум товаров.

К зиме ситуация стала катастрофической. За горсть картофельных очисток отдавалась хорошая носильная вещь – платье или туфли. Внезапно ценным продуктом и лакомством стали круги подсолнечного жмыха, который реализовывался небольшими ломаными кусками. Жмых непонятными путями

попадал населению с маслобойных заводиков, которые только и работали в городе, отжимая подсолнечное масло для отправки в Германию. На улицах появились опухшие от голода люди, валялись трупы умерших. Самым оживлённым и необходимым для жизни горожан стал рынок. Но и самым опасным. Систематически на рынке немцами устраивались облавы, хватали всех, кто не успевал убежать. Самых молодых и здоровых отправляли на вокзал, заталкивали в товарные вагоны и отправляли в Германию в качестве рабов, остальных уничтожали. Под такую облаву попал папин младший брат, которому едва исполнилось шестнадцать лет. Ему удалось выжить, и он после освобождения до конца войны служил в Красной Армии. После окончания войны он и рассказал нам о тех событиях.

В качестве рабыни была вывезена в Германию и дочь мужа маминой сестры – Надя Соляникова, 14-летняя девчонка. После окончания войны она вернулась домой и выглядела не как девушка 18 лет, а как измождённая женщина средних лет. Её вид страшно поразил меня, уж не говоря о её рассказах про жизнь в Германии, а ведь она старалась не шокировать моё девчоночье сознание. А шокировать было чем, не буду передавать – это не моя, а её память.

Контактный немецкий солдат, поселенный в нашу квартиру, по его словам, служил денщиком, и звали его Кмициц. Отличался он от остальных немцев доброжелательностью и сразу нашёл необходимый для нашей семьи человеческий дружеский тон, мало того, взял нас под свою опеку, а с другой стороны – с большим удовольствием пользовался преимуществами жизни в семье, вплоть до разделения трапезы. Основой питания в нашей семье были пышка из зёрен пшеницы, смолотой вручную, испечённая на “костном жире” и разделённая на дневные порции для каждого члена, суп-затирка из тех же зёрен и на десерт варёная или запечённая сахарная свёкла или её отвар, выпаренный до сладко-горьковатой консистенции. Других сладких продуктов у нас не было.

Свёклу мама со своей сестрой ездили копать на тачке на покрытое снегом брошенное колхозное поле на окраине города. Копать было очень трудно, так как земля окаменела от сильных морозов, но каким-то чудом часть корней сохранилась свежей, и их прятали в погребе под слоем земли с песком, а подмёрзшие хранили во дворе в снегу, тщательно заматывая следы схро-на. Все продукты необходимо было прятать от периодических налётов, которые предпринимались для пополнения солдатских пайков. Кмициц всегда предупреждал нас о возможном налёте немецких фуражиров и подсказывал, как лучше спрятать скудные продукты. Как-то отец услышал, что наш немец поёт “Интернационал”, и они с мамой долго гадали, провоцирует он нас или это от души, тем более странным казались его горделивые сообщения, что Гитлер будто бы выезжает на боевые позиции, а Сталин нет. Очень хвалил Ленина, и это тоже было непонятно, да и вообще трудно точно понять человека, если половину своих убеждений он объясняет знаками.

Все сидели по своим норам и всеми силами старались выжить, благо в доме было тепло, так как уголь успели привезти ещё летом, как и делали это постоянно в мирное время. Утро начиналось с похода мамы на чердак, где было спрятано под хламом рассыпанное тонким слоем прямо на замазанный глиной потолок частично сгоревшее зерно. В сито набиралась дневная норма, просеивалась от пыли и рассыпалась по столу. Далее моя обязанность – вы-брать из мусора и сгоревших зёрен полноценную пшеницу.

Ощущения постоянно сосущего голода не помню, но пища не давала ощущения довольства. Один раз Кмицицу удалось убить прилетевшую на дерево, стоящее во дворе, птицу, и, невзирая на то, что это была ворона, её ощипали и сварили суп. Он мне показался вкуснее довоенного куриного.

Весной нам стал грозить настоящий голод. Отец решил вспомнить опыт 32-го голодного года и сбежать из города подальше от фронтовой полосы, туда, где ещё можно найти хоть какие-то средства пропитания. Мы с мамой остались одни. Чем мы питались около месяца, не могу припомнить, нервное напряжение совершенно стёрло всё из памяти в это время.

“Очнулась” я с появлением отца с кругом подсолнечного жмыха в мешке и ведёрком совершенно невероятных продуктов: узел с домашним творогом, небольшой кусочек сливочного масла и несколько домашних хлебов. Вернулась память и интерес к окружающему миру.

Деревня, где отец нашёл работу в МТС и куда перебрались мы с мамой, называлась Швейцария. Название не случайное, дома этой небольшой деревни были разбросаны отдельные группами среди живописных довольно высоких холмов, покрытых густой растительностью и степными травами. Дом, в котором мы жили, стоял обособленно на обочине грунтовой дороги, рядом небольшой огород, а за домом начинались холмы. Как выяснилось летом, эти холмы были покрыты зарослями каких-то небольших душистых кустарников и полянами степной клубники. Среди холмов проходила грунтовая двухкилометровая дорога к МТС, там же начинались и бывшие колхозные поля.

Немцы оценили выгоды посева сельскохозяйственных культур для нужд Германии на больших полях, не стали их делить, а по повинности набрали для работ бывших колхозников, не разорили и МТС, сохранили технику, которой занимался отец. В МТС было даже несколько советских стареньких полуторок, которые чинили без конца, но своей техникой немцы не давали. На одной из этих полуторок под видом, а возможно, и действительно для нужд МТС, отец ездил к Азовскому морю и привёз оттуда небольшую бочку солёных килек, ставших золотой валютой для нашей семьи. На кильки можно было выменять в деревне любые продукты, даже мёд.

С наступлением тёплой погоды отец съездил в город за некоторыми необходимыми вещами и привёз к нам в деревню жить свою маму и жену маминного старшего брата с дочерью девичьего возраста. Мамин брат и его девятнадцатилетний сын служили в Красной Армии, об их судьбе женщины ничего не знали, а в разрушенном Славянске были совершенно беззащитны. Если немцы узнавали, что глава семьи или сын служили в Красной Армии, то семье угрожало не только тяжёлое издевательство и притеснение, но даже и смерть. Моя сестра Алла была очень хороша собой и так запугана, что даже в деревне старалась не попадаться людям на глаза, а тётя Ксения стала работать поварихой в крошечной столовой, организованной отцом при МТС для полевых рабочих, слесарей и механиков. Я довольно часто ходила пешком в МТС, чтобы проведать тётю Ксению, не без основания надеясь, что она угостит меня вкусным борщом.

Бегала босоногая девчонка по пыльным дорогам, ела какую-то траву, ходила по холмам за степной клубникой, лакомилась прежде неизвестным паслёном, который мама специально сохранила среди картошки на огородике возле дома, купалась в карьере, образовавшемся после добычи белой глины.

Подходила осень, нужно было идти в школу, но в деревне школы не было. Тётя Ксения с дочерью остались в Швейцарии, а нас с мамой и бабушкой отец перевёз в крупную деревню Саксагань, где тоже функционировала МТС, в которой он нанялся механиком по ремонту сельхозтехники. Из воспоминаний о Саксагани наиболее рельефными и жизненными остались посещения местного сыроварочного заводика и прохождение линии фронта. У немцев в Саксагани, как и на всей оккупированной территории, основным лозунгом было “всё для Германии”. Жители, имеющие коров, были обложены податью в размере 6 литров молока в день с одной единицы населения независимо от возраста, пола и времени года. Можно сдавать в счёт будущего времени, а нет молока – плати или сдавай мясо. При этом всё, в смысле объёма продуктов, было прекрасно организовано, никакие потери не допускались. Привезли оборудование и открыли в центральной части деревни заводик по выработке сыров, сюда шло реквизированное у населения молоко. На этом заводике работала хозяйка нашего очередного жилья, и она уловила момент, когда не было надзора, чтобы повести меня туда на экскурсию. Всё очень просто, чисто и рационально: молоко сразу выливалось в чан на колёсиках, каждый наполненный перевозился в зал, где производилась закуска, тут же отцеживали сыворотку, но не выливали, а каждый сдающий молоко забирал её для прокорма скотины. Не брать её было опасно – сурово наказывали, ведь и скотина выращивалась для Германии. Отжатую массу прессовали в металлические круглые формы, а то, что выходило за стыки форм, собиралось и шло в оплату работающим, дальше технология созревания и отправка в Германию. Обрезками от немецкого сыра меня угостили, показалось очень вкусным, но пресноватым. Но каково работать за обрезки? Хотя к тому времени уже была введена в оборот марка, но не германская, а специальная оккупационная для подвластного населения.

К моменту подхода линии фронта мы жили ещё с одной приезжей семьёй в казённом здании на окраине деревни. На восток от дома открывалась ничем

не заслонённая широкая панорама на поля с холмами с подъёмом общего уровня к горизонту. На этой панорамной картине под лучами яркого летнего солнца и разыгралось настоящее танковое сражение параллельно с воздушным боем авиации. Расстояние было большое, звуки боя очень тихими, а техника по размерам выглядела детскими игрушками, взрывы – хлопками пистонов, и невозможно было понять, где чья сторона, кто наступает, а кто обороняется. Страшно от сознания, что там живые люди, и завораживающее картинное, прямо “киношное” зрелище. Как отходили гитлеровские войска, мы на своей окраине не видели, равно как не видели и прихода советских войск.

... Домой добирались с пересадками и остановками, пожили в Днепропетровске, почти на полгода задержались в областном городе нашего района Сталино, где я, наконец, попала в настоящую школу, а отец начал работать почти по специальности – инженером на шахте. Мама тоже работала товароведом в шахтёрском тресте. Работа родителей обеспечила нам достаточно приличное по тем временам материальное существование. Оказалось, что я очень отстала в знаниях по русскому языку и географии, на первом же диктante получила двойку, пришлось усиленно заниматься, компенсировать большие пропуски в занятиях и влияние украинской деревенской среды, поправлять русскую речь. Город Сталино (теперь Донецк) мне очень нравился, нравилась и школа, появились друзья, а родителям хотелось домой, и мы уехали к себе в Славянск.

Здравствуй, родная школа, и даже старые знакомые дети, хотя состав сильно изменился, появилось много новых ребят и девочек, обзаводилась новыми друзьями. Мама нашла работу в Славянске, а отец ещё некоторое время поездил по городам области в поисках начавших работать заводов. Его перемещения окончились, как только начали восстанавливать Новокраматорский завод, где он до войны работал и куда очень стремился.

Война ещё шла, а тут, уже в глубоком тылу, бурно началось восстановление промышленных предприятий, разрушенных городских построек, налаживание жизнеобеспечения населения. Откуда только брались средства, ведь шла война с её катастрофическими расходами. Этим, я думаю, отличается своя родная власть от власти захватчиков и оккупантов, что заботится о работе и зарботке только для своего народа. Восстановили радиовещание, радиовещание объявлялись о салютах в честь освобождения городов. Снабжение по карточной системе было не шикарным, но вполне достаточным, я, девчонка, не думала о голоде, а даже рассчитывала на какие-то сладости, ходила одетой и обутой. Иногда выдавались коробки американской помощи со сладостями и “деликатесами” или бывшая в употреблении, но вполне приличная одежда оттуда же, а вокруг были свои доброжелательные люди, и жизнь постепенно входила в свою привычную нормальную колею.

Трудно описать поведение людей в тот светлый весенний день в мае, когда объявили о Победе и окончании войны с Германией. Это было не просто ликование, а пляска на пределе всех возможных чувств и порывов. Я не могу передать эмоции настрадавшихся людей, просто нужно было участвовать в этом, а потом всю жизнь помнить.

И потекла река мирной жизни. На бывших оккупированных территориях всё было в развалинах: промышленные постройки, большинство административных зданий и значительная часть жилых домов. Наземные дороги в жутком состоянии, а железные не только разрушены, но и почти с полным отсутствием подвижного состава и станционных построек, ведь вокзалы и пристанционные склады были взорваны оккупантами или разрушены бомбёжками. В деревнях почти не осталось крупного и мелкого скота, разрушилась структура колхозов и совхозов, почти не осталось сельскохозяйственной техники, а оставшаяся устарела и требовала постоянного ремонта при полном отсутствии запасных частей. Организовывать жизнь на этих территориях приходилось практически с чистого листа, а людям необходимо ежедневно есть, одеваться, учиться и работать.

В школе до седьмого класса училась без особого усердия, даже сбегала с занятий, как и многие в те годы. Сказывались общее настроение облегчения после войны и некоторая безалаберность после пережитых опасностей. Даже преступность после окончания войны сразу поубавилась, хулиганы притихли, и мы, подростки, не боялись вечерами ходить по улицам, бегали с уроков и вечерами в только что отстроенный кинотеатр, а в школе занятия для

классов старше пятого зачастую проводились во вторую смену. В центре города восстановили из развалин несколько домов, а на центральной площади шли службы в старинной церкви, открылось несколько магазинов, и в нашем квартале восстановили здание магазина и “отоваривали” в нём продуктовые и промышленные карточки. Карточки так прочно вошли в быт, что казалось невероятным после их отмены в 1947 году просто зайти в магазин и купить необходимое. Даже без особой нужды бегала в магазин, получая удовольствие от возможности свободно что-то купить.

Разрушенное сельское хозяйство, медленное восстановление ресурсов села, а возможно, и плохой урожай в отдельных регионах привели к концу 1947 года к нехватке продуктов питания, было голодно. Не спасли положение даже выращенные овощи и кукуруза на небольших огородных наделах, предоставляемых на сезон. Переживали нехватку продуктов, кто как мог. В нашей семье варили кукурузные зёрна, пекли кукурузные лепёшки, в рацион вошли жёлуди во всех видах: высушенные и промолотые добавлялись в кукурузную муку, распаренные в духовой употреблялись как десерт, поджаренные молоты на порошок для кофейного напитка. Но даже в это трудное время было много хорошего. Папе на заводе дали для мамы бесплатную путёвку в санаторий под Киевом.

С нового учебного года ввели отдельное обучение девочек и мальчиков. Моя родная красивая трёхэтажная школа стала мужской школой, а женскую школу разместили в некрасивом барачном одноэтажном здании на окраине города за веткой железной дороги, проложенной на Славкурорт. Это была маленькая трагедия, вскоре растаявшая под впечатлением нового коллектива, новых преподавателей и с появлением новой устойчивой группы подруг. Пришёл интерес к учёбе, появилось сознание необходимости успешного закрепления знаний, даже казалось, если освоить и запомнить абсолютно всё, что преподаётся в школе, то лучшего образования и не надо. Очень наглядно показала ошибочность таких мыслей всеми нами любимая преподаватель по химии, нарисовав на доске точку и несколько концентрических окружностей. Точка — это отлично усвоенные знания в школе, а каждый круг — ступени познания, и чем больше круг, тем больше непознанного за его полем. Перебирая воспоминания, думаю, в этой некрасивой школе сложился прекрасный коллектив преподавателей, которых с позиций взрослого человека невозможно упрекнуть ни одним словом.

Последние школьные годы были наполнены только радостью. Один за другим исчезали шрамы войны, одеты, обуты, сыты, все нас любят, все заботятся о направлении нашего развития, нацеленного в благополучное будущее. Построение школьной программы, книги лучших современных авторов (“Повесть о настоящем человеке”, “Молодая гвардия”), фильмы, радиопередачи — всё было направлено на воспитание в нас честности, самоотверженности, любви к Родине, трудолюбия и уважительного отношения к знаниям и старшим товарищам. Советская идеология того времени, бесспорно, работала на лучшее будущее. Мы были искренними и очень активными комсомольцами, в те времена диссидентского духа даже в помине не было. Родители иногда бухтели о чрезмерном восхвалении в газетах и по радио личности Сталина, но у меня было стойкое понимание необходимости такого человека для благополучия страны, а говорят пусть что угодно. Мало того, я и тогда в своих размышлениях опасалась того времени, когда его не станет, мне казалось очевидным возникновение какой-то чехарды в управлении страной. Откуда взялись такие “государственные” размышления у зелёной девицы?

Закончив школу, я поступила в Харьковский авиационный институт. Окончилось моё детство, пришедшееся на годы мира и войны.

МАРИНА ПЕТРОВА

“ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ...”

Михаил Васильевич Нестеров родился в преуспевающей купеческой семье. Он был девятым ребёнком. После него родилось ещё четверо, но из 13 детей в живых осталось только двое: Михаил и его сестра Александра. Все остальные умерли в младенчестве. Да и сам Михаил родился очень слабеньким, болезненным. Что только родители ни делали: и лучших врачей выписывали, и, следуя народным рецептам, в снег клали, и в печку ставили. И ничего не помогало. Младенец угасал буквально на глазах. И однажды мать, подойдя к его кроватке, не услышала дыхания ребёнка... Послали к настоятелю кладбищенской церкви: приготовить могилку, заказать отпевание. А мальчика тем временем положили под образа. Мать вложила в его скрещенные на груди ручки иконку св. Тихона Задонского, которого, наравне с преподобным Сергием Радонежским, особо почитали в семье, и встала на молитву. Молилась долго, неутешно, не в силах остановить горячие слёзы. Потом вдруг ненароком взглянула на младенца и обмлела, услышав сначала порывистое, а затем постепенно выравнивающееся и, наконец, спокойное его дыхание. Выстраданный, вымоленный матерью, мальчик ожил. Стал день ото дня набираться силёнок, поправляться. Здоровье медленно, но верно возвращалось к нему. Благочестивые родители, хоть и не могли нарадоваться своему счастью, тем не менее всё же сына воспитывали строго, особо не баловали и не нежили. За провинности, как положено, наказывали, хоть и не сурово, но с внушением. Зато на праздники одаривали подарками, о которых мальчик мечтал в своих детских грёзах. При этом с детства приучали его молиться, а со временем — говеть, исповедоваться и причащаться. Так церковь с её животворящей благодатью и святостью, постом и молитвой не просто вошла в жизнь Михаила Нестерова, а оказалась у самого, можно сказать, её истока. От того и вера будущего художника в дальнейшем, не ослабевая, не подвергаясь сомнениям, лишь росла и укреплялась, осенённая чудом его собственного воскрешения. С этим чудесным исцелением Нестеров обрёл и особый, великий дар творчества. А в нём — не только душевное наслаждение красотой, но духовная радость созерцания мира, в котором — ничего случайного, а всё — промыслительно.



Автопортрет (х.м. 1915 ГТГ)

По той же причине главными и любимыми его героями с самого начала становятся люди церкви и прежде всего монахи — эти праведники и исповедники, молитвенники земли Русской, и первый среди них — преподобный Сер-

гий Радонежский, которому Нестеров посвятил целый цикл картин. И потому немало времени в поисках необходимых ему типажей проводил он в окрестностях монастырей и прежде всего Троице-Сергиевой лавры, где, по признанию самого художника, “постоянный звон колоколов – призыв к молитве и покаянию – и его приводит в умиление” (1). Так стала формироваться, как-то очень естественно и органично, доминирующая в искусстве мастера религиозная тема. Рождённая не столько профессиональным интересом, сколько по побуждению верующего сердца, она вбирала в себя и духовный смысл бытия пустынножителей, и росписи храмов, и даже пейзажи с царящей в них атмосферой тихой умиленности и Божией благодати. А за всем этим: за “Пустынником” и “Видением отроку Варфоломею”, за Владимирским собором и Марфо-Мариинской обителью, за “Лисичкой” и “Молчанием” рождался призрачно-зыбкий, но одновременно исполненный высокой духовности, призывный образ Святой Руси.

Поначалу героями картин Нестерова были даже старообрядцы. Но не история раскола интересовала художника и не внутрицерковная жизнь самих староверов. Он обращается к ним не потому, что разделял их взгляды и убеждения, а потому, что через них приобщался к старой, допетровской Руси, что хранила идеалы и заветы предков, веру Православную, которую держалась и спасалась Святая Русь. Именно её в атмосфере “духовного оскудения общества” (2) ищет и пытается он отобразить на своих полотнах. Ищет не конкретные исторические факты или даже явления, а те духовно-нравственные основы бытия русского народа, которые всё более и более размывались в современной ему России.

Ещё в 1860-е годы епископ Смоленский Иоанн с горечью отмечал: “Жизнь наша как-то сдвинулась с вековых и религиозных оснований и, в разладе с народною верою и совестью, с отечественною любовью и правдою при нашей внутренней несостоятельности, идёт как будто невесть куда без разумных убеждений и сознательно верных стремлений...” (3). Разрушительные последствия и “религиозных сдвигов”, и “разлада с верою и совестью” становились всё более осязаемы и чувствительны. В одном из писем домой, в Уфу, поздравляя в 1897 г. родных с Пасхой, Нестеров писал: “Как жаль, что русские люди поворачивают куда-то в другую сторону от этой веками нажитой красоты, торжества и радости” (4).

К началу XX века большая часть русской интеллигенции с её поклонением идеалам Просвещения, с её неистовым метанием от одних идей к другим, с её всегдашней готовностью принять чужое вплоть до его обожествления, а своё, родное пренебрежительно отринуть как доморощенное, гордившаяся ещё со времён Белинского своей наконец-то состоявшейся европеизацией, теперь начала болезненно ощущать внутри себя, по признанию одного из современников, “однообразную, ... убийственную пустоту” (5). Вот чего никогда не испытывал Нестеров. С молодых лет в его сознании глубоко сидела мысль, высказанная в одном из его ранних писем: “Исполняя основные заповеди Христа и не чураясь добрых советов наших стариков, можно жить в Боге и быть недурным человеком” (6). О тогдашних умонастроениях в русском обществе в последние годы написано немало. Но, может быть, тем более важно сегодня выявление тех созидательных сил, что тогда противостояли трагическому исходу.

Нестеров не был открытым человеком. Но с теми, кого впустил однажды в своё сердце, был достаточно откровенен, с болью делясь с ними мыслями о своём больном времени, о декадентствующем искусстве, о “безумной проповеди неверия” (7), о явном снижении нравственной ответственности художников за те идеи, что проповедают они в своих произведениях. Между тем именно нравственная ответственность художника и за избранную тему, и за идею, ради которой взял за кисть, изначально была одной из фундаментальных основ и отечественной художественной школы, и русского искусства вообще. Прожив всю жизнь с Богом в душе, сам Нестеров, отринув сомнения и уныние, всем своим творчеством свидетельствовал о неугасающей в нём надежде и вере в духовное возрождение русского народа. “А что может быть лучше надежды, этой утешительницы в скорбях! – писал он своему другу А. Турыгину. – Итак, да здравствует надежда!” (8). Эта мысль, высказанная с молодым задором двадцатипятилетним художником, стала своеобразным девизом и его жизни, и его искусства. В XX век Нестеров вступил уже сложив-

шимся художником. С 1881 г. он — постоянный участник передвижных выставок. Его имя уже хорошо известно и широкой публике, и даже в Зимнем дворце. Но всё чаще и чаще мастер испытывает неудовлетворение тем состоянием, в котором пребывает “Товарищество”, начинавшее всё более вырождаться в “публицистику в красках и линиях” (Лосский). Вместе с Левитаном он даже задумал создать своё сообщество художников, но ранняя смерть друга не позволила осуществить намерение. О Нестерове много пишут и по-разному. Тем дороже непредвзятый, проникновенный взгляд на талант мастера, да ещё в контексте проблемы “Чего не хватает нашей живописи?”. Именно так называлась статья, в которой, в частности, говорилось: “У Нестерова есть действительный талант и, мало того, талант, носящий отпечаток нашего национального характера, что составляет одно из драгоценнейших качеств художника во всех сферах искусства” (9).

“Национальный характер” его таланта выражался не только в темах из исконно русской жизни, но прежде всего в художественных образах, исполненных и той мягкой задушевности, и той духовной созерцательности, что отличает самую стихию русского народа. Потому-то произведения мастера столь притягательны для его соотечественников, сопряжённые с их мыслью, душой и сердцем. Отсюда и избрание тем, не столько глободневных, сколько живо-трепещущих. Неравнодушный к тому, как на глазах распадаются основы, на которых спокон веку держался русский мир, Нестеров в 1901 г. начинает работу над большим полотном “Святая Русь”.



Святая Русь (х.м. 1901—1906 ГРМ)

Всегда любивший писать раннюю весну с её нежным трепетом первой зелени, или сочное летнее разнотравье, или осеннее “тихое природы увяданье”, здесь Нестеров, пожалуй, впервые пишет зимний пейзаж. Вместо цветущей зелени — снежный покров, словно саваном укрывший землю. Справа и слева — молоденькие берёзки, протянувшие вверх свои хрупкие обнажённые ветви. Здесь же — побитый студёным ветром кустик. А напротив — молодые побеги, не успевшие сбросить к зиме свою засохшую листву, что омертвело повисла на маленьких веточках. А поодаль — суровые, потемневшие на морозе ели. Зимний туман, залегший голубыми тенями на пригорках и тропах, заснеженных крышах церквей, лёгкой, прозрачной дымкой окутал косогоры, поля и реки, скованные льдом, накрыл собою там, на горизонте, узкую полосу леса, что синей линией очертила пограничье между небом и землей. И хотя сквозь облака, плотно затянувшие небо, не пробиться солнцу, тем не менее в общей атмосфере картины нет нагнетания какой-то драматической беспросветности. Воссозданный художником пейзаж, хоть по-зимнему и пасмурный, но не хмурый, а на дальних планах, размытых туманной дымкой, — спокой-

ный, тихий, даже умиротворённый. Это вообще любимое Нестеровым состояние природы. Буйству стихий он предпочитал безмятежный покой, столь созвучный поэтической лирике его искусства. И даже здесь он остаётся верен себе, с той лишь разницей, что лирическое начало своего художественного мировидения облачает в живопись холодных тонов. Их эмоциональное воздействие усилено пластическим конфликтом, в котором умиротворяющей тишине пейзажных далей, воссозданных в мягких ритмах плавных, текучих линий, противопоставит подчёркнутая на первом плане острота контрастов тёмного и светлого, резкие, словно, аппликация, абрисы фигур, особенно в центральной и правой частях картины. Характерная для прежних работ мастера гармония человека и природы здесь оказалась разрушена. Единение человека и Божьего мира, мировоззренчески проводимое через всё его творчество, – разъято. Природа, которая не только никогда не была фоном, но прежде всего естественной, органичной средой, здесь, в картине, не отторгает человека, но как бы замкнувшись, существует вне связи с ним, сама по себе. Та красота, поэзия, та благодать, которыми всегда одаривала природа героев произведений Нестерова, здесь оказалась сокрытой, точнее, не видимой человеком, не воспринимаемой теми, кто дорогами и узкими тропами, понуриив голову, идёт-бредёт от Христу. Судя по одежде, здесь и горожане, и крестьянки в паневах, и от купеческого сословия – та, что справа. Её, еле держащуюся на ногах, сражённую скорбями, поддерживают схимонахиня и соболезнующая ей женщина в платке, повязанном по-старообрядчески. И все эти паломники: кто стоя, кто на коленях, теснятся к Христу, но их взгляд скользит мимо, в сторону. Никто не смотрит на Него, а значит, не видит ни Его, ни сонма святых, может быть, самых главных на Руси. От того – печаль и недоумение на лице святителя Николая, сокрушённый взгляд преподобного Сергия Радонежского и скорбно поникшая голова Георгия Победоносца. Художник пишет их вытянутые, как в иконах, фигуры на фоне нарастающего ритма церковных крыш монастыря, из которого они вышли во свидетельство Христа.

Единственный человек – священник, опираясь на плечо девочки, устремил на Него свой взор, в котором одновременно и покаяние, и мольба. Только духовным очам этого старца открываются и предстояние святые, и образ предвечного Бога и Судии. Одетые не по-зимнему, но канонически традиционно, они тем самым оказываются как бы вне времени, вне реального пространства и, следовательно, присутствуют здесь не явно, но мистически. В белых одеждах, слегка согретых розовыми тенями, в гиматии голубоватого цвета, как символы Духа Святаго, стоит Христос прямо и непоколебимо. В Его лице нет ни привычной мягкости, ни доброты, ни той любви, что долго терпит. Напоминая образ Спаса в силах, он строго смотрит даже не на пришедших к Нему, а поверх голов. Его почти суровый и вместе с тем скорбный взгляд сверху вниз, но не горделивый, обращён не к ним, а прежде всего к священнику, словно вопрошая его: “Найдёт ли веру у тех, кто пришёл сюда, и нуждаются ли они в Нём?”. Такой драматургический ход оказался для всех более чем неожиданным. Но он вовсе не был надуманным и очень точно отразил истинное положение дел, о чём свидетельствовала сама церковь. “Нынешний страшный упадок веры и нравов, – писал в те же самые годы, в частности, праведный о. Иоанн Кронштадтский, – весьма много зависит от холодности к своим паствам многих иерархов и вообще священнического чина” (10). Слова Иоанна Кронштадтского лишь подтверждают верность ощущений и предчувствия самого художника, выстроившего очень красноречивый пластический диалог между Христом и батюшкой. Выступающий здесь собирательным образом “вообще священнического чина”, именно он принимает на себя всю силу горечи и укоризны во взгляде Христа, поскольку никто из пришедших сюда не узнал Бога.

Как человек глубоко религиозный, Нестеров не мог ни понять, ни тем более согласиться с этой “холодностью... многих иерархов”, теряющих свою паству, оставляя человека один на один со своими грехами, сомнениями, заблуждениями. Видимо, ощущение нарастающей тревоги было настолько велико, что художник в поисках душевного равновесия, оставив ещё не законченную картину, вдруг сорвался с места и уехал на Север, в Соловецкий монастырь. Туда, где в суровых природных условиях, в повседневную борьбу за элементарное выживание сохранялся церковный аскетизм жизни и полнота веры, не расслаблялся, но укреплялся религиозный дух. И там, на Соловках,

Нестеров создаёт один из лучших своих пейзажей с красноречивым названием “Молчание”. Но эту картину нельзя назвать пейзажем в чистом виде, хотя здесь изображён уголок типичной северной природы. От полотна исходит какая-то необыкновенная, неизъяснимая сила, что сразу же завораживает, втягивает в его пространственные глубины. Художник пишет обычный летний день, от которого всё же веет северным холодком. Но цветущая зелень “деревьев, лесов и полей всегда воспринималась религиозным чувством как символ жизни, ... обновления, оживотворения” (11). Язык христианской символики, на котором ведёт своё повествование Нестеров, помогает ему создать ту особую, можно сказать, мистическую атмосферу. Ту, в которой Рапирная гора, увенчанная церковью, входит в композицию не как некий природный объект, но образом высокой духовности, устремлённости к небу, к миру горнему. И потому гора здесь доминирует над водой, как образом моря житейского, то есть мира страстей человеческих. А застывшие над водной гладью лодки, утрачивая свою функциональную значимость, преобразуются в евангельский символ церкви, которая всегда над суетностью дольнего мира, его страстями и грехом. Художник сознательно делает своими героями монахов – людей, отрешившихся от мира, и потому их послушание – рыбная ловля – как образное воплощение главного предназначения “священнического чина” – “ловить человеков” (Лк., V. 11) во спасение их. Потому и молчание, поскольку в тишине души молитвенно обращается к Богу. Молчание, в котором вершится таинство спасения души.

Эта картина, наряду с другими созданными на Соловках, помогла художнику застать той необходимой духовной энергией, что придала ему уверенность, укрепила в мыслях, идейном замысле его “Святой Руси”, в которой проблема связи пастыря и паствы так остро ещё не ставилась никогда в искусстве. И такого Христа русская религиозная живопись ещё не знала. Эта новация сопоставима, пожалуй, только с принципиальной новизной образа Спасителя в знаменитой картине “Явление Христа народу”. Впервые именно Иванов, которого особо почитал Нестеров, создал образ Бога не размягчённого, ослабленного, но собранного, сосредоточенного и даже рационального. Но ивановский Мессия идёт к людям один, рядом ещё никого нет: ни учеников, ни апостолов, ни самой церкви, рождённой вероучением Христа и хранимой в любви и жертвенности, ни тем более святителей, этих носителей и проповедников Слова Божия, которых ещё только предстояло обрести. У Нестерова Христос – уже не один. За Ним – сама апостольская церковь: от приходского храма, что виднеется вдали, открытого всем и каждому, до монастыря – обители подвижнического уединения. За Ним – святители: и молитвенники, и мученики, стяжавшие славу на небесах. Словом, за Ним – всё то, что на протяжении веков, набирая богодухновенную силу, спасало человека, охраняя от соблазнов и искушений, удерживая от грехопадений, утешая в скорбях и невзгодах. Но герои картины Нестерова отвернулись от церкви, а значит, отринули весь этот огромный духовный опыт, служивший человеку всегда опорой в его земной юдоли. И если ивановский Мессия идёт к людям в преддверии спасения, то нестеровский Христос, строгий и взыскующий, – в преддверии суда. Потому и холодный тон картины, потому и зимний пейзаж, как образ остывшей, тепло-хладной души. И если дальние планы смазаны в морозной дымке, то в левой части картины и фигуры, и монастырская архитектура, и сама природа прописаны чётко и ясно. Снег на крышах, на луковках церквей не только не растворяет очертаний строений, но, вторя их абрисам и силуэтам, ещё более подчёркивает их, храня прочность и незыблемость их форм. Пластическая драматургия картины оказывается как бы поделенной на две части: на Русь старую, держащуюся вековых основ Православия, и на Россию новую, современную, утратившую молитвенную связь с Богом. Картина была задумана художником как некая мистерия, что развернулась на полотне религиозной драмой русского народа. И потому сложившийся в историческом времени образ Святой Руси, утрачивая в картине Нестерова свой благодный пафос, обретает привкус горечи и боли, переживаемой художником за “обнищавшую духом Россию” (12).

Нестеров, по собственному признанию, остался доволен своим произведением, считая, что после него можно и на покой. Но реакция критики была достаточно неожиданной. Многие увидели в картине не её страдательный образ, но “молящуюся Русь”. При этом совершенно единодушно не приняли не-

стеровского Христа. Пожалуй, самым непримиримым в оценке был В. В. Розанов, мнением которого, может быть, больше всего дорожил в данном случае художник. А Розанов, отрицая фигуру Спасителя в картине, призывал вообще всю её левую часть “закрыть руками”. “До чего, до чего это неудачно! — сокрушался философ. — ... Это что-то не русское, не народное, даже вовсе не церковное, просто никакое...” (13). Это писал человек, сумевший точнее других понять и оценить подлинную суть искусства Нестерова, как “великую тревогу совести” (14). С тех пор и закрепилось в специальной литературе мнение о не русском Христе Нестерова в этой картине. Даже его друг С. Н. Дурьлин, будучи человеком очень религиозным и искренне любившим и самого Нестерова, и его искусство, в своей монографии о нём также придерживался сложившегося тогда мнения. И это единодушие настолько глубоко вошло в сознание самого художника, что он до конца дней своих прожил с мыслью о своём неудавшемся, “не убедительном Христе” (15) в этой картине. И только Л. Н. Толстой был, кажется, единственным, кто почувствовал всю остроту взятой в картине драматической ноты, в которой ему даже послышался поминальный звон. “Это панихида русского православия, — писал он. — Картина Нестерова — это панихида” (16). На данное высказывание художник отреагировал мгновенно и решительно. “Крылатое слово Толстого, что моя картина — панихида по православию, — не принимаю, — не принимаю и как пророчество” (17). Но разве сама мистериальная выстроенность сюжета, сама художественная образность, насыщенная глубокими раздумьями мастера о своём духовно больном времени, не есть призыв опомниться, не предупреждение ли о том, что “пророчество” может стать явью?

Ещё в процессе работы Нестеров в письме к своему старому другу А. Тургину, излагая тему своей картины, писал: “Среди зимнего северного пейзажа притаился монастырь. К нему идут-бредут... со всей земли... люди, ищущие своего Бога, искатели идеала, которыми полна наша “св. Русь”. Навстречу толпе, стоящей у врат монастыря, выходит светлый, благой и добрый Христос с предстоящими ему святителями Николаем, Сергием Радонежским и Георгием (народные святые)” (18). Но художественное и прежде всего духовное наитие Нестерова существенно скорректировало первоначальный замысел. Как мы убедились, Христос получился совсем иным, совсем не “добрым”. Да и сами герои картины — эти “люди, ищущие своего Бога, искатели идеала” пропустили встречу с Ним. Эта откровенная правда, горькая и нелюбимая, прежде всего о своих современниках, и резанула тогда по живому, по душе, по засыхающему религиозному чувству православных. Потому и реакция была столь острой, породив стремление заслониться от неё руками, поскольку была она не в бровь, а в глаз.

Тем не менее всеобщее критическое неприятие его Христа подстегнуло мастера. Нет, никаких изменений в образный строй картины он не внёс, оставив всё как есть. Но спустя несколько лет, как бы в своё оправдание, напишет в одном из писем: “Христос не был “темой” в картине, в которой, согласно её названию, совершенно сознательно отведена главенствующая роль народу-богоискателю и природе, его создавшей” (19). Не поверив самому себе, своему чутью, в другой своей работе “Путь ко Христу” художник решил непременно учесть высказанные замечания. Но, возможно, и сама тема, пусть не впрямую, опосредованно, и сформировалась, вернее, уточнилась под воздействием той критики.

В отличие от “Святой Руси”, выполненной в станковой форме, “Путь ко Христу” является произведением монументальной живописи, созданным в 1910–1911 годах для Марфо-Мариинской обители. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, основавшая её на свои собственные деньги, пригласила Нестерова, бывшего к тому времени достаточно известным храмовым живописцем. За его плечами уже был и Владимирский собор в Киеве, и церковь в Абастумане, на Кавказе, построенная для жившего там больного великого князя Георгия, и “Спас на крови” в Петербурге, и целый ряд других церквей в провинциальной России. Но, кроме всего прочего, вероятно, обращение Елизаветы Фёдоровны к Нестерову было вызвано ещё и тем, что его творчество очень высоко ценили в царской семье. Посетив очередную передвижную выставку, на которой была представлена его “Святая Русь”, Николай II, в частности, заметил: “Мне приятно, что Нестеров, несмотря ни на что, остаётся

верным себе, своей основной идее в искусстве” (20). Художник же принял предложение великой княгини не только потому, что не мог отказать представителю царствующей династии, и не только потому, что общение с Елизаветой Фёдоровной произвело на него сильнейшее впечатление. Делясь в кругу друзей своим восхищением и преклонением перед ней, он называл её “вдохновенно-доброй женщиной” (21). И всё же Нестеров согласился прежде всего потому, что наконец-то представилась возможность осуществить свою заветную, “давнишнюю мечту — оставить в Москве после себя что-либо цельное” (22). Эта мечта владела им уже давно. По этой причине чуть раньше он принял заказ расписать одну из новых, только что отстроенных церквей у Калужской заставы, возведённую на средства купцов-миллионщиков. Но эти инвесторы усомнились в независимом художнике, работающем к тому же без артели, в одиночку. Не поверили и отказали. Но нет худа без добра! Предложение от великой княгини поступило как раз в тот момент, когда художник был свободен, не связан никакими обязательствами. Правда, если быть совсем точной, общение Елизаветы Фёдоровны и Нестерова на эту тему было гораздо раньше, когда великая княгиня только приступила к созданию обители, то есть в 1907 г. Именно тогда она попросила Нестерова порекомендовать ей архитектора для постройки храма. Протеже Нестерова стал молодой, но уже хорошо зарекомендовавший себя именно в церковном зодчестве, будущий академик архитектуры А. В. Щусев. Он и построил в обители в старинном псковско-новгородском стиле собор, освящённый во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Его-то и призван был расписать Нестеров. Мы оставляем в стороне настенную роспись храма: “Благовещение”, “Христос у Марфы и Марии”, “Воскресение Христово”, запрестольный образ Богородицы, иконостас и т. д. Как заметил самый первый настоятель этого собора о. Митрофан, они “совершенно захватывают, особенно русскую душу, живо изображая русский здоровый мистицизм, лиризм, всю русскую нежность отношения к Богу, Богоматери, святым, к природе, русское смирение и благодарное терпение, русское покаяние” (23). Наряду с ними художник создал для этого собора ещё одну “большую картину аршин 10 в аудитории (над аркой, ведущей в храм). Здесь, — сообщал он своему другу А. Турыгину в сентябре 1907 г., — я предложил написать нечто сродное “Святой Руси” (24). В этом же письме Нестеров раскрывает тему будущей картины, в которой, кроме всего прочего, должно получить своё образное воплощение то действительное милосердие, ради которого обитель и создавалась. “Сёстры общины Марфы и Марии (в их белых костюмах) — пишет Нестеров, — ведут, указывают людям Христа, являющегося этим людям в их печалах и болезнях душевных и телесных среди светлой весенней природы” (25).

А много-много лет спустя в своих воспоминаниях художник уточнит поставленную перед собой задачу: “В картине “Путь ко Христу” мне хотелось доказать то, что не сумел я передать в своей “Святой Руси”. Та же толпа верующих, больше простолоюдинов — мужчин, женщин, детей — идёт, ищет пути ко спасению...” (26). Таким образом, он сам ставит обе картины в один ряд, в котором они объединяются как “нечто сродное” друг другу.



Путь ко Христу (х.м. 1907—1910 Марфо-Мариинская обитель)

Художник вновь создаёт скромный, без прикрас, чисто русский пейзаж, который очень любил. “На его фоне как-то лучше, яснее, — признавался он, — чувствуешь и смысл русской жизни, и русскую душу” (27). Пейзаж в картине “Путь ко Христу” несколько напоминает нестеровскую “Святую Русь”, особенно в решении дальних планов. Этим обстоятельством художник также подчер-

кивает определённую внутреннюю взаимосвязь обеих картин, существующих как продолжение одна другой. Объединённые общей темой, каждая из картин являет собой её дальнейшее последовательное развитие, что и позволяет рассматривать их как единый цикл.

Если в “Святой Руси” воцарилась зима и холод, то в новой картине весеннее предзакатное солнце уже согрело землю, одарившую мир первоцветами, накрыло разнотравьем холмы, поля и доли, украсило молодой зеленью тонкие берёзы. Нестеров вводит эти любимые им деревья не только как характерную приметку родной природы. Целая берёзовая роща входит в образное повествование христианским “символом чистоты, целомудрия, невинности” (28). Входит не фоном, но духовной аурой Христа, отображая Его бесстрастное, безгреховное естество. Потому и одевает Его художник не в канонический терракотовый хитон, как у Иванова, а в белые одежды, подсвеченные прозрачной голубизной, переключаясь в тоне с живописью неба, чуть подёрнутого белой дымкой облаков. Прописанная не плотным мазком, а как бы легким прикосновением кисти, фигура Христа кажется бестелесной, светящейся каким-то неизреченным, мистическим светом, что собирается нимбом вокруг Его головы. В отличие от “Святой Руси”, здесь Господь уже совершенно другой: “кроткий, смиренный, любящий” (29), сострадающий всем тем, кто пришёл к Нему в надежде обрести мир и тишину в душе, своё спасение. Воссозданный художником образ Спасителя стал программным воплощением известной евангельской мысли: “Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” (Мф., 11, 28). Под знаком этих слов Христа и развивается всё действие в картине.

Примечательно, что в предыдущей работе сословное представительство выражено даже более обстоятельно, чем здесь. Но там при всей широте социального охвата народной массы весьма ощутима как раз не внешняя, но внутренняя разобщённость людей, отсутствие их объединяющего начала. В картине “Путь ко Христу” сословное разделение также заметно, но оно перестаёт быть важным, заслонённое единым религиозным духом людей, перед которым отступают все сословные различия. И потому встретившийся им на пути Христос виден каждому из них. На Него устремлены их взгляды. Никто не прошёл мимо, никто не пропустил встречу с Ним. Потому и в колорите картины преобладает белый цвет. Но, в отличие от прозрачной белизны Христовых риз, одежда и некоторых паломников, и самих сестёр милосердия, помогающих “тому, кто слабее, — детям, раненому воину и другим — приблизиться ко Христу” (30), написана вполне реально, равно как и сами их образы воссоздано правдиво, жизненно убедительно. И хотя чисто живописный подход к трактовке фактуры и объёмов и для Христа, и для мирян разный, продиктованный делением на мир горний и дольний, но самой доминантой белого цвета художник выявляет особую — духовную связь со Христом и этих женщин, что склонились перед Ним, и девочки в белом передничке, чья душа скорее, чем у старших, способна и вместить образ Бога, и стяжать Царство Небесное, и сестёр общины, которые “ведут... ко Христу малых сих: учащуюся юность, взрослую тёмную простоту, раненых больных, ведут к Нему, единому душ и телес врачу. Как ясно выражена здесь задача христианского милосердия вообще, и в частности Марфо-Мариинской обители милосердия — себя и других привести ко Христу” (31). Так тонко, с глубоким проникновением оценивал эту работу самый первый настоятель Покровского собора о. Митрофан (Сребрянский).

Но сам Нестеров проводит свою мысль не только через конкретно выраженное действие, в котором явно просматривается связь с назначением обители, как общины милосердия. Ему гораздо важнее раскрыть внутренний смысл понятия “путь ко Христу”, который для него — акт отнюдь не внешний, хотя, может, и начинается сам этот путь с дороги к храму, но совершается всегда прежде всего в душе самого человека. Совершается не видимо, не приметно. Потому и переводит эту мысль художник из сферы конкретного выражения в иную, где состояние, образ, даже сама идея оформляется незаметно, с помощью структурных преобразований.

Художник выстраивает композицию в мягком, постепенно нисходящем ритме, начинаясь в левой части картины. Его заданность определяет чуть склонённая фигура сестры милосердия, поддерживающая раненого солдата на костылях. Затем восходит данной в рост фигурой другой сестры общины и тут же как бы “соскальзывает” силуэтом ребёнка на её руках. А потом вообще

резко обрывается припавшей к земле женщиной в зелёном платке. Для восстановления композиционного равновесия художник ставит чуть поодаль группу паломников, в которой тесно подгоняет, как некий монолит, фигуры мужа, женщины, схимника, горожанина. Набрав силу, ритм не резко, но явно продолжает своё движение по нисходящей, подхваченный в центре фигурой милосердной сестры, что склонилась к головке маленькой девочки в синем платье. Зафиксированный фигуркой мальчика и стоящей рядом с ним женщиной, за которыми виднеется головка ещё одной насельницы обители, опадающий ритм продлевается перспективным сокращением стоящих на дальнем плане богомольцев. По мере продвижения вправо ритмика по нисходящей начинает всё более выявлять себя и композиционно, и пластически, пока, наконец, совсем не затихнет в группе женщин, что, стоя на коленях, склонились пред Богом. Заданному ритмическому рисунку вторит, поддерживая его, и построение пейзажа на дальнем плане слева, где преобладает равнинное пространство, в котором виднеющаяся тёмная полоса леса, идущая к центру картины, в конце концов сводится на нет. Опадающая ритмика композиции вписывается и в арочное завершение свода трапезной, позволяя тонко, без назойливого нравоучения, выразить богословски глубокую мысль художника, для которого путь ко Христу есть припадание к Нему в скорбях, молитве, покаянии. Но для Нестерова это — ещё не конец пути, а лишь его начало. И потому именно там, где завершилось композиционное построение по нисходящей, там его ритмика и начинает своё восхождение.

Оно зарождается в пластическом рисунке согбенной молодой женщины в белом платье. Затем плавно восходит мягким, лишь слегка выраженным изгибом торса рядом стоящей на коленях паломницы в белом платке. И здесь же утверждается фигурой женщины в синем сарафане — той, что ближе всех оказалась ко Христу. Стоя на коленях, она протянула к Нему руки с надеждой и упованием, не смея поднять на Него глаза. И Господь взял её руки в Свои, принял это смиренное отдание себя в волю Божью, с которого начинается вторая половина пути к Нему — духовное преображение человека, его возрастание во Христе. Белизной одежд Христа и рукавов рубахи богомолки художник закрепляет возникшее соединение человека и Бога, дав впервые в мировой живописи пластический образ причастия. Белый цвет вообще становится ведущим в колорите картины по мере композиционного приближения к фигуре Христа. Кроме того, данная в рост фигура “причастницы” становится началом вертикальных ритмов, буквально пронизывающих собою всю правую часть холста. Этот звучный пластический аккорд рождается из учащённого ряда берёзовых стволов, двух коленопреклонённых фигур крестьянок справа, вытянутых форм храма и колокольни, что поднялись невдалеке, наконец, плавно восходящего силуэта массивного холма на фоне просветлённого неба. Это торжество восхождения художник закрепляет на первом плане маленькими, только что пробившимися ёлочками — христианским символом “надежды, воскресения, бессмертия” (32), выражая тем самым веру в свой народ, в его духовное исцеление. На такой высокой ноте Нестеров завершает своё повествование, полностью раскрывая его идею, внешне никак не связанную с евангельскими событиями, но внутренне насыщенную новозаветным духом. Поэтому всё тогдашнее московское священноначалие безоговорочно приняло эту работу мастера, несмотря на её, казалось бы, неканонический сюжет. Правда, некоторые чрезмерно экзальтированные дамы из прихожан, считавшие себя приверженцами ортодоксальных основ, не восприняли того глубокого, духовного смысла, что заложен и в самом названии картины, и в её блестящем исполнении. Они пригрозили скандалом, обещая привезти в обитель Ф. Самарина — известного специалиста в области древнерусской живописи, досконально знавшего церковный канон и отличавшегося большой строгостью и непредвзятостью суждений. Своё обещание они выполнили, но были посрамлены восторгом, вызванным нестеровской живописью, достоинство и глубочайший смысл которой Самарин очень высоко оценил. У художника, начальницы обители и настоятеля храма отлегло от сердца.

Хотя картина датируется 1910–1911 годами, но всё же начал работу над ней Нестеров гораздо раньше, с тех самых пор, когда состоялся первый его разговор с великой княгиней и о постройке храма, и о предстоящих мастеру больших живописных работах в нём. Именно тогда уже и начала формироваться идея будущей картины. И не только под действием тогдашней кри-

тики, не принявшей его Христа, и не только от стремления “восполнить то, что не удалось... выразить” (33) ему в “Святой Руси”. Тематически, а точнее, программно связанные между собой обе картины – каждая по-своему – стали прямым, живым откликом художника на происходящее вокруг.

1907 г. внёс весьма существенные коррективы в умонастроения русского общества, обожжённого первой русской революцией, подавленного страшным поражением России в войне с Японией. В эти самые годы В. В. Розанов писал: “Теперь (после 1905–1907 годов) мы стоим дикие, нагие, без “образа и подобия”, ... ибо решительно не знаем, ЧЕМУ поклоняться, КАК поклониться?! Всё старое точно умерло или опозорено, а нового, достойного поклонения, вечного – нет ничего” (34).

Если “Святая Русь” стала образным воплощением духовно оскудевших, охладевших душ, то картиной “Путь ко Христу” Нестеров, как бы отвечая Розанову, в атмосфере общей растерянности, неведения “чему поклоняться” и “как поклониться”, свидетельствовал о единственно возможном – богоспасаемом – пути для человека, для народа, для страны. Так при всём внешнем различии определяется, можно сказать, фундаментальная основа обеих картин. И потому логика религиозного мышления вполне закономерно приводит мастера к теме греха и покаяния, нашедшей своё выражение в другой картине “Душа народа” (“Христиане”), созданной в 1916 г. Примечательно, что мысль о ней зародилась гораздо раньше, вскоре после “Святой Руси”. “Душа народа”, – вспоминал позже Нестеров, – как бы вытекала из первой, – была, как и “Путь ко Христу”, уже неизбежной в развитии темы. Тема же – почти одна и та же во всех трех” (35). Но, в отличие от предыдущих, эта картина писалась тогда, когда бесовщина достигла, казалось, своего апогея – во времена революционных лозунгов и митингов, разложения армии, призывов превратить войну империалистическую в войну гражданскую, когда в России всё более вырисовывалась трагическая перспектива её судьбы.



Душа народа (х.м. 1916 ГТГ)

Художник создаёт собирательный образ русского народа. Здесь и простолудины в лаптях, и старoverы, и священство: от монаха-схимника и приходского батюшки до церковного иерарха. А рядом с ним в подчёркнуто традиционном облачении – с бармами и в шапке Мономаха – помазанник Божий, представленный не конкретной личностью, но обобщённым образом царской власти. По мере продвижения слева направо прошлое через церковь тесно соседствует с настоящим, представленным образами Достоевского, Соловьёва, Толстого. В этом огромном собрании людей нет внешнего общения друг с другом. Каждый погружён в свои мысли, но все они движимы одним стремлением, одной верой. И лишь Толстой с забранными за спиной руками не участвует в этом ходе, а наблюдает за ним со стороны. Но он так же, как и все в этом людском потоке, сосредоточен на решении каких-то своих вопросов, словно размышляя: примкнуть к этому всенародному движению или отстраниться от него, идя своим путём – своим пониманием религии и Бога. Одежда Толстого тонально перекликается с перламутровыми переливами живописи водной глади, в которой отражается и тёмная зелень гористого берега, и желтизна увядающей осенней природы, и затуманенная облачной дымкой редкая голубая прорезь неба. Отстранившемуся Толстому художник противо-

поставляет седовласового юродивого. На Святой Руси он – единственный, кому дозволялось прямо, без обиняков, не стесняясь в выражениях, прилюдно обличать грех. Фигура юродивого не бросается сразу в глаза. Композиционно она как бы несколько “смазана”, как нечто, оставшееся в глубине веков, из которого доносится лишь слабое эхо гласа вопиющего. Образом этого Божьего человека с воздетыми к небесам руками и входят в картину тема греха и призыв к покаянию. И не случайно сразу же после его фигуры так резко обрывается свет в живописи толпы. Доминирующим становится чёрный цвет, хотя и представленный в своей неоднозначной символике. И если в облачении людей церкви он – символ их отрешения от мира, то в живописи одежд мирян раскрывается другое его значение – как образ греха, то есть духовной смерти. Свет, засиявший было золотым шитьём в убранстве митрополита, в парчовом платье царя, в позолоченных ризах иконы, расшитой шёлком епитрахили священника, постепенно, маленькими фитильками свечей теряет свою силу, чтобы затем очень скоро, как образ надежды, вновь вспыхнуть белизной одеяния сестры милосердия, ведущей слепого солдата, помогая ему не сбиться с пути истинного. Именно эта группа, перекрывая собой фигуру Толстого, будучи на шаг впереди толпы, оказалась на одной линии с юродивым, став тем самым как бы воспреемницей темы, носителем которой он является. Темы, что, развиваясь во времени и пространстве картины, выявляет трагическую перспективу греха, как духовной слепоты и немощи, но которые можно превозмочь верой, милосердием, любовью.

Выстраивая свою хронологию, художник соединяет прошлое и настоящее, предстающих в своей неразрывности, как единое национальное целое. А соединяет в картине разные исторические времена и пятиглавый собор там, на дальнем берегу, и икона Спаса, и горящая свеча, и крест, символизируя собой и веру, и путь духовного исцеления, то есть путь к Богу, что и составляет главный смысл русского бытия, русской души. Символом той вожденной чистоты души, не искушённой страстями, не омрачённой грехом, является в картине мальчик, став образным выражением, по определению самого художника, “слов Евангелия – “пока не будете, как дети, не войдёте в царство небесное” (36). Это евангельская мысль стала проводником в картине идеи национального единения народа, выраженной очень чётко и ясно. Она была более чем актуальна в те годы, когда уже не воспринимали голоса церкви, когда было подорвано доверие к царской власти, когда кругом – разброд и шатание. И всё это – на фоне продолжавшейся войны с Германией. Но для Нестерова существовавшим не само единение как таковое, а прежде всего его основа: на чём объединяется нация, на каких ценностях. Воссоздавая во всех трёх картинах цикла образ богоискательского пути народа: от внутренней разрозненности людей к их духовной общности и национальному единению, художник закономерно приходит к идее соборности. В атмосфере всё более углублявшейся духовной разрухи, приведшей в конце концов к победе богорборческой власти, именно эта идея начинает всё более овладевать религиозным и художественным сознанием Нестерова.

Сразу же после октябрьского переворота он, по воспоминаниям князя Щербатова, обзвонил, оббегал всех, кого мог, умоляя уезжать как можно скорее. Сам покинуть Россию, при всём желании, не мог. Его семья в это время была далеко, на юге. Старшая дочь – на костылях, сын лежал с туберкулёзом. Вот тогда и начался его собственный путь на Голгофу. Он выразился не в переживаниях по поводу семейных неурядиц или возможных репрессий, в ожидании которых жил все эти годы. Он ждал их каждый раз, когда менялась постоянная экспозиция в Третьяковской галерее, когда принимал у себя высоких государственных мужей, когда получал правительственные награды, даже когда открывалась его персональная выставка или выходили статьи и монографии о его творчестве. И хотя репрессии всё же коснулись семьи художника в 1937 г., но его подлинные душевные муки начались гораздо раньше, когда сразу же после революции стало понятно: его любимая, главная тема в искусстве, составляющая весь смысл его жизни и как человека, и как художника, – несовместима с новым политическим режимом. Но даже в этих условиях он продолжает тайно хранить ей свою верность.

Вот когда стали особенно близки и понятны слова Апостола Павла: “А мы проповедуем Христа распятого” (1 Кор., I, 23), поскольку именно в кресте явила себя особая, неизреченная сила, что победила узы, мучения, смерть.

Начиная с 1919 г. и в течение долгих четырнадцати лет Нестеров пишет последнюю картину цикла “Страстная седмица” (подробно см. статью М. Петровой “Момент истины Михаила Нестерова”, “Наш современник”, 2005, № 6). Процесс затянулся из-за необходимости отвлекаться на другие картины, которыми он официально отчитывался о своей работе и которыми зарабатывал себе на жизнь. Зарабатывал честно, бескомпромиссно, не поступаясь принципами и совестью. А для себя потихоньку, не афишируя, продолжал разрабатывать свою главную тему, создавая, может быть, и не очень значительные сами по себе полотна,



*Страстная Седьмица (х.м. 1919—1933 ЦАК
Троице-Сергиева лавра)*

в чём-то даже повторяясь, но которые питали и укрепляли духовные силы его переполненной скорбями души. Её откровением и стала сравнительно небольшая работа “Страстная седмица”. В основе произведения — не евангельский сюжет, а наступившие в России времена, которые художник воспринимал, как самые скорбные в её истории, равносильные последним дням земной жизни Христа. Нестеров, неся свой тяжкий крест, именно в эти годы по-настоящему, до конца, проникается идеей соборности, видя только в ней возможность подлинного национального единства. И потому главным героем его картины становится священник в траурной, великопостной фелони, как символ церкви, единственно способной в эти трудные времена собрать и примирить в вере все социальные слои. Это произведение стало ещё одним проводником мысли, что лейтмотивом проходит через всю русскую культуру. Картина пронизана любовью и состраданием своему народу, но и верой в его духовное преображение. Символом этой веры стали горящие свечи в руках всех тех, кто пришёл в покаянии к огромному Распятию, что поднялось посреди сумрачной русской природы.

Среди огромного художественного наследия Нестерова этот цикл начинает всё более выявлять себя как главный труд мастера. Сегодня, когда оживает и внутрицерковная, и приходская жизнь, когда понятие “дорога к храму” всё очевиднее проходит через людские судьбы и души, есть все основания говорить о пророческом пафосе цикла, в котором отчетливо слышны призывные слова художника: “ищите и обрящете...”. Призыв, как наказ, как завет своему народу во имя его сохранения и спасения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ОР ГТГ, ф. 11, е. х. 714.
2. Там же, ф. 10, е. х. 4821.
3. Сб. “Русь перед вторым крещением”. Житомир, 1995, с. 78.
4. ОР ГТГ, ф. 100, е. х. 131.
5. Там же, ф. 9, е. х. 96.
6. Нестеров М. В. Письма. Л., 1998, с. 68.
7. Там же, с. 220.
8. Там же, с. 31.
9. Досекин Н. “Артист”, 1893, № 1, с. 104.
10. Сб. “Русь перед вторым крещением”. С. 392.
11. Настольная книга священнослужителя. Т. IV, 2005, с. 155.
12. Нестеров М. В. О пережитом. 1862—1917. Воспоминания. М., 2006, с. 350.
13. Розанов В. В. Среди художников. СПб., 1914, с. 179.
14. “Минувшее”. Исторический альманах. 1988, вып. 6, с. 207.
15. Нестеров М. В. Письма, с. 283.
16. Там же, с. 226.
17. Дурылин С. Нестеров в жизни и творчестве. М, 1965, с. 288.
18. Нестеров М. В. Письма, с. 202.

19. Там же, с. 236.
20. Нестеров М. В. О пережитом... С. 389.
21. Нестеров М. В. Письма... С. 234.
22. Там же, с. 228.
23. Прт. Митрофан Сребрянский. Покровский храм. "Мысли и чувства православной души при посещении Покровского храма Марфо-Мариинской обители милосердия". М., 2008, с. 17.
24. Нестеров М. В. Письма... с. 228.
25. Там же.
26. Нестеров М. В. О пережитом... с. 397.
27. Нестеров М. В. Письма... с. 262.
28. Прт. Митрофан Сребрянский. Указ. соч., с. 13.
29. Там же, с. 19.
30. Нестеров М. В. Воспоминания. М., 1985, с. 303.
31. Прт. Митрофан Сребрянский. Указ. соч., с. 22.
32. Там же, с. 13.
33. Нестеров М. В. Воспоминания, с. 303.
34. Розанов В. В. Указ. соч., с. 167.
35. Нестеров М. В. Письма... с. 300.

АЛЕКСАНДРА БАЖЕНОВА

“...ЗА ПАЗУХОЙ У ОТЧЕСКОГО КРАЯ”

(К портрету Геннадия Ступина)

Один из лучших русских поэтов своего, послевоенного, поколения Геннадий Леонтьевич Ступин родился в тяжёлое для страны и народа время – 12 октября 1941 года в городе Аткарске Саратовской области. В автобиографии, опубликованной в журнале “Наш современник”, Г. Ступин пишет: “Живуч, двужилен и цепок наш род. Вот даже я, подпорченный ещё в материнской утробе по нежеланию матери рожать меня ввиду расхолившейся и не сулящей ничего хорошего – в октябре 1941 года – войны. Родился наперекор всем средствам и способам, чуть не умер сразу, спасли врачи отцовской кровью, всеми болезнями переболел в детстве, не говоря уж о голоде и холоде, потом бегун-прыгун был, волейболист-баскетболист, ходок-ездок на велосипеде, рыбак и бродяга заядлый, закаливавшийся круглый год во всяких водоёмах и обливанием на всяком морозе ледяной водой (чем крепче мороз, тем легче обливаться, самая ледяная вода на морозе кажется чуть ли не тёплой), не пивший – не куривший до 19 лет, а с тридцати и чуть ли не до пятидесяти работавший кочегаром, грузчиком в аэропорту Внуково, спивавшийся и чуть было совсем не спившийся, бывавший и в вытрезвителях, и в камерах “суточников”, и в дурдоме, и под поездом, едва ушедший от тюрьмы и белой горячки, от смерти в том или ином виде и – оставшийся-таки живой, на удивление знакомым и родным, знавшим мою “одиссею”, бросивший пить и курить, “завязавший” наглухо, ставший сносным мужем и отцом, и даже дедушкой, в конце концов, и в работе своей достигший определённых успехов и призвания...”

Детство Ступин провёл среди степей и полей, на песчаных берегах рек Медведицы и Аткары. Окончив в 1958 году аткарскую среднюю школу № 3, отправился в Москву. Вначале устроился в посёлке Сходня Химкинского района Московской области, где в 1961 году окончил Московский заготовительный техникум Центросоюза по специальности охотовед-зверовод. 1961–1964 годы служил в армии (ГДР – Северный Урал). Вернувшись, работал в Твери, Подмосковье и Москве. С 1966-го живёт в Наро-Фоминске Московской области. Стихи Геннадий Леонтьевич начал писать с 12 лет, публиковаться с 1980-го, принят в Союз писателей в 1987 году, в 1991–1993 учился на Высших литературных курсах Литературного института.

Неустроенность и удалённость от родных мест, оторванность человека вообще от питающих его дух корней предков, размышления о родине и народе стали основными мотивами стихов Ступина и его биографического эссе “Горячая земля”. С пронзительной прямотой поэт выразил ностальгию русской души, утончённой печалью, осевшей “на чужой сторонuşке”. Километрально,

чисто технически для скоростей XXI века расстояние меж Московской и Саратовской областями прямо-таки пустяковое. Но мистически – этот барьер в несколько поколений новых, других, появившихся на его родине людей незнаемых. Эта пропасть лет глубиной более чем в полвека трудно преодолима. Не без грустной ноты и живой горечи Геннадий Леонтьевич в своих произведениях мечтает о родине и мысленно обращается к ней (“Бросить всё, уехать в даль степную, // Где ни стен кирпичных, ни углов, // Где играет ветер песнь родную // На просторе – без конца и слов...”; “... Молча плача по родной земле”; “Как за пазухой у отческого края, // что вовек бы никому меня не выдал, // так и жить бы мне, беды его не зная...”; “Глаза закрою – поезд стучит... // как будто среди степи, // один на песочке речном в ночи // я сплю...”; “И веет сладкий воздух родины моей”; “А я глядел в далёкие, родные // Моей земли прекрасные глаза”; “Снилось мне, что я на родину вернулся...”; “В степь уйду, в своё родимое пространство, // Где гуляет даже ветер вольный – тихо...”; “Родимый край степной...”; “Очи, степные огни и звёзды... // Давнее, дальше родины милой...”; “Весь край родной мой, весь мой мир природный // Не дал мне забыть вечным сном” и др.). Но узнает ли степная земля в нём родного сына? Нужен ли он кому-то на отчей земле?!

“Ослеплённый с рожденья безответной любовью” к родным степям Поволжья, Геннадий Ступин самые сильные, искренние строки написал именно о “малой” родине. Многие стихотворения созданы в тоне бесхитростного, почти “прозаического” рассказа. Ясность и доступность поэтической мысли обеспечена всем золотым запасом его нелёгкого жизненного опыта, серьёзного переживания, колоссальной работой самоуглублённой души.

В “Земле родимой” мальчик, в горький для себя час, засыпает на “неприметном пригорке”, а пробуждается сыном этой земли:

*Полон железной неведомой силой,
Шёл я и видел впотьмах...
Много с тех пор ко мне бед приходило —
Все рассыпались в прах.*

Такова сила, дарованная человеку родной землёй-матерью.

В стихотворении 1986 года “Глядя в зеркало”, Геннадий Ступин, с известной долей самоиронии, рисует автопортрет (не только внешний):

*Чёрен душой, как дырой,
Выкручен, вывихнут телом.
Но и бываю порой
Там, высоко, за пределом.
Там мои чувства чисты,
Там мои думы высоки...
Но и труба высоты
Вытянула все соки.
Сделала струны из жил.
Может быть, жителем рая
Так бы на небе и жил,
Если б не тяга земная...*

Геннадий Ступин ощущал “...жизненно важные духовные и физические связи с землёй, природой, родиной, ...которым цены не знают, не могут знать”. Он писал в эссе “Горячая земля”: “Покинув родину, город Аткарск Саратовской области, сразу после школы, я всю жизнь потом вспоминал её, думал о ней и невольно сравнивал её со всеми другими местами, где бывал, и себя – с людьми этих других мест... И всегда выходило так, что лучше моей степи с островками леса нет ничего и нигде, и люди других мест, если не хуже меня и моих земляков, то всё же обделены чем-то от природы, от земли и климата. Я понимал это как свою пристрастность, следствие любви естественной к месту рождения, к лучшей поре детства и отрочества, вообще к прошедшему. Это так, конечно, и было...”

Но с возрастом боль разлуки делалась привычной, успокаивалась, становилась очевидной её неизбежность, даже необходимость, душа смирялась и любила и другие места за что-нибудь, присущее только им. Но уже разум сам

отмечал и запоминал всевозможные, иногда вроде бы и несущественные различия. По размышлении, я понимал нечто очень важное, а некоторые факты прямо являлись и подтверждали мою пристрастную идею особенности, особых достоинств моего родимого края. И теперь я совершенно спокойно, убеждённо знаю, что да, действительно, мне посчастливилось родиться и расти в удивительно единственном в своем роде месте Земли, давшем мне особое, нежное и чувствительное, но крепкое и выносливое здоровье, необъяснимую жизненную силу, двойную жилу и многие другие физические и духовные качества, о которых применительно к себе говорить просто нельзя, нескромно, хотя речь отнюдь не о личных заслугах, а только о природных, врождённых дарах, именно полученных мною — и многими моими земляками — даром, с рождением именно в этом, а не в каком-либо ином месте Земли”.

Геннадий Ступин выступил в печати сразу как поэт вполне сформировавшийся, зрелый, так как, пробуя писать с 12–13 лет, публиковаться начал почти в 40. Именно в силу этой накопленности опыта, как жизненного, так и поэтического, он в последующие годы явился перед читающей Россией сразу во весь рост. Появились серьёзные подборки стихов и поэмы в альманахах “Истоки”, “Поэзия”, “День поэзии”, сборниках “Молодые поэты Москвы”, “На тебя и меня остаётся Россия” и др., в журналах “Новый мир”, “Октябрь”, “Наш современник”, “Журнал поэтов” (Брюссель), “Молодая гвардия”, “Москва”, в “Литературной газете”, “Дне”, “Дне литературы”, “Московском литературере”... Он стал лауреатом премии газеты “День” (1991), журнала “Наш современник” (1991), выпустил книги “Тени тихие по полю...”, “Ясная моя судьба”, “Красные цветы”. Десятки отзывов о Геннадии Ступине вышли на газетно-журнальных страницах: о нём писали В. Курбатов, Л. Баранова-Гонченко, В. Карпец, Н. Дорошенко, В. Куницын, Вл. Славецкий, Т. Глушкова, Ст. Куняев, А. Жигулин и др. Кажется, Геннадий Ступин оправдал своё собственное предсказание для провинциального таланта: “признан столицей станет самородком чистейших степных чернозёмных кровей”.

Стихи Ступина последнего десятилетия полны отчаяния, страдания, исполнены поистине вселенского надрыва. Это время — “окаянные дни” разрушения страны, когда народ, смысл жизни которого в созидании и духовном единстве, в большинстве оказался не у дел (нельзя же назвать делом “работу” “челноков” или рэкетиров...).

*От горя и гнева я вижу в ночи,
Я вижу Россию от края до края.
Я слышу, как горько Россия молчит,
Всех верных своих сыновей вспоминая.
Настали опять её чёрные дни.
Бесчинствуют в доме иуды и воры.
И друг перед другом ярятся они,
И нету дубинки для бешеной своры...
Все тёмные силы сорвались с цепи
И рвут на куски тебя, топчут и лают...
О добрый народ мой, терпи не терпи —
Они доброты твоей не понимают.
Они не отпрянут, пока не убьют.
Не будет ни хлеба тебе и ни кровли.
А будет бесстыдный невиданный блуд
На горе твоём, на слезах и на крови.
И что не давалось ударам мечей
И палу огней никаких супостатов,
Берут они нынче лишь ложью речей
И гладкой личиною демократов...*

Очень точно, словно перемещаясь мистическим зрением то в землю врага, то, возвращаясь на своё, поросшее бурьяном поле русской жизни, Ступин отразил разрушение России в стихотворении “За зелёной и мглистой моею землёй...”. Человек, работающий на своей земле (борющийся с вечным бурьяном), когда поднимает голову и отрывается от дела, — видит край неба над другой землёй:

*...Оттуда летит вместо птиц саранча,
Ненасытна, бессчетна, черна.
И садится и жрёт всё подряд, стрекоча,
И никак не нажрётся она.
А откуда не люди, а змеи ползут,
Завораживая, цепеня.
Эти сердце, и разум, и плоть мою пьют,
Проникая невидно в меня...*

Лирический герой Ступина – русский человек – в бессилии от ужаса нашествия опускает руки и ищет, чем бы отбиться, чем защитить себя, но в руки влагается лишь “родимый бессмертный бурьян”. Защититься нечем... Конечно, поэт предчувствует и верит, что наше бесконечное стояние среди “родного бурьяна”, наше терпение дадут свои результаты: справедливый Суд Божий настигнет врагов; страна залечит кровавые раны, – “...Но – годы, годы пролетят, // но – поколенья канут”.

*Копая землю под картошку,
А чуются окоп, могила.
И солнышко не понарошку
Печёт. И закипает сила
В моём усталом старом теле —
Прадедовская, земляная.
И смотрят вековые ели,
Мою работу понимая.
А где-то радио картавит,
Там, где московские участки.
Иуда бал в столице правит —
К нему никак мы не причастны.
Он и в газетах, и в эфире,
В Кремле, как было уж когда-то.
А нам опять остались в мире
Суглинок тощей да лопата.
Да лишь прадедовская сила,
Да эта правда вековая:
Балы — в столицах, а могила —
В земле. И ныне эта глина —
Окоп. И бьёт не уставая
Моя лопата штыковая.*

Поэт необыкновенно искренне выразил во многих стихах душевное состояние потерянности людей, часто оторванных от корней и рода, от родных мест, разбросанных по стране (“Без слёз по брошенной рыдая жизни...”), не уверенных более в вечности и нужности существования на земле (есть расхожая политическая формула этого явления: неуверенность в завтрашнем дне) их, теряющих нить смысла жизни. Ступину читатель прощает встречающуюся иногда в стихах брань (“иуды”, “иуды и воры”, “гориллы”, “вороны”), читатель понимает: душа болит, душа не терпит. Зато и благодарен читатель за поэтические прозрения и благородные устремления: не выделяясь из народа, разделить с ним его судьбу.

Как ни парадоксально, единство русского народа Ступин увидел в единстве предков (смотрите, например, глубоко характерное для него, почти программное стихотворение “В рассудовском лесу” и др.). И над этим стоит задуматься! Страдая от одиночества, разобщённости, разъединения родных душ вражеским тесным окружением каждого в отдельности (“В родимом, горько замершем краю // опять один пред жизнью или смертью, // сжав кулаки, в кольце врагов стою...”), мы совсем забыли о том, что предки нас всех объединяют.

*На русских кладбищах могилы не найдёшь,
И ворон молчаливый не подскажет,*

*Пока по стольким предкам не пройдёшь...
 И всяк тебе костьми под ноги ляжет...
 На русских кладбищах ни хода, ни рядов —
 Хаос оград, годов неразбериха.
 Как будто все колена всех родов
 Смешало здесь неведомое лихо...
 Везде, всю жизнь по русским кладбищам идёшь!
 Не оттого ль твоя падуча сила?
 На них одной могилы не найдёшь,
 Но тьмы и тьмы — словно одна могила.
 У нас веки ничего не разберёшь!
 У нас и плач и песня — голосные.
 На русских кладбищах могилы не найдёшь
 Одной, родной — и будто все родные...*

Поэзия Ступина 1990-х годов и начала XXI века насыщена образами и лексикой запредельности существования человека, уступающего временам. Здесь — смерть; могилы; кладбища; смертный холод; тоска; видения с того света; горе и гнев; молчание; немота; одиночество; воскрешение; вставание; сон; бессонница; взывания: “Проснись!”, “Очнись!”, “...Надобно проснуться”. В тяжелейшее для России время испытаний герой Ступина — сумрачный, молчаливый, одинокий, добрый русский человек — переживает смертные муки, умирает, умирает-воскресает, как в жутких (по реалистичности картин смерти) стихах “Смерть грузчика”, “Восстание из праха”. В стихотворениях “В рассудовском лесу”, “Не видно за быстрыми днями...”, “И в бездне ночи паденья сердца...”, “Ночью тихо дождь шуршал...”, “Московская ночь”, “Опять один, в дыму, среди развалин...” изображён полуразрушенный, болящий человек; молчащий, безмолвно страдающий. Это истинное безмерное страдание. Геннадий Ступин изображает ledenящие душу картины смерти. Его дар — тяжкий крест, умение увидеть внутренним взором, прочувствовать, выстрадать (вместе со всем народом) и тонко передать муки страны 1990-х годов, “забывшейся, тише воды, разметавшейся, еле живой...”. Поэт вполне осознаёт свой необычный, свой сумрачный — под стать временам — дар запредельного видения (как, например, в уже приведённом стихотворном автопортрете “Глядя в зеркало” и др.).

В стихотворении “Смерть грузчика” гибнет богатырь русской земли, за смену переворочавший 60 тонн груза, — иначе как же его назовёшь?! Но никто не узнает в нём страдальца, загнанного в угол (получающего 35 рублей за 12 часов титанической работы) “новорусской” жизнью. Жуткá картина смерти, но ещё более жутка картина равнодушия живых. Иные качали головами, иные ржаво скрипели: “пить надо меньше”. Стихи “Смерть грузчика”, “Восстание из праха” — это страшные картины разрушения *здоровой жизненной силы* в России. По Геннадию Ступину, — враги “безумной искушаются страстью” убить русского человека на его родине, в его доме... без объявления войны. Стоит задуматься об отчаянии поэта: жизненная сила солнечной отчизны, которую он воспел в блестящем эссе “Горячая земля” и многих стихах, лежит поверженная в пыли, грязи дорожной, полумёртвая или угасшая, затоптанная, опущенная на дно бутылки, измотанная пьянкой. Живущий в России уже давно не “за пазухой у отческого края”, он не защищён здесь никакими “правами человека”.

Необыкновенно самобытный поэт Геннадий Леонтьевич Ступин — прямой, добрый и предельно честный человек, без отдыха везёт “тяжкий мысленный воз” (Клюев). Праздничная передышка бывает редко, остальное время — бдение поэта, тяжкий труд в стараниях изобразить безмолвные страдания народа, боль разрушаемой России, “подлые” времена.

Для его поэзии характерна многоплановость поэтической мысли, когда порой из реального простого эпизода (нахождения в дороге, созерцания, встречи, сна и проч.) подсознание выходит на мистический бытийный уровень. Ступин смело вводит в стих яркие и глубокие метафоры, собственные неологизмы, необычные параллели. Поэтическая лексика его богата и разнообразна. Её отличает частое обращение к глубоко духовным наработкам древнерусского, старославянского языков, порой полузабытым, но глубина и си-

ла которых неоспорима. Например, позабытое слово “очес” от “очи”; “вперяться” — устремляться умом, душою; “выть” — участок земли в несколько дворов (домов); “стогны” — широкие улицы, площади. А такие формы слова, как старославянское “град” вместо русского “город” выглядят в поэзии особенно величественными. Но ещё более умело Геннадий Леонтьевич обращается с современными, наиболее яркими и точными словами и выражениями русского языка. Поэтому схоластика богословских формул, стёртая затасканная лексика христианства, к которой невольно приходится прибегать всем поэта́м, так или иначе затрагивающим христианские темы, у Геннадия Ступина не доминирует.

*На Крещенье не сияют звёзды —
Ночь, как туча чёрная, слепая.
На Крещенье дождичек, как слёзы,
Моросит на грязные снега...
Это плачет небо над Россией,
Это сбился вечный ход времён.
Самый воздух русский обессилел,
Мраком окружён со всех сторон.
Мрак стоит кругом сплошной стеною,
Во все стороны мне засты вид.
Лишь мерцает смутно надо мною,
Словно это сам Господь глядит...
Горем или гневом очи режет,
И душа сжимается в кулак...
Лишь земля родная крепко держит,
И всё крепче обнимает мрак.
На Крещенье, ночью нелюдимой,
Ель от лютой стужи не трещит —
Замер край мой, дождичком кропимый,
Словно сам Господь его крестит...*

Его обращения к Богу, к вечности написаны живыми пульсирующими словами родного русского языка, и кажутся подчас, в устах поэта, просто новорождёнными. Он как-то необыкновенно умеет обновлять своим поэтическим и мысленным жаром “обычные” слова и духовно окрылять их. Воистину, верно говорят, что поэзия — это лучшие слова в лучшем порядке.

Саратов

ВЕРА ФИЛИПОВА

“КУДРЯВОЙ СТРОКОЙ НЕ ГРЕША!”

В Иркутске вышло в свет четырёхтомное собрание произведений Андрея Румянцева. Про столицы не скажу, а для провинции это заметное литературное событие. К тому же имя поэта в наших краях, да и в России, известно. И первая книга четырёхтомника, “Государыня Жизнь”, вобравшая в себя стихотворения разных лет, венки сонетов, поэму “Колодец планеты” и переводы, подтвердила репутацию автора как проникновенного певца Сибири.

А следом вышел том, названный строкой из Д. Веневитинова, исчерпывающе точно применительной к содержанию книги: “Глаголы неба на земле”. А. Румянцев предстаёт здесь в совершенно новом качестве, — эссеиста, размышляющего о творчестве великих предшественников в русской поэзии. Временной отрезок огромный — от И. Крылова до А. Твардовского. Однако имён, в сущности, немного: добавьте к упомянутым классикам Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Кольцова, Фета, Некрасова из девятнадцатого века и Блока, Клюева, Есенина — из двадцатого. Избирательность имён столь очевидна, что интригует читателя, усиливая любопытство к мотивации авторских предпочтений. А он и не делает из них секрета. Собственно, каждое эссе в этой книге есть попытка “наедине со всеми” разобраться, чем именно дороги русской душе творения наших великих лириков. Поэтому какие-либо пафос и выспренность отсутствуют начисто, при этом стиль автора далёк от сухой академичности, язык образный, интонация непринуждённая, подкупающе доверительная.

Глубоко личный взгляд, убедительность авторских выводов и оценок вызвали большой резонанс у сибирских читателей. “Впечатление от прочитанного, — поделилась на одной из презентаций книг иркутская учительница Э. Гилагова, — я сравню с глотком чистого воздуха. Осталось ощущение света, радостного наслаждения какой-то особенной речью. Автор обладает способностью увлекать рассказом, открывать тайны литературного творчества”.

Возможно, сердечное одобрение читающей публики стимулировало Андрея Румянцева на продолжение начатого цикла. В том же ключе были написаны ещё два тома: о великих произведениях русской прозы — “Увидеть Россию сердцем” и о знаменитых произведениях драматургии — “К нам едет ревизор”. Полиграфически все четыре книги исполнены безупречно, с уважением к читателю: в единой цветовой гамме, чётким шрифтом, на прекрасной бумаге, с уникальными фотографиями.

“Живые, будто согретые родственным интересом...” Так выразился автор, говоря о некоторых книгах, посвящённых судьбе и творчеству Пушкина. Но справедливо отнести эти слова и к самому эссеисту. Живыми предстают со страниц книг Андрея Румянцева русские классики, чья хрестоматийная забронзовелость отступает куда-то перед ощущением близости их тёплого дыхания и возвращённости из небытия в сегодняшний мир. С нынешними рецензиями постоянно соотносит автор мысли и поступки классических героев. Отсюда и созвучность многих проблем ушедших веков нашим дням. Так, раз-

мышляя о романе Льва Толстого “Воскресение”, поэт даёт к горьким и гневным словам автора о вымирании народа и уже сложившейся привычке к этому вымиранию свой собственный печальный комментарий. Его больно ранило, что в современной средней школе учатся с первого по одиннадцатый класс всего шестьдесят семь детей, по шесть в классе. А ещё пятнадцать лет назад здесь занималось шестьсот учеников! “В моей родной деревне, – продолжает поэт, – начальная школа принимала в пору нашего детства семьдесят малышей, а сейчас в ней – четыре ребёнка на три класса. Это одна из страшных примет нашей жизни”.

А. Румянцев цитирует классиков, можно сказать, с упоением, но всегда в меру и к месту, побуждая вместе с ними думать и искать ответы прежде всего в сфере нравственной. Но и в социальной – тоже. Он пишет о прорывах гениев – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, – в новую художественную реальность, которую иной раз не сразу понимали и принимали современники. Так произошло, например, с гоголевским “Ревизором” – потребовалось время, чтобы эту великую комедию оценила русская публика. Снова и снова в поле зрения автора эссе попадают произведения вершинные: на их примере он и показывает особенности творчества каждого знаменитого писателя. И так естественно звучит утверждение поэта: “Слава Богу, нам, русским, есть из чего выбирать”.

Впечатляет обширный материал, которым оперирует в своих книгах автор. Это письма корифеев литературы, отзывы об их произведениях, оставленные другими мастерами слова, оценки критиков, философов, труды исследователей и биографов. А. Румянцев аргументированно оспаривает и опровергает подчас уничижительные оценки великих произведений, к примеру, суждения Владимира Набокова о “Герое нашего времени”, Юлия Айхенвальда и Владислава Ходасевича о сочинениях Максима Горького и т. д. В одном из томов особое место занимают редкостно правдивые и лиричные воспоминания автора о своём задушевном студенческом товарище Александре Вампилове.

И вот, пожалуй, главный эффект от знакомства с книгами Андрея Румянцева: острое желание безотлагательно перечитать отечественных классиков.

НИНА ЯГОДИНЦЕВА

СИБИРСКИЙ ИЗБОРНИК

От имени любви с тобою говорю...
Валерий Козлов, Кемерово

“Антология” в переводе с греческого буквально означает “собрание цветов” – впрочем, это общеизвестно. В русском языке долгое время существовало другое название для книг, представляющих литературу народа определённого исторического периода или литературного течения: “изборник”. В этом слове (вот преимущество родного языка!) отчётливо прочитывается целый пласт смыслов. Избирается, как правило, то, что наиболее ярко представляет идеи составителя. Но и сама возможность избирательного подхода показывает: явление масштабно, и есть из чего выбрать.

Логично, что рубеж веков стал в России временем антологий. За постоянно увеличивающимся количеством стихотворных “собраний” стоит напряжённая поэтическая жизнь. Жизнь, которая сегодня “отпущена на волю”, в свободный поиск. Жизнь, существование (и необходимость!) которой уже приходится объяснять и доказывать...

Само поэтическое мироощущение сформировалось в диалоге человека со стихиями Природы, в поиске взаимопонимания со стихиями природы собственной. Поэзия как форма философствования, погружённая в ежедневную реальность, практически растворённая в быте, для нашей культуры всегда была воздухом жизни, формой и содержанием связи человека с Миром как целым. Миром, где любой малости отведены своё место и своя роль, где в общей ткани бытия накрепко переплетены сосуществование человека и других Божьих творений, где самое страшное – разорвать эту ткань и выпасть в прорву небытия.

Человеческая личность в поэтическом измерении имеет необозримое пространство для роста, практически бесконечную перспективу развития. Среди множества задач, которые решает поэзия одним своим существованием, главная задача – смыслообразование, обнаружение и “обживание” новых, всё более тонких и совершенных связей человека с Миром. Всё остальное – идеология, политика, экономика – только результат того или иного видения мира, не очень умелые попытки реализации основных жизненных смыслов.

Без поэтического воздуха, без поиска новых смысловых связей человека с окружающей его сложной, многослойной реальностью идеология, политика и экономика неизбежно обречены на поиск “по горизонтали”, на смену одной бесперспективной модели существования на другую, как правило, ещё более бесперспективную, агрессивную и затратную. Вспомним, например, как быстро исчерпала себя потребительская модель человеческого мира и как она загнала в очевидный тупик всю европейскую цивилизацию! И в каких направлениях идут поиски выхода...

Поэзия – поиск “по вертикали”, воздух иных высот. Трагедия в том, что воздух, пока он есть, не замечаешь. И когда его становится меньше – тоже

замечаешь не сразу: ну, слегка кружится голова, почему-то темнеет в глазах... Понимание наступает слишком поздно: когда вдохнуть уже нечего. Пишут в рифму и без неё сегодня очень многие, возможности выхода в свет многократно возрастают благодаря интернету, но собственно поэтических коммуникаций, поэтического миропонимания становится всё меньше: во-первых, усиливаются деструктивные процессы в самой поэзии, во-вторых, социокультурный статус поэта с начала 90-х изменился на диаметрально противоположный.

Поэт теперь воспринимается публикой либо как более или менее удачливый шоумен, либо как безнадёжный неудачник, вечный попрошайка у власти и деньги имущих — ну надо же где-то доставать средства на издание очередного сборника, нужного только самому автору! Место живого поэтического диалога официально заняли рифмованные юмористические шоу, изысканно-филологическое препарирование поэтических текстов и распили более или менее престижных премий.

Поэзия как социально значимое явление всё больше замыкается в самой себе, маргинализируется и постепенно утрачивает свою жизнотворящую роль. Трещина между поэзией и реальностью сегодня неотвратимо увеличивается, как увеличивается пропасть между духовной сущностью русского человека и формами бытия, активно навязываемыми ему извне. А реальность между тем наступает на нас широким фронтом гуманитарных, техногенных и природных катастроф... Чем всё завершится — вопрос открытый. Но большинство антологий рубежа веков, представляющих современную русскую поэзию, всеми силами стремится создать своеобразную “кислородную подушку”, показать в развитии и усилить повторением магистральную мысль, жизненно необходимую сегодня для осмысления происходящего. Приведу из множества два примера.

Вышедшая на рубеже веков трёхтомная “Антология русского лиризма. XX век”, созданная студией Александра Васина, утверждает основополагающее свойство русского характера, обозначая его как лиризм — выраженное ощущение необозримой глубины бытия, частью которого является человек. Антология на широком поэтическом полотне показывает, что за пределами человеческого “рацио” предугадывается не хаос, а более совершенный миропорядок, более высокая степень гармонии. И человек призван эту гармонию постигать, быть её частью...

Антология современной поэзии “Наше время”, изданная Борисом Лукиным в 2009 году, представляет поколение, оказавшееся на границе двух мифологий — советской и “демократической”, и самой жизнью вынужденное искать реальные, нерушимые опоры человеческого бытия. По неофициальной статистике, выжил из рождённых в шестидесятые только каждый пятый, но поэтическое поколение состоялось, сбылось — в ситуации отторжения поэзии, разрушения поэтических связей, превращения истинного поэта в безнадёжного маргинала.

Антология “Русская сибирская поэзия. XX век”, изданная в 2008 году в Кемерово (о ней, собственно, и пойдёт разговор), встаёт в ряд подобных изданий со своим, особым смыслом. Она собрана по территориальному принципу. Территория обозначена на колонтитулах: “от Уральских гор до Тихого океана”. Размах не только впечатляет — действительно, русский размах! Он заставляет думать о том, что пока пестротканая Европа ищет основания для объединения и оправдания для глобализации, колоссальные пространства русской земли дышат одним поэтическим воздухом, мыслят в пределах единого образа мира и гармонично вписывают в этот мир существование иных поэтических языков, иных способов мировидения. Изборник сибирской поэзии — очередная “кислородная подушка” для задыхающейся, обесмысленной русской жизни!

Идею антологии благословил ещё Виктор Петрович Астафьев, более пяти лет она собиралась на огромных пространствах Сибири и Урала. Как пишут составители Б. В. Бурмистров (автор и руководитель проекта), В. М. Баянов и С. Л. Донбай во вступительном слове: “Нам присылали книги, региональные антологии и просто рукописи известные и неизвестные нам поэты... Шумела тайга, работали могучие сибирские реки — Енисей, Ангара, Обь, Амур, обдавали ледниковой прохладой горные потоки Алтая, степи, тундра, вечная мерзлота, два великих океана, Ледовитый и Тихий — всё это присутствовало

не понаслышке, а воочию в стихах поэтов. Поэтов разных национальностей, которых объединили Сибирь и “великий могучий русский язык”... И провинция – хранительница русского языка – предстаёт на страницах книги”.

Размах “от Уральских гор до Тихого океана” впечатляет и обязывает. В избранный вошли стихи 435 поэтов, представляющих XX век поэтической Сибири, 480 страниц фолианта включают в себя вклейки с фотографиями авторов. И в конце книги – список благодетелей, в котором 39 человек – руководителей, государственников, поддержавших издание, понимающих необходимость присутствия поэзии в сложнейший момент русской истории.

Какой же предстаёт огромная русская провинция, что хранит она как зеницу ока, о чём перекликаются поэты через разделяющие их тысячи и тысячи километров? Антология представляет вовсе не “вековую тишину” в глубине России – это собрание высоких, искренних, страстных монологов о жизни, это стихи, действительно растворённые в повседневности, простые и необходимые как воздух.

Во-первых, конечно, сразу прочитывается география родины – в её реках, горах, в силе её стихий. Очень сложно цитировать, выбирая строки из такого количества представленных текстов, поэтому открываем почти наугад, в подтверждение мысли: “Как для прыжка, легла и сжалась // Река в предчувствии дождя. // Гроза над Обью надвигалась, // Тяжёлый грохот громаздя...” (Евгений Березницкий, погиб на фронте в 1941 году). Или ещё: “Воздух такой синий, // Так хорошо, Боже! // На тополях иней, // На проводах тоже. // Снега лежат пышно, // И ни души нету. // Что ни скажи, слышно, // Знать, по всему свету...” (Геннадий Карпунин, 1939–1998.)

Второе сильное впечатление от сибирского поэтического полотна – безусловная включённость поэтов в бытие родной земли. Собирательный лирический герой всего избрника – не “человек мира”, кочующий в поисках наибольшего комфорта, а работник, согревающий землю и благодарный ей за красоту и щедрость. Человек, обязанный своей земле. Эта традиция отношения к жизни постепенно, к несчастью, “пересыхает” в городах, где мы отделены от природы каменными стенами, остаёмся один на один с хаосом своего внутреннего мира и почему-то начинаем думать, что поэзия призвана буквально отображать душевные изломы и вывихи или – того хуже – веселить почтенную публику острым словом...

Третий момент, прямое следствие предыдущего: соответствие человека миру и мере стихий родной земли. Оно и понятно: в Сибири по-иному не выжить. Без того самого диалога с Природой, пространством, без прямой речи, слышной “по всему свету”, не добраться от Уральских гор до Тихого океана и ничего не построить на суровой земле. “В степях немятый снег дымится, // Но мне в метелях не пропасть, – // Одну руку в рукавицу // Горячую, как волчья пасть...” (Павел Васильев, расстрелянный в 1937 году). “Я человек, воспитанный Морозом, // Который в чаще нашей вековой, // Сковав живое ледяным наркозом, // Звенит, как сталь, и жилы рвёт берёзам, // Склонившимся под ношей снеговой... // ...Во всём присуща Северу безбрежность, // Безмерность сил, достойная богов, // И потому любовь моя и нежность // И ненависть порой (как неизбежность!) // Не знают сил, не знают берегов...” (Роман Данилов, Якутия).

Четвёртая мысль, охватывающая весь объём избрника: в него включены не только русские стихи – среди авторов алтайцы, долгане, тувинцы, армяне, эвенки, якуагиры, чукчи... Этот список можно продолжать, перелистывая страницу за страницей, но удивляет не количество объединённых в сибирской поэзии национальностей, а органичность их пребывания в пределах единого поэтического полотна. И это требует особого пояснения.

Русская культура относится к культурам, сохранившим пока ещё свою целостность. С точки зрения Запада, это очень нерационально. В ряде учебников по культурологии, переданных в 90-е годы в российские вузы по специальной программе Сороса, указывается, что русская культура не имеет ценностно-смыслового ядра, и ей, чтобы обрести смысл существования, необходимо заимствовать ценности где-нибудь, а лучше всего – на Западе. Между тем исследований целостных культур в науке практически нет, не разработан даже научный инструментарий для этого.

Но перелистайте антологию, и станет очевидным одно из наших колоссальных преимуществ: русская культура в силу своей целостности включает в

себя иные элементы как гармоничные части, не деформируя их, а, скорее, приспособляясь сама. Насколько разнятся поэтические миры коренных народов Севера и тех, кто заселил Сибирь позже! Но они не отменяют, а, напротив, дополняют, оттеняют друг друга, увеличивая смысловой объём сборника, и в основе друг другу соответствуют.

Изборник представляет разные поэтические жанры: есть юмор, есть стихи для детей – но их немного. В основе своей антология лирична, и лиризм выражается в традиционной форме. Приверженность традиции сегодня в поэзии зачастую рассматривается как несовременность: в век потребления от поэтов ежедневно ждут “чего-нибудь эдакого”, в крайнем случае – “чего-нибудь новенького”. Но поэзия – не литература в прямом смысле слова, она – аккумулятор особого состояния, алгоритм переживания высоких чувств в противовес чувствам обыденным и низким.

Здесь есть одна немаловажная особенность. Поэзия – пространство, разворачивающееся не по горизонтали смыслов, а в глубину (или высоту, если угодно), и чем строже форма, тем яснее и чище глубина. Точно так же происходят и развитие личности, и развитие культуры. И выход из цивилизационных тупиков очевидно находится не в плоскости освоения новых рынков, а по вертикали развития новых смыслов человеческого бытия на земле.

Сибирский изборник – масштабное поэтическое полотно, повод говорить о явлениях глобальных. При этом каждый из поэтов переживает своё родство с Миром и выражает свои чувства собственными словами. Интересными могли бы стать глубокое исследование образа мира сибирских поэтов, исторический сюжет книги, выразительные средства. И очень важно, чтобы все дальнейшие исследования не замыкали книгу в круг филологических дискурсов, а вели её к читателю, которому близко и понятно живое чувство: *“Мне горло перехватывают воды // Из родников на родине моей...”* (Иван Мордовин, Барнаул).

Открытое письмо
директору Государственного архива РФ
Мироненко С.В.

Уважаемый Сергей Владимирович!

Являясь по должности хранителем и охранителем исторического прошлого нашего Отечества, Вы должны являть российскому обществу образец деполитизированного взгляда на это прошлое. К сожалению, по такой печальной странице нашей истории, как Катынский расстрел, Вы заняли явно политизированную позицию.

Попытки объективно разобраться в этой теме представляются Вам, как стремление оправдать сталинские репрессии. В прошлом году на Смоленской конференции **“История сталинизма. Репрессированная российская провинция”** Вы заявили: *“Сегодня есть много “исследований”, которые являются просто ложью. Например, утверждающие, что поляков в Катynie под Смоленском расстреляли немцы. Но ведь есть неопровержимые свидетельства, что это сделали наши. Так было, этого уже не изменить... Каждый имеет право на своё собственное мнение, однако всё-таки стоит отличать правду от неправды”*. (Цит. по: “Смоленская правда”, 19.10.2009.)

Ещё больший гнев вызвало у Вас февральское (2010 г.) заявление депутата Государственной Думы РФ Виктора Ивановича Илюхина, который, в связи с мероприятиями, посвященными 70-й годовщине катынской трагедии, посмел усомниться в официальной версии этого преступления. Вы назвали заявление депутата *“полной ерундой”*. В подтверждение своей правоты Вы сослались на то, что: *“Есть изданные документы. Есть трехтомник материалов о Катynie, есть постановление Политбюро, и это не оставляет никаких сомнений в том, что пленные польские офицеры были расстреляны войсками НКВД. И бессмысленно это обсуждать. Зачем мне видеть какие-то другие документы, когда я видел главные документы, опровергнуть которые невозможно”*. (Цит. по: “Новые Известия”, 16.02.2010.)

Это Ваше высказывание с научной точки зрения просто несостоятельно. Современная действительность постоянно преподносит нам сюрпризы, заставляя отказываться от ряда считавшихся ранее неопровержимыми научными и исторических “истин”. Что же касается главных катынских документов, то предлагаю совершить небольшую прогулку по их страницам. Известно, что в “закрытом пакете № 1” были обнаружены следующие документы, якобы подтверждающие единоличную вину довоенного советского руководства за расстрел польских военнопленных и граждан.

Это записка Берии Сталину № 794/Б от “___” марта 1940 г. о польских военнопленных и арестованных гражданах, выписка с решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П13/144 от 5 марта 1940 г. по “Вопросу НКВД СССР” (два экземпляра), листы № 9, 10 из протоколов Политбюро ЦК ВКП(б) за март 1940 г. с решениями и рукописная записка Шелепина Хрущёву № 632-ш от 3 марта 1959 г. с проектом постановления Президиума ЦК КПСС об уничтожении учетных дел расстрелянных польских военнопленных.

Ключевым документом, якобы подтверждающим вину довоенного советского руководства в расстреле поляков, считается записка наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии Сталину за № 794/Б от “___” марта 1940 г., в которой предлагалось расстрелять, как “заклятых врагов советской власти”, **25 700** пленных и арестованных польских граждан.

В записке Берии присутствует немало несуразностей и ошибок. Например, в резолютивной части записки предлагается расстрелять на **36 военнопленных поляков меньше и на 315 арестованных поляков больше**, нежели указано в пояснительной

части. Зная скрупулёзное отношение Сталина и его помощника Поскрёбышева к точности количественных данных, невозможно представить, чтобы Берия рискнул отправить в Кремль документ с такими ошибками. Также установлено, что отдельные страницы небольшой по объёму записки перепечатывались, причём на разных машинках. Подобное для документов такого уровня недопустимо, как тогда, так и сейчас.

Ключевой ошибкой записки является **отсутствие на ней конкретной даты**. Само по себе это не является чем-то исключительным. Известны записки НКВД, в которых дата проставлена рукой Берии. Возможно, на записке № 794/Б просто забыли вписать дату? Бывало и такое. Но в нашем случае, согласно официальной регистрации в секретариате НКВД СССР, Сталину была направлена записка № 794/Б от **29 февраля 1940 г.** Фактически он “получил” (как утверждается) записку № 794/Б, датированную и отправленную в марте 1940 г., без указания конкретного числа.

Ни один нотариус, ни один суд не признают записку Берии, зарегистрированную февралем, а датируемую мартом, достоверной и сочтут её **по формальным основаниям подложной**. В сталинском период подобное расценивалось как **вредительство**.

Два экземпляра выписки с решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. также оформлены **с серьёзными нарушениями**. На выписке, предназначенной для направления Берии, отсутствует печать Центрального Комитета и оттиск факсимиле Сталина. Фактически это не документ, а простая информационная копия. Направленные исполнителю (**Берии**) незаверенной выписки противоречило элементарным правилам работы партийного аппарата. Этот экземпляр выписки якобы дважды направлялся Берии, и он обязан был росписью подтвердить ознакомление с ней. Однако росписи Берии на документе отсутствуют! Почему же именно эта **копия выписки** попала в “закрытый пакет”?

Возникают вопросы и после ознакомления с выпиской из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., направленной в феврале 1959 г. Председателю КГБ Александру Шелепину. Этот экземпляр также был отпечатан в марте 1940 г. Но в 1959 г. **с него удалили дату “5 марта 1940 г.” и фамилию старого адресата**, после чего впечатали новую дату 27 февраля 1959 г. и фамилию Шелепина.

Получившийся уродливый бюрократический гибрид, ставший выпиской из **протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 27 февраля 1959 года**, документом считаться не может, так как в **феврале 1959 года** вместо ВКП(б) была КПСС, а высшим партийным органом был Президиум ЦК КПСС. Помимо этого согласно правилам партийного делопроизводства дата и фамилия адресата указывались только **в сопроводительном письме к архивному документу**, но ни в коем случае не на самом документе!

Невероятным является то, что в обеих выписках из решения Политбюро от 5 марта 1940 г. фамилия “**Кобулов**”, которую Сталин якобы **лично** вписал в записку Берии, ошибочно напечатана через “**а**” — “**Кабулов**”. Могла ли осмелиться в то время машинистка “**поправить**” вождя?

Важнейшим подтверждением факта расстрела сотрудниками НКВД в 1940 г. 21 857 польских граждан считается **записка** Председателя КГБ Александра Шелепина Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву за № 632-ш от 3 марта 1959 г. Её подлинность не вызывает сомнений. Однако вряд ли автор записки (Шелепин не был автором, он её лишь подписал) **обладал объективной и достоверной информацией** относительно реальных обстоятельств расстрела польских военнопленных и граждан. Этот вывод можно сделать из того, что документ содержит многочисленные неточности и явные ошибки о местах расстрела поляков, составе расстрелянных, о международном признании выводов комиссии Бурденко и т. п. В записке ни слова не сказано о причинах невыполнения в полном объёме (расстрелять 25 700 человек) решения Политбюро.

Известно, что в аппаратах НКВД и КГБ СССР было запрещено говорить о Катынском деле. Но, как всегда, среди сотрудников “**ходили слухи**”. Создается впечатление, что часть информации об обстоятельствах расстрела поляков в записке Шелепина была почерпнута из этих слухов. В этой связи она вряд ли может считаться надёжным историческим документом.

Тем не менее, катынские кремлевские документы внешне выглядят весьма солидно. На фоне этой солидности каждое из перечисленных нарушений, взятое в отдельности, можно представить досадной мелочью. Но реально таких мелочей в документах на порядок больше, нежели было отмечено (подробнее об этом в моей книге “**Тайна Катыни**”. М., 2007). Это вызывает сомнение в достоверности документов, которое подкрепляют вопиющие противоречия и неувязки в показаниях основных свидетелей по Катынскому делу.

Уважаемый Сергей Владимирович, мне совершенно непонятно, как Вы — человек, известный своими серьезными историческими публикациями, доктор исторических наук, можете при наличии таких серьезных нарушений в вышеперечисленных документах говорить об их неоспоримости? Несомненно, Вы сошлетесь на то, что документы прошли **в 1992 году почерковедческую и криминалистическую экспертизы, которые подтвердили их “подлинность”**.

Тогда почему же акты об этих экспертизах до сих пор засекречены? Не потому ли, что в них отсутствуют анализ и объяснение всех вышеперечисленных ошибок и несуразностей? В этой связи можно утверждать, что так называемая экспертиза катынских документов свелась к их визуальному осмотру. А это ещё одно основание для сомнения в их достоверности.

Считаю также необходимым ознакомить Вас, г-н Мироненко, с фактом, который Вы просто обязаны были знать, если уж начали публично говорить о катынской теме. 28 мая 2009 года Сопредседатель Группы по сложным вопросам российско-польских отношений, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов дал интервью РИА “Новости” и польской “Газете Выборчей”.

Он заявил, что из военного архива ему прислали материалы, которые *“не отрицают, что польские офицеры стали жертвами сталинских репрессий, но говорят о том, что, возможно, **какая-то часть офицеров была уничтожена немцами**”*. Но далее Торкунов сделал поистине ошеломляющий вывод: *“**Я не считаю, что это меняет что-то в корне, нюансы не меняют сути**”*.

К сожалению, это заявление Торкунова в России осталось без должной реакции. Это печально, так как Катынское дело в конце **ноября 2009 года** перешло под международную юрисдикцию. Это обусловлено тем, что **Европейский суд принял к рассмотрению иски** семей польских военнопленных офицеров, расстрелянных в Катыни. Рассмотрению этих исков придан приоритетный статус.

В этой связи Европейский суд обратился к России с рядом вопросов. В частности, о сокрытии постановления о прекращении следствия по катынскому преступлению, об эффективности, а точнее — о справедливом и надлежащем разбирательстве по делу, о том, были ли родственники допущены к ознакомлению с имеющимися материалами и т. д. Ответить на эти вопросы России следует **до 19 марта 2010 года**. Учитывая невероятную поспешность, с которой Европейский суд начал рассматривать иски поляков, весьма вероятно, что **оглашение вердикта по этим искам будет приурочено к 65-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне**.

Более чем вероятно, что только по одному формальному признаку (родственники погибших в Катыни были лишены возможности ознакомиться с материалами расследования) Европейский суд признаёт 14-летнее российское расследование Катынского дела **несправедливым и ненадлежащим**. Ну, а далее польские родственники получат право потребовать от России, как правопреемницы СССР, материальной компенсации, которая может составить несколько десятков миллиардов евро.

В свете вышесказанного заявлять о том, что историки и исследователи, не согласные с официальной версией катынского преступления и защищающие **доброе имя России**, пытаются обелить сталинские репрессии, просто кощунственно!

В завершение хочу сообщить, что в ходе независимого расследования катынского преступления, проведенного в рамках международного проекта “Правда о Катыни”, была получена информация о том, что в 1939—1940 годах в СССР органы НКВД **расстреляли около 3 200** граждан бывшей Польши: генералов, офицеров, полицейских, чиновников и др., вина которых в совершении воинских и уголовных преступлениях **была доказана**. Часть польских офицеров осенью 1941 года в катынском лесу **расстреляли нацисты**, другая часть **погибла по различным причинам в лагерях НКВД** в период войны, **часть пленных поляков выжила**, но в Польше о них предпочитают говорить, как о катынских жертвах.

Утверждать, что в такой ситуации Россия должна единолично нести крест ответственности за катынскую трагедию, преступно и антиисторично!

Владислав ШВЕД,
действительный государственный советник РФ 3 класса

Москва, 18 февраля 2010 г.